

ОЛЕГ ПРОСКУРИН
Литературные скандалы пушкинской эпохи

**МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ**

Серия основана в 1997 году

Под редакцией Е. В. Пермякова

ВЫПУСК

6

**О · Г · И
МОСКВА
2 0 0 0**

ОЛЕГ ПРОСКУРИН

Литературные скандалы
пушкинской эпохи



О · Г · И
МОСКВА
2 0 0 0

ОЛЕГ ПРОСКУРИН. Литературные скандалы пушкинской эпохи. (=Материалы и исследования по истории русской культуры. Вып. 6). — М.: ОГИ, 2000. — 368 с.

ISBN 5-900241-47-5

© О. Проскурин, 2000

© ОГИ, оформление, 2000

© Е. В. Пермяков, серия «Материалы
и исследования по истории русской культуры», 1997

Содержание

О литературном быте и истории литературы

Вместо предисловия

11

Глава I

У истоков мифа о «новом слоге»

*Кого и зачем цитировал адмирал Шишков
в «Рассуждении о старом и новом слоге Российского языка»*

19

Глава II

«Не худое подражание»

*За что Константин Батюшков не был принят
в Вольное общество любителей словесности,
наук и художеств*

47

Глава III

Поминки по Бибрису

Почему в «Вестнике Европы» смеялись над покойником

81

Глава IV

Примерные уроки

*Три эпизода полемики о старом и новом слоге
в зеркале трех сочинений А. Е. Измайлова*

116

Глава V

Бедная певица

Литературные подтексты арзамасской речи С. С. Уварова

152

7

Глава VI
«Сей призрак странный»
О причинах и следствиях одного журнального выступления
Вильгельма Кюхельбекера
188

Глава VII
«Его перо любовью дышет»
Литературно-полемический контекст
поэтической шалости Пушкина
229

Глава VIII
Конец благих намерений
«Благонамеренный», «Московский Телеграф»
и Александр Пушкин)
260

Глава IX
Незадачливый наследник
Как Александр Пушкин помог Михаилу Дмитриеву
написать донос в стихах и что из этого вышло
302

Указатель имен
361

*Светлой памяти
Вадима Эразмовича Вацура*

О литературном быте и истории литературы

Вместо предисловия

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВНИМАНИЮ читателей очерки посвящены в основном той сфере, которую принято называть «литературной жизнью» или, в русской традиции, «литературным бытом». Понятие это достаточно текучее и расплывчатое — следствие текучести и расплывчатости понятия «литература». Наиболее удобное для пользования определение предложил Ю. М. Лотман: литературный быт — это «особые формы быта, человеческих отношений и поведения, порождаемые литературным процессом и составляющие один из его исторических контекстов»¹.

В какой степени важно изучение подобных «форм отношений» для понимания литературы? Критические школы, стремившиеся изучать литературу как специфический объект, отвечали на этот вопрос по-разному. К примеру, англо-американская новая критика — безусловно отрицательно. Поскольку литературное произведение — это замкнутая и самодостаточная структура, то всякие попытки объяснить его извне — обстоятельствами создания или условиями восприятия и функционирования — представляют собой грубую методологическую ошибку (*fallacy*, в терминологии американского критика У. Уимсетта)². Такое понимание вещей закономерно проистекало из принципиально-го антиисторизма новой критики.

Русский формализм, также будучи спецификаторским направлением, был вместе с тем остро заинтересован в вопросах

¹ Лотман Ю. М. Литературный быт // Литературный энциклопедический словарь. Под общ. ред. В. М. Кожевникова и др. М.: Советская энциклопедия, 1987. С. 194.

² См. два программных эссе Уимсетта (написанных им в соавторстве с видным американским эстетиком Монро Бердсли) — «The Intentional Fallacy» и «The Affective Fallacy» — в кн.: *Wimsatt, W. K. The Verbal Icon: Studies in the Meaning of Poetry*. Lexington: University of Kentucky Press, 1954. P. 3–39.

«литературной эволюции» и исторической динамики. Поэтому не удивительно, что именно формализму мы обязаны осознанием литературного быта как особого объекта историко-литературного изучения. Для формалистов литературный быт — сфера, посредующая между литературой и другими социокультурными «рядами». Б. М. Эйхенбаум именно в связи с изучением «литературного быта» выдвинул принципиально важное положение, полемичное по отношению к редуccionистской «каузальности» вульгарного марксизма: «Отношения между фактами литературного ряда и фактами, лежащими вне его, не могут быть просто причинными, а могут быть только отношениями соответствия, взаимодействия, зависимости или обусловленности. Отношения эти меняются в связи с изменениями самого литературного факта...»³. Изучение «литературного быта», начатое в конце 1920-х годов в исследованиях самого Эйхенбаума и его учеников (особенно многообещающе — в работах М. Аронсона и С. Рейсера), было искусственно прервано — как и само историческое бытие формализма.

Структурализм, возродивший интерес к формалистическому наследию, на первых порах с некоторым подозрением относился к формализму позднего периода: исследования по «литературному быту» расценивались чуть ли не как уступка школы внешним воздействиям. В конце 1970 — 1980-х годах положение меняется. Выход «теории» за пределы имманентной поэтики, возросшее внимание к изучению исторического функционирования литературных текстов (отразившееся, в частности, в идее «рецептивной эстетики» Х.-Р. Яусса) — все это заставило переоценить опыт формалистических изучений «литературного быта». Как свидетельство такой переоценки показательно суждение венского слависта А. Ханзен-Леве: «На мой взгляд, поворот в формализме не является следствием „оппортунизма“, страха перед властью имеющими в литературной политике или просто слабости характера: переход от имманентного анализа парадигматики, т. е. приемов построения текста, к функциональному анализу внутритекстовых конструктивных принципов и, более того, к соотношению этих принципов с целой системой литературы и культуры — кажется мне последовательной сменой в парадигме научной теории»⁴.

³ Эйхенбаум Б. Литературный быт // Эйхенбаум Б. О литературе. М.: Советский писатель, 1987. С. 432.

⁴ Hansen-Löve, Aage A. «Бытология» между фактами и функциями // *Revue des études slaves*, 1985, LVII/1. P. 98. В это же время А. Флакер показал значимость проблемы «быта» для русской авангардной эстетики

Впрочем, в России поворот наметился еще раньше. Он был связан в первую очередь с работами Ю. М. Лотмана, посвященными «поэтике бытового поведения», то есть организации повседневного быта и поведения людей (нередко прямо или косвенно связанных с литературным миром) по моделям, заданным литературными текстами. Лотман счастливо соединил в своей личности и в своем творчестве две традиции — «формалистическую» и историческую; результат оказался необыкновенно удачным. Работы Лотмана оказали плодотворное воздействие на отечественных исследователей и даже косвенно повлияли на эволюцию американского «нового историзма»⁵.

В 1980-е годы появляются две наиболее значительные работы о русском литературном быте первых десятилетий XIX века, не связанные непосредственно с лотмановской культурной семиотикой (хотя и находящиеся с ней в отчетливом диалоге): книги американского исследователя У. М. Тодда «Литература и общество в эпоху Пушкина» (1986; книга недавно переведена на русский язык) и В. Э. Вацуру «С. Д. П.: Из истории литературного быта пушкинской поры» (1989). Книги эти очень разные и по задачам, и по методологии: первая из них ориентирована по преимуществу на «макроанализ», другая — на «микроанализ». В исследовании Тодда предпринята попытка дать синтетический очерк соотношения идеологии, культурных институтов и центральных литературных текстов пушкинской эпохи. В книге Вацуру внимание оказалось сосредоточено на детальном изучении

1910–1920-х годов и определенное воздействие авангардной парадигмы на эволюцию русского формализма (*Flaker, Alexandar*. Быт // *Russian Literature*, 1986, XIX. P. 1–14). В свете этой статьи становится ясно, что рассматривать теорию «литературного быта» исключительно как реакцию на экспансию марксистской социологии — значит упрощать проблему. Многосторонние связи теории «литературного быта» с культурным и социальным контекстом рассмотрены в работе: *Чудакова М. О. Социальная практика, филологическая рефлексия и литература в научной биографии Эйхенбаума и Тынянова* // Тыняновский сборник: Вторые Тыняновские чтения. Рига: Зинатне, 1986. С. 103–131.

⁵ Лидер и виднейший представитель этого научного направления Стивен Гринблатт — один из немногих западных гуманитариев за пределами круга славистов, внимательно прочитавших работы Лотмана по семиотике культуры. См. сочувственные ссылки на них в статье: *Greenblatt, Stephen*. Towards a Poetics of Culture // *The New Historicism*. Edited by H. Aram Veesser. New York and London: Routledge, 1989. P. 8, 14. Как следует из этих ссылок, именно у Лотмана Гринблатт позаимствовал само понятие «поэтика бытового поведения» («the poetics of everyday behaviour»), хотя и наполнил его несколько иным смыслом.

истории *одного* литературного общества 1820-х годов. Но — при всей разнице подходов — исследователи продемонстрировали преемственную связь с наследием позднего формализма и тонкое понимание диалектики «литературного быта» и «литературности».

Однако в последнее время в самом понимании задач литературоведения произошли существенные изменения. Главной задачей изучения словесности сейчас считается «демистификация» литературы, лишение ее «привилегированного положения» в ряду «социальных практик». Господствующие на Западе левые теоретические школы (разновидности мутировавшего марксизма) учат, что литература (в особенности так называемая «классическая», «каноническая» литература) — это форма утверждения правящим классом (=полом, расой) своей социально-экономической и культурной гегемонии. Освобождение от литературы мыслится как форма освобождения (пока хотя бы символического) от власти гегемона. Пафос современных литературоведческих исследований — пафос разложения литературы, редукции ее до социальных, идеологических, экономических механизмов эксплуатации и сопротивления.

Многие либеральные постсоветские исследователи по сути методологически смыкаются с неомарксизмом: «так называемая» классическая русская литература рассматривается ими почти исключительно как арена борьбы репресслируемых буржуазно-рыночных тенденций с патримониальной цивилизацией.

* * *

Сводя в книгу очерки разных лет, я не без некоторого удивления обнаружил, что мои устремления *прямо противоположны* тем подходам, что господствуют сейчас и в западной неомарксистской методологии, и в отечественной «либеральной» литературной социологии. Если задача сторонников новых постгуманитарных веяний — выявить за литературой борьбу экономических и политических интересов либо, на худой конец, столкновение «идеологий», то я, наоборот, за подобной борьбой стремлюсь увидеть манифестацию *литературности*.

Значительная часть историй, рассказанных в этой книге, посвящена литературно-журнальным полемикам. «Высокая теория» традиционно относится к подобному материалу с настроенным недоброжелательством. Так, М. М. Бахтин в знаменитом интервью журналу «Новый мир» (1970) заявил: «...Так называемый литературный процесс эпохи, изучаемый в отрыве от глубокого анализа культуры, сводится к поверхностной борьбе

литературных направлений, а для нового времени (особенно для XIX века), в сущности, к газетно-журнальной шумихе, не оказавшей существенного влияния на большую, подлинную литературу эпохи. Могучие, глубинные течения культуры (в особенности низовые, народные), действительно определяющие творчество писателей, остаются не раскрытыми, а иногда и вовсе не известными исследователям. При таком подходе невозможно проникновение в глубину больших произведений и сама литература начинает казаться каким-то мелким и несерьезным делом»⁶.

Отчасти Бахтин прав: *редукция* «литературного процесса эпохи» до газетно-журнальной шумихи почти с неизбежностью ведет к инверсии причин и следствий, к выводам вроде того, что журнальная полемика Булгарина и «литературных аристократов» была следствием коммерческого успеха булгаринского романа «Иван Выжигин» и глубокой зависти, которую испытали к этому успеху Пушкин, Вяземский, Дельвиг и прочие представители патерналистской культуры, тормозившие благотворный процесс коммерциализации словесности...

Дело, однако, не в газетно-журнальной шумихе как таковой, а в ракурсе, под которым она рассматривается. Некоторые из литературных полемик первой трети XIX века первоначально действительно поражают мелочностью поводов и отсутствием ясно выраженных принципиальных позиций. Но, распутывая клубок из взаимных обвинений в глупости, косности, невежестве или политической неблагонадежности, мы в итоге почти всегда можем обнаружить, что в сердцевине этого клубка — серьезные литературно-эстетические разногласия, свидетельствующие о чрезвычайно сложных и динамичных процессах, происходивших в недрах литературы. Сами участники зубодробительных литературных стычек в ходе взаимных пререканий могли о таких процессах даже не догадываться — литература, которой они были причастны, действовала по верхову их субъективной воли.

Несомненный литературно-эстетический субстрат обнаруживается даже в тех сферах, где, казалось бы, первенствующая роль принадлежит отчетливо внелитературным факторам, — в частности, в таком специфическом явлении русской культурной жизни, как *донос*. Доносы первой трети XIX века нередко строятся на отчетливом «фиктивном» субстрате, имеют свою поэтику и порой срастаются с «настоящими», каноническими

⁶ Бахтин М. М. Ответ на вопрос редакции «Нового мира» // Бахтин М. М. Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1979. С. 330.

для эпохи литературными жанрами — публицистическими, беллетристическими и поэтическими. Даже донесения Фаддея Булгарина в III Отделение, выполняющие отчетливые прагматические функции, питаются романической парадигматикой, широко используют романические коллизии, строят образы врагов отечества по моделям романских персонажей. Между тем на основании болгарских доносов создавались годовые отчеты III Отделения, предлагавшие параметры для внешней и внутренней государственной политики... Таким образом, через беллетризованный донос происходило проникновение литературного модуса в политическую сферу, «олитературивание» самого политического сознания. Николай I, достаточно равнодушно относившийся к русской литературе, поневоле сообразовывался в своей деятельности с болгарскими фиктивными моделями. Донос, таким образом, оказывался не столько прискорбным свидетельством подчинения литературы политике патерналистского общества, сколько фактором влияния литературы на политику. Соответствующие вопросы затронуты в книге по необходимости бегло, но можно надеяться, что сама их постановка стимулирует дальнейшее изучение проблемы.

Итак, суммируем: литературный быт, каким он предстает в этой книге, — не столько форма воздействия социума на литературу и даже не столько вспомогательный фактор литературной эволюции, сколько канал, через который сама литература воздействует на соседние (а опосредованно — и на более отдаленные) «ряды» или «социальные практики»: культуру, политику, формы социальной жизни. Изучение литературного быта, следовательно, намечает перспективы не для демистификации литературы, не для редукции ее до пункта пересечения противоборствующих социальных сил, а для изучения путей «текстуализации» культуры — явления, осмысление которого является насущной задачей современных гуманитарных дисциплин.

* * *

Теперь несколько слов о замысле и структуре книги.

Первоначально предполагалось, что книга будет представлять собою коллекцию этюдов, посвященных вполне самостоятельным историко-литературным «сюжетам»⁷. Я надеялся, что

⁷ Составившие книгу очерки написаны в 1980–1990-х годах. Большинство из них печатается впервые. Исключения следующие: первоначальная версия очерка «Примерные уроки» была опубликована под названием

они во всяком случае могут представлять интерес как для специалистов (поскольку содержат некоторые неизвестные факты или предлагают новую интерпретацию фактов известных), так и для более широких кругов любителей словесности (поскольку многие из рассказанных историй занимательны если не по изложению, то по материалу)...

Но когда очерки оказались собраны воедино, обнаружилось, что между ними существует более тесная внешняя и внутренняя связь. Очерки связаны между собою резонантным принципом: проблемы, едва намеченные в ходе изучения одного сюжета, часто выдвигаются на первый план в следующем. Кроме того, через разные тексты проходят общие герои. Они изменяются вместе с литературой и литературной ситуацией: новаторы превращаются в консерваторов (а иногда и наоборот!), союзники делаются непримиримыми врагами (иногда — но реже — тоже бывает наоборот), и т. д. Так история литературы отражается в судьбах людей.

Большая часть составивших книгу очерков построена в форме историко-литературных новелл. Это означает, что отношение «фактов» выстраивалось в сознании автора (и, соответственно, в его тексте) по новеллистическому принципу: с завязкой (часто содержащей в себе некую загадку), запутанными (иногда наводящими на ложный след) перипетиями и развязкой (иногда неожиданной).

Со времени первых «метаисторических» работ Хайдена Уайта сделалось аксиомой положение, согласно которому «история» — это конструирование событий по образу и подобию тех или иных повествовательных форм⁸. Для кого-то подобный вывод мог бы послужить аргументом против занятий историей, в том числе и историей литературы (поскольку это не путь к истине, а только блуждание в лабиринте нарративов). Я, напротив,

«Неизученный эпизод полемики о старом и новом слогe» в «Известиях АН СССР. Серия литературы и языка» (1984, № 1); для настоящего издания очерк переработан и дополнен. Очерк «У истоков мифа о „новом слогe“» впервые увидел свет во 2-м выпуске «Лотмановского сборника» под ред. Е. Пермякова (М.: О.Г.И; РГГУ, 1997); «Конец благих намерений» — в «Новом литературном обозрении» (1999, № 40); «Бедная Певница» — в том же журнале (2000, № 43). Последние три текста печатаются с незначительными изменениями и исправлениями.

⁸ См.: White, Hayden. *Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973; White, Hayden. *Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978.

вижу в Уайте союзника: он уместно напомнил о границах исследовательской мысли — о том, в частности, что они обусловлены культурной, в первую очередь литературной традицией. Это — лишний аргумент в пользу мысли о глубокой текстуализированности всей культуры.

Выставленное в заголовке обозначение — «Пушкинская эпоха» — указывает на определенный хронологический период: даты жизни А. С. Пушкина известны всем. Внутри этого периода в свою очередь довольно отчетливо выделяются две эпохи. Первую из них (1800–1810-е годы) можно назвать «эпохой Карамзина». В эту пору фигура Карамзина находится в центре литературной жизни: на Карамзина нападают и ему поклоняются, его творчество — объект жесточайшей критики и эстетический ориентир. К этой же эпохе относится и начало литературной карьеры Пушкина. Без знания литературной жизни первых двух десятилетий XIX века невозможно понять пушкинских текстов — как ранних, так и позднейших. «Время Карамзина», таким образом, — это *уже* и начало времени Пушкина. Об этой эпохе — пять первых очерков.

Следующие очерки посвящены тому периоду, когда Пушкин начинает играть в русской литературе центральную роль. В некоторых из них сам Александр Сергеевич действует только на заднем плане и лишь на короткое время выходит вперед, однако и его личность, и его сочинения присутствуют в подтексте большинства литературных дебатов 1820-х годов. Пушкинское творчество так или иначе «вмешивается» в литературные конфронтации, даже когда сам творец не принимает в них непосредственного участия... События последнего очерка («Незадачливый наследник») в значительной своей части разворачиваются уже после смерти Пушкина, в начале 1840-х годов. «Литературная личность» Пушкина продолжала активно участвовать в литературной жизни и после смерти Пушкина-человека...

У истоков мифа о «новом слоге»

*Кого и зачем цитировал адмирал Шишков
в «Рассуждении о старом и новом слоге Российского языка»*

ПОЛЕМИКА О СТАРОМ И НОВОМ СЛОГЕ И ЕЕ МИФОЛОГИЯ

Так называемая «полемика о старом и новом слоге» по праву считается одним из самых ярких событий литературной жизни начала XIX века. «Но собственно в истории языка, — несколько неожиданно замечает выдающийся лингвист Г. О. Винокур, — вся эта знаменитая полемика не имела почти никакого значения. Интерес ее не лингвистический, а гораздо более широкий, мировоззрительный»¹. Замечание это, по видимости парадоксальное, верно в том смысле, что толкование языковых вопросов оказывалось здесь производным от идеологических, эстетических и общекультурных позиций спорящих сторон. Специфическая опасность, возникающая перед исследователем «полемики о старом и новом слоге», состоит в соблазне рассматривать высказанные в ходе ее оценки и обвинения как *объективные характеристики*, которые можно без изменений переносить со страниц журналов начала XIX века на страницы научных исследований. Такой механический перенос был бы крайне рискованной операцией. В зеркалах взаимных оценок участники полемики нередко предстают не столько выразителями реальных языковых и эстетических позиций, сколько полемическими масками, литературными персонажами, носителями фиктивных свойств и качеств, подчас весьма отдаленно связанных с реальностью. Все высказывания участников споров о языке нуждаются в своеобразной «расшифровке», в объяснении их всем контекстом полемики, выработанной в ходе взаимных

¹ Винокур Г. О. Русский язык: Исторический очерк // Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. М.: Учпедгиз, 1959. С. 93.

перебранок символикой и риторикой. В противном случае возникает опасность серьезной деформации историко-культурной перспективы.

Наглядный пример полемической деформации реального положения вещей приведен в классическом исследовании Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского «Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры»: «Когда В. Л. Пушкин пишет, например, в послании „К В. А. Жуковскому“ 1810 г.

Не ставлю я нигде ни *семо*, ни *овамо*

или в послании „К Д. В. Дашкову“ 1811 г.:

Свободно я могу и мыслить и дышать
И даже *абие* и *аще* не писать,

то это, в сущности, имеет символический характер, так сказать, боевого вызова, т. к. как раз эти слова не встречаются, в общем, и у его литературных противников: это не что иное как слова-символы или, если угодно, слова-жупелы².

Рассмотренный Ю. М. Лотманом и Б. А. Успенским случай выразителен именно своей очевидностью. Возможны случаи значительно более сложные: когда, например, в подкрепление обвинений и нападок оппонентами приводится определенный «фактический материал». Однако корректность использования и такого материала требует тщательного анализа. В первую очередь это относится к сочинениям А. С. Шишкова, содержащим исключительно обширный цитатный пласт. Эти цитаты (и авторские комментарии к ним) доньше используются как один из важных источников для описания «нового слога». На основании этих материалов, собственно, и утвердилось мнение, что хотя языковая и литературная программа Шишкова была утопической и реакционной, зато критика им «изысканности и манерности „нового“ языка карамзинской школы» была обоснованной, справедливой и сокрушительной.

² Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры («Происшествие в царстве теней, или Судьбина русского языка» — неизвестное сочинение Семена Боброва) // Успенский Б. А. Избранные труды. Т. II. Язык и культура. М.: Гнозис, 1994. С. 378.

«НАЗИДАЕТ ВООБРАЖЕНИЕ К ВЯЩЕМУ
УЧАСТВОВАНИЮ»: ГИПОТЕЗЫ ОБ ИСТОЧНИКАХ
ПОЛЕМИЧЕСКИХ ИНВЕКТИВ А. С. ШИШКОВА

В качестве наиболее яркого образца такого рода критики исследователи любят приводить один и тот же полемический пассаж из «Рассуждения...», состоящий из примеров «нового слога» и «переводов» новомодных фраз на «правильный» (resp. «старый») язык. С большей или меньшей полнотой он воспроизводился в ряде классических работ по истории русского языка и словесности начала XIX века³, перешел в учебники и общие пособия — русские и зарубежные⁴ и в конце концов приобрел поистине хрестоматийную известность. Постоянство исследователей объяснимо: примеры, приведенные Шишковым, способны и по сей день создавать острый комический эффект. Следуя традиции, напомним и мы этот знаменитый пассаж, наглядно вскрывающий манерность, педантичность и антинародность «нового слога»:

Наконец мы думаем быть Оссиянами и Стернами, когда, рассуждая о играющем младенце, вместо: как приятно смотреть на твою молодость! говорим: *коль наставительно взирать на тебя в раскрывающейся весне твоей!* Вместо: луна светит: *бледная геката отражает тусклые отсветки.* Вместо: окна заиндевели: *свирепая старица разрисовала стекла.* Вместо: Машинька и Петруша, премилые дети, тут же с нами сидят и играют: *Лолота и Фанфан, благороднейшая чета, гармонируют нам.* Вместо: пленяющий душу Сочинитель сей тем больше нравится, чем больше его читаешь: *Элегический автор сей побуждает к чувствительности назидает воображение к вящшему участию.* Вместо: любимея его выражениями: *интересуемся назидательностию его смысла.* Вместо: жаркий солнечный луч, посреди

³ См., например: *Тынянов Ю. Н.* Архаисты и Пушкин // Тынянов Ю. Н. Архаисты и новаторы. Л.: Прибой, 1929. С. 97–98; *Виноградов В. В.* Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX веков. Изд. 2. М.; Л.: Учпедгиз, 1938. С. 165; *Мордовченко Н. И.* Русская критика первой четверти XIX века. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1959. С. 79 и др.

⁴ См., например: *Ефимов А. И.* История русского литературного языка. Изд. 2. М., 1955. С. 211; *Шкляревский Г. И.* История русского литературного языка (вторая половина XVIII–XIX в.). Харьков, 1967. С. 59; *Горшков А. И.* История русского литературного языка. М., 1969. С. 311–312 (все эти книги не раз переиздавались); *Brown, William Edward.* A History of 18th Century Russian Literature. Ann Arbor: Ardis, 1980. P. 591, и мн. др.

лета, понуждает искать прохладной тени: *в средоточие лета жгущий лев уклоняет обрести свежесть*. Вместо: око далеко отлучает простирающуюся по зеленому лугу пыльную дорогу: *многоздный тракт в пыли являет контраст зрению*. Вместо: деревенским девкам на встречу идут цыганки: *пестрыя толпы сельских орад сретаются с смуглыми ватагами пресмыкающихся Фараонит*. Вместо: жалкая старушка, у которой на лице написаны были уныние и горечь: *трогательной предмет со страдания, которого унылозадумчивая физиогномия означала гипохондрию*. Вместо: какой благорастворенный воздух! *Что я обоняю в развитии красот возжеленнейшего периода!* и проч.⁵

Откуда заимствовал автор «Рассуждения...» эти курьезные образчики «нового слога»? Как ни странно, удовлетворительный ответ на такой вопрос затруднительно получить до сегодняшнего дня. Сам Шишков, как известно, не обозначил поименно никого из критикуемых авторов, что впоследствии расценивал как свидетельство собственного беспристрастия⁶. Вместе с тем, Шишков не раз упоминал о «множестве», и даже о «сотнях» книг, из которых он будто бы позаимствовал примеры «несвойственных языку нашему речей». Понятно, что все эти обстоятельства расхолаживали эвристический пыл исследователей: просматривать сотни книг в поисках нескольких цитат казалось не самой благодарной задачей.

Впрочем, некоторые авторы перед сложностью задачи не останавливались и атрибутировали приведенные Шишковым примеры с завидной смелостью и определенностью. Так, М. А. Кустарева увидела в цитированном нами полемическом пассаже «параллели *карамзинских фраз* (т. е. нового слога) и предложений старого слога (т. е. докарамзинского письма)». Для нее не подлежит сомнению, что Шишков здесь «всячески высмеивает „кудрявость“ прозы Карамзина»⁷ (курсив наш. — О. П.).

⁵ Шишков А. С. Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка. СПб., 1803. С. 58–59.

⁶ «Я нигде в книге моей не говорил о господине Карамзине, и не только никого не назвал в ней по имени, но даже и о заглавии их книг, из которых выбирал я несвойственные языку нашему речи, отнюдь не упомянул. Следовательно с моей стороны строжайшим образом соблюдена была вся возможная скромность» (Шишков А. С. Прибавление к сочинению, называемому Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка... СПб., 1804. С. 143).

⁷ Кустарева М. А. История русского литературного языка. Часть 1. М.: Просвещение, 1971. С. 128.

Почти одновременно с Кустаревой шишковские примеры «нового слога» атрибутировал Карамзину автор американского «конденсированного перевода» «Очерков истории русского литературного языка...» В. В. Виноградова Лоренс Томас. Сопоставление «старого» и «нового» слога, сделанное Шишковым, предваряется в этом переводе такой фразой (ее заключительная часть не имеет прямого соответствия в оригинале): Shishkov provided interesting parallels between the new style and the «old» (with examples for new style taken from Karamzin)⁸.

Скорее всего, атрибуция Кустаревой и ее американского коллеги оказалась инспирирована одним и тем же источником, а именно — книгой В. В. Виноградова. Виноградов, обозначая основные моменты полемики о старом и новом слоге, воспроизвел примеры «нового слога» из приведенного выше полемического фрагмента книги Шишкова. Однако для удобства изложения он присоединил к ним пример совсем из другого места шишковского трактата — действительно почерпнутый Шишковым у Карамзина («Когда путешествие сделалось потребностью души моей»). Виноградов, указывая на авторство Карамзина, имел в виду только эту фразу. Однако — вероятнее всего по техническим причинам — получилось так, что имя Карамзина замкнуло *весь* приведенный Виноградовым список шишковских нападок. Эта техническая оплошность и привела к неверной атрибуции, которая как бы «подкреплялась» авторитетом выдающегося историка языка.

Американский переводчик — разумеется, не имевший возможности проверить по первоисточникам бесчисленные цитаты, приведенные в «Очерках...» со свойственной Виноградову щедростью, — оказался буквально обречен на ошибку (что, впрочем, нисколько не умаляет исключительно важного значения его труда для всей англоязычной славистики). В случае же с отечественным историком языка перед нами обычный пример искажения, возникающего при заимствовании сведений из вторых рук⁹.

⁸ *Vinogradov [V. V.] The History of the Russian Literary Language from the Seventeenth Century to the Nineteenth. A Condensed Adaptation into English with an Introduction by Lawrence L. Thomas. Madison, Milwaukee and London: The University of Wisconsin Press, 1969. P. 96. В оригинале: «Особенно любопытны приведенные Шишковым фразовые параллели старого и нового слога» (Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX веков. С. 164).*

⁹ Этим обстоятельством, видимо, объясняется и ряд других любопытных атрибуций и датировок, которые можно в обилии отыскать в книге

Другие исследователи были осторожнее и обычно обходились обтекаемыми формулами, которые хотя и не прибавляли определенности, однако от грубых ошибок застраховывали. Согласно их утверждениям, Шишков воспроизвел с ироничными комментариями «выписки из сочинений сторонников Карамзина»; осмеял «карамзинистов»; подверг критике «последователей Карамзина» и т. п.

Подобные формулы переходили из одной работы в другую, покуда не была предпринята попытка разрешить вопрос об источниках цитат в сочинении Шишкова принципиально по-новому. Занимающему нас полемическому пассажи (а также предваряющим его страницам — о чем ниже) специальную статью посвятил московский языковед-марксист А. К. Панфилов. Признавая, что «подлинные фразы Карамзина и карамзинистов в сочинении Шишкова, конечно, есть», А. К. Панфилов вместе с тем утверждал, что именно в наиболее знаменитых местах трактата «мы имеем дело с образчиками пародии, принадлежащими перу самого Шишкова»¹⁰. Итак, не цитаты, а псевдоцитаты, не «выписки из сочинений сторонников Карамзина», а пародии на них!..

В системе аргументации профессора Панфилова (подчас довольно замысловатой) решающее место принадлежит аргументам стилистического порядка. Они заслуживают внимания.

Обратимся к интересующим нас фразам,— пишет А. К. Панфилов. — Вот одна из них, едва ли не самая броская: «Пестрые толпы сельских оред сретаются с смутлыми ватагами пресмыкающихся фараонит». Здесь мы находим милый сердцу Шишкова

М. А. Кустаревой. Так, на одной лишь с. 129 (соположенной той, из которой мы почерпнули информацию о «кудрявости» прозы Карамзина) можно узнать, во-первых, что знаменитая рецензия на Шишкова, прежде всеми атрибутировавшаяся П. И. Макарову, принадлежит «видному последователю Карамзина П. И. Маркову» (двукратное упоминание этого видного деятеля, кажется, исключает возможность простой опечатки) и, во-вторых, что она опубликована в 24-м номере «Московского Меркурия» (до появления книги Кустаревой было известно всего 12 номеров этого журнала). Монография Кустаревой, одобренная к печати кафедрой русского языка Московского заочного педагогического института, чрезвычайно наглядно демонстрирует достоинства заочного образования.

¹⁰ Панфилов А. К. Из истории борьбы вокруг «нового слога» // Вопросы истории русского языка XIX–XX веков: Межвузовский сборник научных трудов. М.: Изд. МГПИ им. В. И. Ленина, 1988. С. 6.

архаический глагол *сретаться*, который для речи карамзинистов не был характерен. Подобные архаизмы вызывали насмешки со стороны ревнителей «нового слога»...

Другой пример: «Элегический автор сей, побуждая к чувствительности, назидает воображение к вящему участию». Тут, наряду с типичными «карамзинскими» словами типа *элегический*, выставленными на посмешище, выступают слова *назидать*, *вящий*, которые были свойственны речи Шишкова, но не карамзинистов. Да и слово *участие*, с их точки зрения, было тяжеловесным: они употребляли слово *участие*...

Пародийной является и следующая фраза, высмеянная Шишковым: «Коль наставительно взирать на тебя в раскрывающейся весне твоей!» «Весна твоя» — это, конечно, принадлежность «нового слога» и поэтического стиля начала XIX века. Однако начало этой фразы («Коль наставительно взирать...») опять же выдает «старый слог» самого пародиста. Явно не «карамзинские» слова и выражения из других фраз: *назидательность*, *уклоняет обрести*, *многоездный*, *обняю*, *вождеденнейший* и некоторые другие...¹¹

Следует отметить, что соображения А. К. Панфилова не лишены своей логики, поскольку они в полной мере отразили укоренившиеся в «массовой филологии» советской поры представления о том, как должны были писать «шишковисты» и «карамзинисты». Так что, пожалуй, А. К. Панфилов более последователен, чем иные из его коллег, которые придерживались сходных представлений, но почему-то были склонны видеть в шишковских примерах цитаты из сочинений карамзинистов, а то и самого Карамзина. Правда, А. К. Панфилов странным образом не осмыслил и не объяснил того обстоятельства, почему же Шишков, так и не сумевший в своих «пародиях» до конца отрешиться от навыков «старого слога», совершенно не допускает подобных оплошностей в своих «позитивных» примерах (то есть в «переводах» с нового слога на старый). Но это уже иной вопрос.

Однако, несмотря на все остроумие соображений А. К. Панфилова, вывод о «фиктивном», чисто пародийном характере подобранных Шишковым примеров не делается от этого более справедливым. Приведенные Шишковым фразы восходят все же к реальному источнику. В знаменитом пассаже все примеры «нового слога» почерпнуты из «русского сочинения»

¹¹ Панфилов А. К. Из истории борьбы вокруг «нового слога». С. 7–9.

«Утехи меланхолии», автором которого, как недавно установлено, был литератор-дилетант А. Ф. Обрезков¹².

«РАССУЖДЕНИЕ О СТАРОМ И НОВОМ СЛОГЕ»
И «УТЕХИ МЕЛАНХОЛИИ»

В наши задачи не входит характеристика «Утех меланхолии» как литературного явления. Следует только отметить, что по своему жанру и содержанию это достаточно характерное для «сентиментальной» эпохи сочинение, составленное из бессюжетных фрагментов, призванных запечатлеть различные состояния утонченно-чувствительной природы сочинителя. Однако с точки зрения эстетической этот опус далеко выходит за пределы заурядной графомании и в этом смысле может рассматриваться как своего рода литературный памятник.

Вот те пассажи из «русского сочинения» Обрезкова, которые снабдили Шишкова поистине драгоценным материалом (курсивом выделяем выражения, в точном или перифразированном виде воспроизведенные в «Рассуждении о старом и новом слоге»):

Детское прыганье внушает мне безмятежность забав твоих, сей лучший дар Неба смертному! *Коль наставительно взирать на тебя в разкрывающейся весне твоей!* Как резво скачешь пред камином, любуясь на алой огонь, тебя прельщающий! Трещат снедаемые дрова, и ты лепечешь, быстро отскакиваешь, дребезжишь в окна комнаты, сквозь кои *бледная Геката отражает тусклые отсветки*, мгновенно стремишься с нечто значущим вниманием, хватаешь ручонками бюсты, целуешь Сократа, Цицерона, Демосфена, Гервея, между тем в гемисфере свищут яркие Аквилоны; мы *при разрисованных свирепой старицею стеклах* занимаемся книгою. Ты, будто предчувствуя ее содержание, плесками одобряешь. *Лолота, Фанфан, благороднейшая чета лестно гармонируют нам.* Почтенный Милорд! преданием твоим Дюмениль вдохновенный, с какою опытностию повест-

¹² См.: *Виницкий И. Ю.* «Невинное творенье» // Русская речь, 1994, № 2. С. 3–10. Перепечатано в расширенном виде: *Виницкий И. Ю.* «Утехи меланхолии»: «Невинное творенье» в литературном водовороте рубежа XVIII–XIX веков // *Лекманов О.* Опыты о Мандельштаме; *Виницкий И.* Утехи меланхолии М.: Изд. Московского культурологического лица, 1997 (=Ученые записки Московского культурологического лица № 1310. Сер.: Филология. Вып. 1–2). С. 170–186. С первой версией своей статьи И. Виницкий любезно познакомил меня в рукописи.

вует судьбу близнецов, натурою усыновленных. *Элегический Автор сей побуждая к чувствительности, назидает воображение к вящему участию.*

«Юнейшему собеседнику моего уединения». ¹³

С удовольствием усевшись за столик, пьем чай; обращаемся к книгам, читаем Гимн, исполненный красот неподражаемых, *интересуемся назидательностию его смысла, угадываем достойнейшего Автора...*

«Удовольственное время препровождения». ¹⁴

В средоточие лета жгуций Лев уклоняет обрести свежесть. К удовольствию старый вертоград довольно имеет тени, жар полудня прохлаждающий (sic. — *О. П.*).— Осеняемый его сводом, устремляю свой взор в освещенное солнцем поле. Прекрасная картина! отлично удовольствие виды! — *Многоездный В.... тракт в пыли являет контраст зрению: пестрые толпы сельских Ореад* путешествуя в М... Р... к золотой жатве, восклицают песни веселия; *им сретаются смуглые ватаги пресмыкающихся Фараонит*, те известные шарлатаны, обманывающие легковверных*.

«Жребии человечества». ¹⁵

...Я при тихоумилительном помавании ветвей листвяных возсежу в цветнике благоухающем <...> вдруг к изумлению моему предстала пред меня незнаемая женщина, лет около пятидесяти.— *Трогательный предмет, возбуждающий сострадание; унылозадумчивая физиогномия означала жесточайшую гипохондрию...*

«Жребии человечества». ¹⁶

¹³ Утехи меланхолии. Российское сочинение А. О. М., 1802. С. 4–5. Из содержания отрывка между прочим явствует, что речь в нем идет об известной повести Дюкре-Дюминилля «Лолота и Фанфан, или Приключения двух младенцев, оставленных на необитаемом острове». То обстоятельство (само по себе забавное), что Шишков предложил заменить Лолоту и Фанфана Машенькой и Петрушей, в данном случае свидетельствует, однако, не столько об избытке лингвистического патриотизма, сколько о том, что автор «Рассуждения» не особенно вникал в содержание сочинения, послужившего для него источником нелепых фраз.

¹⁴ Утехи меланхолии. С. 8.

* Вообще называемые Цигани. (Примечание А. Обрезкова. — *О. П.*)

¹⁵ Утехи меланхолии. С. 10.

¹⁶ Утехи меланхолии. С. 11.

Зиждитель непостижимый! что я ощущаю? что обоняю в развитии красот возделеннейшего периода? — О ты, нежносочувствующий П!... приходи в отверстые объятия твоего О...

«Жертва дружеству доброму, нежносочувствительному».¹⁷

Однако внимание Шишкова к «русскому сочинению» Обрезкова отнюдь не исчерпывается использованием соответствующих фрагментов в одном, хотя и чрезвычайно важном, полемическом пассаже. Самый этот пассаж служит как бы венцом длинного ряда сопоставлений — образцов «правильного», истинного красноречивого и прекрасного славенороссийского языка и противопоставленных им примеров безобразного «нового слога», описывающих сходные предметы и явления недолжным образом. Эти сопоставления также памятны историкам языка и словесности, хотя, по причине своей громоздкости, цитируются и не столь часто, как фрагмент об «Оссиянах и Стернах»¹⁸.

«Мы не хотим подражать Ломоносову и ему подобным, — саркастически заявляет здесь Шишков от лица „нынешних писателей“ и, приведя длинную выписку из „Риторики“ Ломоносова, резюмирует: — Это с лишком просто для нас. Слог наш ныне гораздо кудрявее, как например: *в сердечном убеждении приветствую тебя, ближайшая сенистая роща! прохладной твоей мрачности внимали мои ощущения разнеженные симфонию пернатых привитающих*»¹⁹.

Вызвавший саркастические комментарии Шишкова образчик «кудрявого» слога — не что иное, как точная цитата из «Утех меланхолии» (опус «Жертва дружеству доброму, нежносочувствительному», с. 18).

Приведя затем — конечно, в качестве «образцового» — ломоносовское «описание весны», Шишков вновь надевает на себя маску «нынешнего писателя» и продолжает:

Нет! Мы не жалуем ныне сей простоты, которую всяк разуметь может! Нет! мы любим так высоко летать, чтоб око ума читателя видеть нас не могло. Например: *Проникнутый эфирным*

¹⁷ Утехи меланхолии. С. 17.

¹⁸ Впрочем, они не обойдены молчанием в статье А. К. Панфилова. Эти сопоставления разобраны также в недавней книге: *Кожин А. Н. Литературный язык допушкинской России*. М.: Русский язык, 1989. С. 160.

¹⁹ *Шишков А. С. Рассуждение о старом и новом слоге...* С. 55.

*ощущением всевозраждающей весны, схватив мирный посох свой
милого мне Томсона, стремлюсь в объятия природы. Магической
Май! Зиждитель блаженства сердец чувствительных, осеняе-
мый улыбающимся зраком твоим сообщаются величественному
утешению развивающейся природы; юные красоты пленительно-
го времени в амброзических благовопиях развертываются во взо-
ре моем. Какое удовольствие быть в деревне при симпатических
предметах! Жажду созерцать неподражаемые оттенки рисую-
щихся полей и проч.²⁰*

Это место, в свою очередь, является *слегка сокращенной цитатой* из «Утех меланхолии» (очерк «Приятности Мая», с. 62–63)²¹.

Покончив с «магическим маем», автор «Рассуждения...» восклицает:

Вот нынешний наш слог! мы почитаем себя великими изобра-
зителями природы, когда изъясняем таким образом, что сами
себя не понимаем, как например: *в туманном небосклоне рису-
ется печальная свита галок, кои кракая при водах мутных, сооб-
щают траур периодический. Или: в чреду свою возвышенный
промисл предпослал на сцену дальнего существа новое двенаде-
сятмесячие; или: я нежусь в ароматических испарениях все-
возделенных близнецов. Дышу свободно благими Эдема, лобызаю
утехи дальнего рая, благоговя чудесам Содетеля, шагаю удо-
вольственно. Каждое воззрение превесьма авантажно. Я бы не
кончил сих или, естли бы захотел все подобные сему места вы-
писать из нынешних книг, которые не в шутках и не в насмеш-
ку, но уверительно и от чистого сердца, выдают за образец крас-
норечия.²²*

Шишков по своему обыкновению слукавил, ибо и для при-
веденных выписок просматривать множество книг ему не по-
требовалось. Он обошелся по большей части все теми же
«Утехами меланхолии»: первая фраза (о галках, вызывающих

²⁰ Шишков А. С. Рассуждение о старом и новом слоге... С. 56–57.

²¹ В оригинале после фразы «Зиждитель блаженства... во взоре моем» следовала еще фраза: «Паки воскресла мать и друг мой восхищенный, гово-
рю, и лечу наслаждаться ея прелестями» (с. 63; пунктуация Обрезкова.—
О. П.). Шишков, видимо, пропустил это место сознательно, как не вполне
подходящее для иллюстрации комизма цитаты.

²² Шишков А. С. Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка.
С. 57–58.

«траур периодический») взята из открывающего книжку опуса «К отчизне» (с. 1), последняя — из отрывка «Весенняя прогулка» (с. 30)²³.

Примерам, выбранным из «Утех меланхолии», Шишков, судя по всему, придавал принципиальное значение. О том, что они были исключительно важны для его концепции «нового слога», свидетельствуют и само их количество, и то композиционно важное место, которое они занимают в «Рассуждении о старом и новом слоге». Более того: помещая «Рассуждение...» (уже в середине 20-х годов) во второй том своих «Сочинений и переводов», Шишков снабдил его характерным примечанием, в котором специально остановился на злосчастных цитатах:

Со времени первого издания сей книги по сие время (чему прошло уже около 20 лет) не вижу я более (или по крайней мере гораздо меньше) тех странных мыслей и выражений, какие тогда попадались мне во многих книгах. Обыкновенная участь таких сочинений есть скорое их исчезание. Вообще слог с того времени поправился. Мы не чувствуем более *жажды созерцать неподражаемые оттенки рисующихся полей; не слышим более печальной свиты галок, кои, кракая, сообщают периодический траур; и кажется перестали нежиться в ароматических испарениях всевожделенных близнецов.* (См. в сем сочинении стран. 51 и следующие). Все это, благодаря *прехождению заблуждений*, кажется стало становиться смешно и жалко. Однакож следствия сих *поврежденных воображений* не скоро истребляются. Часто на место их заступают другие, едва ли лучшие. Здесь не место рассуждать о том, но заметим мимоходом, что доколе станем мы языку своему учиться из книг чужезычных, до тех пор не попадем на правый путь.²⁴

В конце «Утех меланхолии» Обрезков поместил этюд «Теки добродеющее время». В нем он обращался к «мудрой Природе» с трогательной мольбой: «...укрой меня от Зоилов века

²³ В последнем случае фраза слегка сокращена. В оригинале после «всевожделенных близнецов» следовало продолжение: «прыгаю, резвлюсь, подобно легкой серне на травах пахучих». Кроме того, в одном месте Шишков, по всей вероятности, описался: вместо *благими Эдема* (так в оригинале) у него *благими Эдема*. Эта описка незамеченной сохранена во всех переизданиях «Рассуждения».

²⁴ Шишков А. С. Собрание сочинений и переводов. Часть II. СПб., 1824. С. 1–2.

сего, да отдаленный презорства их, удел мой посвящу в жертву тебе, хвала Вышшаго» (с. 80).

Мудрая Природа, однако, распорядилась иначе: ее попущением злосчастный сочинитель немедленно оказался жертвой самого знаменитого зоила начала «века сего». Под пером адмирала Шишкова автор «Утех меланхолии» предстал если не главным, то, во всяком случае, характернейшим представителем системы «нового слога» — той стилистической системы, которую принято однозначно связывать с именем и деятельностью Карамзина.

ЧТО ПРИВЛЕКЛО ШИШКОВА В «УТЕХАХ МЕЛАНХОЛИИ»

Почему курьезная книжка третьестепенного, безымянного сочинителя стала предметом специального внимания Шишкова и приобрела в его литературно-языковой концепции столь важное значение?

Не в последнюю очередь потому, что в ней в простодушной, можно сказать, беззащитной наглядности предстали те внешние особенности «французско-русской речи», которые Шишков старался объявить неотъемлемой принадлежностью «нового слога».

В плане фразеологии книжка Обрезкова представляет собой доведенный до пародийного предела «стиль рококо», стиль предреволюционного французского салона, уходящий своими корнями в эпоху маньеризма. Это стиль «с своеобразными формами метафоризации, с специфически условными типами перифраз, не поддающихся непосредственной этимологизации и прямому предметному осмыслению, с манерною изысканностью приемов экспрессивного выражения»²⁵. Особенно яркие образчики такого стиля в «Утехах меланхолии» — фразы, вызвавшие злорадное веселье Шишкова: «В средоточие лета жгуций Лев уклоняет обрести свежесть»; «Я нежусь в ароматических испарениях всевожденных близнецов». Однако и другие сентенции Обрезкова связаны с этой риторической традицией самым тесным образом.

В лексическом плане (особенно важном для Шишкова, ибо именно в лексике он видит главное хранилище «внутренних

²⁵ *Виноградов В. В.* Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX веков. С. 164.

форм» и, следовательно, «мудрости» языка²⁶) Обрезков дает образчики едва ли не всех «чужезычных» форм, которые стали объектом специальных критических разборов и комментариев в трактате Шишкова (в частности, в разделе «Слова и речи выписанные из нынешних сочинений и переводов с примечаниями на оные»).

Это, во-первых, лексические и семантические кальки. Неприемлемость для Шишкова выражений типа «трогательный предмет сострадания» получает объяснение в свете его комментариев к сочинениям других авторов, употребляющих подобные же слова: «Слово *трогательно* есть совсем ненужной для нас и весьма худой перевод Французского слова *touchant*»²⁷. Нелепость выражения «в средоточие лета» обнаруживается комментарием к слову «сосредоточены»: «Читатель! Знаменование последнего глагола ищи во Французском лексиконе под словом *соцентрег*, ибо тщетно будешь ты искать его в Российских книгах и словарях»²⁸. «Развитие красот» отзовется в другом комментарии: «Что такое *развивать характер*? Похож ли этот бред на Руской язык?»²⁹ То же относится и к выражению «предмет сострадания»: «Мы слово *предмет*, последуя Французскому слогу, весьма часто без всякой нужды употребляем... Мне кажется мы скоро будем писать: *дрова суть предметы топления печей*»³⁰.

Второй пласт лексики, исключительно широко представленный в «Утехах меланхолии», — это прямые лексические заимствования. Смысл протеста против них с афористической определенностью выразился в комментарии Шишкова к одной из «новомодных фраз», приведенной в другом месте «Рассуждения»: «*Разные тоны составляют Гармонию, всегда приятную для слуха; Монотония бывает утомительна. Тон, Гармония, Монотония!* В двух строках три иностранных слова:

²⁶ См. об этом: *Виноградов В. В.* Язык Пушкина. М.; Л.: Academia, 1935. С. 59–75 (на с. 68 и след. — специально о «стилистических причинах славянофильского протеста против варваризмов»).

²⁷ *Шишков А. С.* Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка. С. 207.

²⁸ *Шишков А. С.* Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка. С. 183.

²⁹ *Шишков А. С.* Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка. С. 129.

³⁰ *Шишков А. С.* Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка. С. 188–189.

ктож незнающий Французского языка будет разуместь сии строки? Странное дело, ежели мы для чтения Российских книг должны обучаться Французскому языку!»³¹

Однако неумеренной склонностью к галлицизмам особенности языка и стиля «Утех меланхолии» отнюдь не исчерпываются. У этой книжки есть не менее, а пожалуй, и более выразительная стилевая черта: «французско-русские речения» контаминируются в ней со славянизмами. Именно это обстоятельство, как мы помним, ввело в заблуждение профессора Панфилова, не допуская подобного смешения под пером «настоящего» сторонника нового слога и предлагавшего видеть в соответствующих местах пародию.

Мы еще вернемся к вопросу об «эстетической платформе» А. Обрезкова в связи с его «славено-французским» стилем, а пока зададимся вопросом: почему «архаистические тенденции» безвестного собрата не встретили со стороны Шишкова никакого сочувствия и ни в малой степени не смягчили его сарказма?

Прежде всего потому, что щедрое использование славянизмов само по себе вовсе не служило для Шишкова признаком «правильного» языка. Хотя, по сравнению с ломоносовскими кодификационными установками, Шишков значительно расширил сферу использования «славенских» слов, однако представления об иерархичности словесности (и, следовательно, письменного языка) оставались для него незыблемыми. Выбор стилевого (и языкового) регистра для Шишкова по-прежнему жестко зависит от описываемого «предмета», от его места в тематической (и, соответственно, в жанровой) иерархии. Поэтому в писаниях, не имеющих отношения к высокому стилю (к разряду таких «безделок» он относил, конечно, и «Утехи меланхолии»), употребление высоких славянизмов представлялось Шишкову в принципе неуместным.

Не случайно образчикам «худого слога», выбранным из книжки Обрезкова, противопоставляется не «витийственный», а «простой», почти лишенный налета архаизации, вариант «старого слога». Принцип этот неуклонно соблюдается как в подборе примеров, взятых из Ломоносова, так и в принадлежащих самому сочинителю «Рассуждения...» переложениях высказываний Обрезкова на «правильный» язык: обыкновенные вещи,

³¹ Шишков А. С. Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка. С. 178.

по Шишкову, должны описываться обыкновенными словами. Борьба с «новым слогом» на соответствующих страницах «Рассуждения» ведется под лозунгом *простоты*.

Мышление иерархически организованными стилями делало принципиально невозможным смешение высокого стиля (сохраняющего наиболее тесную связь с «корнем и основанием» славенороссийского языка — языком «славенским») и «языка обыкновенных разговоров»: «Можно сказать: *препоياши чресла твоя и возьми жезл в руке твои* и можно также сказать: *подпояшься и возьми дубину в руки*, то и другое в своем роде и в своем месте может примерно быть; но начав словами *препояши чресла твоя*, кончить: *и возьми дубину в руки*, было бы смешно и странно»³².

Шишков выступает здесь против смешения «высокого», книжного, и «простого», разговорного, языков. Тем большее негодование и тем больший сарказм должно было вызывать у него подобное смешение, когда в качестве второго компонента выступала наиболее безобразная и испорченная форма «языка обыкновенных разговоров», утратившая живую связь со своим корнем и основанием, — русско-французское наречие. Смешение «высоких» славянизмов и безобразных француско-русских речений придавало писаниям Обрезкова в глазах Шишкова дополнительный острый комизм. Оно давало основание автору «Рассуждения...» всенародно предъявить наглядное доказательство вопиющего незнания сторонниками «нового слога» законов организации письменного стиля³³.

Однако никто из адептов «нового слова» в свою очередь не выступил на защиту злосчастного творца «Утех меланхолии». Более того: карамзинисты сразу же поспешили от него отмежеваться. Уже П. И. Макаров в рецензии на «Рассуждение о старом и новом слоге» писал: «Несколько сотен дурных фраз, которые Сочинитель Рассуждения о слоге выбрал из новых книг и рассмотрел с удивительным терпением, доказывают

³² Шишков А. С. Прибавление к сочинению, называемому Рассуждение о старом и новом слоге... С. 28. Целый ряд примеров подобного смешения, для Шишкова звучавших ярко комически, см. в кн.: *Виноградов В. В. Язык Пушкина*. 1935. С. 66.

³³ Едва ли случайно Шишков выбирает для издевательских комментариев и «переводов» именно «славяно-французские» места из «Утех меланхолии», почти полностью обходя стороной ничуть не менее нелепые образчики «чистого» галло-русского наречия, также обильно представленные в книге Обрезкова.

только, что у нас много дурных писателей, в чем еще никто не сомневался. Но судить по таким писателям, или по некоторым фразам, о Словесности нынешней вообще, будет так же несправедливо, как судить о Театре народа умного по сельским игрищам...»³⁴

Поскольку среди «дурных фраз», приведенных Шишковым, выпискам из «Утех меланхолии» принадлежит исключительно важное место, то определение «дурные писатели» de facto оказывается направленным не в последнюю очередь именно против Обрезкова.

Юный Батюшков в своем первом опубликованном стихотворении «Послание к стихам моим» (где, кстати, вышучивается и сам адмирал Шишков с его «Рассуждением») задел Обрезкова еще более непосредственно и еще более адресованно: Обрезков, видимо, послужил одним из основных «прототипов» для образа графомана Безрифмина³⁵.

Но совершенно особая роль была уготована «Утехам меланхолии» в кругу московских «младших» карамзинистов. П. А. Вяземский, вспоминая «особый дар» Жуковского отыскивать нелепые книги, которые «служили ему врачом пособием для возбуждения здорового смеха, для благорастворения селезенки, roug ерапоиг la gate, как говорят Французы», свидетельствует: «Помню между прочим книгу *Утех меланхолии*, которая утешала и потешала нас до слез»³⁶. То, что эти «Утехи» утешали карамзинистский кружок еще долго, подтверждается письмом Вяземского к А. И. Тургеневу от 1819 года, заключающим в себе цитату из книжки Обрезкова³⁷.

Судя по всему, Жуковский не только «отыскал» «Утехи меланхолии» для благорастворения своей селезенки и услаждения своих друзей, но и *знал*, что именно это сочинение снабдило Шишкова множеством ярких примеров. На полях принадлежащего ему экземпляра «Рассуждения» он по поводу

³⁴ <Макаров П. И.> Критика на книгу под названием: Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка... // Московский Меркурий, 1803, № 12. С. 177.

³⁵ См.: *Проскурин О.* «Победитель всех Гекторов халдейских»: К. Н. Батюшков в литературной борьбе начала XIX века // Вопросы литературы, 1987, № 6. С. 62–63.

³⁶ <Вяземский П. А.> Выдержки из старых бумаг Остафьевского архива // Русский архив, 1864. Т. 4. Стлб. 479.

³⁷ Остафьевский архив князей Вяземских. Т. I. СПб., 1899. С. 306.

приведенных Шишковым выписок из «Утех...» сделал красно-речивую помету: «Сумбур»³⁸. Трудно предположить, что, «отыскав» «Утехи меланхолии» и сделав их предметом кружкового веселья, Жуковский не заметил в них фраз, знакомых по внимательно и пристрастно проштудированной книге Шишкова. Скорее всего об этом знали и в московском окружении Жуковского.³⁹

Почему же карамзинисты не пожелали признать творца «Утех меланхолии» за своего? Означают ли все их насмешки, что адепты «нового слога» предусмотрительно отмежевались от Обрезкова как от опасного пародического двойника Карамзина, невольно обнажившего самые уязвимые стороны «школы» и способного самим фактом своего существования дискредитировать «новый слог» в целом? Ведь в литературе и отрицательные величины иногда играют немаловажную

³⁸ Канунова Ф. З., Янушкевич А. С. В. А. Жуковский — читатель и критик А. С. Шишкова // Библиотека В. А. Жуковского в Томске. Часть I. Томск: Изд. Томского университета, 1978. С. 114.

³⁹ По-видимому, именно к кругу карамзинистов восходят сведения о какой-то связи «Утех меланхолии» с трактатом Шишкова, отразившиеся в первых работах по истории русской литературы нового времени. Так, А. Галахов в своей «Истории русской словесности», приведя в извлечениях «длинный список» представленных Шишковым «крайностей» нового слога, писал: «Так как список Шишкова многим обаян „российскому сочинению“ А. О. (Орлова) „Утехи меланхолии“ (1802), то выписка из этой книжки будет нелишнею для знакомства со смешными крайностями нового слога и вместе с такими же крайностями сентиментализма» (Галахов А. История русской словесности, древней и новой. Изд. 3. М., 1894. Т. 2. С. 69). На с. 69–70 им приведена обширная выписка из статьи «Чувство приятного». Однако среди приведенных Галаховым примеров «крайностей нового слога», взятых из книги Шишкова, нет ни одного, который восходил бы к «Утехам меланхолии»! В свою очередь воспроизведенная им «выписка» из книжки А. О. (фантастическая атрибуция ее А. Орлову тоже весьма знаменательна) также никак не связана с «Рассуждением о старом и новом слоге». Галахов был опытным литератором и элементарные правила демонстрации «параллелей» и «источников» знал хорошо. То, что в данном случае он такой демонстрацией пренебрег, может свидетельствовать, видимо, только об одном: сам Галахов никаких параллелей не обнаружил, а воспроизвел сведения о связи «Утех меланхолии» и «Рассуждения...», услышанные от кого-либо из живых носителей «предания». Скрупулезно проверять эти сведения он не стал, просмотрел книжку бегло и ограничился случайной выпиской. Этим несоответствием между утверждением и приведенным материалом объясняется и то обстоятельство, что сообщение Галахова не было принято во внимание исследователями полемики о старом и новом слоге и в научную литературу не вошло.

роль и способны выступать представителями — и невольными могильщиками — целого направления.

Однако в данном случае дело заключалось все-таки не в этом. Сочинитель «Утех меланхолии» вообще не был карамзинистом, и его писания имели к «новому слогу» самое отдаленное отношение.

«СЛАВЕНО-РУССКИЙ СЛОГ»

Для прояснения вопроса необходимо на некоторое время оставить «Утехи меланхолии» в покое и хотя бы пунктирно обрисовать ситуацию, которая предшествовала полемике о старом и новом слоге и которая, в конечном счете, инспирировала эту полемику и задала ее направленность.

Некогда расхожее представление о том, что Шишков выступал в этой полемике в качестве консерватора, пытавшегося сохранить обветшалую систему трех стилей от натиска энергичных представителей сентиментализма и предромантизма (а то и романтизма!), само по себе давно обветшало. Если это представление и сохраняет кое у кого свой кредит, то исключительно в силу консервативности историков языка и невежества историков литературы. В свое время В. Д. Левин, развивая идеи Г. О. Винокура, показал, что во второй половине XVIII века происходит размывание, если не разрушение, системы «трех стилей», которая — вопреки школьной теории — так и не получила в России статуса общеобязательности. «Один из наиболее выразительных процессов такого рода, — суммирует исследователь, — распространение сферы употребления высокой „славянской“ лексики за пределы высоких жанров и вообще за пределы высокого стиля. Во многих художественных произведениях, публицистических, научных, исторических сочинениях, даже в мемуарной литературе, широко стали употребляться славянизмы, причем это связано не столько со стремлением „возвышаться к важному великолепию“, сколько вообще с представлением об образцовом книжном языке, пригодном для любой серьезной темы, серьезной „материи“»⁴⁰.

⁴⁰ Левин В. Д. Краткий очерк истории русского литературного языка. Изд. 2. М.: Высшая школа, 1964. С. 174–175. Ряд примеров такого рода «славянизации» см. в кн.: Левин В. Д. Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII — начала XIX века: Лексика. М.: Наука, 1964. С. 20–91.

Однако это именно «один из процессов». Параллельно в языке происходило чрезвычайно активное использование варваризмов и калек, главным образом на нижних ярусах «средней словесности» — в письмах, записках, мемуарах, деловых документах и т. п. (хотя не только в них). В. Д. Левин в этой связи замечал: «Фонвизин, в „Бригадире“ зло высмеявший галломанов, сам употребляет в своих письмах огромное количество иностранных слов. Вот некоторые из них: *фавер, негоциация, визитация, апробовать, резолюция, афишировать, пароксизм, ридикюль, импозировать, интеральный, дубль, инвитация, артифициальный, репродукция, индижестия, репрезентация, эстимать, кредитив, дефиниция, апелляция, коллация, конверсация, претект, постскрыпт, градус, кредит* (в переносном смысле), *агремент, офировать, аттенция, вояжер, оберж, ресурс, авантажный* и др. под. Легко заметить, что большинство этих слов не закрепилось в русском языке, некоторые были позднее снова усвоены, уже в других значениях»⁴¹. Сам исследователь склонен был связывать чрезвычайную распространённость заимствованной лексики в языке второй половины XVIII века «не с историей книжно-литературного языка», а с особыми «процессами в области разговорного языка общества». Но это, видимо, справедливо только отчасти.

Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский, основываясь на том факте (полнее всего описанном как раз В. Д. Левиным), что именно «в *переводной* литературе наблюдается во второй половине XVIII в. возрождение церковнославянского языкового наследия», отметили важную сторону этого процесса, накладывающуюся на старую модель церковнославянско-русской диглоссии: «Заимствованные и калькированные формы ассоциируются с высоким (книжным) слогом, приравниваясь по своей стилистической функции к церковнославянизмам»⁴². Продолжая и развивая мысль исследователей, можно отметить, что на определенном этапе развития языка литературы церковнославянизмы и заимствования могли не только выступать в сходных

⁴¹ Левин В. Д. Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII — начала XIX века. С. 113.

⁴² Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры («Происшествие в царстве теней, или Судьбина русского языка» — неизвестное сочинение Семена Боброва) // Успенский Б. А. Избранные труды. Т. II. Язык и культура. М.: Гнозис, 1994. С. 366, 368.

стилистических функциях (когда славянизмы «замещали» иноязычное слово), но и *сосуществовать* в одном контексте.

К сожалению, изучение языка русской литературы второй половины XVIII века под этим углом зрения практически не проведено, хотя, судя по всему, результаты могли бы быть весьма любопытными. Конечно, ситуации европейско-славянского макаронизма, столь характерного для Петровской эпохи, в прозе последней трети века мы не найдем. Однако некоторое ослабленное подобие ее, видимо, имело место. Это было вполне естественно: тенденция к стилистической «славянизации» сопутствовала тенденции к дальнейшей «европеизации» языка и культуры. Г. О. Винокур указал на частое соседство западноевропейской и славянизированной лексики (нередко представляющей собой переводы европейских слов по «славенским» моделям), появившееся сначала в «ученой» прозе, а в последние десятилетия XVIII века в популярной, по преимуществу переводной, литературе⁴³. Как выражение этой тенденции характерна, например, переведенная с французского книга «Диететика» (1791), в которой соседствуют слова вроде *критический, меланхолический, периодический, натура* и проч. и такие книжные славянизированные образования, как: *удобопресуществление, кровообращение, млекоподобный* и т. п. Согласно яркой формулировке Г. О. Винокура, «терминологические средства старого среднего слога в литературном языке конца XVIII и начала XIX в., если можно так выразиться, беллетризуются и тем самым популяризируются в среде читателей; слова вроде *амфитеатр, готический, натура, фантом, феномен* и пр. употребляются в повестях и журнальных статьях уже не только как термины, но и как слова общелитературные»⁴⁴. Однако вместе с этими «европеизмами» в беллетристику (опять же по преимуществу переводную) переходят и сопутствовавшие им славянизмы. Во всяком случае, в публиковавшихся в карамзинском «Московском журнале» рецензиях на «славенорусские» переводы отмечалось смешение в рецензируемых книгах славянизмов и галлицизмов.

⁴³ Винокур Г. О. Русский литературный язык во второй половине XVIII века // Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. М.: Учпедгиз, 1959. С. 140–141.

⁴⁴ Винокур Г. О. Русский литературный язык во второй половине XVIII века. С. 161.

Именно эта пестрая и неоформленная языковая стихия (а отнюдь не стройная система трех стилей) являлась фоном деятельности Шишкова и Карамзина. Сам Карамзин в своей известной периодизации русского слога определил культурный период, породивший соответствующие языковые и стилевые тенденции, как «третью» эпоху — эпоху «переводов славяно-русских господина Елагина и его многочисленных подражателей»⁴⁵.

В. Д. Левин справедливо замечает: «Карамзинский этап в развитии литературного языка нельзя соотносить и сопоставлять только с системой трех стилей. Надо учитывать и те процессы второй половины XVIII в., которые свидетельствовали о наличии чуждых или даже враждебных этой системе тенденций»⁴⁶. Это замечание следует дополнить в одном отношении: на фоне соответствующих процессов надлежит рассматривать не только реформу Карамзина, но и выступления его главного антагониста.

И Карамзин, и Шишков намеревались упорядочить, кодифицировать «послеломоновскую» языковую стихию. В этом смысле Шишков (субъективно ощущавший себя охранителем и восстановителем) был реформатором в не меньшей степени, чем Карамзин. Только направленность их реформаторских устремлений была принципиально разной. Шишков стремился упорядочить литературный язык именно как язык *книжный*: его главная задача — очистить язык от наслоений устной речи, в первую очередь, от всех форм заимствований, разрушающих внутреннюю структуру языка, его «мудрость». Карамзин мечтает о создании универсального языка европейского типа, который мог бы быть равно пригодным и для изящной словесности и для разговора в хорошем обществе, приблизить книжный язык к языку разговорному.

«УТЕХИ МЕЛАНХОЛИИ» И НАСЛЕДИЕ «ШКОЛЫ ГОСПОДИНА ЕЛАГИНА»

Какое место по отношению к этим двум разнонаправленным тенденциям языкового строительства занимает продукция автора «Утех меланхолии»? Очевидно, что сочинения Обрезкова — феномен определенно и подчеркнуто *книжного* языка,

⁴⁵ Карамзин Н. М. Избранные сочинения. В 2 тт. Т. 2. М.; Л.: Художественная литература, 1964. С. 162.

⁴⁶ Левин В. Д. Краткий очерк истории русского литературного языка. С. 174.

принципиально удаленного от стихии устной речи. Так в обществе не только не говорили, но и не могли и *не хотели* говорить. Так не писал ни сам Карамзин, ни его действительные последователи (понятно, что речь идет не об эстетическом качестве текстов, а об их стилевых установках).

Сочинитель «Утех меланхолии» неплохо знает современную ему русскую (как, впрочем, и иностранную) словесность. Он с пиететом упоминает имя Карамзина, восторгается Шаликовым, «интересуется назидательностью смысла» новейших авторов. Он мыслит себя творцом, пропитанным духом современной, «чувствительной» литературы, и пишет исключительно самые модные — сентиментально-меланхолические — сочинения. И вместе с тем его языковые и стилистические навыки сформировались под влиянием гораздо более старых образцов.

У слога Обрезкова два основных источника. Первый из них — это язык французской литературы XVIII века (скорее всего по-французски Обрезков читал и любезных его сердцу Юнга и Томсона). Отсюда в первую очередь черпаются «европейские» слова, обороты, фразеологические конструкции. Этот источник Ю. Н. Тынянов отнес бы к области генезиса. К традиции, то есть к тому пласту *национальной* словесной культуры, к которому вольно или невольно подключался Обрезков и в котором его «Утехи меланхолии» должны были занять свое место, принадлежит другой источник — язык русской прозы (по преимуществу переводной) второй половины XVIII века.

Если рассмотреть хотя бы только те примеры из книги Обрезкова, что были использованы Шишковым, то нетрудно удостовериться в достаточно очевидной вещи: те особенности слога, которые цитирующие «экземплярий» Шишкова исследователи (за исключением А. К. Панфилова — в этом отношении ему следует отдать должное) смело относят к «типичным проявлениям» карамзинистского стиля, в действительности представляют собой характерные атрибуты слога «школы господина Елагина».

Синтаксис Обрезкова не только не «карамзинский», но по степени запутанности и по количеству немотивированных инверсий далеко оставляет позади себя латино-германскую «ломоносовскую» упорядоченность («Преданием твоим Дюмениль вдохновенный, с какою опытностию повествует судьбу близнецов, натурую усыновленных»). О фантастическом сме-

шении славянизмов с иноязычными заимствованиями уже говорилось выше.

При этом следует отметить, что Обрезков вообще изумительно глух к стилевому звучанию слова, к окружающим его эмоционально-стилевым ореолам. Для него всякий славянизм — признак возвышенности слога и всякий галлицизм — атрибут европеизма. Они в принципе оказываются взаимозаменяемыми и способными к свободной контаминации. В этом отношении он резко отличается и от Шишкова, и от Карамзина. Уместно напомнить, что такое языковое сознание Карамзин считал характерной особенностью именно эпохи «переводов славяно-русских господина Елагина и его многочисленных подражателей». Некоторые из стиливых ляпсусов, осмеянных Карамзиным еще в начале 1790-х годов, Обрезков почти буквально повторит десять лет спустя, причем повторит в утрированной форме. Напомним известное замечание Карамзина о слове «колико», в котором он видел не элемент «высокого стиля», а элемент «приказного языка»:

Колико для тебя чувствительно, и проч. Девушка, имеющая вкус, не может ни сказать, ни написать в письме колико. Впрочем, Г. Переводчик хотел здесь последовать моде, введенной в Руской слог «големыми претолковниками N. N., иже отрывают все, еже есть Руское и блещаются блаженне сиянием славеномудрия»⁴⁷.

«Коль» в сочинении Обрезкова («Коль наставительно взирать на тебя...») — модификация того же «колико»; оно употреблено в том же значении и в том же контексте, что и в старом переводе. У Обрезкова, правда, фигурирует не героиня, а герой с автобиографическими чертами — но тоже с претензией на нежную чувствительность и утонченный вкус.

В отношении галлицизмов результаты были сходными. Во-первых, Обрезков прибегает к галлицизмам даже в тех случаях, когда они являются избыточными дублетами русских слов и выражений, в том числе канонизированных карамзинистами в качестве уместных для выражения высоких и поэтических понятий. Во-вторых, автор «Утех меланхолии» так же не чувствует социолингвистической маркированности

⁴⁷ <Карамзин Н. М.> Достопамятная жизнь девицы Кларисы Гарлов, сочиненная на Английском языке Ричардсоном. Часть 1. В граде Св. Петра. 1791 // Московский журнал, 1791. Часть IV. Кн. 1. С. 112.

заимствованных слов, как не чувствует он стилевой маркированности славянизмов. Отсюда фразы типа: «Каждое воззрение превесьма авантажно». Примечательно, что даже Шишков живо ощущал архаичность глагола «авантажиться» (и, конечно, производных от него) для нынешнего галло-русского наречия. Он уверенно относил его к числу «обветшалых иностранных слов» (наряду с *манериться*, *компанию водить*, *куры строить* и проч.), которые «прогнаны уже из большова света и переселились к купцам и купчихам»⁴⁸. Иначе говоря, Шишков оказывался более тонким и более компетентным экспертом в отношении к стилистике ненавистного ему «нового слога», чем «нынешний писатель»! Это не удивительно: Шишков правильно чувствовал, что основной ресурс для пополнения корпуса иноязычных заимствований (или калек) дает «новому слогу» устная практика, узус, который действительно динамически меняется (именно эту изменчивость Шишков, как известно, ставил в вину тем, кто намеревался строить язык литературы на основе разговорного языка). Между тем Обрезков в отборе галлицизмов опирается не столько на живую речевую практику «хорошего общества», сколько на старую письменную традицию, что и позволяет ему не чувствовать социокультурной неуместности тех или иных заимствований в *русском* контексте.

Обрезков испытал известное влияние карамзинистов в некоторых внешних приемах. Само повышенное внимание к европеизмам появилось у него, конечно, не без воздействия ранних сочинений Карамзина и его подражателей, хотя большинство варваризмов, использованных Обрезковым, было усвоено русским языком и русской литературной практикой задолго до Карамзина⁴⁹. Однако эти внешние приемы легли

⁴⁸ Шишков А. С. Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка. С. 24.

⁴⁹ См., напр.: *Huttl Worth, Gerta. Foreign Words in Russian: A Historical Sketch, 1550–1800. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1963. P. 65, 74, 79, 96, 115 и др.*; *Ковалевская Е. Г. Иноязычная лексика в произведениях Н. М. Карамзина // Материалы и исследования по лексике русского языка XVIII века. М.; Л.: Наука, 1965. С. 237, 240–241, 243, 245–246*; *Биржакова Е. Э., Войнова Л. А., Кутина Л. Л. Очерки по исторической лексикологии русского литературного языка XVIII века: Языковые контакты и заимствования. Л.: Наука, 1972*; *<Смолина К. П., Копорская Е. С.> История лексики русского литературного языка конца XVII — начала XIX века. М.: Наука, 1981, и др.*

на старое основание — на безусловно «книжную», противостоящую живому употреблению и разговорной практике, «славенороссийскую» основу. Субъективно ощущая себя причастным устремлениям новой школы, объективно Обрезков, в самом фундаменте своего языкового сознания, был ближе Шишкову.

ЛОГИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ВОЙНЫ

Ощущал ли это глубинное родство сам Шишков? Вряд ли. Но того, что писания Обрезкова *не похожи* на сочинения Карамзина и карамзинистов, он не заметил, конечно, не мог. Однако он счел возможным пренебречь этим обстоятельством из соображений тактических и полемических. Для Шишкова главным врагом был, конечно, Карамзин, сумевший приучить к ненавистному «новому слогу» широкую читательскую публику. Переубедить читателя, уже «развращенного» Карамзиным и его последователями, было не так просто: для этого приходилось прибегать к специальным доказательствам. Нужно было изложить и обосновать свою концепцию языка, показать, как «новый слог» губит заключенный в языке божественный ум, и т. д., и т. п. Шишков все это постарался сделать. Но при всем том его построениям не хватало некоей самодостаточной убеждающей силы.

Шишкову требовались такие образцы «нового слога», порочность которых была бы очевидна с первого взгляда *всякому* читателю. Ни сам Карамзин, ни его наиболее заметные последователи предоставить таких образцов не могли. В своем ответе на критику Макарова Шишков даже был вынужден публично признать, что наиболее популярные сочинения Карамзина написаны в своем роде *хорошим* слогом, то есть в общем вполне соответствуют тем стилевым критериям, которые сам он прилагал к сочинениям легкого жанра, «безделкам». Шишкову пришлось переключить свои обвинения из лингвостилистического плана в моральный: «Я рад вместе с Меркурием восклицать, что Бедная Лиза написана хорошим и приятным слогом; но желал бы, чтоб приятность слога в таковых сказочках сопряжена была с пользой нравоучения, с насаждением благонравия, и чтоб худые правила не назывались в ней благовоспитанностью. Наталья боярская дочь (не знаю чьего она сочинения, да и на что мне знать это?) есть также легким слогом написанная сказочка, но я бы вырвал ее из рук дочери

моей, естьлиб она читать ее стала: ибо весьма верю сему, что тлят обычаи благи беседы злы»⁵⁰.

Эта реплика знаменовала собою подступ к позднейшим обвинениям карамзинистов в покушении на устои нравственности и веры — но в отношении языковой критики она означала если не капитуляцию, то отступление.

В этой непростой ситуации «Утехи меланхолии» должны были представляться Шишкову нечаянным подарком. С одной стороны, вопиющая эстетическая несостоятельность этой книги была очевидна для читателя любого типа, вне зависимости от его литературных и стилистических пристрастий. С другой — некоторые внешние атрибуты слога Обрезкова (в частности, варваризмы и кальки) могли с легкостью проецироваться на внешние же атрибуты «нового слога» и объявляться его порождением. Литературный казус можно было при желании истолковать как закономерный итог следования автора «Утех меланхолии» языковым установкам «карамзинизма», а принципиальное несходство обойти молчанием.

Обильное цитирование «Утех меланхолии» в композиционно важном месте «Рассуждения» создавало «фон» для введения цитат из Карамзина и «настоящих» карамзинистов. Карамзин должен был читаться на фоне Обрезкова — и компрометироваться Обрезковым.

Эта особенность полемической стратегии Шишкова была отмечена и описана давно. Еще П. И. Макаров негодовал: «Все-го неприятнее видеть фразы Господина Карамзина, перемешанные в сей книге с фразами ученическими...»⁵¹ М. А. Дмитриев, как бы подытоживая традицию толкования шишковской тактики в кругах карамзинистов, писал позже: «Слепая страсть делала его несправедливым; при цели, с его стороны конечно благонамеренной, он почитал дозволенными все средства. В своей книге: О слоге он беспрестанно употребляет вот какую уловку. Он выписывает фразу Карамзина, всем известную, а вслед за нею фразы *плохие*, или *смешные*, других молодых прозаиков: так, чтобы не знающий или недогадливый читатель подумал, что и последние принадлежат Карамзину же»⁵².

⁵⁰ Шишков А. С. Прибавление к сочинению, называемому Рассуждение о старом и новом слоге... С. 148–149.

⁵¹ <Макаров П. И.> Критика на книгу под названием: Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка... С. 189–190.

⁵² Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти. Изд. 2. М., 1869. С. 76.

Глава I

К этим наблюдениям современников следует добавить важную деталь: Карамзин оказался не просто «перемешан» со слабыми произведениями его последователей. Такой прием был бы хотя и не слишком честным, но в принципе все же корректным: демонстрация порочного «следствия» может указать на изъяны в «причине». Шишков, однако, шел дальше: Карамзин встраивался в систему, по существу чуждую (и даже враждебную) его литературно-языковым установкам. Эпигон «елагинского периода» русской словесности превращался в характернейшего представителя «нового слога», а Карамзин делался ответственным за литературные грехи, в которых он по существу не был виноват. Судя по многочисленным работам историков языка и литературы, Шишкову удалось выполнить свою тактическую задачу более чем удачно. Миф о «новом слоге» и манерном карамзинизме был создан и успешно заместил собой историческую реальность.

Глава II

«Не худое подражание»

*За что Константин Батюшков не был принят
в Вольное общество любителей словесности,
наук и художеств*

ИСТОРИЯ ВОПРОСА В КРАТКОМ ИЗЛОЖЕНИИ

К числу наиболее загадочных страниц биографии Константина Батюшкова (и вместе с тем — к числу наиболее загадочных эпизодов русской литературной жизни начала XIX века вообще) принадлежит история его сотрудничества с Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств. Исследовательская традиция придает факту участия молодого поэта в деятельности этой организации особое значение: если верить устоявшимся мнениям, Вольное общество в биографии Батюшкова сыграло примерно ту же роль, что «Арзамас» и «Зеленая лампа» вместе взятые в биографии Пушкина. Насколько это мнение справедливо?

Первые упоминания о связи Батюшкова с Вольным обществом появились вскоре после смерти поэта — в мемуарном этюде Н. И. Греча. Вспоминая об оживлении деятельности Вольного общества на рубеже 1800–1810-х годов, Греч писал: «Вскоре оно обогатилось новыми членами. В числе их были Д. Н. Блудов, Д. П. Северин, К. Н. Батюшков...»¹ Н. И. Греч (сам ставший членом Вольного общества в 1810 году) — мемуарист обычно чрезвычайно точный. И действительно, факт участия Батюшкова в Обществе со временем был подтвержден документально: Н. С. Тихонравов обнародовал материалы, посвященные скандалу вокруг речи Д. В. Дашкова, произнесенной в «похвалу» графу Хвостову на заседании Вольного общества в марте 1812 года. Как свидетельствуют опубликованные Тихонравовым документы, среди тех, кто присутствовал на экстренных заседаниях, посвященных этому инциденту

¹ Северная пчела, 1857, № 125. С. 587.

и закончившихся исключением Дашкова из Общества, находился и Батюшков².

С 1887 года начало выходить классическое издание «Сочинений» Батюшкова (под редакцией Л. Н. Майкова), поставившее изучение творчества и биографии поэта на качественно новую основу. В биографическом исследовании Майкова, приложенном к 1-му тому, характеристике Вольного общества и реконструкции отношений с ним юного Батюшкова было посвящено несколько страниц. Майков, между прочим, обратил внимание и на то, что среди участников Вольного общества было несколько сослуживцев молодого поэта: «Служба в одном ведомстве с несколькими из членов Вольного Общества, и еще более — общность литературных интересов, сблизили Батюшкова с этим литературным кружком, и хотя в 1803–1805 годах мы не видим его имени в списке членов Вольного Общества, но можем с уверенностью сказать, что в то время Константин Николаевич был в частых сношениях с этими молодыми представителями литературы в Петербурге»³. Дотошный Майков к своему сообщению об отсутствии имени Батюшкова в списках членов Общества дал и специальную сноску: «Списки эти печатались в адрес-календарях, начиная с 1804 г., но едва ли в полном виде: имени Батюшкова нет ни в одном из списков, а между тем достоверно известно, что он был членом Вольного Общества, например, в 1812 г.» (далее следует ссылка на статью Тихонравова)⁴.

Когда новое издание сочинений Батюшкова подходило к завершению, молодой историк литературы Е. Петухов, занимавшийся биографией А. Х. Востокова, обнаружил весьма интересные материалы в архиве Вольного общества в библиотеке Санкт-Петербургского университета (Л. Н. Майков, по всей вероятности, еще не знал о том, что этот архив сохранился, — в противном случае он, конечно, сам не преминул бы к нему обратиться). Как оказалось, К. Н. Батюшков изъявил

² Тихонравов Н. С. Д. В. Дашков и граф Д. И. Хвостов в Обществе любителей словесности, наук и художеств в 1812 г. // Русская старина, 1884, т. 43, № 7. С. 105–113. Статья перепечатана в изд.: Тихонравов Н. С. Сочинения. Т. 3. Ч. 2. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1898. С. 139–146.

³ Майков Л. Н. О жизни и сочинениях К. Н. Батюшкова // Батюшков К. Н. Сочинения. Со статьей о жизни и сочинениях Батюшкова, написанною Л. Н. Майковым, и примечаниями, составленными им же и В. И. Саитовым. Т. 1. СПб., 1887. С. 37–38 (1-я пагинация).

⁴ Майков Л. Н. О жизни и сочинениях К. Н. Батюшкова. С. 90.

желание вступить в Вольное общество еще весной 1805 года: 22 апреля член Общества Н. Брусилов сообщил об этом желании сочленам, представив на их суд сочинение Батюшкова «Сатира, подражание французскому». Было определено предложить Батюшкову обратиться в Общество с соответствующей просьбой письменно, а «Сатира» была отдана на рассмотрение цензору (по уставу Общества — что-то вроде внутреннего рецензента с широким кругом полномочий) — А. Востокову. Шестого мая 1805 года Востоков представил Обществу свой отзыв. Текст этого отзыва Е. Петухов опубликовал⁵. Попутно он уверенно идентифицировал сочинение Батюшкова, представленное для вступления в Вольное общество: «Под „сатирой, подражание французскому“, без сомнения, следует разуместь стихотворение Батюшкова „Перевод 1-й Сатиры Буало“...»⁶.

После публикации Е. Петухова вопрос, казалось бы, окончательно был решен и обрел твердое фактическое основание: Батюшков был принят в Вольное общество еще в 1805 году; не напрасно академик Майков сомневался в полноте печатных списков... Д. Д. Благой в «Основных датах жизни и творчества», приложенных к подготовленному им изданию «Сочинений» Батюшкова, уверенно помечает под 1805 годом: «Вступает (22 апреля) действительным членом в „Вольное общество любителей словесности, наук и художеств“»⁷. Не вполне понятно, правда, почему Благой выбрал именно 22 апреля: следуя публикации Петухова, надлежало бы указать по крайней мере 6 мая... Но то ли ученый попросту недосмотрел, то ли решил, что Востоков читал свой отзыв уже после того, как Батюшков был принят «действительным членом», то ли счел дату 22 апреля более привлекательной для советского читателя (и для советских издателей) — как бы то ни было, именно датировка Благого была усвоена советским литературоведением. Н. В. Фридман в 1948 г. писал: «Батюшков вступил в члены общества 22 апреля 1805 года (Л. Н. Майкову была еще неизвестна эта дата)» (далее следует ссылка не на Е. Петухова, как следовало бы ожидать, а на «Основные даты...» Д. Д. Благого,

⁵ Петухов Е. В. Несколько новых данных из научной и литературной деятельности А. Х. Востокова // Журнал Министерства народного просвещения, 1890, ч. ССLVIII, № 3. С. 89–90.

⁶ Петухов Е. В. Несколько новых данных из научной и литературной деятельности А. Х. Востокова. С. 90.

⁷ Батюшков К. Н. Сочинения. Ред., вступ. статья и комментарии Д. Д. Благого. М.; Л.: Academia, 1934. С. 610.

которые, таким образом, неожиданно приобрели статус первоисточника)⁸. Вл. Н. Орлов в своем исследовании истории «Вольного общества», правда, избегает конкретных дат, но в примечании к приведенному им мемуарному свидетельству Греча (с которого мы начали наш этюд) также дает соответствующее уточнение: «К. Н. Батюшков вступил в Вольное общество еще в 1805 году»⁹.

Принято было и предложенное Петуховым объяснение тому, какое именно стихотворение Батюшкова скрывалось за обозначенным в бумагах Общества заголовком «Сатира». В статье 1948 года Н. В. Фридман писал: «По-видимому „сатира“, о которой идет речь в протоколах общества, — это вошедший в собрание сочинений Батюшкова „Перевод 1-й Сатиры Буало“ (в сущности, он представляет собой далекое подражание оригиналу). Вероятно, „Сатира“ была написана Батюшковым специально для того, чтобы вступить в общество; во всяком случае, он никогда не делал попыток ее опубликовать, и она появилась только в майковском издании»¹⁰. В комментариях Фридмана к «Полному собранию стихотворений» Батюшкова (в «Библиотеке поэта») эта информация лишилась всяких оттенков предположительности и зазвучала как несомненный факт: «Батюшков в 1805 г. представил свой перевод сатиры Буало в „Вольное общество любителей словесности, наук и художеств“, чтобы вступить в его члены»¹¹ (за подтверждением этой информации читатель отсылается... к статье Фридмана 1948 года, в которой, однако, никаких дополнительных документальных данных и аргументов на сей счет нет).

Общепринятая концепция не позволяет, однако, удовлетворительно ответить на несколько вопросов. Почему же все-таки имени Батюшкова нет ни в одном из напечатанных списков членов общества? Почему нет никаких документальных свидетельств его участия в заседаниях Вольного общества

⁸ Фридман Н. В. Батюшков и поэты-радищевцы // Доклады и сообщения филологического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Вып. 7. М., 1948. С. 42.

⁹ Орлов Вл. Русские просветители 1790–1810-х годов. М.: ГИХЛ, 1950. С. 464.

¹⁰ Фридман Н. В. Батюшков и поэты-радищевцы. С. 43.

¹¹ Батюшков К. Н. Полное собрание стихотворений. Вступ. статья, подготовка текста и примечания Н. В. Фридмана. М.; Л.: Сов. писатель, 1964. С. 264.

хотя бы в том же 1805 году — когда от новоизбранного члена естественно было бы ожидать особой активности?..

И вот здесь уместно задаться еще одним вопросом: а что, собственно, послужило основанием для уверенного вывода о том, что Батюшков в 1805 году был принят в «действительные члены» Общества? Основание единственное — публикация Е. Петухова и, в первую очередь, воспроизведенный в ней отзыв Востокова. Однако создается впечатление, что либо этот отзыв не был внимательно прочитан, либо в нем прочитывалось желаемое, а не действительное. Ведь в отзыве Востокова о Батюшкове говорилось следующее: «...для вступления молодому автору в Общество надобно, по моему мнению, чтоб он Обществу представил еще что-нибудь из трудов своих и притом, если можно, своего собственного сочинения»¹². Похоже ли это на безусловную рекомендацию к избранию?.. Имеем ли мы какие-либо свидетельства, подтверждающие, что Батюшков *выполнил* пожелание Востокова? Нет.

Похоже, необходимая информация была вычитана из документов только потому, что ее страстно хотели «вычитать».

«РАДИЩЕВЦЫ»: КОНТУРЫ МИФА

Образ Вольного общества словесности, наук и художеств (особенно периода 1801–1807 гг.), каким он предстает на страницах историко-литературных исследований, впечатляет своей монументальностью. Основатели Общества связаны с наиболее прогрессивной идеологией эпохи. Большинство его членов — в той или иной мере ученики и наследники Радищева: «...наиболее радикальные из них, как Попугаев и Борн, поднимались до выражения якобинских идей... Пнин был материалистом, стоявшим на грани атеизма...»¹³. Общество принимает ряд масштабных научных и литературных начинаний. От лица Общества выпускается масса изданий; под его контролем в начале века оказывается чуть ли не вся петербургская журналистика — во всяком случае, основная ее часть. В состав Общества входят многие десятки лучших литераторов, ученых и художников; Обществом создана широкая кор-

¹² Петухов Е. В. Несколько новых данных из научной и литературной деятельности А. Х. Востокова. С. 90.

¹³ Орлов Вл. Русские просветители 1790–1810-х годов. С. 198.

респондентская сеть, охватывающая практически всю Россию и позволяющая влиять на культурную и общественную жизнь от Балтики до Сибири. Литературная продукция членов Общества — самобытная и новаторская струя в русской словесности, серьезная альтернатива как «архаизму», так и камзинизму...

Столь значительное и масштабное объединение уже в 1802 году стало возбуждать острый общественный интерес: «На его деятельность начали обращать внимание „посторонние любители словесности“, слухи о его собраниях стали проникать в светские и литературные салоны»¹⁴. С каждым годом этот интерес усиливался. Не удивительно, что с 1804 года Общество стало ареной ожесточенной идейной борьбы между двумя фракциями. «В Обществе боролись две тенденции, два направления, которые в общей форме можно охарактеризовать как радикально-демократическое и либеральное». Первое направление было представлено «пламенно-вольнолюбивым» Попугаевым и примкнувшими к нему И. М. Борном и И. П. Пниным, второе — Д. И. Языковым и группой его приспешников.

Перипетии развернувшейся борьбы оказались окрашены исключительной остротой и подлинным драматизмом. «Языковская группа настойчиво стремилась к захвату президентского кресла» — и безуспешно: из-за недостаточной сплоченности и решительности «левых» борьба закончилась полной победой «языковской партии». «В годовом собрании 15 июля 1807 года произошло окончательное падение Борна и Попугаева. Они были забаллотированы на выборах; президентом стал Языков, а секретарем Измайлов. Общество вступило в новый период существования и вместе с тем стало приходить в явный упадок <...> 1807-м годом кончается первый, наиболее интересный период деятельности Вольного общества»¹⁵.

Такова стандартная схема ранней истории Вольного общества. Общий контур схемы начал складываться еще в начале XX века, но главным ее творцом стал талантливый литературовед Вл. Н. Орлов, завершивший процесс создания канонического образа Вольного общества в фундаментальном издании «Поэты-радищевцы» (1935) и в монографии «Русские просветители 1790–1810-х годов» (1950; 2-е изд. — 1953).

¹⁴ Орлов Вл. Русские просветители 1790–1810-х годов. С. 214.

¹⁵ Орлов Вл. Русские просветители 1790–1810-х годов. С. 227, 235, 243.

Нельзя сказать, чтобы этот образ сразу получил полное и всеобщее признание. «Возвращенец» Д. Мирский в своей рецензии на «Поэтов-радищевцев» упрекнул издателей в конъюнктурном мифотворчестве¹⁶; вскоре, однако, Мирский отправился на каторгу, а концепция Орлова была увенчана Сталинской премией третьей степени. Лишь в середине 1950-х годов Г. П. Макогоненко выступил с развернутой критикой толкования позиции членов ВОЛСНХ как «радищевцев»; самым ценным в его критике было указание на зависимость наиболее радикальных (по Орлову) «радищевцев» от эстетики и даже идеологии Карамзина. Макогоненко упомянул и о более чем скромном литературном значении продукции большинства членов Общества¹⁷. Однако эта критика так и не смогла поколебать оснований устоявшейся схемы: с небольшими модификациями она перешла во все учебники и обобщающие работы.

Теперь становится ясно, почему исследователи Батюшкова так хотели видеть своего героя среди членов Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Причастность к деятельности «радищевцев» невероятно повышала кредиты «российского Парни» и его опекунов. В 1948 году Н. В. Фридман на этой почве даже вступил в полемику с В. Н. Орловым — используя его же схему: «Идеология членов общества обладала для Батюшкова большой притягательной силой (Вл. Орлов вообще не прав, утверждая, что поэт „был сравнительно слабо связан с ‘Вольным обществом’“). Батюшкова привлекала не только антишишковистская позиция членов общества <...> но и то политическое „вольномыслие“, которое характеризовало „радищевцев“»¹⁸. Эти соображения были повторены и в предисловии к «Полному собранию стихотворений» — с некоторыми, правда, вариациями: Вл. Орлов к тому времени возглавил «Библиотеку поэта», в которой выходил том батюшковских сочинений, — и упреки в недооценке связей Батюшкова с «ра-

¹⁶ Мирский Д. Литературно-критические статьи. М.: Сов. писатель, 1978. С. 191–194.

¹⁷ Макогоненко Г. П. Радищев и его время. М.: ГИХЛ, 1956. С. 680–702 (в особенности с. 686–690). Наиболее сомнительным пунктом в возражениях Макогоненко была интерпретация фигуры самого Радищева как последовательного атеиста, критического реалиста и пламенного революционера. Но это вопрос, выходящий за пределы интересующей нас проблематики.

¹⁸ Фридман Н. В. Батюшков и поэты-радищевцы. С. 42.

дишевцами» нашли нового адресата: «Начало литературной биографии Батюшкова ознаменовано его участием в „Вольном обществе <любителей> словесности, наук и художеств“. Явно необоснованным представляется высказывавшееся в до-революционном литературоведении (1) мнение о том, что участие в „Вольном обществе“ не оказало сколько-нибудь заметного влияния на творчество Батюшкова. В действительности традиции русского просвещения, ярко окрасившие деятельность общества, сыграли немалую роль в формировании мировоззрения поэта»¹⁹. Понять Н. В. Фрийдмана по-человечески можно: превратить «предшественника Пушкина» еще и в «последователя Радищева» значило существенно повысить его в литературном ранге.

Между тем, орловская схема — это своеобразное художественное построение, несущее на себе резкий отпечаток своей эпохи. Жизнеспособность этой схеме придали бесспорный литературный талант ее создателя и ее удивительная созвучность духу времени. Сам Вл. Орлов, повествуя об идейной борьбе двух направлений, составлявшей будто бы главное содержание внутренней жизни Общества, невольно обнажил механизм своих построений: «Многие перипетии этой борьбы неясны, поскольку скудость сохранившихся материалов по истории Вольного общества позволяет больше высказывать догадки и предположения, нежели оперировать точными фактами»²⁰. Догадки и предположения, однако, нередко прямо противоречили точным фактам, отлично известным Орлову.

В результате артистических манипуляций Орлова близкий к консервативному тверскому салону Екатерины Павловны И. М. Борн превратился в лидера «крайней левой» Общества; полуграфоман-полубезумец В. В. Попугаев, почти все свои трактаты преподносивший Александру I и аккуратно получавший за них то перстни, то золотые табакерки, то денежные вознаграждения, стал не больше не меньше как якобинцем; И. Пнин, чей деизм выглядел по меркам начала XIX века даже несколько старомодно, оказался воинствующим атеистом; бескорыстный кабинетный ученый Д. Языков, переводчик Беккариа, Мабли и Монтескье, стал вождем крайне правого крыла Общества, мастером политической интриги и заклятым врагом идеалов Просвещения... При этом самые перипетии

¹⁹ Батюшков К. Н. Полное собрание стихотворений. С. 12.

²⁰ Орлов Вл. Русские просветители 1790–1810-х годов. С. 225.

«идейной борьбы» и приемы, которыми пользовались злокозненные языковцы в борьбе за президентское кресло, в описании и интерпретации Вл. Орлова выглядят несколько странно. Например, исследователь утверждает: «После смерти Пнина языковская партия переходит в решительное наступление и вскоре одерживает полную победу»²¹. Однако тут же выясняется, что президентом после смерти Пнина был избран «левый» Борн, а в 1806 году переизбран (с «пламенно-вольнолюбивым» Попугаевым в качестве секретаря!). А «вождь» правой партии Языков, вместо того чтобы пожинать плоды «полной победы», с середины 1806 по середину 1807 года путешествует по России... Таких несообразностей в исследованиях Вл. Н. Орлова десятки.

Вне всякого сомнения, на построения Вл. Орлова оказала решающее влияние атмосфера политических процессов 1930-х годов — когда целые партии и политические движения создавались буквально из ничего. В этой атмосфере даже рассказ о печальном конце радикального общества приобретал надлежащий дидактический оттенок, становился «уроком для современности»: вот что бывает с революционными движениями, когда деятельность правых раскольников изначально не пресекается в корне!²² В общем, Сталинскую премию исследование о «радищевцах» получило заслуженно...

Чтобы придать рассказу о борьбе правых и левых в Обществе драматическую убедительность и поучительность, исследователю понадобился монументальный образ Общества. Так

²¹ Орлов Вл. Русские просветители 1790–1810-х годов. С. 235.

²² На некоторые (далеко не все!) натяжки и несообразности в построениях Вл. Орлова уже указал его однофамилец — покойный П. А. Орлов (см.: Поэты-радищевцы: А. Х. Востоков, И. П. Пнин, И. М. Борн, В. В. Попугаев и другие поэты Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Вступ. статья, биогр. справки, составление и подготовка текста П. А. Орлова. Л.: Сов. писатель, 1979. С. 10–12). П. А. Орлов был осторожным советским историком литературы и «ниспровергать основ» отнюдь не намеревался. Его собственное толкование истории Вольного общества (в частности, «измельчания общественной и литературной деятельности его членов» после 1807 года) во многом вполне соответствует общепринятым схемам. Однако он работал уже в иную эпоху и не имел необходимости — в отличие от своего талантливого предшественника — прибегать к явной лжи. Впрочем, степень независимости историка литературы и в относительно мягкие 1970-е гг. преувеличивать не стоит: по рассказу самого П. А. Орлова, его предложение убрать из заголовка книги формулу «Поэты-радищевцы» редакцией «Библиотеки поэта» было сочтено абсолютно невыполнимым.

и возникла мощная, почти революционная организация с десятками членов, с центральными и периферийными печатными органами, с отделениями по всей России. Между тем, как показывают сохранившиеся протоколы, в период 1801–1807 годов (наиболее плодотворный, согласно Орлову и его последователям) Вольное общество почти никогда не собирало на своих заседаниях больше десяти человек; обычным был кворум из шести-семи участников. Заседания «Арзамаса» (который историками литературы обычно противопоставляется Вольному обществу как подчеркнуто камерная и домашняя организация) нередко были многолюднее...

И еще один немаловажный факт, на котором Вл. Орлов не заострял внимание. Большинство членов Общества были совсем юными людьми, начинающими литераторами, вчерашними студентами. Тридцатилетние Языков и Пнин казались на их фоне почтенными мэтрами. Вольное общество — во многом «игра в Академию», затеянная вчерашними школьниками. Этим обстоятельством во многом объясняются и грандиозность предпринятых обществом начинаний, и то, что почти ни одно из них так и не было воплощено в жизнь, и невероятная страстность в обсуждении самых ничтожных вопросов (для Вл. Орлова это служило подтверждением особого накала идейной борьбы), и постоянный страх оказаться смешными в глазах публики... Грандиозное Общество при ближайшем рассмотрении оказывается не более чем скромным домашним кружком юных дилетантов...

Мифологизирующая концепция Вл. Орлова привела к характерному искажению истории Вольного общества. В действительности 1801–1807 годы — это не «наиболее интересный» и не «наиболее яркий и плодотворный» период в его истории, а время литературного ученичества его участников, период овладения литературным и философским наследием XVIII века. Время осмысления, переработки или принципиального отталкивания от этого наследия наступит позже. Поэтому 1810–1812 годы, когда Вольное общество станет центром петербургской оппозиции шишковизму и будет выпускать один из лучших русских журналов («Санкт-Петербургский вестник»), представляют неизмеримо больший историко-литературный интерес, чем эпоха «радищевцев». Да и в 1816–1826 годы измайловское Вольное общество играло куда более заметную культурную роль, чем в эпоху «радищевцев»: Баратынский, Ф. Глинка, Н. Языков, А. Бестужев, Орест Сомов, сам Измайлов,

даже В. Панаев и П. Яковлев — фигуры куда более значительные, чем Борн и Попугаев!..²³

Характерно, что в свой карамзинистский период Вольное общество было предметом острого внимания в обеих столицах; над измайловским обществом многие могли подшучивать, но знали его все. А о Вольном обществе 1800-х годов забыли почти сразу же после прекращения его занятий. Во всяком случае, вступив в обновленное Вольное общество в 1811 году, Д. П. Северин и В. Л. Пушкин уже должны были удовлетворять любопытство Вяземского, никогда ничего об этом Обществе не слышавшего (заметим, что и в рассказах его корреспондентов, явно полученных из уст «старых» членов Общества, содержится ряд неточностей)²⁴.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОЗИЦИИ ВОЛЬНОГО ОБЩЕСТВА: МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ

Означает ли это, однако, что Вольное общество любителей словесности, наук и художеств начала XIX века вообще должно быть забыто историками литературы? Конечно, нет. Именно своей переходностью, неоформленностью, ученичеством, переплетением разных литературных тенденций и устремлений оно и представляет бесспорный интерес. Вольное общество — как бы модель тогдашней русской литературной ситуации в целом. История ранних отношений Батюшкова с ним ценна прежде всего как материал для реконструкции эстетического самоопределения поэта в этот переходный период.

Если мы взглянем на деятельность Вольного общества под эстетическим (а не под идеологическим) углом зрения, то мы сможем увидеть в нем присутствие нескольких разнонаправ-

²³ М. Г. Альтшуллер дал Вольному обществу любителей словесности, наук и художеств такую характеристику: «The society <...> had no serious role in the history of Russian literature» (*Altshuller, Mark. The transition to the modern age: sentimentalism and preromanticism, 1790–1820 // The Cambridge history of Russian literature. Ed. by Charles Moser. Cambridge University Press, 1989. P. 112*). Следует только подчеркнуть, что эта характеристика безусловно справедлива именно по отношению к «радищевскому» периоду, когда Вольное общество существовало как бы за пределами большой литературы; в последующие периоды роль его в литературной жизни все же значительней.

²⁴ См. письма В. Л. Пушкина от 20 декабря и Д. П. Северина от 29 декабря 1811 г. в изд.: «Арзамас»: Сборник в двух книгах. Кн. 1. М.: Художественная литература, 1994. С. 175–176.

ленных литературных тенденций и, соответственно, несколько группировок. Среди них всего отчетливее выделяются две. Первая — филологически-экспериментаторская, условно говоря, «немецкая». Ее представители не удовлетворены современным состоянием русской словесности и желают ее кардинально переустроить. Образцом для возможных реформ им служит в первую очередь немецкая модель. И это не случайно. Представители этого течения в Обществе — природные немцы, носители двуязычной культуры (как Борн и Востоков), или, по крайней мере, люди, прошедшие через немецкую «школу». Среди их кумиров — Клопшток, Фосс, Глейм и другие немецкие авторы-экспериментаторы, пытавшиеся строить «практику» на основе «теории»²⁵. Им присуще стремление обогатить русскую литературу новыми темами, новыми жанрами и новыми стиховыми формами, главным образом — восходящими к античности. Отсюда — огромное количество стиховых экспериментов, строфических, метрических и ритмических. Наиболее репрезентативные фигуры в этом отношении, конечно, Востоков и Борн, но в орбите их влияния оказываются и А. Г. Волков²⁶, и — отчасти — М. Олешев. Примечательно, что Д. Языков, стихов никогда не писавший, по сути примкнул именно к этой линии: его попытки реформ русской орфографии, по мере сил и возможностей внедрявшиеся в практику Вольного общества (некоторые протоколы периода президентства Языкова написаны без «еров» на конце слов; твердые знаки аккуратно вписывались в старые протоколы позже), отражали ту же коренившуюся в германской филологической мысли XVIII века тенденцию к литературно-языковым реформам. Не напрасно же Языков был поклонником ученых немцев и переводчиком Шлецера!..

Литературно-языковое экспериментаторство этой группы в целом было связано с тенденцией к известной архаизации

²⁵ О немецком контексте литературной теории и практики членов Вольного общества (в частности, Востокова) см.: *Brown, William Edward. A History of Russian Literature of the Romantic Period. Vol. 1. Ann Arbor: Ardis, 1986. P. 171–172.*

²⁶ О литературной продукции А. Г. Волкова мы можем судить сколько-нибудь определенно лишь с самого недавнего времени, благодаря разысканьям А. Л. Зорина и осуществленному им открытию единственной стихотворной книги Волкова «Арфа стихогласная». Ряд стихотворений из этой книги опубликован в антологии: Цветник: Русская легкая поэзия конца XVIII — начала XIX века. Вступ. статья, составление, примечания А. Л. Зорина. М.: Книга, 1987. С. 326–344.

литературного стиля. Но эта архаизация имеет мало общего с «архаизмом» князя Ширинского-Шихматова. Она осуществлялась уже на карамзинистском фундаменте и исходила из представления о том, что карамзинская реформа — свершившийся факт. Своего рода тринитарная формула, определяющая трех значительнейших современных русских поэтов в восточковском «Парнасе» — «Державин, Дмитриев, Карамзин», — в высшей степени характерна для выражения эстетической позиции этой группировки.

Вторая группа была представлена авторами, условно говоря, «французской» ориентации. Они гораздо в большей степени традиционалисты и консерваторы — и, следовательно (таков один из парадоксов начала XIX века!) в гораздо меньшей степени «архаисты», чем их германски ориентированные собратья. Они опираются на нормы, канонизированные в теории позднего французского классицизма и усвоенные карамзинизмом (из этой группировки выйдет такой систематизатор правил словесности, основанных на Батте и Лагарпе, как Н. Остолопов). Они культивируют в основном «средние» жанры — такие, как басня, сказка (conte), сатира, а также поэтические мелочи — песню, мадригал, эпиграмму. Впрочем, характерная для эпохи стихия экспериментаторства не обошла стороной и «французов», но их эксперименты носят гораздо более осторожный — по сравнению с Востоковым и Борном — характер. «Французы» и здесь идут уже проторенными (главным образом Карамзиным) путями. Так, А. Измайлов в «Тирсисе» (1805) варьирует карамзинскую «Раису», сохраняя и ее тематику, и мотивы, и метрику, и безрифменный стих, но при этом характерным образом переключает карамзинскую тему из «оссианического» регистра в пасторальный, заменяет преромантическую страстную неистовость на привычную галантную чувствительность. Н. Остолопов в «Бедной Дуне» перекладывает ту же «Раису» карамзинским «народным» стихом, стремясь придать ей национальный — но предельно «приличный» — колорит... Характерно, однако, что и это весьма осторожное экспериментаторство присуще лишь ранним опытам участников группировки... В середине 1800-х годов к этой группе внутри Вольного общества принадлежат, наряду с Измайловым и Остолоповым, А. А. Писарев (в своих «шутливых» стихах) и, в известной степени, Н. Радищев (впрочем, его звездный час был уже позади: наиболее значительные его поэтические опыты относятся к более раннему периоду, до

времени его членства в Вольном обществе; на это правильно указал в своей рецензии на «Поэтов-радищевцев» Мирский). К этой «французской» группе примыкал и прозаик Н. Брусилов: смеясь над крайностями сентиментализма, он следует путями стернианской прозы, пропущенной сквозь традицию вольтеровской повести... Объединяла «французов» с «немцами» общая почтительность к Карамзину, хотя в деятельности Карамзина их привлекали разные стороны.

Наконец, третья литературная тенденция в Вольном обществе представлена авторами, тяготевшими к антропологической и натурфилософской проблематике и, соответственно, к философской и натурфилософской оде. Эта группа неоднородна: например, Ф. И. Ленкевич (баллотировавшийся почти одновременно с Батюшковым), поэт, бесспорно, незаурядный и до конца не реализовавшийся, стремится не просто воскресить ломоносовскую оду (его тексты полны скрытых и прямых цитат из Ломоносова), но предельно архаизировать ее стилистически (ломоносовские духовные оды написаны не в пример более простым языком). При этом архаизмы используются им не как элемент общепринятой традиции, а напротив, как способ *обновления* поэтического языка. В этом смысле Ленкевич оказывается ближе к первой, «немецкой» группировке. Напротив, И. Пнин в своих философских одах стремится архаическую жанровую форму соединить с модернизированным языком и стилем. В немногочисленных стихах элегического плана Пнин вообще следует усредненной норме «нового слога»; здесь если и можно обнаружить какое-либо экспериментаторство, то не немецкого, а именно романского плана. В этом отношении Пнин, бесспорно, примыкал ко второму, «французскому», направлению. Лично близкий Борну Попугаев совершенно чужд его прогерманской эстетической позиции и его экспериментаторским устремлениям; в своих поэтических опытах он тяготеет скорее ко второй, «французско-карамзинской», группировке (на близость стихов Попугаева стихам Карамзина указывал еще Г. П. Макогоненко).

Разумеется, эта разнонаправленность литературных вкусов и устремлений не выражалась в прямой конфронтации и непрерывной борьбе группировок. Но все же она объективно существовала и сказывалась на отношениях членов Общества. Так, Востоков будет весьма положительно отзываться о стиховых экспериментах Борна, Волкова и Олешева, усматривая в них попытки обогатить русскую поэзию «приятными

размерами греков и римлян» и создать поэтические тексты, построенные на музыкально-симфонических основаниях (что делает излишним такое дополнительное и в общем обременительное украшение, как рифма). Напротив, во внутренней рецензии на «Опыты лирические» Востокова (представленные в Общество, кстати, 22 апреля 1805 года — в тот же день, что и стихотворение Батюшкова!) А. Измайлов, при общей высокой оценке дарования Востокова, высказал характерное замечание: «Белые его стихи, писанные латинскими и греческими размерами, хотя и нравятся мне, однако же не столько, как пиесы с рифмами, состоящие из одних ямбов. Может быть происходит сие действительно от того, что русские уши, как сказал где-то сам автор, не могут вдруг привыкнуть к гармонии греческих и латинских стихов, но мне кажется, что ежели бы, например, *Фантазия*, *Песнь луне*, *Зима*, *Тленность* написаны были греческими или латинскими размерами, то я бы не восхищался при чтении их столько, сколько сие со мною случалось; и, чистосердечно сказать, я весьма бы желал, чтобы Г-н Востоков писал более хореем и ямбами, нежели мерою Горация и Сафы»²⁷. Измайлов говорил не только от своего лица, но и от лица группы: впоследствии эти упреки почти слово в слово будут повторены в анонимной рецензии на «Опыты лирические» Востокова, появившейся на страницах издаваемого Н. Остолоповым «Любителя словесности»²⁸.

Эта разнонаправленность литературных устремлений приводила к выделению внутри Общества литературно-бытовых группировок, которые вовлекали в орбиту своего влияния и совсем молодых, начинающих литераторов, формально к Обществу не принадлежавших, но находившихся в курсе его интересов и внутренней жизни. Именно эта среда была основным резервуаром для пополнения Общества новыми членами.

«Классицисты-карамзинисты» встречались в 1800-е годы не только на официальных собраниях Общества, но и на литературных вечерах Н. П. Брусилова. О характере брусиловских вечеров можно судить по воспоминаниям Н. И. Греча, относя-

²⁷ Петухов Е. В. Несколько новых данных из научной и литературной деятельности А. Х. Востокова. С. 91. Отзыв Измайлова датирован 6 мая 1805 года.

²⁸ В своей неопубликованной диссертации я попытался обосновать авторство Измайлова. См.: Проскурин О. А. А. Е. Измайлов и литературная жизнь первой трети XIX века. Дисс. ... канд. филол. наук. (Машинопись). МГУ, 1984. С. 187–188.

щимся как раз к тому периоду, когда Батюшков предпринял свою первую попытку вступить в Вольное общество. Рассказывая о своем литературном дебюте — публикации двух филологических статей в «Журнале российской словесности», Греч сообщает: «По этому случаю познакомился я с Н. П. Брусиловым и находил у него приятное общество — В. М. Федорова, К. Н. Батюшкова, Н. Ф. Остолопова, А. Е. Измайлова, И. П. Пнина»²⁹. Юный Батюшков, конечно, не мог играть в этом кружке сколько-нибудь заметной роли; несомненно, он выступал, в основном, в амплу благодарного слушателя и приятного молодого собеседника. Роль корифеев принадлежала иным лицам: не случайно Греч тут же вспоминает о «милой наставительной беседе» И. П. Пнина...

Итак, благодаря мемуарам Греча мы можем почти с полной уверенностью утверждать, что в 1805 году Батюшков сближается с кружком Брусилова. Вряд ли это произошло многим раньше, да вряд ли многим раньше оформился и сам кружок: Брусилов делается членом Вольного общества только в 1804 году и, видимо, только с этого времени начинает играть известную роль в литературном мире...

Фактическим органом кружка был издававшийся Брусиловым «Журнал российской словесности». Это было издание с ярко выраженной прокарамзинской ориентацией. В журнале господствовал настоящий культ Карамзина (что бы ни утверждали новейшие исследователи, стремящиеся объявить «Журнал российской словесности» чуть ли не центром антикарамзинизма). Уже в первых номерах журнала за 1805 год (то есть прочитанных Батюшковым до объявления о решении вступить в Вольное общество) молодой поэт мог встретить множество свидетельств почтительно-приятного отношения издателя и авторов к московскому писателю.

В «Письме деревенского жителя о Воспитании» Батюшков, например, мог найти пассаж, свидетельствовавший о полной поддержке журналом литературно-языковой позиции Карамзина: «В лучших обществах везде употребляется язык Французской, редкая дама большого света имела понятие о Руской Словесности прежде эпохи г. Карамзина — он первой начал писать приятно и познакомил любезных дам с Рускою Словесностию»³⁰. В том же номере, в библиографических

²⁹ Греч Н. И. Записки о моей жизни. М.: Книга, 1990. С. 164.

³⁰ Журнал Российской словесности, 1805, № 1. С. 23.

«Известиях», среди новых книг упоминались «Сочинения Н. М. Карамзина, любимейшего русского писателя»³¹. В этой библиографической заметке буквально каждый штрих и каждая деталь исполнены особого смысла. Следует обратить внимание уже на то, что среди рассматриваемых авторов только трое — Г. Р. Державин, М. М. Херасков и Н. М. Карамзин — обозначены *инициалами*; все остальные названы только по фамилиям — г. Яновский, г. Измайлов, г. Бобров и проч. Инициалы здесь — конечно, знак подчеркнутой почтительности. Важен и характеризующий писателя эпитет с сильной экспрессивно-оценочной окраской; даже херасковская «Бахаряна» фигурирует в списке только как «сочинение известного нашего Поэта»; лишь Державин удостоен характеристики, сопоставимой по степени комплиментарности с той, что была дана Карамзину: «...одно имя сего славного Поэта сказывает все, что можно сказать в пользу сей книги»³².

В 3-м номере журнала, в брусилковском «Путешествии в Храм Вкуса», была предпринята попытка построения русского литературного пантеона. Парад авторов, открытый Ломоносовым, завершается явлением Карамзина, который, таким образом, оказывается замыкающим в недлинном ряду русских классиков. Характеристика карамзинских творений исполнена восхищения и имеет характер демонстративной апологии: «*Аглая, Лица, Марфа Посадница*, и прочие творения писателя, сделавшего славнейшую эпоху в Руской Словесности, писателя, столь сильно, убедительно говорящего человеческому сердцу, не смотря на все усилия завистников, старавшихся очернить истинный талант, лежали на жертвеннике вкуса»³³.

Рядом с этими панегириками в журнале публиковались прямые подражания Карамзину и Дмитриеву: во 2-м номере, например, была напечатана сатира Остолопова «Признание» — близкая вариация дмитриевского «Чужого толка»...³⁴ Таковы были литературные симпатии той среды, в которой оказался Батюшков в 1805 году.

³¹ Журнал Российской словесности, 1805, № 1. С. 54.

³² Журнал Российской словесности, 1805, № 1. С. 53.

³³ Журнал Российской словесности, 1805, № 3. С. 137.

³⁴ Журнал Российской словесности, 1805, № 2. С. 98–104.

«ДЕЛО О ПРИНЯТИИ г. БАТЮШКОВА»

Скорее всего именно посещение частных вечеров Брусилова, на которых обсуждались дела и планы Вольного общества, побудило Батюшкова вступить в Общество формальным порядком. Он имел основания полагать, что и там встретит такую же приятную компанию, что и у Брусилова, пополненную к тому же его сослуживцами (Языков, Радишев) и еще несколькими литераторами — возможно, знакомыми ему по дому Михаила Муравьева...

Почему, однако, Батюшков не пожелал ограничиться дружеским кружком и «домашними» контактами? Ведь, если верить, например, современному историку литературы В. А. Кошелеву (особенно настойчиво отстаивающему соответствующую точку зрения), Батюшков по природе своей был одиночкой, в сущности враждебным всем литературным группам и объединениям³⁵. Однако «одиночкой» Батюшков не был. Уже достигнув славы, он с явным удовольствием перечислял (в записях «для себя»!) литературные и ученые общества, членом которых был он избран. Тем больше должно было льстить ему избрание в столичное литературное объединение в самом начале литературной карьеры. Изъявив желание вступить в Вольное общество, Батюшков рассчитывал утвердить себя — и в собственных глазах, и в глазах публики — в статусе *настоящего литератора*.

По всей вероятности, намерение его было поддержано (если не инспирировано) посетителями брусиловских вечеров, в первую очередь самим Брусиловым. Во всяком случае, как мы помним, именно Брусилов объявил Обществу о желании молодого поэта вступить в его ряды. Он же представил на суд сочленов стихотворение, на основании которого Батюшков рассчитывал быть избранным.

Как же развивались дальнейшие события?

К сожалению, протоколы Вольного общества любителей словесности, наук и художеств за 1805 год утрачены, и мы не знаем, кто участвовал в заседаниях, на которых обсуждался вопрос о приеме Батюшкова. Не знаем мы и кое-каких процедурных нюансов (определений, вынесенных по этому вопросу).

³⁵ См., например: Кошелев В. А. В предчувствии Пушкина: К. Н. Батюшков в русской словесности начала XIX века. Псков: Изд. Псковского областного института усовершенствования учителей, 1995. С. 35–51.

Однако отсутствие протоколов частично компенсируется сохранившимся «Делом о принятии г. Батюшкова в члены общества», включающим выдержки из протоколов соответствующих собраний³⁶. Этих выписок вполне достаточно для реконструкции пропущенных звеньев в истории первой попытки Батюшкова стать членом ВОЛСНХ. Все выписки сделаны рукой секретаря общества Д. Языкова и заверены его подписью, за исключением отзыва А. Востокова, который сохранился в подлиннике. Под мнением Востокова поставил свою собственноручную подпись и президент Общества И. М. Борн.

Приводим полностью этот важный документ (для полноты картины включая и отзыв Востокова, свыше ста лет назад опубликованный Е. Петуховым):

1805 — апр. 22

Дело
о принятии Г. Батюшкова
в члены общества.

Выписка из журнала: № 9. апр. 22. 1805.

Статья 2

Г. Брусилов читал сочинение Г. Батюшкова под названием: Сатира, подражание французскому, с объявлением, что Г. Батюшков желает быть членом Общества. Определено: Сочинение отдать на рассмотрение Цензоров, которым подать об оном свое мнение, а Г. Батюшкову доставить письмо с изъявлением его желания быть членом Общества. В следствие сего сочинение взято Цензором Востоковым.

Верно: Д. Языков.

Читано в Собрании 6 Маия 1805.

Голос цензора Востокова
о принятии Г-на Батюшкова в члены Общества.

Я рассматривал представленную Г-ном Батюшковым «Сатиру, подражание французскому» — не худое подражание, писанное

³⁶ Отдел редких книг и рукописей Научной библиотеки Санкт-Петербургского университета. Архив Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Д. № 157. Л. 1–4. Пользуюсь случаем, чтобы выразить искреннюю (хотя и запоздалую) признательность А. Х. Горфункелю и Н. И. Николаеву, в свое время любезно содействовавшим моей работе с документами ВОЛСНХ.

с довольною легкостию: но для вступления молодому Автору в Общество, надобно по моему мнению, чтоб он Обществу представил еще что нибудь из трудов своих, и притом если можно, своего собственного сочинения.

Маия 6-го дня
1805.

Ц. Алекс. Востоков.
Ив. Борн.

Выписка из мнения Цензора Радищева,
поданная им 17 Июня, о стихах Г. Батюшкова
под названием: Сатира.

Стихи Г. Батюшкова я также рассматривал и нашел их довольно хорошими; но узнав от него, что он намерен их переделать, я думаю, что их должно возвратить ему.

(Подлинник находится в деле о Ленкевиче)

= верно: Д. Языков.

Выписка из мнения Цензора Измайлова,
поданное (sic! — О. П.) им 1 Июля о том же.

Мнение мое в рассуждении сей пиесы совершенно согласно с мнением прочих Господ наших Цензоров. Я даю так же как и они свой голос на принятие в Члены нашего Общества Г. Батюшкова и так же как они думаю, что бы Г. Батюшков должен был представить в общество новые опыты трудов своих, которые бы были важнее первого.

Сатира Г. Батюшкова писана с легкостию и стихи в ней плавны. Есть однако же и в сей пиесе некоторые погрешности, напр. сряду 4 женских стиха:

Доволен всяк умом, фортуною ни мало;
Что нравилось сперва, теперь то скучно стало.
Кто почестей из нас и злата не желает?
Но и сквозь золото кто слез не проливает?

Последний стих содержит в себе ту же самую мысль, которая заключена в простонародной нашей пословице: *и чрез золото слезы текут*. Пословица сия более мне нравится, потому что слезы *через золото* течь могут, а не сквозь.

Далее Г. Батюшков говорит о каком-то Г. Брамербасе так:

Заплюет всем глаза герой наш плодовитый.

«Не худое подражание»

Подобных выражений по моему мнению должно избегать не только в хороших стихах, но и в хорошем разговоре.

Сверх того кажется мне, что Г. Батюшков переменял напрасно 3 стих в начале своей Сатиры. Прежде у него было:

Забудем мы мой друг, забудем вовсе свет;
В нем счастья для нас, поверь мне, Хлоя, нет.
Оно не в городах, но в сердце обитает.
Счастлив кто с дружбою одной лишь жить желает NB

<На полях выноска: NB для чего не: одну жить желает.>

Теперь вместо 3-го стиха написан у него следующий:

Счастлив, кто в хижине покойной обитает.

Стих сей, по моему мнению, несравненно слабее прежнего. Повидимому Г. Батюшков переменял его для того, чтобы вышла у него фигура повторения, ибо теперь два стиха сряду начинаются одним словом: *счастлив*; но таковую фигуру никогда употреблять без нужды не должно, а особливо часто. У Г-на же Батюшкова в четырех стихах употреблена сия фигура два раза, т. е. в первом:

забудем мы, мой друг, забудем во все свет.

да в 3 и 4-м, которые, как выше сказано, имеют у себя в начале слово: *счастлив*.

В заключение сих строк нужным почитаю еще упомянуть один раз, что пиеса Г. Батюшкова не смотря на свои недостатки довольно хороша, и он достоин вступить в наш круг, тем более, что Общество со временем может ожидать от него гораздо больших плодов.

(Подлинное там же).

= верно: Д. Языков.

Июля 8. № 15

Статья 7.

Цензор Радищев объявил, что Г. Батюшков желает, чтобы возвратили ему представленное чрез Г. Брусилова Сочинение его под названием Сатира, по чему и отдана она Г. Радищеву.

верно: Д. Языков.

Опираясь на приведенные материалы, мы можем теперь установить многие факты, позволяющие уточнить, а во многом — кардинально пересмотреть сюжет «Батюшков и Вольное общество в 1805 году».

Прежде всего, у нас есть теперь достаточно оснований для того, чтобы попытаться реконструировать состав участников тех заседаний, на которых рассматривалось дело о приеме Батюшкова. Шесть имен нам дает само дело: это И. М. Борн (председатель), Д. И. Языков (секретарь), Н. П. Брусилов (предложивший кандидатуру Батюшкова), А. Х. Востоков, Н. А. Радищев, А. Е. Измайлов (цензоры). С большой степенью уверенности можем присоединить к этому перечню: В. В. Попугаева, до 1807 года почти не пропускавшего заседаний, как можно судить по сохранившимся протоколам; Н. Ф. Остолопова, тоже завсегдатая собраний; А. А. Писарева, в ту пору бывавшего в Обществе очень аккуратно, и, возможно, кого-нибудь из художников. Больше десяти человек, как уже говорилось, на заседаниях Общества в те годы собиралось редко, да и то в самых экстраординарных случаях. И. П. Пнина (которого юный Батюшков почитал) среди присутствующих скорее всего не было: к обязанностям члена он относился прохладно, на заседаниях бывал редко и даже заслужил за то порицание от Общества... Тем не менее расклад сил для Батюшкова был скорее благоприятный: большинство участников этих собраний уже были знакомы с юным поэтом.

КОМУ «ПОДРАЖАЛ» БАТЮШКОВ В СВОЕМ «ПОДРАЖАНИИ»?

Какое же сочинение представил Батюшков на суд цензоров Вольного общества? Как мы помним, от Е. Петухова до наших дней исследователи были уверены в том, что это «Перевод 1-й Сатиры Буало». К сожалению, однако, Е. Петухов, увлеченный бумагами Востокова, не догадался прочесть находившийся рядом отзыв Измайлова, который обильно уснащен цитатами из разбираемого сочинения. По этим цитатам нетрудно было бы установить, что под названием «Сатира» Батюшков представил Обществу отнюдь *не* перевод Буало, а совсем другой текст — стихотворение, известное ныне под заголовком «Послание к Хлое».

Это послание было впервые опубликовано Л. Н. Майковым по рукописи из собрания П. Н. Тиханова, принадлежавшей некогда М. Е. Лобанову. В рукописи текст имел загадоч-

ный подзаголовок: «Подражание». Смысл этого подзаголовка Л. Н. Майков объяснял так: «Находящуюся в той же рукописи приписку к заглавию, что „Послание“ есть „подражание“ какому-то чужому произведению, можно объяснить сходством пьесы Батюшкова с сатирическим стихотворением В. Л. Пушкина «Вечер» (Аониды, кн. III), где также, как у нашего поэта, выводится ряд типов светского общества»³⁷. Д. Д. Благой был более осторожен в определении объекта подражания, но, как кажется, тоже склонен был считать таковым произведение русской поэзии: «Трудно сказать, кому специально подражал Батюшков в своем „Послании“. Мотивы ухода „из города“, от „шумного“ „света“, в деревню, в „мирную хижину“ были общим местом карамзинистской поэзии»³⁸. Н. В. Фридман в общем принял толкование Майкова³⁹.

В рукописи, представленной Вольному обществу, текст, как мы могли убедиться по отзывам, имел несколько иной подзаголовок: «Подражание *французскому*». Следовательно мнение Л. Н. Майкова о том, что Батюшков намекал на свою зависимость от В. Л. Пушкина, приходится оставить. Но какой же французский текст послужил источником для батюшковской «Сатиры»? Этот источник, по счастью, удалось установить. Объектом подражания для начинающего поэта послужило знаменитое сочинение Вольтера *Epitre a Madame Denis, niece de l'auteur. La vie de Paris et de Versailles*. Сравнение текстов обнаруживает разительные параллели, позволяющие говорить о том, что стихотворение Батюшкова куда ближе к оригиналу, чем обычно бывает подражание:

Четыре бьет часа — и кончился обед:	Après dîner l'indolente Glycère
Из дому своего Глицера поспешает,	Sort pour sortir, sans avoir rien à faire;
Чтоб ехать, — а куда? — беспечная не знает.	On a conduit son inspidité
Карета подана, и лошади уж мчат.	Au fond d'un char <...>
«Постой!» — она кричит, и лошади стоят.	Chez son amie au grand trop elle va,
К Лаисе входит в дом, Лаису обнимает,	Monte avec joie, et s'en repent déjà,
Садится, говорит о модах — и зеваает;	L'embrasse, et baille <...>
О времени потом, о карточной игре,	Quelques propos sur le jeu, sur le temps,
О лентах, о пере, о платье и дворе.	Sur un sermon, sur le prix des rubans,
Окончив разговор, который истощился,	Ont épuisé leurs âmes excédées;

³⁷ Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 1. С. 306 (2-я пагинация).

³⁸ Батюшков К. Н. Сочинения. Ред., вступ. статья и комментарии Д. Д. Благого. С. 553.

³⁹ Батюшков К. Н. Полное собрание стихотворений. С. 264.

От скуки уж поет. Глупонов тут явился,	Elles chantaient déjà, faute d'idées.
Надутый, как павлин, с пустою головой,	Dans le néant leur coeur est absorbé;
Глядится в зеркало и шаркает ногой.	Quand dans la chambre entre monsieur
Вдруг входит Брумербас; все в зале замолкает.	l'abbé,
Вступает в разговор и голос возвышает:	Fade plaisant, galant escroc, et prêtre,
«Париж я верно б взял, — кричит из всех	Et du logis pour quelques mois le maître.
он сил, —	Vient à la piste un fat en manteau noir,
И Амстердам потом, гишпанцев бы разбил...».	Qui se rengorge et se lorgne au miroir.
Тут вспыхнет как огонь, затопают ногами,	Nos deux pédans sont tous deux sûrs
Пойдет по комнате широкими шагами<...>	de plaire;
Но вдруг смиряется, и бросив взгляд сердитый;	Un officier arrive et les fait taire,
Начнет рассказывать, как турка задавил,	Prend la parole, et conte longuement
Как роту целую янычаров убил,	Ce qu'a Plaisance eût fait son regiment,
Турчанки нежные как все в него влюбились,	Si par malheur on n'eût pas fait retraite.
Как турки в полону от злости запыхались,	Il vous le mène au col de la Boquette;
И битые часа он три проговорит!..	A Nice, au Var, a Digne il le conduit:
Никто не слушает, а он кричит, кричит! ⁴⁰	Nul ne l'écoute, et le cruel poursuit ⁴¹ .

Собственно говоря, источник стихотворения Батюшкова был впервые установлен семьдесят лет назад, но, в силу обстоятельств, это открытие не было обнародовано. 29 июня 1927 года молодой П. Лукницкий по свежим следам записал разговор с Анной Ахматовой, начавшей тогда всерьез заниматься историей русской поэзии: «Вот сейчас она при мне нашла „слово“ для выражения ее понимания методов творчества Пушкина — горн, переплавляющий весь материал, которым Пушкин поль-

⁴⁰ Батюшков К. Н. Сочинения в двух томах. М.: Художественная литература. 1989. Т. 1. С. 342.

⁴¹ Oeuvres complètes de Voltaire. Tome treizieme. A Basle. De l'Imprimerie de Jean-Jaques Tourneisen. 1785. P. 144–145. (Перевод: 'После обеда беспечная Глицера // Выезжает, просто чтобы выехать, безо всякой цели, // Препровождая свою блеклость // В глубь кареты <...> // Она резво бежит к подруге, // Подымается в радости, но уже в раскаянии, // Когда целует ее — и зевает <...> // Разговор об игре, о погоде, // О проповеди, о ценах на ленты // Исчерпал их утомленные души. // Они уже поют, за отсутствием мыслей. // Сердца их погружены в ничтожество; // И тут в гостиную входит господин аббат, // Пошлый угодник, галантный мошенник, да еще и священник, // И властелин этой гостиной на несколько месяцев. // Ему вослед — фат в черном плаще, // Он, выпятив грудь, лорнирует себя в зеркале. // Оба наших педанта уверены в том, что неотразимы; // Тут входит офицер и заставляет их умолкнуть, // Он вступает в разговор и долго рассказывает, // Как стоял со своим полком в Плезансе, // Если, по несчастью, не был отставлен. // Он ведет вас па вершину Бокетты, // Он сопровождает вас в Ницу, в Вар, в Динь: // Никто не слушает, а жестокий все продолжает').

зуются. Например, когда он пользуется материалом иностранных авторов. После „переплавки“ получается нечто совсем новое — чисто пушкинское. Попадаются, правда, иногда — непереплавленные зерна, но это еще больше украшает, придает прелести. Батюшков, вообще все современники Пушкина — не переплавляют материал, а только ставят его в тепленькую печь, подогревают, чуть-чуть обновляют, но не меняют состава — он остается тем же. (Пример: «Послание Хлои» <sic! — О. П.> Батюшкова, ак. изд. I том. Кстати, перевод из Вольтера — чего не знали академики — см. акад. изд.)⁴².

Речь здесь, конечно, идет о «Послании к Хлое»: Лукницкий записывал со слуха и потому воспроизвел название неточно. Вряд ли можно сомневаться в том, что, называя послание Батюшкова «переводом из Вольтера», Ахматова имела в виду именно «Послание к мадам Дениз». Ахматова очередной раз продемонстрировала и остроту своего литературного зрения (она действительно увидела то, чего не заметили дотошные «академики»), и способность дать блестящую в своей емкой точности характеристику.

В самом деле, текст Батюшкова — это подновление «без перемены состава». Местами это почти точный перевод (сохранено даже имя героини), местами — вариация, слегка русифицирующая свой источник (Батюшков в обращении с материалом следует установившейся традиции). Характерно, что из текста Батюшкова исключена проповедь как одна из тем болтовни двух подруг и фигура *monsieur l'abbé* — в России (даже «дней Александровых прекрасного начала»!) недостаточно почтительное упоминание духовенства было невозможно не только в печати, но и в любом публичном чтении...

Решение представить на суд Вольного общества вольный перевод из Вольтера, думается, было не случайным, а наоборот, достаточно тщательно обдуманном актом, выдающим определенную, хотя и несколько наивную, тактику. Вольтер, несмотря на недавние «ужасы», которые связывались с его именем и учением, продолжал пользоваться авторитетом и широкой популярностью в различных литературных кругах начала XIX века. Не было исключением и Вольное общество: еще в 1799 году перевод «Похвалы баснословия» и «Телемы и Макара» выполнил А. Х. Востоков; басня «Пчелы» переводилась Д. Ф. Бринкеном. Однако настоящий культ Вольтера

⁴² Лукницкая В. Перед тобой земля. Л.: Лениздат, 1988. С. 346.

царил в кружке, группировавшемся вокруг Брусилова. Вольтер здесь ценился и как «свободный ум» и «светоч века», и как блестящий литератор, образцовый версификатор и почти безусловный эстетический авторитет. Именно наследие Вольтера казалось тем фундаментом, на котором можно было воздвигнуть здание новой русской словесности, соединяющее элегантность и ясность позднего французского классицизма с утонченностью новейшего карамзинского партикуляризма.

Кружковое вольтерьянство оставило свой след и в материалах брусиловского «Журнала российской словесности». В первых трех номерах журнала (бывших в руках Батюшкова до того, как он изъявил желание вступить в Вольное общество) наш поэт мог обнаружить многочисленные свидетельства культа Вольтера. Главным адептом фернейского мудреца был сам издатель, Брусилов. В его статье «Нечто о критике», по сути очерчивающей программу журнала, Вольтер упоминается трижды, причем с величайшим пиететом. Цитата из Вольтера заключает брусиловскую статью, подытоживая ее идеи: «Вольтер заметил, что лучше платить дань *справедливости* и *здравому рассудку*. В сих словах Вольтера заключаются главнейшие правила критики»⁴³. Цитата из Вольтера суммирует и другую статью Брусилова — тоже программную — «Письмо к приятелю о Русском театре» («Mais il faut que le beau soit rare, sans quoi il cesseroit d'être beau, сказал Вольтер — и сказал истинну»⁴⁴). Наконец, публикуя свою критическую аллегорию «Храм вкуса», Брусилов в особом примечании указал на источник, послуживший для него образцом: «Вот безделка, которая занимала меня в праздные часы. — Это ни что иное, как слабое подражание Вольтеру. Le temple de gout Вольтера (sic! — О. П.) писан и прозой и стихами вместе. Не будучи стихотворцем, я не мог следовать сему. Мне хотелось только в сем легком опыте показать лучших наших писателей»⁴⁵.

Апелляциями к авторитету Вольтера дело, однако, не ограничивается: в журнале широко публикуются *переводы* вольтеровских сочинений. Во 2-м и 3-м номерах напечатаны «Извлечения из сочинений Вольтера» (эссенция из «Вопросов в связи с Энциклопедией»); во 2-м номере увидел свет выполненный Н. Остолоповым перевод знаменитой эпитафии *Imitée de*

⁴³ Журнал Российской словесности, 1805, № 1. С. 9.

⁴⁴ Журнал Российской словесности, 1805, № 2. С. 70.

⁴⁵ Журнал Российской словесности, 1805, № 3. С. 126–127.

l'Anthologie («В один из летних дней // Ужалил нашего Фрерона змей. // Что ж вышло из того? Кто это отгадает? // Фрерон живет — змей издыхает!»)⁴⁶. Здесь же предполагалось опубликовать перевод эпиграммы на Лефрана де Помпильяна, но он не был пропущен цензурой⁴⁷.

Вся эта «вольтерофильская» атмосфера, видимо, во многом предопределила выбор Батюшкова. Во-первых, перевод-переделка из Вольтера вполне укладывался в рамки эстетических пристрастий кружка. Во-вторых, выбор Вольтера в качестве объекта имитации не противоречил интересам и пристрастиям Общества в целом. Наконец, в-третьих, тон и жанр послания соответствовали интересам и наклонностям молодого Батюшкова, который, судя по сохранившейся поэтической продукции середины 1800-х годов, осознавал себя в это время прежде всего *сатириком* на французский лад, в духе Буало и Вольтера. Да и вообще Вольтера он в ту пору любил. Строка из написанного вскоре послания «К Филисе» — «Тут Вольтер лежит на Библии» — явно не только дань штампам французской «легкой поэзии».

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ПРЕПОНЫ

Батюшков, казалось бы, имел все основания рассчитывать на благосклонный прием. События, однако, неожиданно приняли другой оборот. Материалы «Дела...» позволяют убедиться в том, что Батюшков не был принят в Общество ни 22 апреля (как принято считать с легкой руки Д. Д. Благого), ни даже 6 мая (как можно было бы заключить на основании восточского отзыва, обнародованного Е. Петуховым). «Избирательная кампания» растянулась на полтора месяца.

Первый цензор — А. Х. Востоков — оказался неожиданно суровым. Признав за представленным опусом известные достоинства («не худое подражание», «писано с легкостью»), Востоков в то же время вполне недвусмысленно указал на то, что «Сатира» *не может* служить достаточным основанием для избрания Батюшкова в действительные члены, и предложил юному поэту представить другое сочинение — уже вполне оригинальное. Что послужило основанием для столь строгого

⁴⁶ Журнал Российской словесности, 1805, № 2. С. 112.

⁴⁷ Заборов П. Р. Русская литература и Вольтер: XVIII — первая треть XIX в. Л.: Наука, 1978. С. 148.

решения? Формальное несовершенство текста? Судя по отзыву, нет. Самый факт того, что молодой автор представил подражание, а не оригинальный текст? Судя по отзыву, как будто да. Однако во второй половине апреля 1805 года, буквально накануне сурового отзыва на стихи Батюшкова, Востоков «подал голос на избрание» в члены Общества Ф. И. Ленкевича, представившего перевод (не подражание даже, а перевод!) начала 4-й песни «Энеиды»⁴⁶. Судя по востокскому отзыву, стихотворная техника Ленкевича находилась примерно на уровне молодого Батюшкова («от 13-го до 16-го стиха сряду четыре женские; а после 21-го стиха к рифме Эней недостает другой рифмы»).

Насколько можно судить, за суровым отзывом Востокова скрыта определенная эстетическая позиция. Переводы и подражания культивирует и «германское» крыло Вольного общества — Борн, Волков и сам Востоков. Однако это переводы особого рода, призванные «обогащать» русскую поэзию новыми метрами и строфическими формами, новыми ритмическими решениями традиционных размеров (как у Борна), новыми жанрами, наконец новыми (чаще всего «важными») темами. Видимо, «важностью» темы и жанра привлек Востокова и одобренный им перевод Ленкевича. Подражание же Батюшкова не устроило его именно тем, что это *подражание французскому*, то есть особый, уже устоявшийся и уже окостеневший «легкий» жанр. Такой жанр предполагает варьирование давно известных тем (Гораций сквозь призму французской традиции, адаптированной русской поэзией XVIII века) и форм (автоматизированный шестистопный ямб с тривиальными, как правило — бедными рифмами). Такое подражание неизбежно должно было казаться Востокову непродуктивным, не заключающим в себе ничего оригинального и не приносящим ничего принципиально нового в русскую поэзию.

Это мнение имплицитно выражало эстетические принципы всей «германской» линии Вольного общества. Не случайно востокский голос, по сути, был поддержан близким к этой позиции президентом Общества И. М. Борном.

Мнение Востокова, видимо, тогда же было сообщено Батюшкову. Он, однако, не последовал совету Востокова (почему — это

⁴⁶ Петухов Е. В. Несколько новых данных из научной и литературной деятельности А. Х. Востокова. С. 89. Ленкевич представил также перевод фрагмента из политического трактата Шлецера и «Стихи на новый 1805 год». Однако эти тексты всерьез не рассматривались никем из рецензентов; внимание привлек только перевод фрагмента из «Энеиды».

особый вопрос), но решил забрать свое стихотворение для перделки. Это избавило другого цензора, осторожного, не любившего эксцессов и к тому же связанного с Батюшковым приятельскими и служебными узами, — Н. Радищева — от сколько-нибудь определенных суждений по поводу переданного ему сочинения. Он ограничился самой общей и притом туманной характеристикой представленных стихов («нашел их довольно хорошими»), известил Общество о намерении Батюшкова и умыл руки. Новый, исправленный вариант «Сатиры» поступил на рассмотрение к третьему цензору — А. Е. Измайлову.

Измайлов — вероятно, уже знакомый с Батюшковым по вечерам у Брусилова (см. воспоминания Греча) — оказался в сложном положении. С одной стороны, он питает к юному автору дружеское расположение и бесспорную симпатию. Он не только не имеет намерения провалить его, но явно желает поддержать первые шаги начинающего сочинителя. Отсюда — похвалы «легкости» пьесы и «плавности» ее стихов (похвалы, кажущиеся ныне преувеличенными: качество сочинения Батюшкова совершенно ученическое, даже и по меркам начала XIX века. Иное дело, что и сам Измайлов — автор более опытный — писал тогда немногим лучше).

Вместе с тем Измайлову вовсе не хотелось оспаривать компетентность других цензоров (прежде всего Востокова): отсюда — повторение востоковской рекомендации «представить в Общество новые опыты трудов своих». Однако эти «новые опыты» не должны быть условием приема: Измайлов ожидает их от Батюшкова уже как от действительного члена. Измайлов оказался единственным из цензоров, кто счел возможным прямо заявить о необходимости принять Батюшкова в Общество. При этом он почтительно сослался на мнение прочих «Господ Цензоров» — что нельзя объяснить иначе, как простодушным лукавством: даже Радищев не высказался на сей счет с какой-либо определенностью, а Востоков (поддержанный президентом Борном!), как мы помним, неизменно условием приема поставил предоставление кандидатом нового сочинения!..

Кроме того, Измайлов, вовсе не заостряя внимания на подражательном характере пьесы и не ставя этого в вину молодому автору (в отличие от Востокова), не мог не отметить и слишком явных для него погрешностей. Список этих погрешностей сам по себе весьма интересен: он как бы эксплицирует

эстетические ориентиры той группы внутри Вольного общества, которые Батюшков, видимо, имел в виду, создавая свой текст. Прежде всего, это необходимость следовать устоявшимся версификационным правилам — вроде правила альтернанса (Батюшков, употребив «сряду четыре женских стиха», явно не намеревался производить версификационной революции: это, конечно, обычный недосмотр начинающего стихотворца). Далее, это требование семантической точности и грамматической ясности выражения («слезы *через золото* течь могут, а не сквозь»). Наконец, Измайлов выдвигает требование меры (анафору «употреблять без нужды не должно, а особенно часто»).

Особенно интересен упрек в использовании «выражений», коих «должно избегать не только в хороших стихах, но и в хорошем разговоре». Читатель, хоть сколько-нибудь знакомый с литературной репутацией авторов первых десятилетий XIX века, не сможет не оценить особой пикантности этого упрека. В злоупотреблении выражениями, не допустимыми в «хорошем разговоре», обвиняется «сладкозвучный и благоуханный» Батюшков! И кем? «Российским Теньером», «писателем не для дам», сочинителем, не раз впоследствии укорявшимся за «частое употребление слов, каковы: каналья, бестия, вор, мошенник, дьявол, плут, и проч., и проч., и проч.». Однако в 1800-х годах будущий создатель образа отставного квартального Пьянюшкина — куда больший пурист, чем будущий творец «Умирающего Тасса». Начинающий поэт еще не очень тонко чувствует стилистический контекст жанра (как он понимается «французско-карамзинской» группой) и, как следствие, способен еще уснастить «высокую» сатиру выражением из арсенала «низкой» поэзии XVIII века.

Усилия молодого Измайлова, добродушно журящего своего совсем юного собрата, направлены на то, чтобы тверже наставить его на пути «усредненной» поэтической традиции, сочетающей позднеклассический идеал гладкости и ясности с карамзинистским требованием вкуса, — то есть на пути, отличном от того, который был бы привлекателен для Востокова и его друзей.

Отзыв заканчивается повторным утверждением, что пиеса Батюшкова «довольно хороша» и что автор ее достоин вступить в круг членов Вольного общества, дабы со временем обогатить его более зрелыми плодами своего пера... Измайлов опять использовал незамысловатый тактический прием, при-

званный скорректировать «голос» Востокова (по форме даже как бы присоединяясь к нему). Трудно сказать, чего больше в этом отзыве: знаменитого измайловского добродушия или эстетической пронизательности, позволившей увидеть в неопытном стихотворце будущего большого Поэта...

После отзыва Измайлова перспективы для Батюшкова складывались совсем не безнадежно и, пожалуй, даже благоприятно. При баллотировке он мог рассчитывать на большинство голосов. Но дело приняло другой оборот. Батюшков, очевидно, не был готов к такому течению событий. Вместо быстрого и общего признания, вместо формальной и почти автоматической процедуры приема (а именно так принимали членов еще в 1804 году!) он проходит через длительную и, конечно, ранившую его болезненное самолюбие процедуру рецензирования и обсуждения. Самое досадное для Батюшкова заключалось, видимо, в том, что представить иного, более «важного» сочинения он, скорее всего, не мог. Не мог по той причине, что у него такого сочинения попросту не было (в противном случае что мешало ему поступить так сразу же после высказанного Востоковым пожелания?). Представленное сочинение, по всей вероятности, принадлежало к числу самых первых поэтических опытов Батюшкова и, вероятно, было написано вскоре после «Послания к стихам моим» — его дебюта в печати. Хорошо известно, что Батюшков и в зрелые свои годы писал долго и трудно, многократно возвращаясь к уже написанному и создавая все новые и новые варианты. Быстро написать текст «по заказу» ему было не по силам...

Познакомившись с последним отзывом, и даже в нем не увидев безоговорочных похвал, уязвленный Батюшков забирает свою сатиру из Общества — не дожидаясь баллотировки. На этом, однако, злоключения «Сатиры» не заканчиваются. Получив текст своего опыта от Радищева, Батюшков... вновь начинает его переделывать! Во всяком случае, текст, вошедший в Лобановскую тетрадь (по которой он и был издан Л. Майковым), существенно отличается от обеих редакций, рассматривавшихся в Обществе (мы можем судить об этом по местам, параллельным тем, что были приведены в отзыве Измайлова). Некоторые исправления были явно вызваны стремлением учесть замечания Измайлова; некоторые суждения рецензента Батюшков, однако, оставил без внимания, а исправить «подряд четыре женские стиха» оказалось ему не

под силу; сохранилась и строчка о плюющемся Брумербасе, ранившая утонченный вкус Александра Ефимовича... Видимо, на этой же стадии переработки стихотворение получило новое заглавие — «Послание к Хлое» — и новый подзаголовок — «подражание». Подзаголовок маскировал иностранный характер источника, что должно было предупредить возможные упреки в неоригинальности.

Предлагать свою переделанную сатиру Обществу в третий раз Батюшков, однако, не стал. Попыток вступить в Вольное общество он в ближайшие годы уже не предпринимал — видимо, не желая подвергать новым испытаниям свое литературное самолюбие.

Итак, все странности, о которых шла речь в начале нашего этюда, получают свое объяснение: Батюшков не был избран действительным членом Вольного общества любителей словесности, наук и художеств ни в апреле, ни в мае, ни в июне 1805 года. До баллотировки дело попросту не дошло.

Это не помешало ему сохранить дружеские отношения со многими членами Общества — главным образом из числа тех, что собирались в доме Н. Брусилова, хотя и не только с ними. Контакты эти были не только бытовыми, но и литературными: впоследствии Батюшков будет довольно активно сотрудничать в журналах, издававшихся членами Общества. Но эволюция Батюшкова как поэта протекала уже вне прямого влияния Вольного общества.

ЭПИЛОГ

Несмотря на сохранявшиеся связи с Вольным обществом, Батюшков, похоже, надолго затаил обиду на того, кто мог представляться ему основным виновником «провала» в 1805 году. Речь идет об Александре Христофоровиче Востокове.

В свое время М. Г. Альтшуллер обнаружил в библиотеке РАН (тогда — Академии наук СССР) экземпляр «Опытов лирических» Востокова с чрезвычайно любопытной припиской рукой Батюшкова.

Возле заглавия стихотворения «К солнцу», которое начинается стихами:

Светило жизни здравствуй!
Я ждал тебя... —

«Не худое подражание»

чернилами вписано: «Немецкой ученой сидит в колпаке на кровле, свечка его догорела, другую засветить жаль, а писать надобно — но солнце вышло на востоке, и немец в восторге, сняв колпак свой сказал:

*Светило жизни здравствуй!
Я ждал тебя...».*

(Первые строки стихотворения подчеркнуты теми же чернилами). Игра продолжена на следующей странице, где в конце стихотворения точка исправлена на запятую и добавлено одно слово. Получилось:

Согрей лучом отрады
Скорбящу грудь,
Немца.

Внизу страницы характерным почерком Вяземского написано: «Стыдно Батюшков! Уважай в Востокове Поэта и Поэта, каких у нас мало. Да притом же это не ты сказал, а Дмитриев»⁴⁹.

М. Г. Альтшуллер датировал эту «полемику на полях» 1810–1811 годами, временем сближения Батюшкова с Вяземским. Предложенная датировка представляется вполне правдоподобной.

Вне зависимости от степени самостоятельности остроты Батюшкова (а то, что он варьировал или попросту повторял чужие шутки, с ним бывало),⁵⁰ самый характер ее показателен. Острота как бы обнажает и доводит до комического предела «немецкое» направление Востокова (воплощенное в самой поэтической форме стихотворения «К солнцу») — тот самый «германизм», который был резко противоположен литературным устремлениям самого Батюшкова и который, как поэт мог не без основания полагать, воспрепятствовал его приему в Вольное общество весной 1805 года.

⁴⁹ Альтшуллер М. Г. Поэтическая традиция Радищева в литературной жизни начала XIX века // XVIII век. Сб. 12: А. Н. Радищев и литература его времени. Л.: Наука, 1977. С. 128–129.

⁵⁰ Так, Пушкин на полях поэтического тома «Опытов в прозе и стихах» Батюшкова рядом с эпиграммой «Всегдашний гость, мучитель мой...» приписал: «Это не Бат<юшкова>, а Блуд<ова>, и то перевод» (Пушкин. Полн. собр. соч. Т. XII. М.; Л.: АН СССР, 1949. С. 279). Эта помета, несомненно, имеет под собой какое-то основание.

Его действительным членом Батюшков станет только 8 февраля 1812 года (и выйдет из него в том же году, 16 мая)⁵¹. Но это уже будут другое общество, другая литературная эпоха — и другой Батюшков.

⁵¹ *Проскурин О.* «Победитель всех Гекторов халдейских»: К. Н. Батюшков в литературной борьбе начала XIX века // Вопросы литературы, 1987, № 6. С. 83–84. В этой статье я, между прочим, впервые кратко изложил и историю неудачной попытки Батюшкова вступить в Вольное общество в 1805 году (с. 64–65), со ссылками на архивные документы, но без их воспроизведения. Введенная мною информация была принята на вооружение специалистами, см.: *Кошелев В. А.* «Приятный стихотворец и добрый человек...» // Батюшков К. Н. Сочинения в двух томах. Т. 1. С. 11; *Сандомирская В. Б.* Батюшков // Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. Т. 1. М.: Советская энциклопедия, 1989. С. 175. В настоящее время она стала достоянием и мирового славистического сообщества. См.: *Pil'shchikov, Igor' A. and T. Henry Fitt.* Konstantin Nikolaevich Batiushkov // Russian Literature in the Age of Pushkin and Gogol: Poetry and Drama (=Dictionary of Literary Biography. Volume 205). Edited by Christine A. Rydel. Detroit; Washington; London: A Bruccoli Clark Layman Book, 1999. P. 23. Тем не менее, в ряде изданий по-прежнему утверждается, что Батюшков стал членом Вольного общества в 1805 году. См., например: *Русские поэты XIX века: Антология для студентов.* Сост. профессор Эмиль Дрейцер. Tenafly, NJ: Hermitage, 1999. С. 17. Хочется верить, что приведенные документы положат конец всяким домыслам на сей счет.

Глава III

Поминки по Бибрису

Почему в «Вестнике Европы» смеялись над покойником

«СОТЯСЯ НАШ ПАРНАСС...»

Двадцать второго марта 1810 года в Петербурге от изнурительной чахотки скончался Семен Сергеевич Бобров. Он был своеобразным и, бесспорно, незаурядным натурфилософским поэтом, создателем грандиозной и в своем роде стройной символично-мифологической картины мира. Если искать параллели феномену Боброва в современной ему европейской литературе, то, пожалуй, уместнее вспомнить не столько творца «ночной» поэзии Эдварда Юнга (которого Бобров знал и высоко ценил и с которым самого Боброва сопоставляли уже при жизни), сколько создателя величественной эсхатологической мифологии Уильяма Блейка (имени которого Бобров скорее всего даже не слышал)... Затрудненный, подчеркнуто архаизированный язык, сочетание укорененной в многовековой традиции эмблематики и смелой метафорики — все это свидетельствовало о героических попытках возродить угасшую ломоносовскую линию в поэзии. Но Бобров, как ни старался он подогнать по себе ломоносовский кафтан, менее всего походил на воскресшего Ломоносова. Точнее, он походил на такого Ломоносова, каким его хотели бы видеть «архаисты» конца XVIII — начала XIX века, — на Ломоносова, превратившегося из теиста (и, в сущности, рационалиста) в экстатического мистика и визионера. Напряженный эсхатологизм и мотивы спиритуального обновления, назойливо звучащие в бобровской поэзии, выдавали тесную связь Боброва с масонством (он действительно был связан с масонскими кругами с юных лет и испытал их мощное влияние)¹.

¹ Поэзия Боброва изучена пока еще очень слабо. Бобров был извлечен из забвения лишь в XX веке (см.: *Розанов И. Н.* Русская лирика: От поэзии безличной — к исповеди сердца. М.: Задруга, 1914. С. 376–393). Среди не-

В начале XIX века литературная репутация Боброва очень высока: журналы разных направлений ищут его сотрудничества; он не раз причисляется к ряду крупнейших поэтов современной России. Однако уже к концу десятилетия положение меняется: Бобров начинает рассматриваться как невразумительный, темный и нелепый автор. Затем — с 1810-х годов и вплоть до XX века — он расценивается уже попросту как очень плохой, бездарный, никуда не годный сочинитель, записной графоман под стать графу Хвостову... На динамику литературной репутации Боброва оказали большое влияние обстоятельства, сопутствовавшие его кончине.

В майском номере журнала «Друг юношества» за 1810 год, издававшегося известным масоном, воспитанником Н. И. Новикова, Максимом Невзоровым, появился некролог Боброву в виде письма из Петербурга, предуведомленного краткой заметкой самого издателя. Невзоров, в частности, писал: «После статей о словесности и искусстве писать, я не непристойным почитаю возвестить Любителям Литературы о кончине Семена Сергеевича Боброва, известного сочинением Тавриды, Древней ночи и многими другими, которые исполнены мыслями и красотами необыкновенными только в Литературе Гениям свойственными. Он был мой соученик и совоспитанник, участвовавший со мною в благодеяниях истинных любителей и друзей человечества, которых имена написаны на небесах. В последние годы жизни служил он в Санктпетербурге при Адмиралтействе и в Комиссии составления Законов. Я прилагаю здесь выписку из письма, которым уведомляет меня о смерти Г. Боброва Петербургский его короткий приятель и мой давний знакомец»². Заметим, что Невзоров довольно прозрачно указывает здесь на покровительство Боброву со стороны масонских авторитетов («истинных любителей и друзей человечества»); сам Невзоров — «соученик и совос-

многочисленных работ о нем должно быть выделено основополагающее, богато документированное исследование: *Альтшуллер М. Г. Бобров и русская поэзия конца XVIII — начала XIX в. // Русская литература XVIII века: Эпоха классицизма. М.; Л.: Наука, 1964 (XVIII век. Сб. 6). С. 224–246*, а также — недавняя статья, открывающая новые перспективы для изучения бобровской поэзии: *Зайонц Л. О. От эмблемы к метафоре: Феномен Семена Боброва // Новые безделки: Сборник статей к 60-летию В. Э. Вацура. М.: Новое литературное обозрение, 1995/96. С. 50–76.*

² Друг юношества, 1810, май. С. 125.

питанник» Боброва — на масонские деньги учился и в Москве, и в Европе.

Письмо к издателю из Петербурга, за подписью П. И. (за ней скрывался Павел Икосов, малозаметный литератор-масон)³, содержало в себе рассказ о смерти Боброва, завершавшийся на чрезвычайно патетической ноте: «Тело его погребено в самый день Благовещения, т. е. 25 Марта на Волковом кладбище, тело, которое достойно быть положено близ гроба Г. Ломоносова». За призывом помочь оставшейся без средств к существованию семье Боброва следовала стихотворная эпитафия. «В заключение, — говорит Икосов, — приписываю здесь надгробную надпись, вырванную из моего сердца первым печали поражением:

Ударил роковой над другом нашим час,
Из рук супруги смерть Боброва исторгает,
Друзья в смятении — сотрясся наш Парнасс.
Сестр Пиерийский плач весь воздух наполняет.
В живых Боброва нет!.... Но жив он в небесах,
В творениях своих — жив в наших он сердцах».⁴

В июне на смерть Боброва откликнулся и издававшийся В. А. Жуковским (при участии М. Т. Каченовского) «Вестник Европы». В 11-м номере «Вестника» было напечатано «Письмо к Издателям», за подписью «С. С.» и с пометой: «Москва, Мая 31 дня, 1810». Автором письма был, видимо, Сергей Гаврилович Саларев — близкий масонским кругам молодой литератор, воспитанник директора Московского университетского пансиона А. А. Прокоповича-Антонского. Письмо взывало к филантропическим чувствам читателей: «Бобров, о котором прилагаю здесь краткое известие, был человек честный и добродетельный. Как Стихотворец, он имеет сугубое право испрашивать у любителей Музы его вспомоществование для бедного своего семейства. Не откажите в сем пособии несчастным...»⁵

³ О нем см.: *Альтшуллер М. Г.* Бобров и русская поэзия конца XVIII — начала XIX в. С. 227; *Степанов В. П.* Икосов, Павел Павлович // *Словарь русских писателей XVIII века.* Выпуск 1 (А–И). Л.: Наука, 1988. С. 352–353.

⁴ *Друг юношества*, 1810, май. С. 127–128. Смелый образ — «Пиерийский плач» — скорее всего, оказался следствием опечатки; читать, видимо, следует все же: «Сестр Пиерийских плач», т. е. плач муз.

⁵ *Вестник Европы*, 1810, № 11, июнь. С. 245.

Письму сопутствовала собственно «Некрология» (написанная тем же С. С.), также рассчитанная на пробуждение у читателей человеколюбивых чувств. Сообщив вкратце послужной список Боброва и перечислив важнейшие сочинения усопшего поэта, С. С. заключал: «Бобров был человек недостаточный, и довольствовался единственно получаемым по службе жалованьем и выручаемыми за сочинения и переводы деньгами, которых при всей умеренности едва ли достаточно было на содержание его с семейством. Жена и малолетний сын остались по нем в крайней бедности»⁶.

Отклики московских журналов на кончину Боброва свидетельствуют как будто о том, что порыв человеколюбия объединил литераторов разных лагерей и что смерть поэта заставила забыть — по крайней мере на время — литературные и идейные разногласия... Все это было бы действительно так, если бы в том же самом июньском номере «Вестника Европы», где был напечатан некролог Боброву, не появились — в составе небольшой стихотворной подборки за подписью «....В....» — два любопытных стихотворения⁷:

Быль в преисподней

«Кто там стучится в дверь? —
Воскликнул Сатана. — Мне недосуг теперь!» —
«Се я, певец ночей, шахматно-пегий гений,
Бибрис! Меня занес к вам в полночь ветр осенний,
Погреться дайте мне, слезит дождь в уши мне!» —
«Что врешь ты за сумбур? Кто ты? Тебя не знают!» —
«Ага! Здесь, видно, так, как и на той стране, —
Покойник говорит, — меня не понимают!»

К портрету Бибриса

Нет спора, что Бибрис богов языком пел.
Из смертных бо никто его не разумел.

Автором и того и другого стихотворения был молодой князь Петр Андреевич Вяземский; оба они были посвящены Боброву.

⁶ Вестник Европы, 1810, № 11, июнь. С. 246.

⁷ Вестник Европы, 1810, № 11, июнь. С. 210. Ср.: *Вяземский П. А. Стихотворения. Сост., подготовка текста и примеч. К. А. Кумпан. Л.: Советский писатель, 1986. С. 55.*

Само имя героя — Бибрис — представляло собою каламбурную пародическую кличку Боброва: от немецкого *Viber*, бобр, и латинского *bibere*, пить⁸. Видимо, одним из первых в литературе вывел Боброва под этой кличкой Батюшков — в эпиграмме, впервые напечатанной в «Цветнике» в 1809 году (№ 9):

Как трудно Бибрису со славою ужиться!
Он пьет, чтобы писать, и пишет, чтоб напиться.⁹

Примечательно, однако, то, что эта эпиграмма Батюшкова была перепечатана в майском номере того же «Вестника Европы» — всего лишь несколько месяцев спустя после первой публикации и *за номер* до публикации эпиграмм Вяземского! При перепечатке прозвище героя было несколько изменено (или по случайности искажено): вместо «Бибрис» — «Бибрус»...

Эпиграммы Вяземского и Батюшкова составляли своеобразное смысловое единство и, бесспорно, выражали общую эстетическую позицию журнала. На рубеже 1800–1810-х годов осуществляется кристаллизация принципов «школы гармонической точности» (главными создателями которой будут затем называть Жуковского и Батюшкова); происходит окончательное размежевание между поэтами этой школы и теми авторами, которые еще не так давно могли рассматриваться как попутчики или даже союзники. Размежевание происходит в первую очередь по линии отношения к «высокой», «архаической» традиции. Характерно, что именно к этому периоду относятся литературные трения между Батюшковым и его давним другом Гнедичем: письма Батюшкова 1810–1811-го (с нападками на «славянизмы», с апологией «легких» жанров

⁸ М. Г. Альтшуллер высказал весьма правдоподобное предположение о том, что соответствующее прозвище «подсказал» своим противникам сам Бобров: в 3-й книге «Лицея» за 1806 год он опубликовал перевод из английского «Зрителя» с рассказом о «весьма гнусном навывке» к пьянству императора Нерона и о том, что «народ, очень часто, замечая в нем оный, вместо Тиберия Нерона называл его Биберием Мером (*Viberius Mero*)» (*Альтшуллер М. Г.* Бобров и русская поэзия конца XVIII — начала XIX в. С. 242). Л. О. Зайонц впервые отметила в кличке Боброва двуязычный — латино-германский — каламбур, указав, что на возможность такой интерпретации обратил ее внимание С. Барсуков. См.: *Зайонц Л. О.* «Маска» Бибруса // Ученые записки Тартуского университета. Вып. 683 (Труды по русской и славянской филологии), 1986. С. 34.

⁹ Вестник Европы, 1810, № 10, май. С. 127.

и с отказом посвятить себя переводу Тассо) и письма Гнедича¹⁰, лишь частично сохранившиеся, свидетельствуют о том, что творческие пути двух друзей расходятся (хотя дружеские и деловые отношения между ними сохраняются до конца). Не-что подобное — только в еще более драматических формах — происходит и в отношениях кружка Жуковского с А. Ф. Мерзляковым. Мерзляков некогда был участником и корифеем «Дружеского литературного общества». Его сочинения и переводы высоко ценились в кружке Жуковского—Тургеневых—Воейкова. Еще в 1808 году А. Воейков опубликовал в «Русском вестнике» «Ответ приятелю, который убеждал меня учиться древним языкам»:

Конечно так, ты прав мой друг любезный!
Узнать, как говорит Гораций и Платон,
Софокл и Теокрит, Вергилий, Цицерон,
Приятно и полезно;
Послушался бы я
Совета умнова такова,—
Необходимостью б то было для меня,
Когда бы не было у Руских Мерзлякова¹¹.

В 1814 году тот же Воейков в послании Дашкову уже будет называть «нелепого Мерзлякова» «развратителем вкуса», а в «Послании к друзьям и жене» (начатом в 1816 году) поставит его в один ряд с членами враждебной «Беседы любителей русского слова»¹².

Бобров (в отличие от Гнедича и Мерзлякова) ни союзником, ни даже попутчиком карамзинизма, строго говоря, никогда не был. Однако еще в 1805 году похвалы Боброву могли появляться даже в прокарамзинском «Журнале российской словесности»¹³. В его стихотворениях могло усматриваться —

¹⁰ Большая часть из них опубликована: *Н. И. Гнедич. Письма к К. Н. Батюшкову*. Публикация М. Г. Альтшуллера // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1972 год. Л.: Наука, 1974. С. 78–92.

¹¹ *Русский вестник*, 1808, № 4. С. 83.

¹² «Арзамас»: Сборник в двух книгах. Под общей ред. В. Э. Вацуры и А. Л. Ошопата. Кн. 2. М.: Художественная литература, 1994. С. 256, 329.

¹³ Автором восторженной рецензии на «Херсониду» Боброва в «Журнале российской словесности» (1805, № 2, с. 113–120) был И. Т. Александровский — любимый ученик И. И. Мартынова (см.: *Альтшуллер М. Г. Бобров и русская поэзия конца XVIII — начала XIX в. С. 236*).

несмотря на сумбур, невнятицу и дурной вкус — нечто потенциально ценное для развития новой русской поэзии. Впрочем, Батюшков, в юности связанный с «Журналом российской словесности», уже в письме Гнедичу от 19 марта 1807 года отзывается о Боброве иронически («лучше упасть с Буцефала, нежели падать, подобно Боброву — с Пегаса»). К концу десятилетия его взгляд на Боброва делается все более скептическим: в письме от 19 августа 1809 года Батюшков обещает прислать сатирический разбор новых стихотворений Боброва: «На будущей почте я пришлю тебе несколько похвальных слов, а именно вот каких: поэт Сидор, что написал Потоп, а рыбы на кустах, ну, уж гений!»¹⁴ Разбора своего Батюшков так и не написал, зато в том же 1809 году создал блестящую сатирическую поэму «Видение на берегах Леты», где был создан запоминающийся карикатурно-пародический образ Боброва:

«Кто ты?» — «Я — виноносный гений.
Поэмы три да сотню од,
Где всюду ночь, где всюду тени,
Где роща ржуща ружий ржот,
Писал с заказа Глазунова
Всегда на срок... Что вижу я?
Здесь реет между вод ладья,
А там, в разрывах черна крова,
Урания — душа сих сфер
И все титаны ледовиты,
Прозрачной мантией покрыты,
Слезят!» — Иссякнул изувер
От взора грозныя Эгиды.¹⁵

Вторым антибобровским сочинением Батюшкова, написанным в 1809 году, оказалась уже знакомая нам эпиграмма на «Бибрису» в «Цветнике»...

Молодой Вяземский, в отличие от Батюшкова, принадлежал к тому поколению карамзинистов, которое вошло в литературу, когда эстетическое размежевание окончательно совершилось. Он был уже всецело воспитан на эстетике, требовавшей от поэзии стилистической легкости, языковой чистоты и смысловой прозрачности. С точки зрения этих требо-

¹⁴ Батюшков К. Н. Сочинения в двух томах. Т. 2. М.: Художественная литература, 1989. С. 69, 99.

¹⁵ Батюшков К. Н. Сочинения в двух томах. Т. 1. С. 375.

ваний творения Боброва представлялись однозначно плохими. Обе эпиграммы Вяземского не только прямо указывают на основной порок сочинений Боброва — на их темноту и непонятность, но и создают образ темного и шероховатого бобровского стиля, то есть являются вместе с тем и пародиями. Вяземский оказался многим обязан батюшковскому «Видению на берегах Леты»...

Перепечатанная в майском номере «Вестника Европы» эпиграмма Батюшкова создавала своего рода подсвечивающий фон для июньских выступлений Вяземского; она как бы толковала природу невразумительности Бибриса: темнота смысла его творений объяснялась тем, что они порождались сознанием, затемненным винными парами. Бобров действительно был запойным пьяницей, но этот бытовой факт в интерпретации карамзинистов выступал как факт литературный. Пьянство представало как мотивировка (и вместе с тем как своеобразная метафора) грандиозного метафизического и, как следствие, темного стиля¹⁶. Насмешки над Бибрисом подключались к довольно давней традиции издевательств над «барочной» образностью с позиций смысловой и стилистической ясности (у истоков традиции находятся, видимо, Сумароков и поэты сумароковской школы: темнота ломоносовского одического стиля связывалась в их полемических сочинениях со склонностью «Российского Пиндара» злоупотреблять спиртным)¹⁷.

Таким образом, публикация серии антибобровских эпиграмм в «Вестнике Европы» вполне органично вписывалась в борьбу «младших карамзинистов» против «архаистов» на рубеже 1800–1810-х годов. Жанровая традиция, к которой принадлежали эпиграммы Вяземского, была давней и хорошо разработанной. Первая из эпиграмм восходила к лукиановским «Разговорам в царстве мертвых» и многочисленным подражаниям им в европейской и русской литературе. Вторая эпиграмма варьировала пародические эпитафии живым сочинителям, также хорошо известные в русской литературе: так, перу И. С. Баркова приписывалась пародийная «Надгробная надпись» В. К. Тредиаковскому (пережившему автора эпита-

¹⁶ Ср.: Зайонц Л. О. «Маска» Бибруса. С. 32–37; Зайонц Л. О. «Пьянствующие» архаисты // Новое литературное обозрение, 1996, № 21. С. 220–235.

¹⁷ Ср.: Гуковский Г. А. Русская поэзия XVIII века. Л.: Academia, 1927. С. 34.

фии!)¹⁸. Традиция продолжалась и в XIX веке: посмертный суд над современными авторами — организующий сюжетный стержень «Видения на брегах Леты» Батюшкова. В 1811 году А. Измайлов напишет свой «Разговор в царстве мертвых», где перед судилищем Миноса предстанут здравствующие «архаисты» — П. Львов и Г. Гераков. В «Арзамасе», возникшем в 1815 году, вступительные речи будут строиться как «надгробные слова» в память живым покойникам, «напрокат» взятым из «Беседы любителей русского слова»...

Принципиальное отличие эпиграмм на Боброва от подобных сочинений заключалось в том, что эпиграммы появились не при жизни осмеиваемого сочинителя, а *после действительной смерти адресата*, более того — *непосредственно* после его смерти, рядом с некрологами! Злые эпиграммы оказывались как бы приношениями на свежую могилу усопшего поэта. Необычность ситуации усугублялась тем, что полемические сочинения, помещавшие литературных недругов в царство мертвых, как правило, распространялись в рукописи и обычно вообще не предназначались для печати; антибобровские же стихотворения были немедленно преданы тиснению. Авторы словно спешили засвидетельствовать свое отношение к усопшему Бибрису публично. В этом смысле особенно примечателен факт *повторной* публикации совсем недавно напечатанной эпиграммы Батюшкова. Написанная (и впервые обнародованная) еще при жизни Боброва, она приобретала совершенно иное звучание после его кончины: то, что прежде было обычным выпадом в адрес литературного антагониста, теперь становилось подведением итогов уже завершившегося пути, формулой литературного наследия. На страницах «Вестника Европы» батюшковская эпиграмма звучала куда злее, чем *та же* эпиграмма в «Цветнике»...

Развернутая в «Вестнике Европы» эпиграмматическая кампания против Бибриса выглядела по тогдашним моральным стандартам достаточно неординарно. Публичное глумление над умершим — вещь чрезвычайно предосудительная с точки зрения христианской морали и христианского отношения к смерти¹⁹. Необычно в этой ситуации было и участие

¹⁸ См.: Девичья игрушка, или Сочинения господина Баркова. Издание подготовили А. Зорин и Н. Сапов. М.: Ладомир, 1992. С. 348.

¹⁹ Г. Зыкова и М. Максимова, излагая содержание моего доклада на I Остафьевских чтениях (октябрь 1992 г.), легшего в основу настоящего очерка,

в организации и проведении антибобровской кампании не только юного вольтерьянца Вяземского, но и отнюдь не склонного к вызывающему либертинскому поведению Батюшкова и, что, на первый взгляд, особенно удивительно, религиозного моралиста Жуковского.

О том же, что соответствующие публикации были организованы как целенаправленный и продуманный акт, в подготовке которого так или иначе участвовали все трое, свидетельствует приписка к письму Батюшкова Вяземскому (из Москвы в Остафьево) от 7 июня 1810 года. Приписка дана — редчайший случай у Батюшкова! — на французском языке, который как бы облакал сообщаемые сведения заговорщической атмосферой секретности: *Joukovsky a fait imprimé un long Kyrielle sur la mort de Bobroff, cela cadre à merveille avec votre épi-gramme qui sera tout à côté («Жуковский отдал печатать длинную литанию на смерть Боброва; она чудесно дополняет твою эпиграмму, которая явится по соседству»)*²⁰.

* * *

Антибобровская направленность соответствующих эпиграмм «Вестника Европы» была немедленно распознана (и, разумеется, осуждена) издателем того журнала, который первым откликнулся на кончину Боброва. Третьего июля Жуковский,

высказали следующие соображения: «Заметим, что эпиграмма В.<яземского> вряд ли казалась современникам такой уж эпатажной: в конце концов, В. всего лишь следовал традиции эпиграмм на смерть, известных с античности; ср. запись Л. Я. Гинзбург: „Тынянов когда-то очень интересно говорил о том, что во времена Пушкина и декабристов смерти не боялись и совсем не уважали ее“ (Гинзбург Л. Я. О старом и новом. Л., 1982. С. 402)» (Зыкова Г., Максимова М. Из московских записок // Новое литературное обозрение, 1993, № 2. С. 357). На эти замечания можно ответить следующее: во-первых, «всего лишь» следовать античной традиции в контексте христианской культуры уже означало ее трансформировать. Во-вторых, необычным было не только содержание эпиграмм, но и контекст их появления. В-третьих, поразившее молодую Гинзбург замечание Тынянова характеризует не столько культуру начала XIX века, сколько культуру постсимволистской эпохи. Отношение к смерти людей пушкинского времени — мужественное, но отнюдь не безразличное — могло казаться изумительно легким и нерелексивным только на фоне нарциссического переживания проблемы «я и Смерть», сформированного символизмом (инерцию такого переживания не смогли разрушить ни революция, ни гражданская война). Надо думать, что ни в 1930-х, ни в 1940-х годах фраза Тынянова уже не могла бы быть произнесена.

²⁰ Батюшков К. Н. Сочинения в двух томах. Т. 2. С. 138.

заканчивая письмо Вяземскому, приписал: «Обнимаю тебя дружески, а чтобы повеселить твою душу, посылаю тебе № „Друга Юношества“, в котором ругают тебя нещадно и меня тут же за эпиграммы на Боброва»²¹.

Жуковский посылал Вяземскому июньский номер «Друга юношества», в котором была напечатана огромная статья (по сути — антология с комментариями) Максима Невзорова — «Живописные и философские отрывки из сочинений Г. Боброва». Статья эта должна была продемонстрировать читателям красоты сочинений усопшего гения. Открывалась же демонстрация красот следующим полемическим пассажем:

О кончине знаменитого Российского Стихотворца, Надворного Советника Семена Сергеевича Боброва, возвещено и мною в месяце Маие Журнала моего на стран. 125 и Издателями Вестника Европы в Журнале их в одиннадцатой книжке нынешнего года на стран. 245. Нечаянная встреча меня поразила удивлением: Один неизвестный молодой человек при мне читая в Друге Юношества присланные ко мне из Петербурга Стихи на кончину Г. Боброва с некоторым движением вдруг говорит: *Можно ли писать о Г. Боброве, что он жив в творениях своих?* Почему же не так, отвечаю я. *Да он писал так*, возразили мне, *что его никто не разумеет*. Я слыша такое странное суждение, засмеялся, и тем кончилось явление. Но вскоре после того читая одиннадцатую книжку Вестника Европы нынешнего 1810 года, на странице 210 пахожу следующие две колкие к Издателю от неизвестного присланные Эпиграммы...²².

Целиком приведя две уже знакомые нам эпиграммы Вяземского на Бибрису, Невзоров так комментирует их:

Исковерканное имя, название *Певца Ночей*, а особливо бывший разговор у меня с неизвестным молодым человеком тотчас заставили меня думать, что эти две Эпиграммы написаны на счет Г. Боброва. Не я один, но и другие читавшие их то же думают; а Г. Сочинитель может быть и радуется, что угадывают, на кого он целит. Хотя я не могу решительно утверждать, что тут Г. Боброву смеются; но когда один, двое и трое то думают, то будут говорить многие, особливо при помощи тех, которые точно о Г. Боброве так хотят думать и другим толкуют.

²¹ «Арзамас»: Сборник в двух книгах. Кн. 1. С. 157.

²² Друг юношества, 1810, июнь. С. 62–63.

Невзоров продолжает:

Больно мне было слушать и читать таковые неправильные суждения по двум причинам. *Первое*: Что по смерти стараются помянуть дарование и заслуги в литературе человека, который по всем правам заслуживает не только одобрение, но и подражание. *Второе*: Что Г. Сочинитель сих Эпиграмм истощает остроумия своего на счет покойника, которого он видно не знал ни лично, ни сочинений его порядочно не читал; ибо читавши все сочинения Г. Боброва с некоторым только вниманием, и имевши общий смысл, не возможно об нем так отзываться. При том заметить я нужным считаю для молодых читателей, что по смерти порицанию подлежат только одни злодеи и вредные, особливо для человеческой нравственности, люди; но не для того, чтоб над памятью их острить свой разум по каким нибудь нечистым источникам зависти, самолюбия и подобным, а для того, чтоб преданием их пороков других от них отвращать²³.

ИЗВЕСТИЯ ИЗ ЦАРСТВА ТЕНЕЙ

Чем же объясняется эта, прямо скажем, экстраординарная литературная кампания, вызвавшая негодование старого масона? Попытаемся отыскать ее скрытые причины.

Под новый, 1810-й, год Константин Батюшков, только что переживший тяжелый душевный и творческий кризис, приезжает в Москву. Здесь он знакомится (а затем — тесно сближается)

²³ Друг юношества, 1810, июнь. С. 63–65. На этом, впрочем, Невзоров не успокоился. В следующем, июльском номере «Друга юношества» появилась публикации обширных фрагментов из второй части «эпического творения Г. Боброва» «Древняя ночь вселенной, или Странствующий слепец». Публикация предварялась пространной преамбулой (писанной все тем же Невзоровым). В ней, в частности, были приведены выдержки из предисловия самого Боброва, в коем тот признавал и объяснял несовершенство своего сочинения. Невзоров тут же подхватывает: «Приведенными здесь словами Г. Сочинитель предупредил, кажется, всякую против себя критику и цензуру. Он писал Поэму сию не для щегольства и славы, но для внутренней пищи себе и для внутренней же пользы ближнего. Для созревших умов стыдно нападать на такое сочинение, которым Автор сам наперед не хвалится, а о критиках другого рода говорит нечего: они по несчастью пишут не для того, чтоб принести ближнему пользу; а воспитавшись на ветре, о том только и стараются, чтоб более пустых блестящих слов пустить на воздух подобно ребятишкам мыльными пузырями забавляющимся.— Я с своей стороны могу свидетельствовать, что сия Поэма и по содержанию и по слогу выше ребячества Эпиграмм...» (Друг юношества, 1810, июль. С. 17–18).

с кружком молодых поэтов. Жуковский и Вяземский скоро становятся его близкими друзьями. Не последней причиной сближения стала общая приязнь к памяти двоюродного дяди Батюшкова, боготворимого им Михаила Никитича Муравьева. (Батюшков, между прочим, и в Москву прибыл по приглашению вдовы Муравьева — Екатерины Федоровны — и, разумеется, остановился в муравьевском доме.) Жуковский в свою очередь относился к Муравьеву с большой симпатией — и не только по биографическим причинам (Муравьев был близким другом Ивана Тургенева, с семейством которого оказалась связана молодость Жуковского), но и по причинам эстетическим: поэзия Муравьева во многих отношениях подготовила достижения поэтов школы «гармонической точности», в том числе самого «русского Грея»²⁴. Чувство приязни к Муравьеву унаследовал и Вяземский — уже хотя бы потому, что Муравьев был другом и покровителем чтимого им Карамзина. Сам Карамзин всегда хранил по отношению к Муравьеву благодарную память и более других сделал для посмертной публикации муравьевских сочинений...

Как раз в 1810 году московские писатели приступают к разбору оставшихся от Муравьева бумаг (судя по всему, основная часть архива Муравьева находилась тогда в Москве). В работу с рукописями оказались вовлечены Карамзин, Батюшков и Жуковский²⁵. Батюшков изучил муравьевский архив основательно и даже, видимо, получил право распоряжаться некоторыми из бумаг по своему усмотрению. Седьмого июня в письме к Вяземскому (в том самом, где сообщалось о публикации литании Боброву и антибобровских эпиграмм) Батюшков писал: «Чем тебя подарить на отъезд? В бумагах покойного М. Н. Муравьева я отыскал эту рукопись, которую у сего препровождаю — ни слова в ее пользу»²⁶. Карамзин знал архив Муравьева не хуже, чем Батюшков: он редактировал рукописи муравьевских сочинений, вошедших в «Опыты истории, словесности и нравоучений» (выйдут из

²⁴ См. об этом: *Жуковский Гр.* Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века. Л.: ГИХЛ, 1938. С. 252–297.

²⁵ См.: *Левин В. Д.* Карамзин, Батюшков, Жуковский — редакторы сочинений М. Н. Муравьева // Проблемы современной филологии: Сборник статей к семидесятилетию академика В. В. Виноградова. М.: Наука, 1965. С. 182–190.

²⁶ *Батюшков К. Н.* Сочинения в двух томах. Т. 2. С. 137.

печати в конце 1810 г)²⁷. Рукописи из муравьевского архива тщательно изучает и Жуковский: в 9-м номере «Вестника Европы» за 1810 год (то есть за номер до антибобровской эпиграммы Батюшкова и за два до эпиграмм Жуковского) он печатает четыре стихотворения Муравьева с пояснением: «Избранные из оставшихся после его смерти стихотворений будут изданы со временем в свет»²⁸. В том же 1810 году в первом томе составленного им «Собрания русских стихотворений» Жуковский печатает по рукописи пространную оду Муравьева «Храм Марсов», а во втором томе — «Военную песнь» (тоже по рукописи). Словом, к весне 1810 года архив Муравьева был изучен московскими литераторами весьма основательно, если не досконально²⁹.

Среди бумаг Муравьева Жуковский или Батюшков (а может быть и Карамзин?) должны были не без удивления обнаружить роскошный подносной экземпляр рукописного сочинения: «Происшествие в царстве теней, или Судбина российского языка. 1805 года. Ноября дня. Санктпетербург». Рукопись была снабжена витиеватым посвящением: «Его Превосходительству Господину Тайному Советнику, Сенатору, Товарищу Министра народного просвещения, Императорского Московского Университета Попечителю и Разных орден Кавалеру, Михаилу Никитичу Муравьеву, Милостивому государю с истинными чувствованиями признательности, глубокопочитания и преданности посвящает Семен Бобров»³⁰.

²⁷ Левин В. Д. Карамзин, Батюшков, Жуковский — редакторы сочинений М. Н. Муравьева. С. 184–187.

²⁸ Вестник Европы, 1811, № 9. С. 42.

²⁹ Знатор муравьевского наследия Л. И. Кулакова полагала, что работа над подготовкой собрания сочинений Муравьева была начата, «по-видимому, в 1811 г.» (Муравьев М. Н. Стихотворения. Вступ. статья, подготовка текста и примеч. Л. И. Кулаковой. Л.: Советский писатель, 1967. С. 320). Однако публикация неизданных произведений Муравьева в «Вестнике Европы» 1810 г. (с прямым указанием на предстоящий выход избранных стихотворений) и в сопутствующих изданиях позволяет с большой уверенностью говорить о том, что такая работа началась уже к весне 1810 г.

³⁰ Этот подносной экземпляр рукописи Боброва сохранился в Библиотеке Московского университета. В 1975 году текст «Происшествия в царстве теней» был опубликован Ю. М. Лотманом и Б. А. Успенским, в сопровождении блистательной статьи и фундаментальных комментариев. Далее ссылки даются на переиздание этой работы: Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры

Не исключено, впрочем, что Батюшков был знаком с этим сочинением (или, по крайней мере, знал о его существовании) уже в Петербурге, до приезда в Москву; он и мог обратить внимание своих новых московских друзей на этот примечательный во многих отношениях текст³¹.

«Судьбина российского языка» Боброва, написанная в связи с кончиной издателя «Московского Меркурия» П. И. Макарова, представляла собою чрезвычайно интересный (и чрезвычайно злой) памфлет против «нового слога» и вообще против новейшей литературы. Однако особое внимание московского кружка в этом памфлете должно было привлечь одно место.

Оказавшийся на берегах Стикса Галлорусс представляет на суд давно пребывающего там Ломоносова фрагменты из сочинений новейших авторов, призванные показать красоты нынешнего слога. Чтение «выписок» то и дело прерывается едкими стилистическими комментариями Ломоносова, обнажающими несовершенство и погрешности приводимых Галлоруссом фрагментов. Наконец Галлорусс, желая сразить Ломоносова, подсовывает ему последнюю «выписку»: «Последнюю, последнюю прочтите! Вы увидите прекрасного *жени, милого* писателя в новом вкусе, уважаемого в чужих землях, любимого в отечестве всеми людьми с *чувством*, дамами, нимфами и учеными со вкусом.— *Коронуйте* им!» Ломоносов в конце концов соглашается «короновать» (то бишь увенчать) свое знакомство с новейшей литературой чтением милого писателя.

Последние «выписки», представленные Галлоруссом на суд Ломоносова, — это не что иное, как знаменитая поэтическая интерполяция в «Остров Борнгольм» Карамзина («Законы осуждают // Предмет моей любви...»). Комментарий Ломоносова (читай: Боброва) к этим карамзинским стихам в высшей степени любопытен:

...Ну! выписки твои делают тебе много чести! — Подлинно нет ошибок ни в языке, ни в правилах поэзии; на против того везде чистота, ясность и приятность. Но знаешь ли, что надобно тут

(«Происшествие в царстве теней, или Судьбина российского языка» — неизвестное сочинение Семена Боброва) // *Успенский Б. А.* Избранные труды. Т. II. Язык и культура. М.: Гнозис, 1994. С. 330–566.

³¹ Аргументацию в пользу возможного раннего знакомства Батюшкова с памфлетом Боброва см.: *Лотман Ю. М., Успенский Б. А.* Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры... С. 354, 412.

заметить? — не в языке, а в самих чувствованиях заблуждение. Я вижу в сих стихах чрезмерного поблжателя чувственности и не позволенной слабости. Он при заманчивом слоге вперяет хорошее наставление в сердца молодых людей в нынешнем состоянии вселенной.— Беззаконную любовь брата к родной сестре <...> и с сею то сестрицею ужасное брата сладострастие оправдывает законами природы, как будто в первые годы золотого века! — Спасительная пища для молодого слуха и сердца! Сладкая отравка под приятными цветами и красками! <...> Праведное небо! до какой степени уничижается дух новых певцов? вот утонченной вкуса! — Ступайте, *Галлоруссы*, ступайте далее! утончайте чувства! вы много одолжите нашу нравственность своими *софизмами*. <...> Ей! для меня сноснее бы было видеть ошибки в слоге, нежели в красоте оногo кроющиеся ложные правила и опасные умствования»³².

Обвинения Карамзина в безнравственности — лейтмотив враждебных нападков на него с конца XVIII века. Достаточно традиционны и сокрушения по поводу того, что безнравственные идеи у Карамзина облечены в безупречную литературную форму. Однако в памфлете Боброва традиционные выпады получают специфическую внутреннюю мотивировку, связанную с масонской идеологией: Карамзин, некогда тесно связанный с масонством, потом решительно с ним порывает и превращается в объект ненависти со стороны наиболее ортодоксальных масонов — как ренегат и соблазнитель, направляющий юношество по ложному пути³³. Критика Карамзина у Боброва тесно связана с масонским учением, провозглашавшим необходимость победы духа над телом, в потворстве же чувственности усматривавшим пагубное торжество «внешнего человека» над «человеком духовным».

³² Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры... С. 486–487. Комментарий, данный исследователями к суждению Ломоносова об «опасных умствованиях» (с. 548–549), представляется не вполне оправданным контекстом.

³³ Суммарную, но весьма четкую характеристику связей Карамзина с масонством и анализ отражения в карамзинском творчестве масонских идей (как и масонской символики) см. в энциклопедической статье о Карамзине, принадлежащей перу американской исследовательницы Тани Пейдж (Tanya Page), в изд.: Handbook of Russian Literature. Edited by Victor Terras. New Haven and London: Yale University Press, 1985. P. 215. Насколько мне известно, специальной работы об *антимасонском* начале в творчестве Карамзина (равно как и о перипетиях борьбы масонов с Карамзиным) пока не существует.

Эта идейная критика у Боброва переплеталась с потаенными личными мотивами. По всей видимости, именно Боброва имел в виду Карамзин, когда в предисловии ко второму тому «Аонид» писал: «Молодому питомцу Муз лучше изображать в стихах первые впечатления любви, дружбы, нежных красот Природы, нежели разрушение мира, всеобщий пожар Натуры и прочее в сем роде»³⁴. В «Судьбине русского языка» Бобров как бы отвечал на эту язвительную реплику Карамзина, демонстрируя, что пожелание издателя «Аонид» «изображать в стихах первые впечатления любви» на деле ведет к апологии преступных страстей.

Вместе с тем обвинения морального порядка оказываются у Боброва искусно встроены в политический контекст: обнаруженные в карамзинских сочинениях «ложные софизмы» явно отсылают к софизмам французских философов, подготовивших своими соблазнительными сочинениями ужасы революции. Замечание в общем не было беспочвенным: повесть Карамзина была действительно связана с традициями руссоизма, противопоставлявшими «естественный закон» (закон природы) условным перегородкам, выстроенным на пути натурального чувства неразумным и лицемерным обществом³⁵. При этом указание на опасность карамзинских софизмов именно «в нынешнем состоянии вселенной» (забавно, что о нынешнем состоянии вселенной говорит давно отошедший от земных дел Ломоносов!) содержит в себе в высшей степени злободневный и потенциально небезопасный для Карамзина смысл. Сопряжение карамзинских сочинений с «нынешним» французским духом приобретало особую остроту в ситуации ноября 1805 года (этим месяцем датирован бобровский памфлет) — в период наивысшего напряжения в отношениях России и Франции: уже вовсю шли приготовления к военным действиям (завершившимся, увы, Аустерлицем)... Бобров имел основания рассчитывать на то, что именно сейчас антифранцузский пафос его памфлета будет встречен в высших инстанциях с полным сочувствием — и что это, возможно, при-

³⁴ Аониды, или Собрание разных новых стихотворений. Ч. 2. М., 1797. С. VII–VIII. Мнение о том, что в карамзинском предисловии к «Аонидам» задет именно Бобров, впервые высказал Ю. М. Лотман в предисловии к изд.: Поэты начала XIX века. Л.: Советский писатель, 1961. С. 55–56.

³⁵ См.: Вацуро В. Э. Литературно-философская проблематика повести Карамзина «Остров Борнгольм» // XVIII век. Сб. 8. Л.: Наука. 1969. С. 204–205.

ведет к падению «отступника» Карамзина и к укреплению позиций группы масонов-«патриотов»...

Таким образом, бобровское «Происшествие в царстве теней» — это не только эстетическая (и этическая) критика Карамзина и карамзинизма с масонской позиции, но и своеобразное политическое выступление, время для которого было выбрано тщательно и продуманно. В этом смысле примечателен и предпринятый Бобровым тактический ход. «Происшествие в царстве теней» посвящается и вручается Бобровым Муравьеву — в ту пору попечителю Московского университета и товарищу министра народного просвещения. Традиция посвящений была обычна в эпоху патронажа: сочинение как бы оказывалось под покровительством того лица, которому посвящалось, прикрывалось его именем как щитом. Благоклонное согласие значительной особы на посвящение фактически означало поддержку ею публикации (а «Происшествие в царстве теней» явно было рассчитано на публикацию!). Высокое покровительство попечителя и товарища министра было бы для Боброва особенно кстати: оно санкционировало содержание памфлета почти на государственном уровне (следует добавить, что положение Муравьева вообще было исключительным — он в свое время был воспитателем великого князя Константина Павловича, а затем и государя Александра Павловича).

Почему Бобров и те, кто стояли за его спиной, рассчитывали на то, что Муравьев почитит «Происшествие в царстве теней» своим благорасположением? Может быть, потому, что Муравьев был в молодости тесно связан с масонскими кругами и до конца дней поддерживал теплые отношения со многими старыми друзьями-масонами? Трудно сказать... Сам Муравьев масоном все же не был. Более того: он поддерживал тесные отношения с ненавистным масонам Карамзиным и был его большим почитателем. Именно Муравьев выхлопотал Карамзину должность придворного историографа и дважды, правда, безуспешно, предлагал Карамзина к избранию в Российскую Академию³⁶.

Как бы то ни было, расчет масонских кругов оказался неверным. Использовать Муравьева как орудие в борьбе с Карамзи-

³⁶ См.: Из архива Д. И. Хвостова. Публикация А. В. Западова // Литературный архив: Материалы по истории литературы и общественного движения. Под ред. С. Д. Балухатого, Н. К. Пиксанова и О. В. Цехновицера. Вып. 1. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1938. С. 379.

ным (и заодно вбить клин между Муравьевым и Карамзиным) им не удалось. Судя по всему, Муравьев не выразил поддержки сочинению Боброва. Этим только и можно объяснить то обстоятельство, что подготовленное для публикации и уже распространенное в рукописи³⁷ «Происшествие в царстве теней» так и не увидело печати. Благоприятный момент был упущен: после кончины Муравьева, случившейся в год Тильзитского мира, о публикации проникнутого антифранцузским пафосом памфлета лучше было и не помышлять... Правительственный курс к тому времени изменился на 180 градусов.

В отличие от масонов, молодые писатели, группировавшиеся вокруг «Вестника Европы», ничего предосудительного ни в творчестве Карамзина в целом, ни в «Острове Борнгольме» в частности не видели. Карамзинская апология естественной страсти не должна была вызывать осуждения не только у «сына века Просвещения» — Вяземского, но и у Жуковского, чья жизненная драма была обусловлена невозможностью жениться на любимой им племяннице («Законы осуждают // Предмет моей любви...»); проклятия ханжеству и «суеверию» переполняют его письма начала 1810-х годов... В нападках Боброва на Карамзина молодые карамзинисты, познакомившиеся с рукописью «Судбины русского языка», с неизбежностью должны были увидеть отражение масонской интриги, прикрываемой светлым именем М. Н. Муравьева. В свете этого публикация посмертных панегириков Боброву в «Друге юношества» должна была показаться особенно неуместной и оскорбительной для памяти Муравьева. Дело в том, что идея и программа невзоровского журнала были когда-то вдохновлены... Муравьевым. Журнал был посвящен Муравьеву и как бы осенен его именем: «под „другом юношества“ разумелся М. Н. Муравьев — покровитель Невзорова, тогдашний попечитель Московского университета, по предложению которого Н. <евзоров> и начал печатать свой журнал в университетской типографии»³⁸.

³⁷ Присланный в «Вестник Европы» некролог Боброву, писанный С. Саларевым, упоминал «Происшествие в царстве теней» (под названием «Суд в царстве теней») в ряду с основными сочинениями Боброва: «Рассветом полночи», «Тавридой» и другими. См.: Вестник Европы, 1810, № 11, июнь. С. 246.

³⁸ *Ив. К. [Кубасов И. А.] Невзоров, Максим Максимович // Русский биографический словарь. [Т. 11] Нааке-Накенский — Николай Николаевич Старший. СПб., 1914. С. 177.*

Эпиграмматический залп «Вестника Европы» (журнала, основанного Карамзиным) — своего рода отклик на организованный масонами посмертный апофеоз врага Карамзина.

* * *

Если признать, что именно знакомство с «Происшествием в царстве теней» было одним из основных стимулов проведения антибобровской кампании, то многое в ней проясняется. В частности, получает объяснение (и, в известном смысле, оправдание) нетривиальный факт литературного глумления над только что умершим автором. Литераторы, группировавшиеся вокруг «Вестника Европы», по сути использовали... прием самого Боброва. Его памфлет был посвящен осмеянию только что умершего Макарова, причем бобровский смех был куда более злым, чем насмешки карамзинистов над Бибрисом. «Сатира Боброва начинается с откровенной — совершенно невозможной с точки зрения христианской нравственности — радости по поводу смерти ближнего!» — констатируют публикаторы бобровского памфлета³⁹. И это действительно так. Покойный Макаров поминается такими словами: «Мнимый блеск его ослепил многих слабодушных; но к счастью и радости истинных любителей всякого отечественного блага вдруг он преселился на другой берег Стикса»⁴⁰. Так что «Вестник Европы» демонстративно платил Боброву им же пущенной монетой...

Чрезвычайно примечательны и мотивно-структурные переключки между текстами эпиграмм Вяземского и бобровским пасквилем. Само построение первого эпиграмматического стихотворения Вяземского как своего рода «разговора в царстве мертвых» отсылает к аналогичной ситуации в сатире Боброва. К бобровскому памфлету отсылает и заголовок эпиграммы: «Быль в преисподней» — «Происшествие в царстве теней». О полемических связях текстов свидетельствуют и лексические перифразы бобровского текста. У Вяземского:

Меня занес к вам в полночь ветр осенний.

³⁹ Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры... С. 412.

⁴⁰ Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры... С. 468.

У Боброва:

Какая странность? — сказал он; — Где я теперь? откуда и куда
меня занесло?

У Вяземского:

«Что врешь ты за сумбур? Кто ты? Тебя не знают!» — // «Ага!
Здесь, видно, так, как и на той стране,— // Покойник говорит,—
меня не понимают!»

У Боброва:

Твоя одежда, поступь и чуждое мне наречие показывают тебя
иноплеменником; не из *Далмации* ли? или из *Истрии*, или из
Вандалии? *Галлорусс*. Как иноплеменником? — Как из *Ванда-*
лии? [в сторону] ах! как это все *пахнет стариной!* — даже не
сносно; — будто мой язык чужой ему!..⁴¹

Вяземский очевидным образом обыгрывает развернутую
Бобровым ситуацию двуязычия, но инвертирует ее так, чтобы
ударить по самому Боброву: Бибрис изъясняется не на галло-
русском (как персонаж «Происшествия в царстве теней»), а,
так сказать, на варяго-росском наречии, и именно это наречие
оказывается непонятным и смешным...

В творчестве Вяземского отозвалась и формула «пахнет
стариной» (из речи Галлорусса). Она никак не обыграна в эпи-
граммах на Бибриса, зато использована в позднейшем поле-
мическом тексте — в куплетах «Всякий на свой покрой»:

Язык наш был кафтан тяжелый
И слишком пахнул стариной;
Дал Карамзин покрой иной.
Пускай ворчат себе расколы!
Все приняли его покрой.⁴²

Вяземский, используя выражение бобровского Галлорусса
в авторской речи, демонстративно отождествляет свою языко-

⁴¹ Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Споры о языке в начале XIX в. как факт
русской культуры... С. 469.

⁴² Вяземский П. А. Стихотворения. С. 104 (аргументацию предположи-
тельной датировки 1817 годом см. в прим. на с. 458; впервые стихотворе-
ние опубликовано в «Полярной Звезде на 1823 год»).

вую позицию (и свое речевое поведение) с манерой персонажа, выступавшего у Боброва предметом критики и осмеяния.⁴³ Это обыгрывание бобровского выражения свидетельствует о том, что памфлет Боброва был прочитан Вяземским с большим вниманием и запомнился до деталей.

Видимо, в эпиграмме Вяземского содержатся и скрытые намеки биографического порядка, непосредственно связанные с антикарамзинскими выпадами Боброва. «Автохарактеристика» Бибриса — «шахматно-пегий гений», — как известно, выстроена из стихов бобровской «Херсониды»: «И выгибают пестру спину // И шахматное пего чрево...» (поэма в свою очередь вошла в книгу «Рассвет полночи, или Созерцание славы, торжества и мудрости порфироносных, браноносных и мирных *гениев* России...»). Соответствующие стихи описывали аспидов, то есть змей. В эпиграмме Вяземского эпитет был переадресован самому творцу «Херсониды». Произошло это, конечно, не случайно: змея — устойчивый символ зла и ковар-

⁴³ В своем комментарии к «Происшествию в царстве теней» Боброва Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский по поводу формулы «пахнет стариной» пишут следующее: «Любопытно отметить, что этот галлицизм мог вызывать возражения даже у Вяземского. Критикуя стихотворение Полевого „Поэтический анахронизм или стихи в роде Василия Львовича Пушкина и Ивана Ивановича Дмитриева“, где, между прочим, имеются строки:

Паркет и зала с позолотой
Так пахнут скукой и зевотой,—

Вяземский замечает в „Старой записной книжке“: „Паркет пахнет зевотой! Что за галиматья! А какое отсутствие вкуса и приличия, литературное бесстыдство в глумлении подобными стихами над изящными образцовыми стихами Дмитриева!“ <...> Между тем, данное выражение у Полевого, может быть, пародирует стиль карамзинистов, тогда как то обстоятельство, что Вяземский не замечает пародийного смысла в употреблении этого выражения, может объясняться тем, что Вяземский сам принадлежит к карамзинистам» (Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры... С. 496–497). Такое истолкование не представляется вполне убедительным. Как можно заметить, сам Вяземский не обинуясь прибегает к соответствующему галлицизму в собственных текстах (наряду с кафтаном, пахнущим стариной, в его писаниях можно встретить и «запах новизны», и другие подобные выражения). Вяземский, конечно, протестует не против использования формулы «пахнуть чем-либо» (в качестве кальки il sent de...) как пародического знака карамзинистского стиля, но против ее *некорректного* использования. В формуле «пахнет зевотой» Вяземский, видимо, усматривал слишком сильный налет вещественности, делающий само выражение чуждым истинному вкусу. Примечательно, что сочетание «пахнет скукой» протестов Вяземского не вызвало.

ства. «Шахматно-пегий гений», пытавшийся тайно уязвить Карамзина, уподоблялся коварному змею...

Скорее всего, Вяземский и был инициатором всей антибобровской эпиграмматической кампании.⁴⁴ Судя по некоторым косвенным данным, именно он убедил Батюшкова перепечатать в «Вестнике» недавнюю эпиграмму на Боброва. Подборка стихотворений Батюшкова (включающая и эпиграмму) в 10-м номере была выстроена так: под двумя стихотворениями — «Эпитафия» и «В день рождения N» — была поставлена криптограмма «К. Б.». Далее следовали три текста, помещенные под общим жанровым заголовком «Эпиграммы»: I. «Теперь, сего же дня...»; II. «Как трудно Бибрису со славою ужиться...» и III. «Известный откупщик Фадей...». Эти эпиграммы были снабжены подписью: «К. В.» (sic!)⁴⁵. Простая опечатка? Вряд ли. Примечательно, что сразу же за подборкой эпиграмм Батюшкова было помещено стихотворение Вяземского «Молодой Эпикур», подписанное: «....В....». Под такой подписью появились в следующем, 11-м, номере пять стихотворений Вяземского, в том числе две эпиграммы на Боброва. Не была ли опечатка следствием предварительного сговора? Батюшков обычно становился нерешительным, когда речь заходила о публикации его сатирических сочинений. В ситуации, когда кружку стал известен бобровский памфлет и когда было решено отвечать на него, Вяземский мог уговорить Батюшкова перепечатать давнюю эпиграмму рядом с двумя новыми под запутывающей следы подписью. Криптограмму «К. В.» при желании легко было дешифровать как криптограмму Вяземского («К. В.» — Князь Вяземский) и связать его с текстами, подписанными просто «....В....»: Вяземский, автор

⁴⁴ Ср. в этой связи его «Запросы господину Василию Жуковскому от современников и потомков» (текст написан в 1810 году, но опубликован только посмертно) — отклик на первый том изданного Жуковским «Собрания русских стихотворений»: «По какому непонятному капризу не хотели вы нам показать лучшего нашего перевода из Горация, то есть оды к Венере Востокова, а напечатали уродливейший, то есть Боброва: „О ты, Бландузский ключ кипящий?“» (*Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Т. 1. СПб.: Изд. гр. С. Д. Шереметева, 1878. С. 1*).

⁴⁵ В новейшем (исключительно ценном) библиографическом справочнике указано, что эпиграмма Батюшкова опубликована за подписью «К. Б.». См.: Сводный каталог сериальных изданий России, 1801–1825. Т. 1. Журналы (А–В). СПб.: Изд. Российской национальной библиотеки, 1997. С. 278. Это либо плод недоразумения, либо следствие технической унификации сведений обо всех материалах, опубликованных в составе подборки.

двух резких эпитафий Боброву, таким образом брал на себя ответственность и за куда более невинные строчки Батюшкова — на случай возможных осложнений. Такое запутывание следов, видимо, было элементом тактики, избранной Батюшковым в 1810 году: в 6-м номере «Цветника» (то есть почти сразу же после публикации эпиграмм в «Вестнике Европы»!) Батюшков печатает эпиграмму «Рыцарь нашего века», направленную против Сергея Глинки⁴⁶, и скрывается за подписью «Т. Р. К.», маскирующей подлинного автора.

ВТОРОЙ АДРЕСАТ

Однако у антибобровских выступлений, похоже, был подтекст, связанный не только с кончиной Боброва, но и с другими современными событиями. В начале 1810 года Иван Иванович Дмитриев, давний друг и литературный соратник Карамзина, был назначен министром юстиции. На Карамзина у императора первоначально тоже имелись свои виды. Вот что рассказывал об этом М. П. Погодин (опиравшийся в свою очередь на рассказы К. С. Сербиновича, восходившие к самому Карамзину): «Государь, наслышась о достоинствах Карамзина, при назначении Дмитриева, в начале 1810 года, Министром юстиции, имел мысль поручить Карамзину Министерство народного просвещения, с званием Директора, по малому его чину: он был тогда Надворным Советником. Сперанский отклонил это назначение, предлагая его сделать прежде Куратором Московского Университета»⁴⁷. Однако Карамзин, судя по всему, отказался от этой чести. Министром просвещения был назначен А. К. Разумовский, состоявший после смерти М. Н. Муравьева попечителем Московского университета. Освободившееся же место попечителя получил в мае (в одно время с публикацией некролога Боброву в «Друге юношества») — при деятельной поддержке масонских кругов — кн. П. И. Голенищев-Кутузов, старинный враг Карамзина... Траектории решений Александра Павловича иногда отличались причудливостью и непредсказуемостью...

⁴⁶ См.: *Проскурин О.* «Победитель всех Гекторов халдейских»: К. Н. Батюшков в литературной борьбе начала XIX века // Вопросы литературы, 1987, № 6. С. 79–80.

⁴⁷ Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Материалы для биографии, с примечаниями и объяснениями М. Погодина. Т. 2. М., 1866. С. 60.

Голенищев-Кутузов, стихотворец и переводчик, уже состоял куратором Московского университета в 1798—1803 годах, получив это место также при поддержке масонов, вошедших в силу после смерти Екатерины и обласканных ненавидевшим мать Павлом Первым. Ко времени первого кураторства Кутузова относится его печально знаменитый печатный демарш против Карамзина — «Ода в честь моему другу», появившаяся в университетском журнале «Иппокрена» (1799, № 4). В этой оде Кутузов, по формулировке А. Д. Галахова, «выставляет нравственную философию своего друга, противопоставляя ее другой — безнравственной, извлеченной из сочинений Карамзина»⁴⁶. Строфа, служащая как бы негативным введением в нравственную философию «друга» (и вместе с тем — очерком «безнравственной философии» Карамзина), содержит положения, поразительно близкие тем обвинениям, которые выдвинет против Карамзина Бобров шестью годами позже:

Картин не пишешь сладострастных,
Чтобы читателей привлечь,
Чтоб тем у юношей несчастных
Воображенье не разжечь,
Чтоб не испортить их природы
И в самые незрелы годы
Огня страстей не развернуть;
Но глас твой мудрый повторяет:
«Чем меньше кто страстям внимает,
Скорей найдет к блаженству путь».

Стихотворение Кутузова — последовательное выражение масонской программы в отношении к изменнику Карамзину — попустителю и разжигателю страстей, «слепому вождю слепцов» и проч., и проч. Нравственная программа победы над страстями — программа масонская. Однако примечательно, что нравственность, как и в случае с бобровским памфлетом, оказалась здесь удивительно тесно связана с политикой. С восшествием на престол Павла у масонов появляется надежда непосредственно влиять на политический курс, который мыслится ими как прямое продолжение нравственного (в масонском понимании этого слова) пути. Если у Боброва политический

⁴⁶ Галахов А. История русской словесности, древней и новой. Изд. 3. М., 1894. Т. 2. С. 62.

пафос звучал приглушенно, то у Голенищева-Кутузова, теснее связанного с видными масонами,— куда более отчетливо⁴⁹. Указание на разжигающий характер сочинений Карамзина в эпоху борьбы Павла за укрепление общественной морали (расшатанной, по его убеждению, в екатерининскую эпоху) получало дополнительные — крайне неблагоприятные для Карамзина — смысловые оттенки. В некотором отношении выступление Кутузова подготавливало критику Карамзина в памфлете Боброва: Бобров в своем «Происшествии в царстве теней» развертывал и конкретизировал те обвинения, которые содержались уже в «Оде» Кутузова.

Молодые карамзинисты, давно знавшие оду Кутузова и только что познакомившиеся с памфлетом Боброва, не могли не увидеть отчетливой связи между ними. Становилось ясно, что сочинение Боброва — часть методичной кампании по дискредитации Карамзина, проводившейся масонскими кругами на протяжении многих лет. Ясно было и то, что возвращение Кутузова на командные позиции в московском просвещении чревато новой волной доносов на Карамзина.

Простодушный и добрый Невзоров поучал молодых читателей тому, «что по смерти порицанию подлежат только одни злодеи и вредные, особливо для человеческой нравственности, люди» и что это порицание возможно только «для того, чтоб представлением их пороков других от них отвращать». Он, конечно, не подозревал, что насмешки над «Бибрисом» исходили именно из этих предпосылок и преследовали именно эту превентивную воспитательную цель.

⁴⁹ К сожалению, о политической программе (и, тем более, о реальной роли в политической жизни) русских масонов XVIII столетия существует еще очень мало серьезных работ (при обилии черносотенных сочинений о «масонском заговоре», подходящих к проблеме не с исторической, а, так сказать, с мифологической позиции). Одно из немногих исключений — давнее исследование: *Вернадский Г. В.* Русское масонство в царствование Екатерины II (= Записки Историко-Филологического факультета Петроградского университета. Часть XXXVII). Пг., 1917. См. в особенности третью главу — «Социально-политические взгляды масонов» (с. 161–243). Особый интерес представляет разбор переведенного в 1784-м Н. Н. Трубецким «Нового Начертания Истинной Теологии» — своеобразного политико-теологического манифеста, провозглашавшего исправление нравов подданных основной задачей масонски инспирированных «святых царей» (см. с. 180–186). Соотношение подобных теоретических построений с реальной политикой русского масонства еще ждет своего исследователя.

«Порицанию по смерти» Бобров был подвергнут не только как дурной поэт, но и как коварный «злодей»: он осмеивался именно потому, что в деятельности его был усмотрен вред «для человеческой нравственности». Весьма показательно, что эпитаграммы на Боброва печатаются в «Вестнике Европы» одновременно с некрологом и с письмом, содержащим просьбы о денежном вспомоществовании семейству умершего. Так проводится черта между дурным поэтом и участником антикарамзинской интриги, с одной стороны, и несчастным человеком, отцом осиротевшего семейства, оставшегося без средств к существованию, — с другой. Первый подлежит посмертному осмеянию, второй оказывается объектом посмертной практической филантропии — урок масонам, объявляющим себя истинными друзьями человечества и в то же время не гнушающимся низкими средствами в борьбе с инакомыслящими!..

Вместе с тем эпитаграммы на Боброва должны были — если использовать формулировку Невзорова — «представлением пороков других от них отвратить», то есть упредить новые возможные антикарамзинские инсинуации и показать литераторам-масонам (Голенищеву-Кутузову прежде всего), что их козни не останутся без ответа и не принесут им ничего, кроме всеобщего презрения, которое настигнет и в могиле... Коварный интриган имеет все основания войти в бессмертие с печалью отвержения на челе... Судьба усопшего Боброва должна была послужить уроком для живых.

ДВА ПИСЬМА НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТЕМЫ

Видимо, сразу же по получении от Жуковского «Друга юношества» с негодующим откликом Невзорова на публикацию антибобровских эпитаграмм Вяземский приступил к созданию прозаического сочинения, сохранившегося в его бумагах под названием «Письмо к издателю о поэте Боброве» (вторая часть подзаголовка — «о поэте Боброве» — была приписана позже и в публикации, несомненно, должна была отсутствовать; по обычаю полемических дебатов начала века имя поэта в самом тексте письма ни разу не названо)⁵⁰. Это «Письмо...» — видимо, косвенный ответ на апологетическую статью Невзорова «Живописные и философские отрывки из сочинений

⁵⁰ «Письмо» Вяземского опубликовано в изд.: «Арзамас»: Сборник в двух книгах. Кн. 1. С. 153–156.

Г. Боброва». Дело в том, что Невзоров свое намерение представить взору читателей «отрывки из сочинений Г. Боброва, из которых могут они судить о достоинстве стихотворных и умственных его дарований», рассматривал как ответ на эпиграммы Вяземского: «Я смело и не боясь никакой строгой цензуры, могу сказать, что Г. Бобров в лирическом стихотворстве после двух Российских великих Гениев, Ломоносова и Певца Фелицы, из всех доселе известных Руских Пиитов занимает первое место. <...> Рассматривая представляемые здесь отрывки из сочинений Г. Боброва, читатели опытом уверятся, как трудно основывать заключения свои на суждениях других, а особливо на Эпиграммах, которые теперь в моем уме суть не иное что, как резвые, а иногда жалкие исчадия несозревших умов...»⁵¹

Вяземский не остался в долгу. Если статья Невзорова строилась как выставка красот, которые должны были сами за себя свидетельствовать и тем посрамить жалких эпиграмматистов, то статья Вяземского строилась как кунсткамера образчиков нелепостей и дурного вкуса, которые также должны были свидетельствовать за себя. И впрямь, что мог увидеть карамзинист, кроме темных образов и варварского слога, в стихах, подобных тем, что вошли в послание «К другу на его новый год» (это послание наряду со многими подобными текстами приведено в статье Вяземского):

Бежит и храмлет год,— год старый;
Пал в бездну,— лег и воздохнул;
С паденьем слышны лишь удары,—
И твой — твой год туда ж скользнул!
Вдруг в мир год новый низлетает,
Восстав из бездны вечных дней;
И твой оттоле ж возникает
С фиалом желчи иль сластей.

Интересна мотивировка введения в текст нелепых стихов из разных произведений Боброва. В статье Вяземского члены содружества литераторов, узнав о кончине любимого поэта, принимают решение почтить его память чтением его сочинений — «лучших стихов, взятых из песнопений полночного Пиндара». Каждый прочитанный отрывок запивается чашей вина: почитатели того, кто «пил, чтобы писать, и писал, чтобы

⁵¹ Друг юношества, 1810, июнь. С. 66.

напиться», теперь в его память «пьют, чтобы читать, и читают, чтобы напиться». Вяземский как бы развертывает шутку из эпиграммы Батюшкова: затуманенное алкоголем сознание объясняет теперь не только самые бобровские тексты, но и восторг перед ними. Словом, каков был писатель, таковы и его почитатели...

Свою статью Вяземский, несомненно, писал с расчетом на печать, но вряд ли она могла появиться в «Вестнике Европы». Вскоре после появления эпиграмм Вяземского на Боброва из Петербурга приходит полемическое послание В. Л. Пушкина «К В. А. Жуковскому». Батюшков в том самом письме от 7 июня 1810 года, где извещал Вяземского о публикации его эпиграмм рядом с некрологом Боброву, сообщал: «Кстати, В. Л. Пушкин прислал послание к Жук<овскому>, которое, как и все его стихи, гладко и хорошо написано — а в мыслях, показалось мне, связи нет никакой — это его обыкновенный манер, да вот что необыкновенно: он тут так бреет Шишкова — без пощады! много забавных стихов»⁵². Через два дня, 9 июня 1810 года, Александр Тургенев шлет список послания в Германию брату Николаю, с припиской: «Посылаю тебе также послание Василия Львовича. Оно будет напечатано в „Вестн. Евр.“ Изрядно написано. Оно теперь здесь ходит по городу, и славенофилы собираются отвечать на него»⁵³.

Однако послание так и не появилось в «Вестнике Европы», несмотря на то что Василий Львович не уставал недоумевать по поводу промедления Жуковского и давить на него через общих друзей и знакомцев. Лишь 12 сентября (то есть более чем через два месяца после того как послание прибыло в Москву!) Жуковский пишет А. И. Тургеневу (бывшему среди тех, с кем Василий Львович делился своим недоумением): «А стихов его я не поместил для того, что они слабы, заключают в себе одну только брань, которая есть бесполезная вещь в литературе; впрочем, поместить их более не хотел Каченовский, не желая заводить ссоры, в чем и я согласен»⁵⁴. Объяснение причин отказа сбивчиво и противоречиво; так и остается непонятным: не поместил Жуковский, потому что стихи слабы, или не пожелал помещать Каченов-

⁵² Батюшков К. Н. Сочинения в двух томах. Т. 2. С. 137.

⁵³ Цит. по: «Арзамас»: Сборник в двух книгах. Кн. 1. С. 153.

⁵⁴ «Арзамас»: Сборник в двух книгах. Кн. 1. С. 158.

ский, чтобы не заводить ссоры. Такая невнятность возникает обычно в случаях, когда не хотят сказать всей правды. Вряд ли приходится сомневаться в том, что действительной причиной осторожности Жуковского послужила реакция, вызванная в масонских кругах публикацией на страницах «Вестника Европы» антибобровских эпиграмм Вяземского. Жуковский имел все основания опасаться, что публикация послания В. Л. Пушкина, задевавшего уже не мертвых, а живых, вызовет куда более серьезную бурю.

Поэтому Вяземский, видимо, подумывал о том, чтобы напечатать свое «Письмо...» не в Москве, а в Петербурге — скорее всего в «Цветнике» Измайлова, единственном петербургском журнале, занимавшем отчетливо прокарामзинистскую позицию (там, кстати, в конце концов появится и отвергнутое Жуковским послание Василия Львовича). Об этом намерении косвенно свидетельствует записка (или обрывок письма) Батюшкова Вяземскому, которая традиционно (безо всяких серьезных оснований) датировалась 1817 годом, в новейшем, наиболее авторитетном, двухтомнике датируется апрелем — маем 1810 (датировка в свое время была уточнена не без участия пишущего эти строки)⁵⁵, но которую всего вероятнее следует отнести к июлю, может быть, началу августа 1810 года — во всяком случае, ко времени *после* публикации антибобровских эпиграмм и ответов Невзорова:

«Я вижу тень Боброва!
Она передо мной,
Нагая, без покрова,
С заразой и с чумой!
Сугубым вздором дышит
И на скрижалях пишет
Бессмертные стихи...
Которые в мехи
Бог ветров собирает
И в воздух выпускает
На гибель для певцов...
Им дышит граф Хвостов,
Шихматов оным дышит,
И друг твой, если пишет
Без мыслей кучу слов...—

⁵⁵ См.: Батюшков К. Н. Избранные сочинения. Комментарии А. Л. Зорина и О. А. Проскурина. М.: Правда, 1986. С. 479.

т. е. я теперь, сидя с сильной головной болью, от которой ниже сном, ниже перечитыванием Шихматова не избавлюсь.— К Измайлову будет послано...»⁵⁶

Характерны здесь атрибуты «тени Боброва», явившейся «с заразой и с чумой» (явный намек на вредоносность деятельности усопшего), с «сугубым вздором» (отчетлива переключка с «сумбуром» из эпиграммы Вяземского). Показательно, что бобровская тема в сходной аранжировке (и со сходной топикой) возникает и в письме Батюшкова Вяземскому от 29 июля 1810 года: «...сизу в ванне, настоящей серой. Эта ванна есть образчик тех вод, в которых мы будем купаться после смерти, она воняет хуже Стикса, хуже Боброва стихов...» Не содержит ли загадочная фраза из батюшковской записки — «К Измайлову будет послано» — обещания переслать Измайлову в «Цветник» какое-то сочинение Вяземского, может быть именно «Письмо к издателю о поэте Боброве»?.. Такое предположение во всяком случае не противоречит контексту — «бобровской» теме, доминирующей в поэтической части письма Батюшкова.

Вяземский, однако, своей статьи не только не напечатал, но и не закончил. Этому способствовали новые события, косвенно связанные с бобровским сюжетом и непосредственно — с новой волной масонской антикарамзинской кампании.

* * *

Первого июля 1810 года Карамзин получил орден Св. Владимира 3-й степени при высочайшем рескрипте. Это послужило тревожным знаком для недругов Карамзина. Они решаются на решительные действия. Уже 10 августа 1810 года новый попечитель и куратор Московского университета Голенищев-Кутузов шлет новому министру народного просвещения А. К. Разумовскому новый донос на Карамзина (Кутузов придает своему доносу особую важность и пересылает его с надежной оказией, не доверяя государственной почте!): «Ревнуня о едином благе, стремясь к единой цели, не могу равнодушно глядеть на распространяющееся у нас уважение к сочинениям Г. Карамзина; вы знаете, что оныя исполнены вольнодумческого и якобинского яда. Но его последователи и одобрители подняли теперь еще выше голову, ибо его сочинения одобрены

⁵⁶ Батюшков К. Н. Сочинения в двух томах. Т. 2. С. 132.

пожалованием ему ордена и рескриптом его сопровождавшим. О сем надобно очень подумать, буде не для нас, то для потомства. Государь не знает, какой губительный яд в сочинениях Карамзина кроется. Оныя сделались классическими. Как могу то воспретить, когда оныя рескриптом торжественно одобрены. Карамзин явно проповедует безбожие и безначалие. Не орден ему надобно бы дать, а давно бы пора его запретить; не хвалить его сочинения, а надобно бы их сжечь»⁵⁷.

Эпиграммы на Боброва не образумили того, кому они были косвенно адресованы. Кутузовский донос по степени злобности и по остроте обвинений превосходил все, прежде написанное об историографе, и не только являл собою памятник беспрецедентной, доходящей до иступления ненависти, но и свидетельствовал о явной психической патологии пишущего. В. Э. Вацуро пронизательно услышал здесь и «ноты уязвленного самолюбия»⁵⁸ — самолюбие Кутузова было уязвлено карамзинистами еще в ту пору, когда он был одним из соиздателей «Друга юношества». Примечательно, однако, что при всех специфических особенностях доносов Кутузова в них обнаруживается поразительное сходство и с его прежними антикарамзинскими выступлениями, и, главное, с памфлетом Боброва. И в том и в другом случае обвинения строились на развертывании одного образа — «сокрытого яда» (в сочинении Боброва: *Сладкая трава под приятными цветами и красками!* — в заявлении Кутузова: *Государь не знает, какой губительный яд в сочинениях Карамзина кроется*). Донос Кутузова представлял собою кульминационный момент антикарамзинской масонской кампании, в ходе которой серьезность обвинений против Карамзина возрастала по градации: в стихах из «Иппокрены» — общие обвинения в потворстве страстям; в памфлете Боброва — более определенные обвинения в разложении нравственности (особо опасном в «нынешних обстоятельствах»); в письме Кутузова министру — в высшей степени конкретные обвинения в проповеди безбожия, безначалия, в якобинстве и в стремлении играть роль диктатора! Поразительна и тактическая близость в действиях по распространению дискредитирующей информации. Бобров передавал свой памфлет попечителю Московского уни-

⁵⁷ Цит. по: Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Материалы для биографии, с примечаниями и объяснениями М. Погодина. Т. 2. М., 1866. С. 62–63.

⁵⁸ Вацуро В. Э. И. И. Дмитриев в литературных полемиках начала XIX века // XVIII век. Сб. 16. Л.: Наука, 1989. С. 178.

верситета и товарищу министра народного просвещения с явным расчетом на то, что текст дойдет и до более высоких инстанций. Голенищев-Кутузов — сам теперь попечитель — шлет донос уже министру просвещения с прямым выражением надежды, что последний откроет глаза государю на вредоносность деятельности Карамзина.

Сам по себе кутузовский донос — отчасти, по крайней мере — мог быть инспирирован тризной по Бибрису, конечно, привлекая внимание попечителя Московского университета. Невзоров был директором подчиненной Кутузову университетской типографии («Максим Невзоров, за сумасшествием употреблен при Московском университете» — острил Воейков в «Парнасском адрес-календаре»); здесь печатался и его «Друг юношества». Несомненно, эпиграммы Вяземского обсуждались в кругу университетских масонов. Вполне возможно, что Голенищев-Кутузов был в числе тех упомянутых Невзоровым «читавших», которые убедили его в том, что возмутительные эпиграммы написаны на счет г. Боброва, и побудили издателя «Друга юношества» выступить с ответом на эти ребяческие шалости. Примечательно, что Кутузов в своем донесении особо подчеркивает развращающее влияние Карамзина на молодые умы (ср. с порицанием насмешливых молодых людей в выступлениях Невзорова): «Если бы я не был попечитель, я бы вздыхал, молился и молчал, но уверен будучи, что Богу дам ответ за вверенное мне стадо, как умолчу я пред вами, и начальником моим и благодетелем. Карамзина превозносят, боготворят! Во всем Университете, в пансионе, читают, знают наизусть, что из этого будет? Подумайте и попечитесь о сем. Он целит не менее, как в Сиесы или в первые Консулы,— это здесь все знают и все слышат. Я молчу, и никому о сем ни слова не писал, ни говорил, а к вам я обязан это сделать. Пусть что хотят, то делают; но об Университетах надобно подумать и сию заразу как-нибудь истребить»⁵⁹.

Видимо, сведения о доносе Голенищева-Кутузова достаточно быстро распространяются в Москве — и Вяземский переключается с покойного Боброва на здравствующего Голенищева-Кутузова⁶⁰. Продолжать осмеивать покойного Бибриса,

⁵⁹ Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Т. 2. С. 63.

⁶⁰ Впрочем, Вяземский выступил против Кутузова еще в ранней юности — в эпиграмме «Картузов другом просвещенья...». Эта эпиграмма традиционно датировалась 1812 годом — временем ее первой публикации в «Санкт-

когда рядом демонстрировал свою вредоносную энергию живой Картузов, уже не имело смысла.⁶¹

Р. С. ПАРКИ ТОЩИ

Однако именно посмертные эпиграммы на Боброва надолго закрепили за покойным поэтом его литературную репутацию и его комическую маску. Они стали известны гораздо более широко, чем сами бобровские сочинения. Эпиграммы на полтора века заместили собою реальные тексты Боброва. Видный историк культуры Н. П. Колюпанов, рассказывая о Невзорове и его журнале и стремясь показать полную эстетическую несостоятельность издателя «Друга юношества», будет приводить тому такое доказательство:

Для него идеалом поэзии был Бобров, автор невозможных поэм, служивший общим посмешищем для современников, — Бобров, на которого написана была известная эпиграмма:

Нет спора, что Бибрис богов языком пел,
Из смертных бо никто его не разумел.⁶²

Петербургском вестнике» (№ 5). В. Э. Вацуро убедительно показал, что она должна быть отнесена к 1806 году (*Вацуро В. Э. И. И. Дмитриев в литературных полемиках начала XIX века. С. 159–160*). Публикация старой эпиграммы на Кутузова в 1812 году (когда доносительная деятельность адресата становится широко известной) — факт того же порядка, что и републикация антибобровской эпиграммы Батюшкова в 1810 году.

⁶¹ Еще в письме от марта—апреля 1812-го к Батюшкову Вяземский, требуя, чтобы его эпиграммы на Кутузова были опубликованы в «Санкт-Петербургском вестнике», пояснял: «Эту бестию надобно всячески мучить. Малейший в нем порок есть то, что он дурной стихотворец. Такого человека жалеть не надобно: эпиграммами, дубиной, происками вреди ему, как можешь и как умеешь. Всякое на него нападение есть жертва Истине и Добродетели» (*Вяземский П. А. Письма К. Н. Батюшкову. Публикация В. А. Кошелева // Литературный архив: Материалы по истории русской литературы и общественной мысли. СПб.: Наука, 1994. С. 132*). Ю. М. Лотман, впервые опубликовавший фрагмент этого письма, склонен был объяснять резкость отзывов Вяземского тем, что «Голенищев-Кутузов для Вяземского — ретроград, противник просвещения, враг наук» (*Лотман Ю. М. П. А. Вяземский и движение декабристов // Ученые записки Тартуского ун-та. Вып. 98. 1960 (—Труды по русской и славянской филологии. III). С. 34*). В действительности, конечно, агрессивность Вяземского объясняется в первую очередь тем, что Кутузов — враг Карамзина.

⁶² *Колюпанов Н. П. Биография Александра Ивановича Кошелева. Т. 1. Ч. 1. М., 1889. С. 193.*

Поминки по Бибрису

Но это только одна сторона дела. Почти одновременно с разгоревшейся «войной на Парнасе» Батюшков начнет писать «Мои Пенаты» — послание, которое принесет ему широкую известность и славу. В этом послании будут заключены стихи, выразительностью которых не перестанут восхищаться читатели и исследователи нескольких поколений:

Когда же Парки тощи
Нить жизни допрядут
И нас в обитель нощи
Ко прадедам снесут,—
Товарищи любезны!
Не сетуйте о нас,
К чему рыданья слезны,
Наемных ликов глас?

И невдомек было почитателям этих действительно прекрасных стихов, что батюшковские «Парки тощи» находятся в прямом родстве с «Парками тощими» из стихотворения «Ночь» — сочинения... осмеянного Бибриса:

Звучит на башне медь — час нощи,
Во мраке стонет томный глас.
Все спят — прядут лишь Парки тощи,
Ах, гроба ночь покрыла нас.

Когда Батюшков нашел у своего любимого Тассо стихи, «похищенные» у Петрарки, он расценил это похищение как свидетельство «уважения и любви» одного большого поэта к другому. У самого Батюшкова много таких «похищений»; они — важная сторона его поэтической системы. В «Моих Пенатах» перед нами тоже пример характерной для Батюшкова интертекстуальной игры, искусного использования и переосмысления чужих стихов. И хотя об уважении и любви Батюшкова к Боброву говорить не приходится, бобровские отголоски в «Моих Пенатах» неопровержимо свидетельствует о том, что в восприятии поэта Батюшкова поэт Бобров не сводился к маске Бибриса.

Примерные уроки

*Три эпизода полемики о старом и новом слоге
в зеркале трех сочинений А. Е. Измайлова*

ПОЛЕМИКА О СТАРОМ И НОВОМ СЛОГЕ И ВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ СЛОВЕСНОСТИ, НАУК И ХУДОЖЕСТВ

В 1810 году полемика о старом и новом слоге, после периода некоторого затишья, вступила в наиболее острую фазу¹. Бурные события литературной жизни самым непосредственным образом отразились в деятельности петербургского Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. В конце 1810 года общество, почти три года пребывавшее в состоянии летаргического сна, заметным образом оживилось. Этому немало способствовало и обновление его состава: сошли с литературной арены мелкотравчатые «просветители» переходной поры; общество стало пополняться молодыми литераторами, воспитанными на карамзинистской эстетике и связанными с Карамзиным и его окружением биографически. Многие из них переехали из Москвы в Петербург вместе с И. И. Дмитриевым, старым другом Карамзина, назначенным в 1810 году министром юстиции. Среди новоприбывших самой значительной фигурой был Д. В. Дашков, избранный членом Вольного общества 17 декабря 1810-го года «по предложению г-д Измайлова, Милонова и Никольского»². Именно ему предстояло сыграть решающую роль в изменении облика и программы Вольного общества.

¹ Об этом этапе полемики, непосредственно предшествовавшем образованию «Арзамаса», см.: *Мордовченко Н. И.* Русская критика первой четверти XIX века. М.; Л.: АН СССР, 1959. С. 85–94.

² Отдел редких книг и рукописей Научной библиотеки Санкт-Петербургского университета. Архив Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Д. № 204. Л. 48 об. Вновь пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить А. Х. Горфункеля и Н. И. Николаева, в свое время оказавших мне неоценимую помощь в работе с архивом Вольного общества.

Дашков, ненавистник идей Шишкова, увидел хорошие возможности превратить Вольное общество, наделенное неопределенно широкими издательскими правами, в центр антишишковской оппозиции. Поэтому он сразу же развернул энергичную деятельность по вовлечению в ряды Вольного общества карамзинистов, главным образом — своих московских друзей, перебравшихся в Петербург. По инициативе Дашкова в Общество были приняты: 14 января 1811 года — Д. П. Северин, 9 сентября 1811 года — В. Л. Пушкин, 4 ноября 1811 года — Д. Н. Блудов, 29 февраля 1812 года — С. П. Жихарев. С. С. Уваров, уже достигший степеней известных, был выбран 4 ноября 1811 года почетным членом³. На протяжении 1811 — начала 1812 года в Вольном обществе оказалось, таким образом, собрано ядро будущего «Арзамаса». Не в последнюю очередь благодаря этому обстоятельству время с конца 1810 года до весны 1812-го оказалось самым ярким периодом в истории Вольного общества. Карамзинистский центр в эту пору перемещается из Москвы в Петербург.

Дашков не только активно привлекает в общество новых членов из числа московских друзей и знакомых, но и заражает своей энергией некоторых из «старых» членов. Среди последних оказался и А. Е. Измайлов. О тогдашней позиции Измайлова было создано много мифов, отчасти базирующихся на недоразумении, отчасти — на предубеждении. В свое время Н. Л. Степанов, автор главы об Измайлове в академической «Истории русской литературы», характеризовал позицию своего героя следующим образом: «В литературной борьбе XIX в. Измайлов, хотя и примыкал к карамзинистам <...> но держался довольно пассивно»⁴. А. А. Морозов в своих комментариях в изданной им антологии «Русская стихотворная пародия» выразился еще более энергично, назвав Измайлова «литературным хамелеоном, лавировавшим между архаистами и карамзинистами»⁵. Все это совершенно не соответствует действительности.

Измайлов принадлежал к тем немногим членам Общества «первого призыва», которые не только отнеслись к переменам

³ Архив Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Д. № 204. Л. 56 об., 97, 105: 138.

⁴ История русской литературы. Т. V. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1941. С. 269.

⁵ Русская стихотворная пародия (XVIII — начало XIX в.). Вступ. статья, подготовка текста и примеч. А. А. Морозова. Л.: Советский писатель, 1960. С. 714.

с полным сочувствием, но во многом их инициировали. Характерно, что Измайлов, рекомендовавший Дашкова к приему в Общество, почти одновременно печатает в своем журнале «Цветник» (издаваемом при участии Никольского) пространную — и весьма ядовитую — рецензию Дашкова на выполненный Шишковым «Перевод двух статей из Лагарпа» (1810, № 11 и 12). В «Цветнике» появляется и полемическое послание В. Л. Пушкина к Жуковскому, отвергнутое самим Жуковским по тактическим соображениям (№ 12; следует иметь в виду, что последние номера «Цветника» за 1810 год увидели свет лишь в конце марта 1811 года⁶). Именно эти сочинения Дашкова и В. Л. Пушкина, вызвавшие бурную реакцию Шишкова, вывели полемику на новый виток и способствовали резкой поляризации литературных лагерей: выход последних номеров «Цветника» практически совпал с началом деятельности «Беседы любителей русского слова».

Уже 28 января 1811 года Измайлов вместе с Дашковым входит в Общество с предложением «касательно рассмотрения и издания в свет общественных трудов» — то есть журнала, который должен издаваться от лица Вольного общества⁷. Так было положено начало «Санкт-Петербургскому вестнику» — изданию, альтернативному «Чтениям в Беседе любителей русского слова» и во многом полемически направленному против литературного «архаизма». Измайлов станет его главным редактором... Измайлов, однако, не ограничился тем, что предоставил для полемических выступлений карамзинистов свой «Цветник» и поддержал их усилия по обновлению Общества и по созданию нового периодического издания. Он вскоре и сам непосредственно включился в литературную борьбу. С лета 1811 года он пишет серию полемических басен, «сказок» и «разговоров», направленных против членов только что организовавшейся «Беседы любителей русского слова». Многие из этих сочинений были прочитаны на заседаниях Вольного общества, получили широкое распространение в списках и стали заметным фактом литературной борьбы 1810-х годов.

⁶ Это явствует, между прочим, из дневниковых записей Д. И. Хвостова. См.: Литературный архив: Материалы по истории литературы и общественного движения. Под ред. С. Д. Балухатого, Н. К. Пиксанова и О. В. Цехновицера. Вып. 1. М.; Л.: АН СССР, 1938. С. 370

⁷ Архив Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Д. № 204. Л. 62 об.

О популярности этих произведений Измайлова свидетельствуют как сохранившиеся во множестве их рукописные списки, так и дошедшие до нас отзывы современников. Так, Д. И. Хвостов оставил в своих дневниковых «Записках о словесности» (1811) подробный и весьма комплиментарный для Измайлова отзыв о его сказках «Шут в парике» и «Филин и Чиж», несколько позже — характеристику сочинений, в которых оказался задет он сам (разумеется, гораздо более сдержанную)⁸. С иных позиций проявляет интерес к полемической деятельности Измайлова К. Н. Батюшков. В письме к Н. И. Гнедичу от августа—сентября 1811 года он пишет: «Выпроси его <Измайлова> Сказки: мне охота здесь их прочитать наедине». В письме от 27 ноября — 5 декабря 1811 года к тому же корреспонденту Батюшков выражает недовольство тем, что Гнедич не держит его в курсе новейших литературных событий: «Не видал ли ты Пушкина! Он написал послание к Дашкову, Измайлов — басни, сказки, видения и проч., а ты мне этого не присылаешь»⁹. Отзывы современников свидетельствуют о том, что новые сочинения Измайлова воспринимались в одном ряду с наиболее заметными полемическими выступлениями присяжных карамзинистов.

По разным причинам только немногие из сатирических сочинений этого периода Измайлову удалось опубликовать; некоторые из них — причем из числа самых острых — остались в рукописи. К числу последних принадлежат и три сатирических стихотворения из рукописного собрания сочинений Измайлова (хранится в Рукописном отделе Российской национальной библиотеки)¹⁰. О них и пойдет речь ниже.

⁸ Литературный архив: Материалы по истории литературы и общественного движения. Вып. 1. С. 375–376, 378.

⁹ Батюшков К. Н. Сочинения в двух томах. Т. 2. М.: Художественная литература, 1989. С. 182, 195.

¹⁰ Отдел рукописей и редких книг Российской национальной библиотеки (бывш. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина), ф. 310, ед. хр. 1 и 2. Из этих произведений одно — сказка «Раскольник Аввакум» — некогда увидело свет в составе статьи А. А. Веселовского (*Веселовский А. А. Сословие друзей просвещения // Русский библиофил*, 1912, № 4. С. 63). Однако стихотворение было напечатано А. А. Веселовским не по раннему автографу Публичной библиотеки, а по копии начала 1820-х годов, обнаруженной в бумагах литературного общества С. Д. Пономаревой (бумаги эти, тогда принадлежавшие публикатору, ныне хранятся в Пушкинском Доме). Изданный Веселовским текст (который содержит довольно существенные расхождения с рукописью

ВКУСОБОРЕЦ

Хронологически самым ранним из этих сочинений, судя по всему, была сказка «Раскольник Аввакум». Она была прочитана Измайловым на заседании Вольного общества любителей словесности, наук и художеств 9 сентября 1811 года¹¹ и, надо полагать, была написана незадолго перед тем. Вот ее текст¹²:

Раскольник Аввакум

Был из раскольников великий чудотворец

Седой, иссохший Аввакум;

Грехом считал он здравый ум,

За то и прозван *умоборец*.

Сей самозванец Богослов

Принялся в пятьдесят уж лет за часослов

И самоучкою стал грамоте учиться;

Учился год, другой и начал сам учить.

Тут не чему дивиться,

Невежды все хотят учителями быть*.

Однажды он, надев с ушами длинну шапку,

Схвативши Библию Острожскую в охапку**,

На улице большой у богадельни сел

И тоном нищенским запел:

«О православные! души не погубите,

«Молиться в церковь не ходите;

«Старинных образов и книг там больше нет.

«Антихрист родился, Антихрист к нам грядет,

РНБ) не отражает процесса работы автора над сказкой, хотя именно первоначальные варианты ряда стихов наделены особой полемической остротой. Главное же, Веселовским сказка оказалась оторвана от литературного контекста; она была воспринята как «кустарная игрушка», созданная в непритязательной атмосфере «домашнего» дружеского кружка 20-х годов (*Веселовский А. А. Сословие друзей просвещения. С. 65*). Полемический смысл стихотворения не был замечен — как следствие, не была замечена и сама публикация; стихотворение долго считалось неизданным (см.: *Гиллельсон М. И. Ценный вклад в историю русской поэзии // XVIII век. Вып. 5. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1962. С. 447*).

¹¹ Архив Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Д. № 204. Л. 97.

¹² РНБ, ф. 310, ед. хр. 1, л. 124–126.

* Невежды любят все учителями быть.

** И Библию схватив Острожскую в охапку

«Тиснит-бо книги он печатую гражданской.
«Погибнет весь род Христианской*,
 «Егда начнет читать
 «Гражданскую печать;
«А для спасения довлеет нам читати
«Церковны книжицы старинныя печати». —
 Так бредил Аввакум и вдруг
Невежды около него стеснились в круг,
И слушали его, хотя не понимали**,
 А многие и шапки сняли.
Раскольник с радости пустился пуще врать;
Врал, врал и скопище успел себе набрать
Увечных, стариков, хромых, слепых, убогих,
 Мальчишек, баб и девок многих,
И наконец из них большой составил скит. —
Ах! часто и чудак бывает знаменит!***

(1811)

Разумеется, ничего (или почти ничего) от исторического протопопа Аввакума в герое сказки Измайлова нет. «Аввакум» — это сатирическая маска современного героя; самый облик измайловского «раскольника», его интеллектуальные свойства и некоторые штрихи его биографии должны были вызывать в сознании посвященных читателей фигуру идейного вождя «Беседы» Александра Семеновича Шишкова. Сухощавость адмирала-филолога отмечалась многими мемуаристами и обыгрывалась в эпиграммах. Расхожим в кругах карамзинистов было мнение о невежестве и обскурантизме Шишкова. Аллюзионное значение имеет и упоминание возраста, в котором «Аввакум» «принялся за часослов»: на пятидесятом году жизни Шишков выпустил «Рассуждение о старом

* Погибнет род весь Христианской

** И слушали его, хоть худо понимали,
 Разиня рот ему внимали,
 Иные же и шапки сняли.

*** Ах! часто и дурак быть может знаменит!

Последняя строчка была вставлена позже, чернилами иного оттенка, взамен следующих стихов:

 Толико был он знаменит!
Не мудрено! сперва напрасно волю дали,
Однако же хоть тем раскольников уняли,
 Что козыри давать им стали.
Не худо бы у нас *словесникам* иным
 Ходить с отличием таким.

и новом слоге российского языка». «Скит», составленный из «хромых, кривых, убогих», — это, конечно, недавно организованная «Беседа любителей русского слова».

Интерпретация беседчиков как «раскольников» и характеристика их вождя как «умоборца» самым непосредственным образом связаны с контекстом полемики о старом и новом слоге. Одно из первых уподоблений сторонников старого слога старообрядцам появилось в рецензии А. Воейкова на книгу Станевича «Способ рассматривать книги и судить о них» (1808). В этой рецензии Воейков писал о Станевиче между прочим следующее: «Желая доказать, что он *старообрядец в слоге*, и тем придать себе больше важности, он кстати и некстати употребляет слова *зане, колико, наипаче, корыстно, суетловие, на приклад, поелику, ради, купно, кольми же паче, словозвятия, метает, рея, словесники*, и проч: какое *благоразумие!* Г. Станевич знает, что сии слова в Русской литературе то же, что орлы, драконы, лилии, изображаемые на знаменах войск; они показывают, к какой стороне принадлежит автор. Увидев в каком-либо сочинении: *зане, ради, словесник*, вкусоборцы радуются новому приобретению, как паписты обращению протестантов. Они берут такого поэта себе под защиту, помогают ему своими знаниями и, думая просветить, истребляют в молодом фанатике последние искры. — Сие счастье или несчастье случилось с г-м Станевичем: он воздоился *смаком* и чутьем (вкусом) и угобзился хитроумием»¹³.

Литературные «архаисты», как видим, в рецензии Воейкова были прямо названы «старообрядцами в слоге» и охарактеризованы как «вкусоборцы» (слово образовано по той же модели, что и «богоборец»). Однако для того, чтобы «старообрядцы» превратились в «раскольников», потребовалось еще некоторое время. Тема раскола актуализировалась в 1810–1811 годах, на новом этапе полемики. В послании «К В. А. Жуковскому» (весна 1810) В. Л. Пушкин едва ли не первым трансформировал в лапидарную формулу «раскол» прежние кружковые шутки о ересьх и старообрядцах:

Итак, любезный друг, я смело в бой вступаю;
В словесности раскол, как должно, осуждаю¹⁴.

¹³ Воейков <А. Ф.> Мнение беспристрастного о Слособе сочинять книги и судить о них // Вестник Европы, 1808, № 18. С. 118.

¹⁴ «Арзамас»: Сборник в двух книгах. Под общей ред. В. Э. Вацура и А. Л. Осовата. Кн. 2. М.: Художественная литература, 1994. С. 203–204.

Жуковский в письме к А. И. Тургеневу от 12 сентября 1810 года объявил об отказе печатать послание В. Л. Пушкина в «Вестнике Европы», ссылаясь на нежелание своего соредатора Каченовского «заводить ссоры» (см. выше, в рассказе о «Библиесе»). Однако в характеристике Шишкова, данной в том же письме, Жуковский блестяще развил именно тему раскола, намеченную в послании Василия Львовича: «Шишкова почитаю суеверным, но умным раскольников в литературе; мнение его о языке то же, что религия раскольников, которые почитают священные книги более за то, что они старые, а старые ошибки предпочитают новым истинам, и тех, которые молятся не по старым книгам, называют богоотступниками. Таких раскольников надобно побеждать не оружием В<асилия> Львовича, слишком слабым и нечувствительным...»¹⁵

Ситуацию изменили учреждение «Беседы» и необычайно резкие выпады Шишкова против младших карамзинистов, допущенные им в «Рассуждении о красноречии священного писания». В тексте «Рассуждения...» Шишков обрушился на «установителей» новых литературных правил, коснувшись и задевшей его темы «вкусоборчества»: «Но кто сии установители? Несколько журналистов, неизвестных ни именами своими, ни трудами; несколько молодых людей, научившихся превратно видеть вещи. Между тем, ежели послушать их, то они превеликие просветители, всех прежних писателей ни во что ставят, себя одних выше небес превозносят, и тех, которые рассуждают иначе о языке и словесности, называют вкусоборцами, обращающими просвещение и науки в тьму и невежество. Так часто люди своими грехами упрекают других!»¹⁶

В полемическом же «Присовокуплении» к «Рассуждению о красноречии священного писания» прозвучало сакрамен-

¹⁵ Жуковский В. А. Письма к Александру Ивановичу Тургеневу. М., 1895. С. 62–63. Понятие «старообрядец» в эту пору входит в кружковой обиход. Так, А. И. Тургенев, вскоре после получения от Жуковского письма с суждениями о «раскольнике» Шишкове, пишет братьям Николаю и Сергею (15 октября 1810 г.) о приезде в Петербург князя Б. В. Голицына: «Я буду часто видаться с К. Гол<ицыным> потому что в нем много ума и знаний, хотя часто и ошибается на счет Русской словесности, принадлежа к числу старообрядцев» [Архив братьев Тургеневых. Вып. 2. Письма и дневник Александра Ивановича Тургенева Геттингенского периода (1802–1804). СПб., 1911. С. 429].

¹⁶ Шишков А. С. Рассуждение о красноречии Священного Писания. СПб., 1811. С. 69–70.

тальное обвинение Шишковым карамзинистов (в первую очередь Дашкова, но отчасти и Василия Львовича) в покушении на устои нравственности и веры. Основанием для такого обвинения стало обнаруженное Шишковым в писаниях карамзинистов противопоставление церковнославянского языка как «языка духовных книг» и русского как языка книг светских. «На что ж чуждаться нам первого из оных и стараться приводить его в забвение и презрение? — вопрошал Шишков. — Для того ли, чтоб ум и сердце каждого отвлечь от нравоучительных духовных книг, отвратить от слов, от языка, от разума оных и привязать к одним светским писаниям, где столько расставлено сетей к помрачению ума и уловлению невинности, что, совлеченная единожды с прямого пути, она непременно должна попасть в оныя. Какое намерение полагать можно в старании удалить нынешний наш язык от языка древнего, как не то, чтоб язык веры, став невразумительным, не мог никогда обуздывать языка страстей».¹⁷

На обвинения Шишкова поспешил ответить сам Дашков. Уже в апреле 1811 года (как установил С. И. Панов) он завершил полемическую брошюру-памфлет «О легчайшем способе возражать на критики», которая, однако, в силу цензурных затруднений вышла в свет лишь в сентябре¹⁸. Здесь он выразительно обрисовал пагубные последствия, проистекающие от укоренения в незрелых умах пропагандируемой Шишковым концепции единого «славенороссийского» языка. По мысли Дашкова, одни молодые авторы, оболеченные Шишковым, «представляют нам в стихах своих живое подражание тяжело-му и грубому слогу Тредиаковского», ибо «приучились полагать истинную поэзию, истинное достоинство слога в нескладном сборище славянских выражений, неупотребительных в русском языке и несвойственных оному; привыкли думать, что ничему не должны учиться, кроме славенороссийского языка <...> Напротив того другие юноши, воспитанные в правилах здравого вкуса, просветившие ум свой опытностью всех веков и всех народов, видят, при вступлении в поприще словесности, *раскол* сей столь усилившимся, что сами не смеют

¹⁷ Шишков А. С. Рассуждение о красноречии Священного Писания. С. 93–94.

¹⁸ Панов С. И. Литературные мелочи Остафьевского архива. 1. «Зане» // Пятые Тыняновские чтения. Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига: Зинатне, 1990. С. 93.

даже свободно мыслить и часто зарывают талант свой в землю, опасаясь вооружить против себя всех *вкусоборцев*. — Вот к чему ведет сие учение, защищаемое ныне с таким упорством и основанное единственно на том, что большая часть русских слов происходит от славенского...»¹⁹ (курсив мой. — О. П.) Дашков, так сказать, с подачи Шишкова оживил полемическую топику рецензии Воейкова трехлетней давности и демонстративно использовал словцо из только что опубликованного полемического послания В. Л. Пушкина, связав тему раскола и вкусоборчества непосредственно с личностью и деятельностью самого творца «Рассуждения о красноречии священного писания»²⁰.

В августе 1811 года начинает писать свой ответ Шишкову В. Л. Пушкин, только что прибывший в Петербург из Москвы и сразу же включившийся в деятельность Вольного общества. В его новом полемическом послании — «К Д. В. Дашкову» — тема раскола оказывается одной из центральных; самое понятие «раскол» (применительно к беседчикам) демонстративно выдвигается вперед и повторяется на протяжении всего текста:

Кто титится жизнь свою наукам посвящать,
Раскольников-славян дерзает уличать,
Кто пишет правильно и не варяжским слогом —
Не любит русских тот и виноват пред Богом!

.....

Так сын отечества науками гордится,
Во мраке утопать невежества стыдится,
Не проповедует расколов никаких...

.....

¹⁹ «Арзамас»: Сборник в двух книгах. Кн. 2. С. 49.

²⁰ В июне 1811 года, когда «О легчайшем способе...» ждет своего часа в цензуре, Дашков пишет программную статью для будущего «Санкт-Петербургского вестника» — «Нечто о журналах» — и 29 июля выступает с ней на собрании Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Здесь, набрасывая портрет идеального журналиста, Дашков между прочим пишет: «Он никого не оскорбляет язвительными словами или презрением и весьма осторожно употребляет опасное оружие насмешки; но ничто не удержит истинного литератора восставать против злоупотреблений и расколов, вводимых в язык наш» («Арзамас»: Сборник в двух книгах. Кн. 2. С. 70). Трудно не усмотреть здесь не только явного выпада против Шишкова, но и завуалированного упрека Жуковскому, до поры уклонявшемуся от участия в полемике (ср. приведенное выше письмо Жуковского Тургеневу).

За что ж мы на костер с тобой осуждены?..
За то, что мы с тобой Лагарпа понимаем,
В расколе не живем, но по-славенски знаем.²¹

В полемической атмосфере весны — лета 1811 года и появляется сказка Измайлова. Она представляет собою не что иное, как отклик на «Рассуждение о красноречии священного писания» — своеобразную программу только что родившейся «Беседы любителей русского слова». Претензии Шишкова на роль защитника христианской морали, запечатленной якобы в самом «славенском» языке, подверглись осмеянию, а обличение им «светских писаний» было осмыслено как нелепица, достойная фанатика-старовера.

К топике полемики 1811 года отсылает и данная Шишкову-Аввакуму характеристика «умоборец». Она, несомненно, выступает как прозрачный субститут склонявшегося на все лады «вкусоборца». Такое замещение было тем более естественным, что «ум» и «вкус» были в карамзинистской эстетике двумя неразрывно связанными понятиями, как бы двумя ипостасями субстанции истинной литературы. В «Опасном соседе» В. Л. Пушкина эстетика славенофилов манифестируется фразой (произнесенной от лица «Славенофилова кума» — Ширинского-Шихматова): «Ну, к черту вкус и ум! пишите в добрый час!» Вариация формулы (уже применительно к Шишкову) появляется в позднейшем (1813 год) «Певце в Беседе Славенороссов», написанном Батюшковым при участии Измайлова: «Ты здесь рассудок победил // Рукой неутомимой». Прозвище, которым награждается Аввакум, несомненно, ближайшим образом связано и с раздраженным упоминанием «вкусоборцев» в «Рассуждении...» Шишкова, и с демонстративным повторением этого словечка в полемической брошюре Дашкова.

С содержанием дашковской брошюры Измайлов, видимо, ознакомился еще в рукописи: она получила цензурное разрешение только 12 сентября (через три дня после того, как «Раскольник Аввакум» был прочитан в Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств), но, судя по всему, циркулировала в Вольном обществе до публикации и была хорошо знакома карамзинистам²². Сказка Измайлова, обнарудо-

²¹ «Арзамас»: Сборник в двух книгах. Кн. 2. С. 204–206.

²² Так, знаменитые стихи В. Л. Пушкина — «Свободно я могу и мыслить, и дышать, // И даже *абие* и *аще* не писать» — представляют собой явную

ванная буквально накануне выхода брошюры «О легчайшем способе», должна была выполнить функцию предварительного выстрела по Шишкову и по «Беседе». Дашков и Измайлов стреляли из орудий разного калибра, но их выстрелы были произведены с одной позиции и по одной цели²³.

Вместе с тем, текст сказки свидетельствует о том, что Измайлов был знаком и с письмом Жуковского, мотивировавшим отказ печатать послание В. Л. Пушкина в «Вестнике Европы» (А. И. Тургенев наверняка познакомил с ним многих из своих друзей и приятелей): суждение измайловского раскольника о том, что для спасения «довлеет читати» только старинные книги, звучит как прямая перифраза высказывания Жуковского насчет «раскольников, которые почитают священные книги более за то, что они старые, <...> и тех, которые молятся не по старым книгам, называют богоотступниками». Измайлов, как мы помним, сначала напечатал отвергнутое Жуковским послание В. Л. Пушкина в своем «Цветнике». Теперь он использовал мотивы письма Жуковского для корректной полемики... с Жуковским: в пику Жуковскому Измайлов утверждает, что Шишков — безусловный раскольник, но совсем не умный, и потому всякое орудие, в том числе орудие стихотворной сатиры, пригодно для его поражения. Такое мнение отражало тактику всего петербургского кружка карамзинистов, сплотившегося вокруг Вольного общества... Впрочем, и сам Жуковский к тому времени изменил свою позицию: он поместил недавно отвергнутое им (и принятое Измайловым!) послание В. Л. Пушкина в очередном томе издаваемого им «Собрания русских стихотворений».

Сказка Измайлова знаменовала, таким образом, окончательное оформление полемической маски беседчиков как «раскольников» и «умоборцев» (resp. «вкусоборцев»). Уже к 1812 году тема раскола переходит из кружка литераторов-единомышлен-

перифразу энергических формул из «Легчайшего способа» Дашкова («видят, при вступлении в поприще словесности, раскол сей столь усилившимся, что сами не смеют даже свободно мыслить»).

²³ Несколько раньше (около 1 августа) Измайлов выпускает другой отклик на «Рассуждение о красноречии Священного писания» и, в частности, на содержащиеся там выпады против Дашкова — сказку «Шут в парике». См. подробный комментарий В. П. Степанова к этому сочинению в изд.: Стихотворная сказка (новелла) XVIII — начала XIX века. Л.: Советский писатель, 1969. С. 667–668.

ников в широкие литературные круги и делается общим достоянием, а через некоторое время — и общим местом²⁴.

Сама сказка Измайлова, однако, имела особую судьбу. Измайлов, несомненно, намеревался как можно скорее предать ее печати и с этой целью даже смягчил наиболее резкие места (об этом свидетельствуют отличия окончательного текста от сохранившихся первоначальных вариантов). Однако его намерения натолкнулись на цензурные препятствия: рукопись попала в Петербургский цензурный комитет. За содействием автор обратился к попечителю Петербургского учебного округа (в ведении коего находился и столичный цензурный комитет) С. С. Уварову — как мы помним, с 1811 года почетному члену Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Уваров официальным порядком направил в цензурный комитет соответствующий запрос. Ответ, последовавший 21 апреля 1814 года, изумителен во многих отношениях. Комитет, в частности, доносил, что в сказке Измайлова он «не находил со своей стороны ничего противного правилам устава о цензуре, но как имеет словесное приказание его сиятельства министра народного просвещения, объявленное чрез г. директора департамента, в прошлом генваре месяце: чтоб в осуждение и осмеяние старообрядцев не дозволять ничего печатать, поелику со стороны правительства приняты уже потребные к наставлению их меры <...> — то комитет в исполнение таковой воли г. министра принужденным нашелся означенную баснь „Раскольник Аввакум“ запретить печатать»²⁵.

Что это? Пресловутая тупость петербургской цензуры, не уловившей реальной полемической направленности сказки Измайлова? Вряд ли. Все говорит за то, что перед нами не лишенный язвительного остроумия ловкий ход со стороны кругов, не заинтересованных в публикации этого сочинения. В самом деле: даже определив полемический подтекст сказки, трудно было найти формальные поводы для ее запрещения как сочинения, содержащего в себе непозволительные «личности». Для этого цензурный комитет должен был указать, какие именно стихи измайловской сказки представляются

²⁴ О некоторых особенностях функционирования этой клички после 1811 г. см.: *Проскурин О.* Новый Арзамас — Новый Иерусалим: Литературная игра в культурно-историческом контексте // Новое литературное обозрение, 1996, № 19. С. 128 (прим. 75).

²⁵ Русская старина, 1900, декабрь. С. 644.

в этом отношении сомнительными. Какие черты, позволявшие связать «Раскольника Аввакума» с адмиралом Шишковым, можно было назвать в этом случае? Невежество? Склонность к «вранью»? Враждебность «здравому уму»?.. Ссылка же на постановление, касающееся старообрядцев, переводила вопрос в совершенно другую плоскость. Ход тем более остроумный, что он был прикрыт маской мнимого простодушия и прилежного законопослушания: отказ печатать сказку мотивировался ссылкой на «словесное приказание его сиятельства министра народного просвещения», то есть на приказание сиятельного тестя Уварова графа А. К. Разумовского!.. И Уваров, и Измайлов оказались в необыкновенно глупом положении. В самом деле: не доказывать же было Александру Ефимовичу (или бесспорно посвященному в дело Сергию Семеновичу), что в действительности «Раскольник Аввакум» никакого отношения к старообрядцам не имеет и метит единственно в президента Российской Академии, сенатора и статс-секретаря А. С. Шишкова?.. Публикация сказки оказалась заблокирована надолго: она не вошла ни в одно из изданий «Басен и сказок» Измайлова и пролежала в рукописи до XX века, хотя Измайлов считал возможным распространять ее в узком приятельском кругу еще и в 1820-е годы²⁶.

КАЛМЫЦКИЙ ЖУРНАЛИСТ

Сказка «Калмык Оратор»²⁷ написана, видимо, несколько позже, чем «Раскольник Аввакум»: Измайлов впервые прочел ее на заседании Вольного общества любителей словесности, наук и художеств 21 октября 1811 года²⁸. Видимо, октябрем ее и следует датировать.

Калмык Оратор

Калмык, который был уже довольно стар,
Довольно и сердит, пришед на бульвар,

²⁶ В бумагах литературного кружка С. Д. Пономаревой («Сословия Друзей Просвещения») «Раскольник Аввакум» находится среди рукописей, снабженных авторской пометой: «Не будут напечатаны» (РО ИРЛИ, № 9623. Л. 102).

²⁷ РНБ, ф. 310, ед. хр. 1, л. 127–129.

²⁸ Архив Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Д. № 204. Л. 104.

С угрюмой важностью на лавочку садится,
Глядит туда сюда, плечами жмет, дивится
Всему, что видит он, и будто встав со сна,
С досадой говорит: «Какие времена!
«Здесь мода царствует и выдает законы:
«Широкия теперь все носят панталоны,
«Просторны сюртуки и что ж еще? *очки!*
«Дают безграмотным писателям щелчки!*
«Девицы у себя заводят уж альбомы!
«На улицах везде великолепны дома!
«О возвращение! о суета сует!
«Все очень дорого! монеты звонкой нет!
«Дворяне Русские большие моты стали!
«Святые в старину Отцы не так живали!»
Тут стал он говорить о житии Святых,
О гончих псах и о борзых,
Жалел о девушках пустившихся в пороки
И в воровстве давал примерные уроки;
Заврался словом так, что слушать было — *страх*.
А люди вокруг его толпились
Во фраках, в сертуках, в кафтанах, в бородах;
Одни смеялись, другие же крестились.
Чем кончилось? — Оратор наш устал
И с лавки встал,
Сняв шляпу, говорит он предстоящим с жаром:
«Что ж это, Господа, иль я трудился даром?
«Давайте-ка по пятаку».
Но в шляпу пятаков не мечут Калмыку.
Напрасно делает он многим укоризны:
По случаю *дороговизны*
За враки денег не дают. —
Спасибо и за то, что пошлин не берут.**

(1811)

Высказывалось мнение, что и эта сказка направлена против А. С. Шишкова²⁹. Такое мнение — плод недоразумения: ни одно из выступлений Шишкова за 1811 год (да и за предшест-

* Безграмотным дают писателям щелчки.

** Спасибо со вранья здесь пошлин не берут.

²⁹ Гиллельсон М. И. Ценный вклад в историю русской поэзии // XVIII век. Вып. 5. С. 447; Гиллельсон М. И. Материалы по истории арзамасского братства // Пушкин: Исследования и материалы. Т. IV. М.; Л.: АН СССР, 1962. С. 288.

вовавшие годы) не дает оснований для того, чтобы видеть в нем прототип измайловского «Калмыка». Подлинным героем сказки Измайлова, выведенным под личиной «калмыка», был не Шишков, а другой яркий литератор эпохи — С. Н. Глинка.

Отношения Глинки с Измайловым и вообще с кругом обновленного Вольного общества имеют свою, достаточно длительную, историю. С 1808 года С. Н. Глинка начал издавать «Русский вестник» — журнал, сразу же занявший воинствующе «патриотическую» и, как следствие, галлофобскую позицию. И хотя культурно-идеологическая программа Глинки была достаточно сложна и далеко не сводилась к дублированию взглядов Шишкова³⁰, логика литературного движения с неизбежностью сближала Глинку с лагерем петербургских «архаистов». Одним из следствий этого стали резкие выступления «Русского вестника» против журналов «европейской», то есть карамзинистской, ориентации. Когда в конце 1808 года Измайлов и его соредактор А. П. Бенитцкий выпустили объявление об издании «Цветника», Глинка уже само название нового журнала трактовал как следствие «страсти к подражанию»³¹. Это несколько загадочное обвинение совсем не так нелепо, как может показаться на первый взгляд. Глинка не без пронизательности почувствовал *программный* характер названия «Цветника». По всей вероятности, он увидел его связь с «Письмом к издателю» Карамзина (тоже программным!), помещенным в основанном им «Вестнике Европы». Карамзин там писал: «Сколько раз, читая любопытные европейские журналы, в которых теперь, так сказать, все лучшие авторские умы *на сцене*, желал я внутренно, чтобы какой-нибудь русский писатель вздумал и мог *выбирать* приятнейшее из сих иностранных цветников и пересаживать на землю

³⁰ О системе воззрений Глинки существует уже довольно обширная литература. См.: *Киселева Л. Н.* Система взглядов С. Н. Глинки (1807–1812 гг.) // Ученые записки Тартуского университета, 1978. Вып. 513. С. 52–72; *Киселева Л. Н.* К языковой позиции «старших архаистов» (С. Н. Глинка, Е. И. Станевич) // Ученые записки Тартуского университета, 1983. Вып. 620. С. 18–30; *Martin, Alexander M.* Romantics, Reformers, Reactionaries: Russian Conservative Thought and Politics in the Reign of Alexander I. Dekalb: Northern Illinois University Press, 1997. P. 73–84; *Martin, Alexander M.* The Family Model of Society and Russian National Identity in Sergei Glinka's *Russian Messenger* (1808–1812) // *Slavic Review*, 1998, vol. 57, № 1. P. 28–49.

³¹ *Русский вестник*, 1809, № 1. С. 193–194, 205.

отечественную!»³² На взгляд Глинки, «страсть к подражанию» обуревала издателей «Цветника» вдвойне: назвав свой журнал «Цветником», они, во-первых, следовали Карамзину и, во-вторых, причислили свое издание к «западнической», то есть подражательной, литературной линии.

Издатели «Цветника» не остались в долгу. Кое-что о своих отношениях с измайловским «Цветником» рассказал сам Глинка много лет спустя: «Внешний натиск на *Русский Вестник* был и скоро прошел. Началась внутренняя на него пальба. Чудное дело! Первый был выстрел из *Цветника*, издаваемого баснописцем Измайловым. <...> В этом же журнале сказано было, что я сперва обогрелся на солнце, возженном Петром I на нашем отечественном небосклоне, а потом нырнул в болото, откуда выказывается один только уголок *зеленой обертки Русского Вестника*»³³.

Глинка пересказал события довольно точно, но истолковал их по обыкновению тенденциозно. В 6-м номере «Цветника» за 1810 год за подписью «Василий Ефимов» (несомненно, псевдоним) действительно появилась статья «Мнения и замечания пустынного», в которой, среди прочего, был рассказан такой сон: посреди просторного поля простиралось необозримое черное болото, в коем было погружено множество людей. Наконец один из них с усилием выбрался из трясины и начал вытаскивать из нее прочих. Солнечные лучи высушивали покрывающую их грязь. И вдруг один из спасенных — некто в зеленом кафтане (намек на зеленую обложку «Русского вестника»!) — бросился обратно в болото, восхваляя его как место приятное и спокойное, и стал призывать всех ему последовать. «Болото» — это, бесспорно, аллегория косности и невежества. «Спаситель» — видимо, Карамзин... В ответной заметке — «Образец модного остроумия...» — Глинка, однако, интерпретировал аллегорический образ черного болота с присущим ему патриотическим «однородством» — как клевету на русскую старину: «Нужно ли объяснять, что значит это *черное болото*? О бедной Руской старине и не то еще говорили»³⁴. Презрение к отечественному, усмотренное Глинкой в выступлении «Цветника», недвусмысленно истолковывалось им как

³² Карамзин Н. М. Сочинения в двух томах. Т. 2. Л.: Художественная литература, 1984. С. 116.

³³ Глинка С. Н. Записки. СПб.: Русская Старина, 1895. С. 246.

³⁴ Русский вестник, 1810, № 8. С. 153.

результат космополитического и едва ли не вольнодумного направления журнала (нападки на «русскую старину», как многозначительно заметил Глинка, появились в журнале, «украшенном портретами Гарикиев, Волтеров и проч.»³⁵).

Уязвленный помещением себя в черное болото, Глинка не заметил (или не захотел замечать?) полемического сочинения, напечатанного в том же самом, 6-м, номере «Цветника», сразу за «Мнениями и замечаниями пустынноика». Это была эпиграмма Батюшкова «Рыцарь нашего века» (впоследствии печаталась под названием «Истинный патриот»), направленная против Глинки и его журнала³⁶. Еще в письме Гнедичу от 1 ноября 1809 года Батюшков иронизировал: «Глинка называет „Вестник“ свой русским, как будто пишет в Китае для миссионеров или пекинского архимандрита. Другие, а их тысячи, жужжат, нашептывают: русское, русское, русское... а я потерял вовсе терпение!»³⁷ В том же году он вывел патриота Глинку, не устающего повторять «русское, русское, русское», в своем «Видении на берегах Леты». Правда, по прибытии в Москву (в канун нового, 1810-го, года) Батюшков был пленен добродушным хлебосольством Глинки и его симпатичной личностью настолько, что даже пожалел было о своей поэтической шалости. Однако несколькими месяцами позже, в письме тому же Гнедичу (с пометой «Мая, а которого не знаю») он лаконически сообщал: «Глинка со всеми поссорился»³⁸. Что означало это сообщение, не вполне ясно. Но весьма показательно, что этот отзыв совпал со временем пересылки эпиграммы Батюшкова в «Цветник»...

В 1811 году, в пору обострения полемики о старом и новом слоге, Глинка выступил с публикациями, дающими основания причислить его к лагерю шишковистов. В 5-м и 7-м номерах «Русского вестника» он напечатал обширные фрагменты из «Разговоров о словесности» Шишкова, снабдив их сочувственными комментариями. В 7-м номере он поместил и свою большую статью «Замечания о языке славянском и о русском

³⁵ Русский вестник, 1810, № 8. С. 155.

³⁶ См.: *Проскурин О.* «Победитель всех Гекторов халдейских»: К. Н. Батюшков в литературной борьбе начала XIX века // Вопросы литературы, 1987, № 6. С. 79–80.

³⁷ *Батюшков К. Н.* Сочинения в двух томах. Т. 2. М.: Художественная литература, 1989. С. 111.

³⁸ *Батюшков К. Н.* Сочинения в двух томах. Т. 2. С. 136.

или светском наречии», во многом перекликавшуюся с языковой концепцией лидера «Беседы».

В контексте полемики приобрел особый смысл и еще один из лейтмотивов выступлений Глинки — его неустанная борьба с греческим баснословием. Двадцать девятого июля 1811 года Дашков прочел на заседании Вольного общества статью «Не-что о журналах», предназначенную для нового современного издания, должного выпускаться от лица Общества³⁹ (статья Дашкова откроет первый номер «Санкт-Петербургского вестника»). Статья Дашкова была наполнена скрытыми выпадами против разных деятелей из лагеря «архаистов». Один из таких выпадов оказался направлен против Глинки. «Во Франции были люди, — пишет Дашков, — которые по слепому предубеждению хотели изгнать баснословие из эпической поэзии. „Сии враги изящных искусств, — говорит Вольтер, — желали истребить древнее баснословие как собрание сказок, недостойных важности нынешних нравов, и даже почитали Фенелона идолопоклонником за то, что он низводил Купидона к нимфе Евхарисе, по примеру беззаконной поэмы ‘Енеиды’“. Всеобщее посмеяние тогда было достойным ответом на сии нелепые мнения; но с некоторого времени они стали и у нас появляться ко вреду словесности».⁴⁰

Выпад Дашкова был весьма злободневен. В 1811 году война Глинки с греческими богами стала предметом журнальной полемики⁴¹. Насмешки литературных врагов вызвали с его стороны гордое патриотическое заявление: «Хотя мне и были печатные укоризны за неприятие *Греческого баснословия* в Русский Вестник, но я не отступлю от моей цели и буду по возможности предлагать подлинное отечественное. Греки славили свое; будем и мы свое поддерживать»⁴². Между тем как раз в 1811 году карамзинисты (в частности, претендующий на роль вождя их петербургского крыла Дашков) стремятся

³⁹ Архив Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Д. № 204. Л. 90.

⁴⁰ «Арзамас»: Сборник в двух книгах. Кн. 2. С. 72.

⁴¹ Об отношении «архаистов» (в частности, Глинки) к античной мифологии см. работу: Живов В. М., Успенский Б. А. Метаморфозы античного язычества в истории русской культуры XVII–XVIII века // Из истории русской культуры. Т. IV (XVIII — начало XIX века). М.: Языки русской культуры, 1996. С. 518–521.

⁴² Русский вестник, 1811, № 5. С. 134–135.

осмыслить свою место в современном литературном движении в свете европейских параллелей. Наиболее близкой аналогией нынешней ситуации казался им знаменитый спор «древних и новых» во Франции XVII века. Карамзинисты склонны были отождествлять свою позицию с позицией «древних», то есть связывать ее с защитой фундаментальных ценностей европейской культуры, с наследием классической учености и традициями классической литературы. «Архаисты» же, с их культом национальной старины, трактуются как русские эпигоны «новых» — ниспровергателей классического наследия и адептов варварства. Эта параллель просматривается в статье Дашкова вполне отчетливо⁴³. При таком толковании современной литературной ситуации Глинка закономерно предстал как передовой боец варварских полчищ.

Измайлов, бывший соавтором журнального проекта Дашкова, конечно, хорошо знал его статью еще до публикации. Его «Калмык Оратор» во многих отношениях соотносится с позицией Дашкова.

Преобразование патриота Глинки в калмыка было наделено особым полемическим смыслом. С точки зрения литераторов карамзинистской группировки, консервативное русофильство издателя «Русского вестника» на практике оборачивалось апологией дикости, косности и вообще азиатчины. Уподобление издателя «Русского вестника» представителю дикого народа, чуждого истинной вере, должно было подчеркивать нелепость и беспочвенность претензий Глинки на роль защитника «коренных русских добродетелей». В этом контексте понятным делается и указание на старость калмыка (в действительности Глинка был всего четырнадцатью годами старше Измайлова; в момент создания сказки ему шел тридцать шестой год): это не биографический намек (как то было в случае с Шишковым), а ироническое обыгрывание принципиального ретроспективизма позиции издателя «Русского вестника», исповедуемого им культа русской старины.

Каждый из мотивов речи Калмыка так или иначе отсылает или к выступлениям самого Глинки, или к материалам его

⁴³ Об этом см. мой комментарий к статье Дашкова «Нечто о журналах» в изд.: «Арзамас»: Сборник в двух книгах. Кн. 2. С. 460–462; вообще о восприятии «арзамасцами» русской литературной ситуации сквозь призму полемики «древних и новых» см.: *Томашевский Б.* Пушкин и Буало // Пушкин в мировой литературе: Сборник статей. Л.: Гос. изд-во, 1926. С. 26–31; *Песков А. М.* Буало в русской литературе XVIII — первой трети XIX века. М.: Изд. Московского университета, 1989. С. 59–67.

журнала. В стихотворении был создан своего рода пародийный образ «Русского вестника». Самая бессвязность речи Калмыка (он валит в одну кучу вещи из разных рядов) выполняет комически деконструирующую функцию — так Измайлов пытается продемонстрировать сумбурность и, как следствие, несостоятельность программы Глинки по оздоровлению всех сфер русского общества — программы, вдохновлявшей всю деятельность издателя «Русского вестника».

Ситуация, положенная в основу сюжета измайловского стихотворения, «подсказана» самим Глинкой. Еще в 1808 году в статье «Кузнецкий мост, или Владычество моды и роскоши» Глинка рисовал фантастическую картину: в современной Москве чудесным образом появляется боярин времен царя Алексея Михайловича (любимая эпоха Глинки). «Я воображаю, — пишет издатель „Русского Вестника“, — что почтенный наш предок, долго постояв в безмолвном удивлении, произносит следующую речь: „что за чудо! Не прошло и полутора столетий, а все так переменялось, как будто бы тысячу лет миновало! Одежда, дома, наречие, все у вас не то. Мы в старину стыдились слова *роскошь*; а вы гоняясь за нею, забыли и умеренность и нравы отцов своих“». ⁴⁴ Эта программная во многих отношениях статья дала сюжетный каркас измайловской «сказке». При этом образ боярина (в чьих высказываниях, разумеется, отразились излюбленные идеи самого Глинки) оказался пародически снижен. Превращая «боярина» в «калмыка», Измайлов как бы говорил читателям: вот чем издатель «Русского вестника» хотел бы казаться — и вот что он являет собою на самом деле...

Впрочем, отчасти превращение боярина именно в *калмыка*, видимо, тоже было «подсказано» Глинкой. В этой связи заслуживает внимания выпад калмыка против *очков*. Очки — атрибут модника начала XIX века; как таковой, они могли вызывать ряд нападков со стороны ревнителей патриархальных отечественных нравов ⁴⁵. В «Русском вестнике», однако, никаких прямых выпадов против очков нет. И все же тема эта появилась в сказке Измайлова не случайно. В 8-м номере «Русского вестника» за 1808 год, предшествовавшем номеру

⁴⁴ Русский вестник, 1808, № 9. С. 333.

⁴⁵ См.: Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий // Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки. 1960–1990; «Евгений Онегин». Комментарий. СПб.: Искусство-СПб, 1995. С. 569–570.

с «боярином», появилось «Письмо к Издателю» (за подписью Петра Калайдовича), где содержались обычные нападки на некомпетентность иностранцев, пишущих о России: «В одном месте *Леклерк* говорит о Калмыках, и между прочим рассказывает, что они имеют слабое зрение, по причине сильного отсвечивания солнечных лучей на снеге, позабыв, что там, где калмыки проводят зиму, вовсе не бывает снегу. *Саис* видно знал это, и поправил погрешность *Леклерка* своею. Он говорит, что Русские имеют слабое зрение!»⁴⁶ Тема зоркости предков воскресла в 1811 году, в номере, вышедшем в свет буквально накануне измайловской сказки. В статье «О Русских пословицах (Выписка из Разговоров о словесности, с некоторыми прибавлениями)» — комментированная перепечатка фрагментов из новой книги А. С. Шишкова! — Глинка развернул целый пассаж по поводу пословицы «Борода глазам не замена». «Зоркость предков» (в которой смели сомневаться невежественные иностранцы!) получала теперь национально-патриотическое объяснение: «Очи их были на неусыпной страже пользы и блага отечественного»⁴⁷. В своей сказке Измайлов комически соединил мотивы давнего и нового выступлений «Русского вестника» — и превратил Глинку в *зоркого калмыка*, неусыпно пребывающего на страже «блага отечественного»...

Для адекватного понимания «Калмыка Оратора» важно учитывать тот особый смысл, который вкладывался Глинкой в его бесчисленные выступления против «мод и роскоши». В восприятии Глинки мода шла бок о бок с ложным просвещением и осмыслялась как одна из причин упадка патриотизма и общего «повреждения нравов» (об этом было прямо заявлено уже в программном «Вступлении» к 1-му номеру «Русского вестника» за 1808 год). В «Калмыке Оратора» полемически воссоздан целый ряд суждений Глинки о тех последствиях, к которым приводит «развратительная мода». Мода ведет к общему экономическому оскудению русского дворянства — чудесно воскресший «боярин» вступает у него в полемику с новейшими экономическими идеями: «Вы думаете, что прихоти Вельмож и богачей питают бедных; не верю, они разоряют первых, а других приучают к праздности и распутству»⁴⁸.

⁴⁶ Русский вестник, 1808, № 8. С. 258–259.

⁴⁷ Русский вестник, 1811, № 7. С. 17.

⁴⁸ Русский вестник, 1808, № 9. С. 334.

Мода подчинила своему пагубному влиянию и архитектуру («На улицах везде великолепны дома»). В 6-м номере «Русского вестника» за 1811 год (с выпадом Глинки против греческого баснословия, инспирировавшим ядовитый отклик Дашкова), было напечатано сочинение «Постоянство моды» (с подзаголовком «Письмо пожилого сельского жителя»). Там в уста московских «оценщиков домов» (удивительным образом совпавших в своих идейно-эстетических пристрастиях с издателем «Русского вестника»!) оказались вложены такие суждения: «Сколько есть теперь домов, где все клетки да перегородки, *каридоры* да переходы, *антресоли* да *бельведеры*: зайдешь, так и пути не отыщешь! В старину тот дом считался хорошим, где был покой да приют, погреба да кладовые. Мода все по своему перевернула. Столбов много, погребов нет»⁴⁹.

Мода ведет и к упадку нравственности. В прямой связи с заботами о нравственности находятся нападки Глинки на *модные альбомы*. Так, в сочинении «Благодеяние» рассказ о «правильно» воспитывающейся девице Софии содержит характерный штрих: «Примолвлю еще: у нее нет модных альбомов, но есть памятная книжка, в которой родители собственной рукою записали все те правила, по которым руководствовали разум ея и сердце»⁵⁰. Но, увы, эти достойные похвал педагогические начинания сводятся на нет пагубным влиянием моды и роскоши — о чем сообщается в другом сочинении: «Некоторые нравоучители говорят, что зрелище, представляемое модою и роскошью, истребляет в дочерях все те поучения о благонаравии и умеренности, которые слышат оне дома от матерей и наставниц своих»⁵¹. Словом, «жалел о девушках, пустившихся в пороки»...

Соседство в речи Калмыка упоминаний «о житии Святых» и «о гончих псах и о борзых» тоже не случайно — и тоже метит в Глинку. В программе Глинки по преобразованию всех сфер русской жизни рекомендации обращаться к житиям святых для воспитания юношества («русская повесть» «Здравомысл и Пленира»⁵²) соседствовали со стремлением отвратить читателей от разорительных удовольствий и привлечь их к более

⁴⁹ Русский вестник, 1811, № 6. С. 37.

⁵⁰ Русский вестник, 1811, № 2. С. 99–100.

⁵¹ Русский вестник, 1808, № 9. С. 358.

⁵² Русский вестник, 1809, № 2. С. 269–271.

национальным и, следовательно, более дешевым забавам: «Всякий согласится, что охота, не отягощающая домашнего хозяйства, несравненно преимущественнее всех *модных* забав, которые изнуряют душу и здоровье» («Некоторые происшествия из жизни благодетельного человека»)⁵³.

Совершенно особое значение имеют выпады Калмыка против широких панталон. Инвективы Глинки против Кузнецкого моста и модных лавок бесчисленны, но нападок именно на широкие панталоны в «Русском вестнике» как будто нет. «Широкие панталоны» в сказке Измайлова выполняют, видимо, символическую роль: они призваны служить знаком либерализма современной моды как таковой. В этом смысле многое поясняет выразительное письмо Вяземского к А. И. Тургеневу от 6 декабря 1818 г. (из Варшавы): «В употреблении ли у вас широкие панталоны с башмаками? Это, по мне, один из важнейших шагов нашего века. Il faut de la libéralité jusque dans la mise. Vive le XIX-me siècle, malgré tout ce qu'on en dit! Et c'est cependant aux sans-culottes que nous devons nos larges pantalones!»⁵⁴ («Свобода необходима даже в костюме. Да здравствует XIX век, что бы о нем ни говорили! А ведь нашими широкими панталонами мы обязаны санкюлотам!»). Вяземский пишет о панталонах особого фасона, вошедших в моду во второй половине 1810-х годов, но, несомненно, сходные ассоциации могли вызывать и панталоны, носившиеся в начале десятилетия...

Замечательно, что сама аудитория, внемлющая «калмыку» (то есть читатели «Русского вестника!»), делится по принципу приверженности либо новой одежде и современным нравам, либо прадедовским одежаниям и прадедовскому обличению («Во фраках, в сертуках, в кафтанах, в бородах»). Фраки и сюртуки — это атрибуты губительной европейской моды. Кафтаны и бороды — приметы воспеваемой Глинкой «старины». В то же время формула «в кафтанах, в бородах» имеет — как и большинство формул измайловской «сказки» — полемически цитатный характер. В статье «Русского вестника» «Замечания на некоторые мысли рассматривателя книги: О первобытной России и ее жителей...» среди прочего содержались и нападки на некомпетентные суждения иностранцев о России: «Не

⁵³ Русский вестник, 1811, № 6. С. 10–11.

⁵⁴ Остафьевский архив князей Вяземских. Т. I. СПб., 1899. С. 166.

обдумав ничего, они кричат: Русские варвары! Русские невежды! они в кафтанах; они в бородах!»⁵⁵. Измайлов, точно воспроизведя соответствующую формулу, как бы отвечает: нет, отнюдь не все русские — варвары и невежды, но и такие среди них, увы, есть. Именно они — «в кафтанах, в бородах» — составляют аудиторию сочувственников «Русского вестника»...

В стихотворении содержится ряд едких намеков и на литературные неудачи издателя «Русского вестника». Они скрыты, в частности, в словах о «воровстве», в котором калмык давал «примерные уроки» публике. Каким воровством можно было попрекнуть честнейшего, бескорыстнейшего и вечно нуждавшегося Глинку? Только одним: литературным. Измайлов намекал здесь на неоригинальность литературных опытов Глинки — факт, непрестанно вышучивавшийся и другими современниками (см., например, в анонимной сатире 1813 года «Галлоруссия»: «Вот семент, кирпичи, а к смазыванью — *глинка*: // В ней обокрадена немецкая старинка»⁵⁶).

Заставляя Калмыка с негодованием говорить о «щелчках», даваемых «безграмотным писателям», Измайлов намекает на щелчки, которые получал Глинка в печати и в ходивших по рукам эпиграммах. Видимо, в первую очередь подразумевалась французская рукописная эпиграмма (уж не Блудова ли?), которую сам Глинка в своих позднейших записках ставил в один ряд с выпадами «Цветника»: «За этим возгласом из Петербурга налетел на *Русский Вестник* и французский отклик... Вышла на меня эпиграмма, в которой сочинитель говорит, что и трагедия моя — *Сумбека, или падение Казани*, предвестила свой жребий; что мрачные *Юнговы ночи* еще более потемнели под моим пером; что драма — *Наталия* усыпила зрителей пустословием. Конец эпиграммы был следующий:

A présent sur un ton rempli de suffisance,
A ses concitoyens il prêche l'ignorance.

Право, я не заманивал земляков своих в область безграмотности, а просто учился тогда узнавать землю Русскую»⁵⁷.

Как видим, обиды, нанесенной эпиграммой, Глинка не мог забыть и на старости лет. Тем более остро она переживалась

⁵⁵ Русский вестник, 1810, № 3. С. 102.

⁵⁶ Поэты 1790–1810-х годов. Л.: Советский писатель, 1971. С. 786.

⁵⁷ Глинка С. Н. Записки. С. 246–247.

по свежим следам событий. В своем примечании к «Письму к Издателю от модного уездного жителя, по случаю уведомления о поновлении фраков и о подрезке волос в последнем вкусе» он заставил вымышленного им «модного уездного жителя» (обитателя «Деревни Монъамур») с удовольствием пересказывать эту эпиграмму: «Французская эпиграмма, вышедшая на вас в прошлом году, очень позабавила наш Бомонд. Что вы за выскочка! сперва усыпляли зрителей драммами и трагедиями своими; потом нагнали смертную тоску переводом Юнговых Ночей:

Apresent sur un ton remplis de sufisance
A vos concitoyens vois prechez l'ignorance»⁵⁸.

В издательском примечании к приведенному двестишию (обитатель «деревни Монъамур» цитирует его с чудовищными ошибками, тем самым демонстрируя — по замыслу Глинки — свою несостоятельность в качестве защитника европейского просвещения) Глинка так прокомментировал последний из приведенных стихов: «То есть: „теперь проповедуете соотечественникам своим невежество“. Сии стихи находятся во Французской эпиграмме на Издателя Руского Вестника. Легко написать шесть или восемь остроумных Французских стишков; но полезнее было бы уличить Издателя Р. Вестника, где он *высокомерно* проповедует невежество?»⁵⁹ Увлеченный патриотическим порывом, Глинка выразился крайне неловко: получилось, что он протестует только против навязывания ему *высокомерного тона*; самого же факта «проповедования невежества» он как будто и не отрицает... Опровергая нападки, он поневоле верифицировал их. Таким образом, заставляя своего Калмыка сокрушаться об участии «безграмотных писателей», Измайлов опять же опирался на самого Глинку (заметим, что «безграмотность» — один из возможных переводов эпиграмматического *l'ignorance*; именно так переведет это слово сам Глинка в своих воспоминаниях).

Заключительные стихи сказки злорадно обыгрывают относительно скромный читательский успех «Русского вестника». Патриотическое направление не пользовалось особым кредитом в предвоенные годы. Недостаточную популярность своего

⁵⁸ Русский вестник, 1810, № 5. С. 150.

⁵⁹ Русский вестник, 1810, № 5. С. 150.

журнала по сравнению с виднейшими изданиями карамзинистской («европейской») ориентации признавал и сам Глинка, еще в 1808 году с горечью констатировавший: «Русского Вестника едва ли разошлось семь сот книжек, Вестника Европы расходилось и расходится втрое и четверо более: следственно Русские более любят чужие земли, нежели свою; ибо в Вестнике Европы говорят более о чужих краях»⁶⁰. Положение дел не изменилось и к 1811 году. Из опубликованного самим Глинкой списка подписчиков на 1811 год следовало, что «Русский вестник» по-прежнему имел лишь семьсот (с небольшим) подписчиков: 171 — в Москве, 531 — в других губерниях и 12 — в необозначенных местах⁶¹. В заметке «От издателя», помещенной в 12-м номере «Русского вестника», Глинка сообщал о своих издержках по изданию, увеличившихся в связи с возросшей дороговизной, и просил подписчиков высылать деньги заблаговременно, чтобы не прервать выпуск журнала... Двенадцатый номер вышел уже после чтения Измайловым «Калмыка Оратора» в Вольном обществе, однако финансовые трудности «Русского вестника» (и его издателя) и без того ни для кого не были секретом...

Пытался ли Измайлов опубликовать свою сказку? Скорее всего пытался (об этом говорит смягчение последнего стиха в рукописи — по сравнению с первым вариантом). Что помешало этому? Нам пока неизвестно. Однако автор не забывал ее и много лет спустя после написания: в статье о петербургском наводнении 1824 года Измайлов, рассказав о порожденной этим событием волне необоснованных слухов и сплетен, просочившихся и на журнальные страницы, заключил свой рассказ словами: «Жаль, право, что нигде с врак пошлин не берут»⁶². Это — слегка измененная цитата из «Калмыка Оратора» (причем более близкая первоначальному, еще не исправленному варианту)...

ЗУБАСТЫЙ КНЯЗЬ

Стихотворение Измайлова «Князь Ш. и актриса Е.» помещено во второй части его рукописного собрания под жанровой рубрикой «Разговоры»⁶³.

⁶⁰ Русский вестник, 1808, № 8. С. 281.

⁶¹ См.: *Martin, Alexander M.* Romantics, Reformers, Reactionaries: Russian Conservative Thought and Politics in the Reign of Alexander I. P. 80.

⁶² Благонамеренный, 1825, № 2. С. 75.

⁶³ РНБ, ф. 310, ед. хр. 2. Л. 20–22.

Примерные уроки

Князь Ш. и актриса Е.

Е ж о в а.

Ну, что, князь, какова была у вас Беседа?

К н я з ь.

Победа, Катенька, преславная победа!
Вторую песнь своей поэмы я читал,
Злодею Пушкину себя уж доказал.
Пустился в бегство он от моего удара.

Е ж о в а.

Что апплодировать ты не послал Макара?

К н я з ь.

Беседа, дурочка, не то ведь, что партер.
Смеяться подавал собою я пример.
Когда б ты видела как Кикин Петр смеялся!
Шихматов целочка и тот расхохотался.
Многострадальный сам Игумен наш Шишков
Забыл как с братией ругал его Дашков.
Торжествовала вся беседа Руска слова:
Не сыпался табак на ленту у Хвостова;
Другой Хвостов глаза лукаво искосил,
Как я из подтишка за жопу укусил...

Е ж о в а.

Кого?

К н я з ь.

Карамзина.

Е ж о в а.

Не ужьто, Князь?

К н я з ь.

Да, право,

Спроси Потемкина.

Е ж о в а.

За жопу? браво! браво!
Как ты прославился! * Ай! Князь! ай! молодец!

* Бессмертен ты теперь!

Глава IV

Надел ты на себя бессмертия венец.
Уж нечего сказать, что у тебя за зубы!

К н я з ь.

Век будут помнить все *расхищенные шубы*
И не осмелятся сажать меня в бордель.

Е ж о в а.

Прими ж награду, Князь, и ляжем на постель.
(1812)

Стихотворение датировано в рукописи 1812 годом. У нас, однако, есть основания для существенно более точной датировки. «Разговор», центральные персонажи которого легко узнаются за титульными инициалами (это драматург и поэт князь А. А. Шаховской и актриса Е. И. Ежова; последняя, впрочем, названа в тексте своим полным именем), связан с новой стадией полемики между «архаистами» и карамзинистами. «Князь Ш. и актриса Е.» — отклик на чтение Шаховским 2-й песни ироикомиической поэмы «Расхищенные шубы», состоявшееся в публичном собрании «Беседы любителей русского слова» 23 февраля 1812 года. «Разговор», судя по его содержанию, был написан явно по горячим следам этого события и поэтому смело может быть датирован концом февраля 1812 года.

Что же произошло 23 февраля? Прочитанная в «Беседе» первоначальная редакция 2-й песни «Шуб» Шаховского существенно отличалась от печатного текста, увидевшего свет в 7-м томе «Чтений в Беседе любителей русского слова». Она содержала выпады в адрес Карамзина, Блудова и, видимо, некоторых других карамзинистов, исключенные при публикации. Сведения о первоначальном содержании этой песни и о вызванном ею резонансе дошли до нас в чрезвычайно скудном количестве. Наиболее значительный интерес среди них представляет письмо К. Н. Батюшкова к П. А. Вяземскому от 27 февраля 1812 г., написанное, как и стихотворение Измайлова, по свежим следам чтения: «Пушкин у вас! — Прими его на руки; он здесь замучен подагрой и Славенами; утешь его; скажи ему, что Шаховской читал сам свои „Шубы“ (а он читает как дьячок), что его „Шубы“ очень холодны; что в его „Шубах“ не одному Пушкину досталось, но всем честным людям: Карамзину, Блудову. Признаюсь тебе, любезный друг, что наши питерские чудаки едва ли не смешнее московских.

Ты себе вообразить не можешь того, что делается в Беседе! Какое невежество! Какое бесстыдство! Всякое лицепрятие в сторону. — Как? Коверкать, пародировать стихи Карамзина, единственного писателя, которым может похвалиться и гордиться наше отечество, читать эти глупые насмешки в полном собрании людей почтенных, архиереев, дам, и нагло читать самому... о! это верх бесстыдства! Я не думаю, чтоб кто-нибудь захотел это извинять»⁶⁴.

Стихотворение Измайлова верифицирует сообщение Батюшкова о том, что в первоначальном варианте 2-й песни сохранились выпады в адрес Карамзина — и, по всей вероятности, достаточно злые. Однако полемическим ядром поэмы, судя по тексту Измайлова, и в первой редакции были стихи, направленные против В. Л. Пушкина. Эти стихи сохранились и в печатной версии.

Первый выпад — в начале песни:

Меж тем заря взошла и солнце осветило
Журнальной тягостью разбитое окно,
Которо не было еще заклеено
Посланьем дружеским творца стихов различных,
К употребленьям сим особенно приличных...⁶⁵

«Посланье дружеское», пригодное только на заклею окон, — это, конечно, намек на послания В. Л. Пушкина «К В. А. Жуковскому» и «К Д. В. Дашкову». Далее один из персонажей «Расхищенных шуб», нотариус Спондей, произносит гневную речь, направленную против главного героя поэмы, Гашпара, и представляющую собой пародический коллаж из стихов послания В. Л. Пушкина к Жуковскому:

Нам нужны не слова, нам нужно просвещение;
Слов много затвердить не есть еще ученье.
Витийство без идей мою волнует кровь;
Ношу в душе моей к изящному любовь
И празднословие всем сердцем ненавижу.
Я слышу много слов, но толка в них не вижу...⁶⁶

⁶⁴ Батюшков К. Н. Сочинения в двух томах. Т. 2. С. 205.

⁶⁵ Шаховской А. А. Комедии. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1961. С. 97.

⁶⁶ Шаховской А. А. Комедии. Стихотворения. С. 102.

Вот подлинные стихи В. Л. Пушкина, использованные Шаховским:

В славянском языке и сам я пользу вижу,
Но вкус я варварский гоню и ненавижу.
В душе своей ношу к изящному любовь;
Творенье без идей мою волнует кровь.
Слов много затвердить не есть еще ученье;
Нам нужны не слова — нам нужно просвещение⁶⁷.

Шаховской, как видим, произвел самые минимальные изменения в тексте Пушкина. Главное — он разместил стихи послания в обратной последовательности, так сказать — задом наперед, и тем самым постарался показать, что толку и смысла в сочинении Василия Львовича от этой операции ни прибавляется, ни убавляется. Надо отдать должное Шаховскому как пародисту: он действительно нащупал уязвимое место манеры Василия Львовича. Эта манера — доведенная до предела культура словесного пуанта, когда каждая строка стремится стать отдельной эффектной сентенцией. Ощущение целого теряется; смысл высказывания замыкается в пределах стиха, в лучшем случае — двустипхи; движение смысла не переходит на сверхстиховые единства. Примечательно, что нечто подобное писал Батюшков Вяземскому еще 7 июня 1810 года — сразу по получении послания «К В. А. Жуковскому»: «В. Л. Пушкин прислал послание к Жук<овскому>, которое, как и все его стихи, гладко и хорошо написано — а в мыслях, показалось мне, связи нет никакой — это его обыкновенный манер...»⁶⁸ 24 июня 1816 Д. П. Северин в письме Вяземскому будет язвить по поводу нового послания Василия Львовича, обращенного к арзамасцам: «Я не нашел в нем ничего необыкновенного. Недостаток в плане самый чувствительный: стихи попарно дружны, но с остальными братьями в ссоре»⁶⁹. По сути, замечания Батюшкова и Северина — это не предназначенное для публики изложение того, что попытался выставить на всенародное посмеяние князь Шаховской⁷⁰. Таков второй — пародический — удар по Василию Пушкину.

⁶⁷ «Арзамас»: Сборник в двух книгах. Кн. 2. С. 204.

⁶⁸ Батюшков К. Н. Сочинения в двух томах. Т. 2. С. 137.

⁶⁹ «Арзамас»: Сборник в двух книгах. Кн. 2. С. 399.

⁷⁰ Прием Шаховского затем будет повторен Николаем Полевым, в пародии на Пушкина «вывернувшим наизнанку» онегинскую строфу, а затем

Третий удар — так сказать, моралистический. Это речь мудрого органиста Цингильуса в защиту Гашпара, увещевающая не в меру разошедшегося Спондея:

Хотя эсфетикой твой разум озарен,
Хотя в «Меркурии» романс твой помещен,
Хоть эпиграммою ты сделался известен,
Но не забудь того, сколь Гашпар добр и честен...⁷¹

Речь эта полна намеков на Василия Львовича. Ум, озаренный эсфетикой, — отсылка к посланию Пушкина Жуковскому («Что просвещает ум? питает душу? — чтение. // В чем уверяют нас Паскаль и Боссюэт, // В Синописе того, в Степенной книге нет...»). Романс — намек на публикации Василия Львовича в ненавистном Шаховскому «Северном Меркурии». Однако ключевое место в речи Цингильуса — фраза «Хоть эпиграммою ты сделался известен...». А. А. Гозенпуд, автор превосходного комментария к изданию сочинений Шаховского, явно исходил из того, что слово «эпиграмма» используется здесь в современном, привычном нам значении — краткое сатирическое стихотворение. Поэтому он так и не смог ответить на вопрос, какой же именно эпиграммой «сделался известен» Василий Львович, и вынужден был ограничиться туманным замечанием: «Из многих стихотворений этого жанра, сочиненных В. Л. Пушкиным, наиболее известны две: „Какой-то стихотвор...“ и „Змея ужалила Маркела...“»⁷². Между тем Шаховской, бесспорно, использовал слово «эпиграмма» не в нынешнем, а в старинном значении — как острое, язвительное высказывание (неважно — в прозе или в стихах, оформленное в виде отдельного произведения или инкорпорированное в текст

Д. Д. Минаевым, проделавшим аналогичную операцию со стихами Фета. Однако в этих пародиях прием оказывался куда менее адекватным материалу, чем в пародии Шаховского на Василия Львовича. К каким смысловым изменениям привела перестановка стихов Фета в «палиндромной» пародии Минаева, прекрасно показал М. Л. Гаспаров. См.: *Гаспаров М. Л. «Услужило озеро» Фета и палиндромон Минаева // Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. II. М.: Языки русской культуры, 1997. С. 39–47.* В пародии Полевого, перестановкой стихов деформировавшей выверенную структуру онегинской строфы (стало быть, Полевой *не заметил* этой выверенности!), смысловые и эстетические изменения были еще более радикальными.

⁷¹ Шаховской А. А. Комедии. Стихотворения. С. 103.

⁷² Шаховской А. А. Комедии. Стихотворения. С. 771.

другого, более пространныго сочинения)⁷³. Такая эпиграмма у Василия Пушкина была; она содержалась в его нашумевшем «Опасном соседе», где служительницы публичного дома оказывались читательницами и поклонницами комедии Шаховского «Новый Стерн»:

Две гостыи дюжие смеялись, рассуждали
И «Стерна Нового» как диво величали.
Прямой талант везде защитников найдет!⁷⁴

Последняя фраза превратилась в поговорку, и Василий Львович ею очень гордился. Это, бесспорно, и есть та самая эпиграмма, которою он «сделался известен». В измайловском «Разговоре» князь Ш. толкует свой антипушкинский выпад как акт возмездия обидчику именно за эту эпиграмматическую шутку («И не осмелятся сажать меня в бордель»).

Несомненно также, что этот третий удар расценивался самим Шаховским и частью его слушателей как самый сокрушительный. Речь Цингильуса выступала не столько как элемент *сюжетного плана* «Расхищенных шуб», сколько как включенный в корпус поэмы *прямой ответ* Шаховского Пушкину (собственно и содержание отповеди, и ее патетический стиль, практически лишенный ироиколических импликаций, сюжетным планом поэмы были слабо мотивированы). Эта речь приобретала особый смысл именно в ситуации авторского публичного чтения: Батюшков не случайно отметил, что страдавший речевыми дефектами Шаховской читал свою поэму *сам*, не передоверив ее, как обычно делалось в подобных случаях, какому-нибудь присяжному чтецу «Беседы». Моралистические инвективы из уст самого Шаховского (объекта «эпиграммы» Пушкина) должны были прозвучать как впечатляющая отповедь.

Ошибка Шаховского заключалась в том, что он, увлекшись стремлением публично уничтожить Василия Львовича, не учел, что использованный им прием способен привести к не-

⁷³ На то, что в начале XIX века обычным было именно такое, широкое, понимание «эпиграммы», в свое время справедливо указал А. М. Песков. См.: Песков А. М. Образ эпиграммы в «маленьких трагедиях» Пушкина // Культурологические аспекты теории и истории русской литературы. М.: МГУ, 1978. С. 56, 67–68.

⁷⁴ «Арзамас»: Сборник в двух книгах. Кн. 2. С. 137.

предвиденному эффекту. Оформив отповедь Пушкину как речь в защиту педанта Гашпара, он невольно дал в руки своим противникам сильный козырь: они теперь могли с полным основанием отождествлять самого Шаховского с отнюдь не идеальным персонажем его поэмы. Удар по Пушкину не стал для последнего смертельным. Приунывший было Василий Львович вскоре оправится и в послании арзамасцам будет с гордостью писать о своих заслугах (все о той же «эпиграмме»!), теперь прямо именуя Шаховского *Гашпаром*: «Я злого Гашпара убил одним стихом»!..⁷⁵

«Разговор» Измайлова имеет, помимо прочего, и свою особую ценность свидетельского показания. Как уже говорилось, о публичном чтении поэмы Шаховского мы знаем очень немного. И если в письме Батюшкова отразилось негодование карамзиниста, то Измайлов (несомненно, также присутствовавший на чтении), видимо, довольно точно зафиксировал реакцию на поэму со стороны беседчиков. Реакция слушателей в общем соответствует их репутации. Заразительно смеявшийся П. А. Кикин, «новообращенный славенофил» (хранивший у себя «Рассуждение о старом и новом слоге» Шишкова с надписью *Mon Evangile*), прежде «считался блестящим остряком, французолюбцем и светским модным человеком». Он и после «обращения» «продолжал считаться остряком, и язык его называли бритвою»⁷⁶. А. С. Хвостов, который «глаза лукаво искосил», обнаружив в тексте «Расхищенных шуб» пародию на Карамзина, в свою очередь имел репутацию присяжного остроумца «Беседы». Впрочем, в кругу арзамасцев его остроумие оценивалось весьма скептически (в арзамасской речи Жуковского А. Хвостов был представлен в облике гротескного сосуда: «...как бы старинная фляга без пробки, некогда заключавшая в себе уксус, настоянный острогоном, как то свидетельствует ярлык, до половины ободранный губительным Кроном»⁷⁷). Напротив того, будущий монах С. А. Ширинский-Шихматов отличался угрюмой серьезностью, напыщенной патетичностью и ханжеским морализмом (по характеристике измайловского текста — «целочка»); поэтому его невольный смех особенно врезался в память свидетеля. Д. И. Хвостов,

⁷⁵ «Арзамас»: Сборник в двух книгах. Кн. 1. С. 367.

⁷⁶ Аксаков С. Т. Воспоминание об Александре Семеновиче Шишкове // Аксаков С. Т. Собр. соч. В 4 т. Т. 2. М.: ГИХЛ, 1955. С. 285.

⁷⁷ «Арзамас»: Сборник в двух книгах. Кн. 1. С. 293.

у которого при чтении «Шуб» от изумления «не сыпался табак на ленту» — тоже зрелище редкостное: чудовищное неряшество Хвостова и его привычка пачкать себя табаком вошли в легенду (и в сатирическую поэзию). Показательно, между прочим, «интертекстуальное» описание реакции Шишкова: формула «многострадальный сам игумен наш Шишков» отсылает к «Раскольнику Аввакуму», реплика: «Забыл как с братией ругал его Дашков» — к ситуации полемики 1811 года, комически отраженной и в том же «Раскольнике», и в измайловской сказке «Шут в парике».

«Князь Ш. и актриса Е.» своими жанрово-стилевыми особенностями, впрочем, существенно отличается от измайловских «сказок». Сказки — жанр, в принципе рассчитанный на публикацию и потому выводящий реальных лиц и реальные события под условными масками. «Разговор» для печати явно не предназначался. Двупланность образа как структурный принцип здесь исчезает: о литературных событиях говорится уже не иносказательно, а прямо. С другой стороны, исчезают и авторские оценки, и пуантирующая мораль (в измайловских сказках под такую мораль обычно маскировалась заключающая текст эпиграмма): перед нами своеобразный нравоописательный очерк в стихах, герои которого должны сами за себя свидетельствовать. Наконец, отсутствие оглядки на цензуру и вообще на печатные конвенциональности обусловило введение в «Разговор» достаточно рискованной сексуальной тематики и невозможной в тогдашней печати, но естественной в быту лексики.

Примечательно, что в «Разговоре» активно участвует любовница (впоследствии — жена) Шаховского Ежова и упоминается его камердинер Макар. Современники хорошо знали (и даже склонны были несколько преувеличивать) роль Ежовой в литературных и театральных делах драматурга; энергичная Ежова вошла в историю литературы и театра бок о бок с Шаховским. По-своему легендарной фигурой был и Макар: С. П. Жихарев назвал его в своих «Воспоминаниях старого атрала» «историческим» лицом, сообщив, что такую историческую славу создал Макару поэт-сатирик С. Н. Марин, посвятивший камердинеру шуточное послание⁷⁸. Макар и Ежова — почти непрменные персонажи сочинений, направленных против Шаховского: Макар фигурирует в задевающей Шахов-

⁷⁸ Жихарев С. П. Записки современника. М.; Л.: АН СССР, 1955. С. 621.

Примерные уроки

ского сатирической заметке Аристарха Лукницкого в «Северном Меркурии»⁷⁹, Ежова — в «Певце в Беседе Славенороссов» Батюшкова и Измайлова, и Макара, и Ежова — в «Венчании Шутовского» Д. Дашкова. В этом отношении сатирический «разговор» «Князь Ш. и актриса Е.» последовательно воплотил и кое в чем заострил принципы сатирической словесности начала XIX века (по преимуществу рукописной), которая явления домашнего быта и интимной жизни осмеиваемого писателя превращала в своего рода литературные факты, заставляя и их служить задачам литературной борьбы...

Выступление Измайлова против Шаховского не было случайным и эпизодическим актом, но логически продолжало его кампанию против беседчиков. На постановку «Липецких вод» Шаховского (содержавших пародические выпады против Жуковского) Измайлов откликнулся эпиграммой:

Что на Жуковского наш Шутовской взбесился?
Ж<уковский> трогал ли когда-нибудь его?
А как же? Асмодей в балладах у него,
Так комик за себя за самого вступился⁸⁰.

Эпиграмма Измайлова (использующая, кстати, полемическую кличку Шаховского, которая появилась в только что к тому времени написанном сатирическом гимне Дашкова «Венчание Шутовского» и эпиграмматическом цикле Вяземского «Поэтический венок Шутовского») датирована в рукописи 17 октября 1815 годом. Тремя днями раньше, 14 октября 1815 года, состоялось первое — учредительное — собрание Арзамасского общества безвестных людей. Близость этих дат символична. Поэтические сатиры Измайлова 1810-х годов — часть той атмосферы, которая способствовала кристаллизации «Арзамаса» и оформлению его комической поэтики.

⁷⁹ Северный Меркурий, 1811, № 2. С. 24.

⁸⁰ Поэты-сатирики конца XVIII — начала XIX в. Л.: Советский писатель, 1959. С. 365.

Бедная певица

Литературные подтексты арзамасской речи С. С. Уварова

«РЕЧЬ ЧЛЕНА СТАРУШКИ»

Литературное наследие «Арзамасского общества безвестных людей» (1815–1818) чрезвычайно разнообразно в жанровом отношении. Однако собственно «арзамасские» тексты — речи и протоколы — почти не были предметом историко-литературного исследования. К ним долго относились с настороженной неприязнью. Вот что писалось в этой связи в академической «Истории русской литературы» (автор главы об «Арзамасе» — Б. С. Мейлах): «Все эти речи мало отличаются одна от другой, ибо авторы их старались поддаться под господствующую в Арзамасе манеру. И если бы мы не знали, что все эти забавы имели под собой серьезное основание — действительную ненависть к литературным реакционерам, защиту просвещения, отталкивание от национализма шишковского типа, то вся деятельность Арзамаса в самом деле казалась бы „навязыванием бумажки на Зююшкин хвост“ (Писарев). Безотрадному впечатлению (! — О. П.) от арзамасских заседаний... способствует также стиль писанных секретарем Арзамаса Жуковским протоколов, в которых даже серьезным вопросам придана шуточная окраска»¹. Задача исследования при таком подходе к делу сводилась к тому, чтобы снять шелуху комизма и обнажить серьезное содержание. Только тогда «безотрадное впечатление от арзамасских заседаний» может быть несколько смягчено...

Лишь в самое последнее время — во многом благодаря революционизирующему воздействию работ М. М. Бахтина (хотя отчасти непреднамеренному: сам Бахтин новоевропейский смех не переносил) — позитивистское пренебрежение к «нерезервным занятиям» было мало-помалу преодолено. Появи-

¹ Мейлах Б. С. Арзамас (1815–1818) // История русской литературы. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1941. Т. 5. С. 333–334.

лись первые работы, рассматривающие арзамасские тексты не как специфические документы, а как яркие явления литературы и культуры². Однако большинство исследователей сосредоточилось на макроуровнях проблемы: их интересовали арзамасская мифология, грамматика арзамасского смеха, его тематические доминанты. Между тем исследованиям такого типа должны сопутствовать детальные анализы отдельных текстов — только в таком случае арзамасское наследие может быть вполне осознано как *явление литературы*. Специфика же арзамасских текстов заключается в том, что их невозможно понять при имманентном, изолированном изучении: особенности их комизма могут быть выявлены только в соотношении с контекстами разного рода³. Изучение арзамасских текстов по необходимости должно быть *интертекстуально*.

² Краснокутский В. С. О своеобразии арзамасского «наречия» // Замысел, труд, воплощение. Под ред. проф. В. И. Кулешова. М.: Изд. МГУ, 1977. С. 20–41; *Ветшьева Н. Ж.* Место стихотворных повествовательных форм в системе арзамасской поэмы // Проблемы метода и жанра. Вып. 13. Томск: Изд. Томского университета, 1986. С. 89–103 (в особенности с. 89–92); *Ронинсон О. А.* О грамматике арзамасской «галиматьи» // Ученые записки Тартуского университета. 1988. Вып. 822 (=Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение). С. 4–17; *Гаспаров Б. М.* Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка. Wien, 1992 (Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 27). С. 118–160; *Проскурин О.* «Арзамас», или Апология галиматьи // Знание — сила, 1993, № 2. С. 55–62; *Проскурин О.* Новый Арзамас — Новый Иерусалим: Литературная игра в культурно-историческом контексте // Новое литературное обозрение, 1996, № 19. С. 73–128.

³ В свое время В. С. Краснокутский попытался исследовать арзамасский смех с помощью бахтинской методологии, то есть свести его к набору некоторых элементарных оппозиций, свойственных «народной смеховой культуре». Его попытка встретила критику со стороны Ю. М. Лотмана; по мысли Лотмана, автор «не обременяет... себя доказательствами... сближая („по Бахтину“) арзамасский ритуал со средневековой ярмарочной культурой и мениппеей». Лотман далее правильно замечает: «В. С. Краснокутский ссылается на слова Вяземского: „В старой Италии было множество подобных академий, шуточных по названию и некоторым обрядам своим“ <...> Однако очевидно, что речь идет о традиции ученого гуманизма, а не о ярмарочных средневековых фарсах, как полагает автор» (*Лотман Ю. М.* К функции устной речи в культурном быту пушкинской эпохи // Лотман Ю. М. Избранные статьи в трех томах. Т. 3. Таллинн: Александра, 1993. С. 436–437). К справедливому замечанию Лотмана можно добавить, что наблюдения Краснокутского не являются совершенно неправильными: диалектику верха—низа, отрицания—утверждения, смерти—рождения и т. п. в арзамасском смехе обнаружить можно, как можно обнаружить ее в основании *всякого* смеха. Но *ограничиться* выделением этих оппозиций — это все равно что изучение любов-

Один из основателей «Арзамаса», будущий министр народного просвещения Сергей Семенович Уваров (в арзамасском крещении получивший имя «Старушка»), «официальным порядком» принимался в арзамасское общество на одном из первых заседаний, 25 ноября 1815 года. Согласно выработанному ритуалу, он должен был произнести вступительную речь — «похвальное слово» кому-нибудь из литературных «покойников», «напрокат заимствованных из числа членов Беседы или Академии». В качестве объекта своей похвальной речи Уваров выбрал поэтессу Анну Петровну Бунину — почетного члена «Беседы Любителей русского слова». Напомним текст этой речи: многие детали понадобятся нам для дальнейшего анализа.

Non la connobbe il mondo mentre l'ebbe.
Petrarca.

Вид столь почтенного Ареопага достаточен к извинению оратора; если же вы, М. Г., к тому прибавите, что слезы и вздохи перерывают мою речь, то вы увидите, что возложенная на меня ныне обязанность несоразмерна с моими силами. Трагическое приключение, лишившее нас красы нашего Парнаса, содержит в себе все роды ужаса; самое простое изложение тронет без сомнения ваши сердца и заставит вас посвятить несколько слез памяти незабвенной.

У подошвы русского Пинда, посреди Беседы, цвела некогда нежная и скромная Певница. С самой колыбели она почувствовала влияние гениев и *вздрагивала* при имени *седого деда*. В *зимний холод* согревалась она у пламенника его поэзии. Сбравшись к *огонечку*, вся семья внимала с восхищением истинно ребяческим повестям *седого деда*; а *когда матки придут святки*, то юная Сафо предавалась всем движениям пылкого воображения; но и тогда мысль о возлюбленном была с нею неразлучна; играя в *снежки* или в *салазки*, младая Певница твердила его неподражаемые стихи и, слава Богу, вкушала *радость многу*.

Я не стану описывать пред вами развитие душевных и телесных сил нашей Певницы; не дерзну я поднять ту завесу, под которой крылось ее младенчество. Возможно ли изобразить ту

ной лирики свести к выделению в ней мотивов любви и разлуки. Отличие высокой культуры от культуры примитивной (точнее, *выдуманной* примитивной культуры — реальная «народная культура» богаче ее бахтинского образа) состоит в том, что архетипическое в ней неразрывно связано с историческим.

очаровательную минуту, в которую переступив в первый раз за предел девственной скромности, она вдруг почувствовала непреодолимую страсть *плодиться?* или то божественное мгновение, когда, узрев в первый раз *седого деда*, она бросилась в его объятия и страстным голосом сказала: *Он мой! я его!* — восторг сих согласных душ может только уподобиться восторгу прародителей наших, изображенному в пламенной картине Мильтона. Священная любовь! я не коснусь до твоих таин!

Таким образом летели дни и годы. Сафо и Фаон жили одною душою, увлекались одним чувством, писали одним пером. Уверяют даже, что красноречивый старец рукою, призывавшею на брань народов и царей, нежно прижимал к сердцу страстную Певницу, и — чинил ей иногда перья. Любезная простота нравов! Тебя не знает, кто не чтит Беседу!

Сколько наша словесность обязана этому славному союзу! Старец на лоне Певницы начертывал те чудные творения, которыми он преобразил русский язык. Между тем как он углублялся в изыскания корней словес, юная Певница летала по верхам Пинда. В священном энтузиазме, не щадила она ни чернил, ни бумаги. Что день, то новый плод — едва успевала она разрешиться от бремени, как вдруг опять чувствовала тяжесть — предвестницу новых родов. Никогда искусная рука *седого деда* не преставала быть в движении. Он один принимал сих чад, родительскою красотою и силою одаренных. Он их нарекал, он их орошал слезами радости и часто сам носил их в *воспитательный дом Глазунова*.

Но и *Славнофилы* подвержены страстям и слабостям нашим. Под седыми власами Фаона крылась другая не менее сильная, не менее чудная любовь. Не смущайтесь, почтенные слушатели, если я вымолвлю, что Старец втайне предавался *греческой любви!* Так он умел из сей постыдной страсти сделать страсть прощительную, благородную — отрок упитанный в объятиях седого Фаона был предметом сей нежной любви. Батилл Ш<ишков>а бряцал на лире старца и разделял с Певницею все движения его сердца. Какая картина! *Седой дед*, обнимая одною рукою пламенеющую деву, другою играл власами поющего отрока. Счастливый Фаон вкушал все наслаждения утонченной роскоши. Дева и отрок наперерыв старались угождать всем прихотям его литературного сладострастия. Они между собою не знали ревности; и в сем дивном союзе она не преставала быть девою — он оставался всегда отроком.

Какое безжалостное божество разорвало сии страстные узы? Какие враги отторгнули *седого деда* из объятий нежной Девы и чувствительного отрока? — Сарматская Прелестница и замысловатый родитель *холодных шуб*. Я не стану описывать

пред вами все их ковы, всю их хитрость и, увы! — весь их успех. Сладострастный старец не устоял против их искусства. Он предпочел Сарматскую Прелестницу сиротной Певице; и тучный Шутовской восторжествовал над иссохшим Батиллом.

О если б я имел очаровательную силу отца *Лабзина* или блистательное красноречие двух *Хлыстовых*, озаряющих, подобно Диоскурам, бурный ход нашей словесности, — с каким бы я жаром изобразил мучение невинной, пламенной Певицы! Какими бы яркими, чудесными красками, заимствованными у *Виргилия* и у многих других, я представил бы сокрушение сей *Беседной Дидоны!* Я вам бы показал, *М. Г.*, как иногда в молчании ночи она омывала слезами следы порхающего Старца! как по седалищам Беседы она искала неверного героя и, увидев его бодрого, прекрасного, пленительного, кляла свою судьбу и тайно прощала неверному. Но я спешу к развязке.

В одну прекрасную ночь прошедшего июля месяца наша Певица с душою, убитою тоской, села в челнок и предалась тихому течению величественной Невы. Челнок, гонимый легким ветерком, рассекал прозрачные волны. Сафо в глубокой задумчивости бросала томные взгляды на Адмиралтейский шпигель, на Васильевский остров, на все предметы, напоминающие ей о неверном старце. Большой связок бумаг, несколько книг лежали в челноке у ног Певицы. Все мечты протекшего блаженства,

И все, что жизнь сулит, и все, чего в ней нет,

смущали душу нежной девы. Она долго колебалась, но когда челнок приблизился к взморью, тогда изобразилось на лице Певицы все волнение ее мыслей; наконец мысль о прекращении несносного мучения восторжествовала — и вдруг лицо Певицы успокоилось и озарилось небесною радостью. Она подошла к краю челнока; прочитала вслух две страницы из *Разговоров о Словесности* и, обняв в последний раз своих многочисленных чад, вместе с ними бросилась в море — — —

Друзья *Седого деда* распустили слух о мнимом отплытии нашей Певицы в Англию, будто бы для излечения некоей тайной болезни. Сии ложные слухи не успокоили совести неверного Фаона. *Почтенная* Немезида его преследует; уж он ею достигнут... С самых тех пор начали замечать в его речах и даже в его мнениях ту вялость и тот недостаток логики и здравого рассудка, которые дотоле были только замечаемы в его творениях.

Вы не будете, конечно, *М. Г.*, требовать от растроганного оратора подробного разбора творений, вместе с Певицею утопших. Потомство лишилось их навсегда. Все невинные затеи *Неопытной Музы*, и *Падение Фаэтона*, и *Пекинское Ристалище*

погрузились с нею в волны. Один лишь *Сын Отечества* гордится и доныне некоторыми торжественными одами и посланиями, смиренно покоящимися в его патриотическом кладбище между записок *американца Свирина* и *Писем из Москвы в Нижний Новгород*.⁴

ПЕВИЦА — САФО — ДИДОНА

Речь блистательного эрудита и классика Уварова построена по всем правилам ораторского искусства. И все же это не только *речь*, но и сюжетно оформленное *повествование*, подчиненное не столько законам риторики, сколько законам поэтики. В центре его оказалась история отношений А. П. Буниной (=Девы) и вождя «Беседы» Александра Семеновича Шишкова (=Седого Деда)⁵, выстроенная как рассказ о страстной любви с трагическим финалом — самоубийством героини. Рассказанная Членом Старушкой печальная повесть отсылает к нескольким архетипическим сюжетным моделям, канонизированным европейской литературной и культурной мифологией.

Первая сюжетная проекция рассказа о Буниной и Шишкове — легенда о греческой поэтессе Сафо и ее возлюбленном Фаоне. Эта проекция в тексте эксплицирована: несколько раз Бунина прямо названа Сафо, а Шишков открыто уподоблен Фаону. Мотивация отсылки к легенде о Сафо обусловлена тем, что в последней тесно переплелись эротическая и поэтическая тематика. Имя Сафо давно и повсеместно использовалось как своеобразная архетипическая модель при характеристике всякой женщины-сочинительницы⁶. В России греческая поэтесса вспоминалась особенно часто, когда заходила речь о Буниной. Именование Буниной «русской Сафой» или «Сафо наших дней» стало общим местом словесности начала

⁴ «Арзамас»: Сборник в двух книгах. Под общей редакцией В. Э. Вацура и А. Л. Осповата. Кн. 1. М., 1994. С. 307–310 (текст арзамасских речей подготовлен В. Э. Вацура). В этом же издании см. реальный и историко-литературный комментарий к уваровской речи (С. 548–550).

⁵ Отношениям Шишкова и Буниной уделено внимание в новейшей монографии о поэтессе: *Rosslin, Wendy. Anna Bunina (1774–1829) and the Origins of Women's Poetry in Russia.* Lewinston; Queenston; Lampeter: The Edwin Mellen Press, 1997 (см. по указателю). Подробнее см. подготовленную к печати работу С. И. Панова о переписке Буниной с Шишковым.

⁶ См. об этом давнюю, но блестяще написанную и богатую материалом работу: *Robinson, David M. Sappho and Her Influence.* Boston: Marshall Jones Company, 1924.

XIX века, неперенным атрибутом комплиментарных характеристик создательницы «Неопытной Музы». Так, например, автор мадригала-экспромта (по-видимому, В. С. Раевский) давал Буниной такую аттестацию: «Я вижу Бунину, и Сафо наших дней // Я вижу в ней»⁷. П. И. Шаликов в послании «К А* П* Б—ой» претворял эту характеристику в обращение: «...вдруг гений твой щастливый // Остановил меня, о Сафо наших дней!»⁸ С ним перекликался М. Милонов в послании «К А. П. Б. . . ой. О приличии стихотворства прекрасному полу»: «О, Сафо наших дней! которой столько раз // Восторга в подноте я строил лирный глас...»⁹. Список подобных примеров можно было бы умножить¹⁰.

Однако эта комплиментарная формула содержала в себе комический потенциал — уподобление Буниной Сафо по чисто внешнему и, как следствие, мало дифференцирующему и ни к чему не обязывающему признаку (женщина-поэтесса) могло приобрести резкие комические черты, если стертую метафору попытаться оживить, то есть спроецировать ее на биографическую легенду о Сафо и Фаоне. Такой комический сдвиг, видимо, впервые был осуществлен в эпиграмме Батюшкова «Мадригал новой Сафе» (1809): «Ты Сафо, я Фаон; об этом я не спорю: // Но к моему ты горю // Пути не знаешь к морю»¹¹. Предание связывало эпиграмму со слухами о безнадёжной влюбленности Буниной в И. И. Дмитриева; таким образом, эпиграмма могла прочитываться как воспроизведенная Батюшковым реплика маститого сочинителя на докучливые домогательства пылкой «девы»¹². Тема потопления была подробно

⁷ Русская эпиграмма второй половины XVIII — начала XX вв. Л.: Советский писатель, 1975. С. 720 (комментарий М. И. Гиллельсона).

⁸ Аглая, 1808. Ч. 1. № 1. С. 63–69 (подп.: «Ш-в»).

⁹ Милонов М. Сатиры, послания и другие мелкие стихотворения. СПб., 1819. С. 200. Впервые опубликовано в: Цветник, 1810, № 11. С. 141–156.

¹⁰ Некоторый материал об этом см. в новейших работах: *Свиасов Е.* Сафо и «женская поэзия» конца XVIII — начала XIX веков // Русские писательницы и литературный процесс в конце XVIII — первой трети XX веков. Под ред. М. Ш. Файнштейна. Wilhelmshorst: E. K. Göpfert, 1994. С. 11–42; *Rossllyn, Wendy.* Anna Bunina (1774–1829) and the Origins of Women's Poetry in Russia. P. 147–156.

¹¹ Батюшков К. Н. Сочинения в двух томах. Т. 1. М.: Художественная литература, 1989. С. 240.

¹² Это предание сохранил Я. К. Грот: «Немногим, может быть, известно, что эти стихи написаны на Анну Петровну Бунину, влюбленную в И. И. Дмитриева» (Сочинения Державина с объяснительными примечаниями

развернута Батюшковым в другом сочинении — в «Видении на брегах Леты» (1809), правда, с редукцией любовного сюжета, зато с неожиданным обыгрыванием «сафической» коллизии и «сафической» репутации: русская Сафо тонет... в реке забвения. Хотя Батюшков причислил к лику «русских Саф» еще нескольких дам-сочинительниц (а саму Бунину задвинул на задний план), однако ироническое использование здесь привычной именно для Буниной комплиментарной характеристики («Исчезла Сафо наших дней»)¹³ свидетельствует, что при создании этого эпизода Батюшков вспоминал прежде всего создательницу «Неопытной Музы»...

Уваров, «топя» «новую Сафо», во многом опирался, конечно, на опыт Батюшкова. Но при этом в творчестве самой Буниной он нашел дополнительное обоснование акту потопления... В бунинском стихотворении «С приморского берега» изображались чувства и переживания героини, страждущей тяжкой болезнью («Пламень лютейший // Душу палит; // Сердце томится, // Высохло все: // Яд протекает // В жилах моих»). Стихотворение заканчивалось изъявлением желания умереть в морских волнах: «Море, взволнуйся! // Гробом мне будь!»¹⁴ Хотя текст имел помету «Перевод», однако его автобиографические проекции были несомненны: Бунина страдала раком груди. Уваров об этом знал. Но в исполненных драматизма стихах он обнаружил моменты, позволившие ему встроить бунинский текст в не запланированную поэтессой перспективу. Формулы, выражающие физическое страдание, в силу скованности поэзии Буниной стилизованностью неожиданно зазвучали точно так, как если бы поэтесса решила изобразить... мучения любви. Использованные ею устойчивые словесные формулы-клише восходят к так

Я. Грота. 2-е акад. издание. Т. 2. СПб., 1869. С. 31). А. С. Пушкин в своих пометах на полях «Опытов...» Батюшкова по поводу этой эпиграммы заметил: «Переведенное острословие — плоскость» (*Пушкин*. Полн. собр. соч. Т. XII. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1949. С. 279). Как отметил Л. Н. Майков, эпиграмма действительно восходит к иноязычному источнику — к стихотворению Лебрена (*Майков Л.* Пушкин: Биографические материалы и историко-литературные очерки. СПб.: Изд. Л. Ф. Пантелеева, 1899. С. 292). Однако, даже используя французский материал, Батюшков бесспорно имел в виду *российскую* «Сафу».

¹³ *Батюшков К. Н.* Сочинения в двух томах. Т. 1. С. 375.

¹⁴ Неопытная Муза Анны Буниной. <Ч. 1.> СПб.: Тип. Шнора, 1809. С. 45.

называемому второму фрагменту Сафо — тексту, считавшемуся одним из оснований европейской любовной лирики. Фрагмент Сафо многократно переводился на русский язык (обычно через посредство французского перевода Буало)¹⁵. Вот как выглядит описание любовного томления Сафо в переложении Г. Р. Державина: «Я чувствую в тот миг, когда тебя узрю, // Тончайший огонь и мраз, из жил текущий в жилы <...> // Густая, темна мгла мой взор объемлет вдруг, // Не слышу ничего, не вижу и не знаю: // В оцепенении едва дышу — и вдруг // Лишившись чувств, дрожу, бледнею, умираю»¹⁶. Чтение стихов Буниной сквозь призму соответствующей традиции позволило интерпретировать выраженное ею желание погибнуть в морских волнах как выражение напряженной любовной страсти à la Сафо — и, соответственно, исполнить желание поэтессы в полном соответствии с ее «сафической» репутацией.

В то же время Уваров включает в «сафическую» игру и еще один подтекст, также наделяя его комическим смыслом. Титульный лист сборника стихов Буниной «Неопытная Муза» (1809) был снабжен аллегорической картинкой, изображавшей Ариона, плывущего по морю на дельфине. Картинка сопровождалась подписью-девизом: «Лира спасла меня от потопления». Подпись, конечно, должна была намекать на литературную судьбу самой поэтессы. Уваров, выдвигая на первый план тему потопления (отправляясь и от «биографии» Сафо, и от ее комического осмысления в стихах Батюшкова), своей речью саркастически отвечает именно на этот девиз: «Нет, не спасла»...

Следующая проекция повествования о Певнице — история Энея и Дидоны, изложенная в «Энеиде» Вергилия. Эта проекция, как и линия Сафо—Фаон, также эксплицирована в тексте речи (в соответствующем контексте упоминается Вергилий, а Бунина именуется «Беседной Дидоной»). Проекция эта исполнена множеством смыслов. «Энеида» — основной текст европейской поэзии. Соответственно трагическая любовь Дидоны к Энею оказалась сюжетом, который задал трактовку теме любви в европейской поэзии и европейской культуре на

¹⁵ О ранних русских переводах «второго фрагмента» Сафо см.: *Песков А. М.* Буало в русской литературе XVIII — первой трети XIX века. М.: Изд. Московского университета, 1989. С. 88–89, 129–130.

¹⁶ Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. 2-е акад. изд. Т. 2. С. 27.

века¹⁷. Вместе с тем этот сюжет (как и «Энеида» вообще) стал материалом огромного количества травестийно-бурлескных перелицовок и ироиколических адаптаций¹⁸. Активизация пародической энергии, как это ни парадоксально, дополнительно подтверждала значимость сюжета для европейской культуры.

В уваровской речи можно наблюдать колебания между разными оттенками бурлескного модуса — от ироиколической поэмы до травестии. Кроме того, вергилиевские мотивы в его речи прихотливо сплетены и перепутаны. У Вергилия самоубийство Дидоны вызвано тайным отплытием Энея из Карфагена. У Уварова сама Певица-Дидона, прежде чем покончить с собой, тайно отплывает на челноке из столицы (ей как бы передается сюжетная функция Энея). В свою очередь по кончине Певицы «новый Эней» (Шишков) впадает в невыра-

¹⁷ См. специальный сборник, посвященный этому сюжету: *Énée et Didon: Naissance, fonctionnement et survie d'un mythe*. Édité par René Martin. Éditions du C.N.R.S, 1990. По подсчетам Рене Мартена, до первых десятилетий XIX века появилось около 100 драматических, музыкальных, поэтических адаптаций соответствующего сюжета на разных языках (*Martin, René. Didon de l'antiquité à nos jours: Inventaire des oeuvres littéraires, scéniques et cinématographiques // Énée et Didon: Naissance, fonctionnement et survie d'un mythe*. P. XXI–XXV). Мишель Ано указывает 84 картины, сюжеты которых связаны с Энеем и Дидоной, в том числе ряд — в российских собраниях (*Нано, Michel. Inventaire des peintures consacrées à l'épisode de Didon et d'Énée // Énée et Didon: Naissance, fonctionnement et survie d'un mythe*. P. XXVII–XXXI).

¹⁸ Рене Мартен отмечает, что с XVII века до 1807 года появилось 17 бурлескных травестий «Энеиды» — на французском, итальянском, немецком, английском, русском (как русский текст рассматривается и «Энеида» Котляревского) и голландском языках (*Martin, René. Didon de l'antiquité à nos jours: Inventaire des oeuvres littéraires, scéniques et cinématographiques*. P. XXII–XXIV). Список Мартена неполон: он не включает некоторых славянских (в том числе русских) текстов. Кроме того, он не регистрирует фактов использования коллизий «Энеиды» в ироиколических поэмах. Последние, несомненно, значительно увеличили бы список. К сожалению, наиболее обстоятельная синтетическая работа об ироиколической поэме XVIII века затрагивает вопрос о соотношении ее с вергилиевскими сюжетами очень бегло. См.: *Broich, Ulrich. The Eighteenth-Century Mock-Heroic Poem*. Translated from the German by D. H. Wilson. Cambridge University Press, 1990, по указателю (английский вариант книги кое в чем дополнен по сравнению с ее оригинальной версией, вышедшей по-немецки в 1968 г.). Некоторые из травестий (в частности те, что были, бесспорно, известны Уварову) рассмотрены в статье Мишеля Кадо (*Cadot, Michel. Énée et Didon à la mode d'Autriche, d'Ukraine... et de Belgique // Énée et Didon: Naissance, fonctionnement et survie d'un mythe*. P. 209–220).

зимое отчаяние (т. е. получает сюжетную функцию Дидоны). При этом ему для *успокоения* сообщают о мнимом отплытии Певицы в чужие края. Это — инверсия *мотивировок* «Энеиды»: как известно, именно известие об отплытии Энея в чужие края приводит вергилиевскую Дидону к самоубийству. Уваров жонглирует мотивами основополагающей эпической поэмы с озорным мастерством, которое, конечно, могли оценить только знатоки.

Вместе с тем эти забавы, как и игра с «сафическим» сюжетом, опираются на мотивы творчества самой Буниной, комически сопрягая последние с вергилиевскими коллизиями. В уже упоминавшемся бунинском стихотворении «С приморского берега» *желание смерти* равно связывается и с водной стихией, и со стихией огненной (в последнем случае речь идет об огне внутреннем, огне мучительного недуга): «Море, взволнуйся! // Гробом мне будь!.. // Пламя, разлейся, // Бедну сожги»¹⁹. С точки зрения исповедуемых Уваровым норм «вкуса и здравого смысла» предполагалось, что и поэтическое выражение страдания должно подчиняться законам логики — непоследовательность желаний, обнаруживавшаяся у бунинской лирической героини, выглядела неудовлетворительно и, как следствие, комично. Уваров в своей речи как бы рационализирует желания Певицы, превращая кончину Девы в *смерть в волнах* (то есть дарит ей то, о чем она просила). Но одновременно — благодаря подсветке коллизии «дидоновским» планом — эту смерть можно рассматривать как *аналог* знаменитой *смерти в пламени*, то есть уравнивать кончину Певицы со смертью вергилиевской героини (Уваров опять же дарит ей то, что она просила). Так комически осуществляется «примирение противоречий», обнаруженных Уваровым в поэзии Буниной.

Однако более всего оснований для связи «потопления» Певицы с самоубийством Дидоны давала Уварову русская бурлескная традиция. В травестийной трагедии в одном действии С. Н. Марина «Превращенная Дидона»²⁰ покинутая героиня

¹⁹ Неопытная Муза Анны Буниной. С. 45.

²⁰ Не так давно принято было рассматривать «Превращенную Дидону» как свидетельство тому, что Марин присоединился к творцам травестий, которые «развенчали в глазах русского читателя род литературы, близкий высшему классу общества, и высоты ложноклассического Парнаса». Утверждалось даже, что Марин «вместе с Майковым и Чулковым вступил на путь здорового реалистического направления» [Марин С. Н. Полное собрание сочинений. Критико-биографический очерк, научное

Бедная певица

избирала новый род смерти, о котором сообщала своей наперснице:

А н н а

Иль новые еще готовит рок беды!
Ах! чем помочь тебе — что хочешь ты.

Д и д о н а

Воды.

Я новой смерти род открыть теперь подущуся.
На сцене в бочке я как в море утоплюся.
Хотя мне должно бы как кажется сгореть;
Но я в стихии той желаю умереть,
Которая меня с любезным разлучила;
Горела я <, > сестра, когда его любила,
Так надобно теперь сей огонь на век залить.²¹

Уваров знал эту «трагедию» великолепно. Как установил М. И. Гиллельсон, Уваров в юности принимал участие в постановке «Превращенной Дидоны» на домашнем театре А. Н. Оленина, состоявшейся в Приютино 5 сентября 1806 года: он играл там роль Ярба, появлявшегося на сцене сразу же после объявления Дидоны об изобретении ею нового рода смерти²². В трагедийной трагедии Марина все, впрочем, заканчивается благополучно: утопившуюся Дидону выносят к публике в бочке, и представление завершается всеобщей пляской. В осуществленном Уваровым «утоплении» Буниной отчетливо прослеживается фарсовый подтекст: смерть бедной Певицы — это смерть балаганная, ненастоящая, подобная утоплению в бочке героини маринской трагедийной трагедии...

Итак, в речи Уварова-Старушки бурлескному и пародическому началу принадлежит важное место: история отношений героев то и дело предстает как пародия канонических сюжетов европейской литературы и европейской культурной мифологии.

описание рукописей, редакция и комментарии И. Арнольд<а>. М.: Изд. Гос. лит. музея, 1948 (=Летописи Гос. лит. музея. Кн. 10). С. 20, 22]. Забавно, что все это говорилось о переводчице «Меропы» Вольтера и «Меден» Лонжпьерал..

²¹ *Марин С. Н.* Полное собрание сочинений. С. 137–138.

²² *Гиллельсон М. И.* Молодой Пушкин и арзамасское братство. Л.: Наука, 1974. С. 22.

Комически-травестийный момент — важный ключ к еще одному плану развернутой Уваровым повествовательной игры.

БЕДНАЯ ПЕВИЦА И БЕДНАЯ ЛИЗА

За цитатным планом рассказа о бедной Певнице, непосредственно обозначенным оратором, скрывается еще один — не названный, но, пожалуй, самый важный. Этим скрытым вторым планом, подчиняющим себе оба *эксплицированных* сюжетно-цитатных плана («сафический» и «вергилианский») и отчасти маскирующимся ими, стала повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза». Установка на обнаружение аудиторией этого второго плана определенно входила в задание уваровской речи. Последняя строилась как род литературной загадки.

Самые перипетии любовной истории бедной Певницы и Седого Деда на редкость точно передают сюжетно-мотивную структуру карамзинской повести. Вершинные мотивы сюжета и особенности композиционной схемы «Бедной Лизы» строго выдержаны: экспозиция с адресацией читателю — предыстория, описывающая младенчество героини, — встреча с героем и страстная влюбленность в него — ответная склонность — возрастание страсти — сближение — охлаждение возлюбленного — измена — отчаяние героини — ее самоубийство (в водной стихии) — раскаяние и душевные терзания героя-любownika. Однако травестийное воспроизведение сюжетного каркаса «Бедной Лизы», замаскированное в уваровской речи, далеко не единственная (и, пожалуй, не главная) форма отсылки к карамзинской повести. Взятые изолированно, в отвлечении от стилистического контекста, эти мотивы могли звучать достаточно архетипично. Чтобы увязать их именно с повестью Карамзина, Уварову потребовалось облечь сюжетный каркас в соответствующую стилистическую оболочку, воспроизвести не только сюжетную топику, но и стилистику и фразеологию сентиментальной повести²³.

При этом Уваров прибегает к любопытному приему: он почти не дает цитат *непосредственно* из «Бедной Лизы». Поступи он иначе, его речь перестала бы существовать как загадка. Поэтому фразеологический план речи отсылает к «Бедной

²³ О соотношении сюжета, повествовательных приемов и стиля в «Бедной Лизе» см.: *Hammarberg, Gitta. From the idyll to the novel: Karamzin's sentimental prose. Cambridge University Press, 1991. P. 138–159.*

Лизе» главным образом метонимически, активизируя связанный с «Бедной Лизою» жанрово-стилистический контекст: либо другие карамзинские сочинения, либо — чаще — произведения массовой повествовательной продукции. Через отсылки к спискам слушателям предстояло реконструировать оригинал.

Вступительная часть уваровской речи завершается характерным обращением к аудитории: «...самое простое изложение тронет без сомнения ваши сердца и заставит вас посвятить несколько слез памяти незабвенной». Такой риторический пассаж — примета не академической речи, но именно сентиментальной повести. Исключительно характерна в этом смысле текстуально близкая уваровскому пассажию фраза из зачина повести Н. Брусилова «История бедной Марьи» (1805) (обращение к «милым красавицам»): «Счастлив, счастлив буду, если бедствия Марьи тронут сердца ваши и извлекут слезу сердечную»²⁴. Подобная экспозиционная сентенция играет в сентиментальной повести важную роль: она провозглашает установку на интимный контакт автора с аудиторией и как бы осуществляет отделение «своего» читателя от «чужого» (зачин, в который инкорпорирована соответствующая фраза в повести Брусилова, начинается обращением: «Нежные души! Чувствительные сердца! Вам хочу говорить о Марье...» — и завершается так: «А вы, холодные души, каменные сердца! Не читайте сей повести — я не для вас пишу!»). Именно «своему» читателю обещается удовольствие чувствительного сопереживания — новое этико-эстетическое состояние, порожденное сентиментальной культурой!.. Ближайший источник, так сказать, генератор подобной риторики в русском сентиментальном нарративе — фраза из экспозиции «Бедной Лизы»: «Ах! Я люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби»²⁵. Эта фраза мерцает в подтексте уваровской речи сквозь тексты-посредники.

Далее Уваров рассказывает о пробуждении у Певичы первых эротических желаний: «Возможно ли изобразить ту оча-

²⁴ Ландшафт моих воображений: Страницы прозы русского сентиментализма. Сост. В. И. Коровин. М.: Современник, 1990. С. 228. Повесть Брусилова была напечатана в «Журнале Российской словесности» (1805, ч. 3, № 10) — издании, находившемся в поле внимания будущих арзамасцев.

²⁵ Карамзин Н. М. Избранные сочинения. В 2 томах. Т. 1. М.; Л.: Художественная литература, 1964. С. 607.

ровательную минуту, в которую переступив в первый раз за предел девственной скромности, она вдруг почувствовала непреоборимую страсть *плодиться*? или то божественное мгновение, когда, узрев в первый раз *седого деда*, она бросилась в его объятия...» Та же «История бедной Марьи» Брусилова дает необычайно близкую параллель этому рассказу (вплоть до фразеологических соответствий): «Кто может изъяснить, что чувствовала Марья в сию минуту? Она узнала в любовнике Милона, который всегда для нее казался всех милее, и бросилась в его объятия»²⁶. Брусиловская конструкция в свою очередь восходит к приемам Карамзина — ср. в «Наталье, боярской дочери»: «Кто видал, как в первый раз целомудренные любовники обнимаются, как в первый раз добродетельная девушка целует милого друга, забывая в первый раз девическую стыдливость, пусть тот и вообразит себе сию картину; я не смею описывать ее...»²⁷ Все приведенные пассажи посвящены одной теме — описанию перехода героини от девической невинности к пробуждающейся женственности (характерно форсированное «в первый раз», у Карамзина повторенное трижды, у Уварова, пародически воспроизводящего канон, — дважды). Сентиментальная традиция осознавала этот переход как своего рода таинство природы; литературные средства для изображения этого таинства признавались недостаточными. Природа торжествовала здесь над искусством. Отсюда — декларированный отказ от детального прописывания коллизии и апелляция к воображению и к душевному опыту читателя (который таким образом становился соавтором повествователя)²⁸.

Подойдя к кульминации романических отношений своих героев, Уваров опускает завесу, восклицая: «Священная

²⁶ Ландшафт моих воображений: Страницы прозы русского сентиментализма. С. 229.

²⁷ Карамзин Н. М. Избранные сочинения. В 2 томах. Т. 1. С. 638.

²⁸ Любопытную модификацию этой коллизии находим в повести В. Измайлова «Ростовское озеро» (1795). Рассказывая уже не о любви, но об общей скорби героев из разных социальных кругов, В. Измайлов и эту скорбь интерпретирует как торжество природы над общественным неравенством и социальными перегородками. Как следствие, он сохраняет в своем рассказе все повествовательные атрибуты, рассмотренные нами: «Лица их сблизились, они бросились друг к другу в объятия, слезы их смешались и... Но я кладу перо и не смею продолжать сего слабого описания. Скажу только, что в сию минуту исчезло для них человеческое неравенство» (Ландшафт моих воображений. С. 74).

любви! Я не коснусь до твоих таин». Здесь содержится отсылка к еще одному важному повествовательному приему. В карамзинской «Наталье, боярской дочери» о соединении возлюбленных было сообщено посредством ставшей знаменитой «фигуры умолчания»: «Священный занавес опускается, священный и непроницаемый для глаз любопытных!»²⁹ Эта формула выполняет в сентиментальном повествовании несколько функций: во-первых, в ней отражается сентименталистская сакрализация любви (эпитет «священный», выдвинут у Карамзина, и у Уварова); во-вторых, она очерчивает границы *допустимого* в сентименталистской трактовке эротического материала, так сказать, устанавливает лимиты сексуальности (забегая несколько вперед, заметим, что провозглашенная установка на «целомудрие» в последующем изложении будет Уваровым нарушена — игровой характер отсылки к традиции отчетливо обнажится).

Рассказав о пылком соединении Певичы и Седого Деда, Уваров далее констатирует: «Таким образом летели дни и годы». Эта реплика, на первый взгляд служащая сугубо нейтральной связкой, в действительности представляет собою важнейший элемент сентиментального повествования. Старательно воспроизводит ее молодой И. И. Лажечников в «Спасской лужайке» (1812): «Таким образом протекали месяцы, и любовь их день ото дня получала новую силу»³⁰. Кн. П. И. Шаликов в повести «Темная роща, или Памятник нежности» украшает ее цветами своего красноречия: «Таким образом проходили дни, недели, месяцы чистой, невинной любви их»³¹. У истоков этой традиции — скупая констатация из «Бедной Лизы»: «Таким образом прошло несколько недель»³². То, что Уваров выделил и обыграл в своей речи соответствующий повествовательный конструкт, свидетельствует об исключительно тонком понимании им поэтики сентиментальной повести. Фраза о проходящих днях, неделях, месяцах и годах безмятежной любви — знак идиллического времени в отношениях и судьбе возлюбленных (вульгаризатор Шаликов, словно не доверяя способности читателей самим понять смысл происходящего, прямо

²⁹ Карамзин Н. М. Избранные сочинения. В 2 томах. Т. 1. С. 650.

³⁰ Ландшафт моих воображений... С. 234. Впервые напечатано в «Аглае» (1812, кн. 3).

³¹ Ландшафт моих воображений... С. 88.

³² Карамзин Н. М. Избранные сочинения. В 2 томах. Т. 1. С. 615.

говорит о «чистой, невинной любви» своих персонажей; Карамзин, конечно, такой прямолинейности чужд). Вместе с тем фраза о пролетающем времени — это знак «начала конца» идиллии. После соответствующей реплики-ремарки в повествовании совершается драматический перелом, идиллия разрушается — и сюжет стремительно движется к трагической развязке. Этот канон был задан «Бедной Лизой»; аналогичную сюжетную функцию (разумеется, в пародийно-травестийной версии) выполняет «темпоральная» сентенция и в речи Уварова.

Но до наступления ужасного перелома Уваров дает в своем рассказе еще несколько знаков идиллии, чтобы ошутимее (чувствительнее) переживалось ее последующее разрушение: «Сафо и Фаон жили одною душою, увлекались одним чувством, писали одним пером». Столь необычно подчеркивая гармоническое единство в жизни и чувствованиях своих героев, Уваров и здесь на удивление точно следует сентиментальному повествовательному канону. Вот что говорит о своих персонажах Г. П. Каменев в повести «Инна» (1804): «Они томилась, иставали, сгорали в пламени чувств своих. Сердца их бились в одну такту. Души их сливались в одну душу»³³. И Лажечников в повести «Спасская лужайка» развертывает и детализирует идиллическую картину: «Никакие тайны не были сокрыты друг от друга; упражнения, должности семейственные, забавы, труды — все было между ними в разделе; невинные любовники вели даже оба в одном журнале происшествия жизни своей. Часто тетка заставляла их в ту самую минуту, когда рука Леонсова водила нежною рукою Агаты...»³⁴ Как видим, даже такая экстравагантная и, казалось бы, безусловно пародийно-гротескная деталь уваровской речи, как писание одним пером, имела вполне серьезные прецеденты в традиции сентиментального повествования. Все эти впечатляющие картины, по сути, представляли собою амплификацию краткой реплики Карамзина («Наталья, боярская дочь»): «Чувства их составляли восхитительную гармонию»³⁵. Карамзин и тут выступает как зачинатель традиции...

Приведенных примеров игры с мотивными и стилистическими топосами сентиментальной повести вполне достаточно,

³³ Ландшафт моих воображений... С. 202–203.

³⁴ Ландшафт моих воображений... С. 233.

³⁵ Карамзин Н. М. Избранные сочинения. В 2 томах. Т. 1. С. 653.

для того чтобы продемонстрировать метод Уварова. Соединение сюжетно-мотивных и стилистических цитат и аллюзий должно было искусно подвести аудиторию к разгадке кода истории бедной Певичы. После разгадки особыми смысловыми оттенками начинал играть (и демонстрировать свои особые функции) *эпиграф*, которым Уваров предварил свою речь, — стих из 338-го сонета Петрарки: *Non la conobbe il mondo mentre l'ebbe* ('При жизни мир не знал ее нимало'). Прозвучавший *перед* началом речи, этот эпиграф был способен направить ожидание аудитории скорее в ложном направлении — в сторону «петраркистского» сюжета (ожидание петраркизма не оправдывалось: ничего подобного в речи Уварова нет). *После* речи, когда второй план повествования уже должен был быть разгадан слушателями, стих из Петрарки приобретал иной смысл. Аудитория должна была ощутить себя в положении искусно одураченных читателей зашифрованного текста, ключ к которому был выложен на самом видном месте — но так, чтобы никто сразу не догадался о том, что это «ключ». Дело в том, что именно этот стих из Петрарки служил эпиграфом к первым книжным изданиям «Бедной Лизы» Карамзина — 1796 и 1797 годов³⁶ — к тем самым, с которыми были связаны ранние впечатления от карамзинской повести у большинства слушателей Уварова. Некогда стихи Петрарки выступали в неотъемлемой связи с судьбой бедной Лизы³⁷; теперь соответствующие ассоциации должны были утратить свой автома-

³⁶ Воспроизведение титульного листа первого отдельного издания «Бедной Лизы» см., например, в изд.: Сводный каталог русской книги гражданского печатания XVIII века. 1725–1800. Том II. М.: Гос. библиотека СССР им. В. И. Ленина, 1964. С. 18.

³⁷ Это подтверждает письмо В. Л. Пушкина князю П. А. Вяземскому от 1 июля 1818 года: «После обеда мы ездили в Симонов монастырь, были у всенощной, гуляли по берегу Москвы-реки, видели пруд, где Бедная Лиза кончила жизнь свою, и я нашел собственной руки моей надпись, которую я начертал ножом на березе лет двадцать, а может быть и более назад:

Non la conobbe il mondo, mentre l'ebbe;
L'ho conosciuta io, e solo a piangerla rimasi.»

(*Михайлова Н. И.* Письма В. Л. Пушкина к П. А. Вяземскому // Пушкин: Исследования и материалы. Т. XI. Л.: Наука, 1983. С. 222; вторая строка приведена здесь в искаженной версии. Трудно сказать, что перед нами: ошибка памяти Василия Львовича или ошибочное прочтение текста рукописи). В. Л. Пушкин вполне точно определяет время, когда он начертал соответствующие стихи: «лет двадцать, а может быть и более назад» по отношению к 1818 году — это как раз и есть время первых книжных изданий «Бедной Лизы».

тизм. Уваров определенно рассчитывал на то, что *сначала* аудитория не сумеет связать Петрарку, Певицу и Бедную Лизу, зато *потом* оценит сполна и его виртуозную игру, и блестящую структурированность его речи.

«ПАРОДИРОВАНИЕ» И КАНОНИЗАЦИЯ: НЕСКОЛЬКО ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАМЕЧАНИЙ

Почему, однако, Уваров облек свой рассказ о печальной любви Буниной-Певицы и Шишкова-Седого-Деда в формы карамзинской «Бедной Лизы»? Какие цели преследовала игра с карамзинским сюжетом? В каком отношении находилась она к литературной позиции самого Уварова и «Арзамаса» в целом?

На первый взгляд, перед нами очевидная пародия. Но это не есть пародия в привычном значении слова, т. е. текст, призванный в той или иной степени дискредитировать оригинал. Если и можно здесь говорить о пародии, то лишь в том значении, которое бытовало в европейской теории литературы XVIII — начала XIX века и было запечатлено в «Словаре древней и новой поэзии» Николая Остолопова: «Главный род *Пародии* есть сочинение, написанное по расположению другого известного сочинения, с обращением на другой предмет, и с произведением, чрез перемену некоторых выражений, другого смысла»³⁸.

В свое время словарная статья Остолопова (понимающая пародию совсем не так, как понималась она в XX веке) явно вдохновила Ю. Н. Тынянова на выделение особого литературного явления — «пародичности», определенной им как «применение пародических форм в непародийной функции»³⁹. Когда какое-то известное произведение (чем известнее и популярнее — тем лучше) берется в качестве макета для создания другого произведения, чаще всего комического и сатирического (например, стихового политического фельетона) — тогда и возникает пародичность. В этом случае пародическое произведение направлено не *на* «пародируемое» произведение

³⁸ Словарь Древней и Новой поэзии, составленный Николаем Остолоповым, Действительным и Почетным Членом разных Ученых Обществ. Часть 2. СПб.: Тип. Императорской Российской Академии, 1821. С. 337.

³⁹ Тынянов Ю. Н. О пародии // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 290.

(и тем более не против него), а на совершенно иные объекты. «Второй план», по Тынянову, здесь выступает как «знак прикрепления к литературе вообще»; дополнительный семантический эффект создается «развертыванием сразу двух систем на одном знаке». Тынянов формулирует: «...направленность какого-либо произведения на какое-либо другое (тем более против другого), т. е. пародийность, тесно связана со значением этого другого произведения в литературной системе»⁴⁰. Пародичность иное дело: естественнее использовать для пародической игры произведение столетней давности (классическое), чем произведение современное.

Осуществленное Тыняновым разделение пародийности и пародичности (еще не вполне оцененное мировой наукой, несмотря на необычайно возросший в постмодернистскую эпоху интерес к феномену пародии) в высшей степени продуктивно. Оно позволяет избавиться от путаницы, донныне царящей в области изучения пародийных форм, и уяснить многие важные вещи в движении культуры. Однако в тыняновской теории есть недостаточно разработанные места. Увлеченный открывшимися ему *функциональными* различиями между двумя *формально* сходными явлениями и желая эти различия всячески подчеркнуть, Тынянов редуцировал само явление пародичности.

Дело в том, что существуют такие «пародические» тексты, которые, не будучи направленными *против* пародируемого сочинения, тесно связаны с местом этого сочинения в современном литературном движении. Пример подобного текста — «Певец в Беседе Славенороссов» Батюшкова (написанный при деятельном участии А. Измайлова), появившийся сразу же вслед за своим «образцом» — «Певцом во стане русских воинов» Жуковского. Значение гимна Жуковского для *современной* ему литературной системы было не просто велико, но исключительно. И Батюшков, и Измайлов сочинением Жуковского восхищались, причем восхищались отнюдь не с отчужденной бесстрастностью: оба были «на стороне» Жуковского. Почему же оказался написан «Певец в Беседе Славенороссов» и какие функции он выполнял?

Чтобы ответить на эти вопросы, нам следует совершить небольшой исторический экскурс. Средневековая культура знала

⁴⁰ Тынянов Ю. Н. О пародии. С. 293–294.

такое интересное явление, как *parodia sacra*. «Священные пародии», на все лады выворачивая наизнанку Писание и литургические тексты, на самом деле только способствовали закреплению высшей и неколебимой авторитетности Церкви⁴¹. Дозволенное нарушение норм могло существовать только на фоне нормы, быть ее «изнанкой». В новое время, озаменованное процессами секуляризации, происходит присвоение секуляризованными институтами прерогатив Церкви; классика во многом как бы замещает авторитет Библии и усваивает многие ее функции. Классический эпос — это секуляризованное писание Нового времени. Поэтому расцветшая в европейских литературах ироикомическая поэма (как, впрочем, и травестия) — это во многих отношениях секуляризованная версия *parodia sacra*. Самая возможность ироикомической поэмы была обусловлена авторитетом классического типа культуры, ориентированной на норму и образец. Свойственные ироикомической поэме игра с классическими источниками, восприятие «низкого» материала сквозь классическую призму — все это было особой формой подтверждения каноничности и безусловной ценности перепеваемых текстов⁴². Даже травестийный бурлеск (где эпические герои и события комически «снижаются») в этом отношении не противоречил общему принципу; здесь гораздо меньше непочтительности к прототекстам, чем представляется новейшему сознанию⁴³.

⁴¹ Такое понимание функций *parodia sacra* резко расходится с мифоутопическим истолкованием пародийных форм, в том числе и сакральных пародий, у Бахтина. Бахтин, с одной стороны, склонен был видеть здесь корректирующие поправки однопланового и одногласого «авторитарного» слова (слова Священного писания?), а с другой — рассматривал пародийный смех как некую параллельную реальность, противостоящую «официальной культуре». Здесь не место входить в подробную критику бахтинской концепции, оказавшей значительное воздействие на мировую гуманитарную мысль. Этой критике я надеюсь посвятить специальную работу.

⁴² Еще совсем недавно литературоведы, воспитанные на «позитивизме» и утратившие способность непосредственно воспринимать функции ироикомического начала так, как они воспринимались в XVIII веке, склонны были видеть в ироикомических поэмах *сатиру* на классический эпос. Этот взгляд был подвергнут критике лишь в середине XX столетия. См.: *Jack, Ian. Augustan Satire: Intention and the Idiom in English Poetry 1660–1750. Oxford: Clarendon Press, 1952. P. 78.*

⁴³ Понимание травестии как своеобразной критики классического канона очень устойчиво. Даже Йен Джек, в свое время оспоривший расхожие взгляды на ироикомическую поэму как на сатиру, все же поспешил ого-

Развившиеся в XVIII — начале XIX века формы пародии были исключительно тесно связаны с традициям ироиколической поэмы и травестии. Связан с ними и «Певец в Беседе Славенороссов» Батюшкова—Измайлова. Пародический текст усваивает и самый принцип отношения к тексту «пародидуемому» — как к образцу, а не как к предмету осмеяния. Нетрудно заметить вместе с тем, что пародия соединена в «Певце» с острой литературной сатирой. Здесь больше сатиры, чем допускалось в «правильной» ироиколической поэме (иное дело, что такое допущение существовало только в теории; на практике «чистых» ироиколических поэм было не так уж много). В этом отношении произведение Батюшкова—Измайлова принадлежит эпохе, открытой «Дунциадой» А. Поупа. Английский поэт также соединил принципы ироиколической поэмы с едкой литературной сатирой, за что его подчас упрекали блюстители чистоты жанра⁴⁴. Такое соединение было принципиально важным: пародический принцип позволял изображать нравы враждебного литературного лагеря как *искажение*, пародирование нормы, запечатленной в эпической традиции. Ответственность за искажение нормы как бы возлагалась на совесть литературных и идейных противников. Вместе с тем само искажение идеала грубой действительностью

вориться: The writers who did ridicule the epic in the Augustan age were the authors of burlesques and travesties... (*Jack, Ian. Augustan Satire... P. 78.*) Такой взгляд нуждается в пересмотре. Между «снижающим» эпический материал бурлеском и «возвышающей» низкий материал ироиколической поэмой гораздо больше общего, чем противоположного. Едва ли не один только бурлеск Скаррона (*Virgile travesti en vers burlesques*), появившийся в ситуации острого «спора древних и новых», может рассматриваться (да и то с известными оговорками) как текст, написанный с целью осмеяния «древнего» образца. Уже *Vergils Aeneis Travestirt* А. Блумауера (текст, оказавший непосредственное воздействие на русские «изнаночные» «Энеиды») ставил своей задачей осмеяние не Вергилия, а духовенства, римской курии и «католической партии», сопротивлявшейся секуляризационной и «просветительской» политике Иосифа II (см.: *Becker-Cantarino, Bärbel. Aloys Blumauer and the Literature of Austrian Enlightenment. Bern: Herbert Lang; Frankfurt/M.: Peter Lang, 1973. P. 63–77, 115–116*). Следует заметить, что условием появления бурлескных поэм и их читательского успеха была распространенность классической образованности и отличное знание читателем «образца» (как и в случае с ироиколическими поэмами).

⁴⁴ Говард Бройх в этой связи говорит о разрушении в «Дунциаде» принципов «чистой» ироиколической поэмы, приведшем к дальнейшему упадку жанра (*Broich, Ulrich. The Eighteenth-Century Mock-Heroic Poem. S. 153–157*). Если оставить в стороне оценочный пафос этого заключения, то с ним можно согласиться.

напоминало об идеале, от противного демонстрировало его величие⁴⁵.

Нечто подобное делают и Батюшков с Измайловым в своей игре с текстом Жуковского. Они исходят из того, что «Певец во стане русских воинов» Жуковского — это *образцовое сочинение*, счастливо сочетающее нравственные истины с поэтическими красотами. Соответственно «беседчики», восхваляющие друг друга словами, пародирующими текст Жуковского, тем самым гротескно имитирует, пародируют истинные ценности — и демонстрируют свою противоположность им. Важное отличие «Певца» Батюшкова—Измайлова и от ироиколических поэм, и от священных пародий состояло, среди прочего, в том, что «пародируемый» (или перепеваемый) текст был сочинением абсолютно новым; он еще не стал общепризнанной классикой. Более того: читательский успех «Певца» побудил противоположный литературный лагерь принять срочные контрмеры: были предприняты попытки (правда, неудачные) дать альтернативное грандиозное лиро-эпическое произведение, которое затмило бы успех Жуковского, — такой попыткой стал, в частности, «Гимн лиро-эпический» Державина⁴⁶. Перепев Батюшкова—Измайлова, появившийся в этой ситуации, создавался не в последнюю очередь затем, чтобы *поддержать* Жуковского и верифицировать литературную значимость его сочинения. Достойно перепева (то есть «использования в новой функции») только то, что имеет статус высокой авторитетности. «Предметом *Пародии* должно быть непременно *известное* творение», — подчеркивает Остолопов в своем «Словаре». Самый факт травестирования «Певца» Жуковского *закрепляет* канонический статус текста, подтверждает его право на повсеместную известность (напомним, что до «Певца» Батюшкова популярными «пародиями» в остолоповском смысле — или «пародическими использованиями» в тыняновском смысле — были пародические переложения

⁴⁵ Ср.: *Erskine-Hill, Howard. Pope: The Dunciad*. London: Edward Arnold, 1972 (о соотношении с эпическим фоном см. в особенности главу «„The Dunciad“ as Mock-Heroic», р. 19–27); *Brooks-Davies, Douglas. Pope's Dunciad and The Queen of Night: A Study in Emotional Jacobinism*. Manchester University Press, 1985 (Chapter 2. The Epic and Mock-Epic Background. P. 46–94; особенно любопытен первый раздел главы, Virgil's *Aeneid*, р. 46–66).

⁴⁶ Об этом см.: *Проскурин О. «Победитель всех Гекторов халдейских»*: К. Н. Батюшков в литературной борьбе начала XIX века // Вопросы литературы, 1987, № 6. С. 89–92.

хрестоматийных стихотворений Ломоносова и Державина...). Самый факт пародического использования Батюшковым и Измайловым текста Жуковского в этой ситуации заключал в себе — вопреки Тынянову — бесспорную *направленность* на используемое произведение. Только эта направленность, в отличие от направленности пародийной, оказывалась не дискредитирующей, а наоборот — утверждающей и апологетической. Обыгрывая тыняновскую систему понятий, можно сказать, что это направленность *в поддержку* произведения.

Все сказанное важно для понимания смысла уваровской речи.

АПОЛОГИЯ КАРАМЗИНА

Речь Уварова связана и с принципами ироикомиической поэмы (и отчасти травестии), и с пародическими установками «Певца в Беседе...» Батюшкова—Измайлова. По отношению к «Певцу», впрочем, можно говорить не только о структурно-типологической, но и о прямой генетической связи: речь Уварова наполнена перифразами и цитатами из этого текста. Некоторые структурные различия состоят в том, что Батюшков и Измайлов играют со своим претекстом открыто и демонстративно: сама возможность игры обусловлена уверенностью в том, что читатель прекрасно знает оригинал и способен соотнести его с пародическим отражением. Уваровский текст, как мы видели, содержит пародическую игру в завуалированной, зашифрованной форме; знаки пародичности поэтому менее откровенны и менее очевидны. Эта зашифрованность была обусловлена функциональными различиями пародических текстов по отношению к аудитории: в отличие от батюшковского сочинения, рассчитанного на широкое распространение (и действительно разошедшегося в большом числе копий), речь Уварова была предназначена для «своих», и второй план ее должен был разгадываться посвященными.

Другое существенное различие определялось функциями пародируемых произведений в литературном контексте. С одной стороны, в 1815 году литературную значимость «Бедной Лизы» как будто уже и не требовалось доказывать. Она давно стала классикой. В рецензии «Вестника Европы» на одну из очередных драматических перелицовок карамзинской повести даже проводилась ироническая параллель между Бедной Лизой и эпическими героями древности, которым посчастливилось найти своих певцов: «Лизу оплакивают, из Лизиной ис-

тории делают драму <...> и тень Лизы не завидует теперь знаменитости Ахилла, Агамемнона, Улисса и прочих героев „Илиады“ и „Одиссеи“, героев, сперва воспетых Гомером, а потом прославленных трагиками на греческой сцене»⁴⁷. В свете подобных отзывов особый смысл получает и обнаруживающаяся в речи Уварова связь «Бедной Лизы» с классическими образцами — в частности с «Энеидой» Вергилия и с «Потерянным раем» Мильтона. Текст Карамзина как бы встраивался в ряд классических текстов, которым можно было подражать и которые можно было пародировать, не опасаясь нанести им ущерб.

С другой стороны, «Бедная Лиза» в конце 1815 года отнюдь не обладала той острой актуальностью, какой обладал «Певец» Жуковского в 1813 году (когда появился перепев Батюшкова—Измайлова). Написанная почти двадцать лет назад и перешедшая в разряд детского чтения, повесть знаменовала уже пройденный литературный этап. Сам Карамзин давно перерос свое раннее сочинение; в 1815 году великие надежды возлагались не на его повести, а на «Историю государства Российского». В этом смысле актуальность пародирования «Бедной Лизы» может показаться сомнительной. Однако в речи Уварова (и в литературном сознании арзамасцев) «Бедная Лиза» присутствует не столько как карамзинский текст, сколько как знак творчества Карамзина вообще, в известном смысле — как знак писательской личности Карамзина.

«Бедная Лиза» заложила основы новой эстетики и нового литературного мышления — это было бесспорно и для тех, кто «прямой» смысл «Бедной Лизы» уже перерос. Карамзинская повесть буквально растворилась в русской прозе 1800-х — начала 1810-х годов, как бы заново воплотилась в ней. Без преувеличения можно сказать, что почти все русские повести этого времени — в той или иной степени вариации «Бедной Лизы»: от рабских имитаций до почти пародических трансформаций. Более того: энергия сюжета «Бедной Лизы» оказалась настолько велика, что и позже значительнейшие произведения русской словесности в той или иной степени будут отправляться от карамзинской повести⁴⁸. Язвительная характеристика, данная ка-

⁴⁷ Вестник Европы, 1811, № 17. С. 65–66.

⁴⁸ О воздействии «Бедной Лизы» на классическую русскую литературу см.: Зорин А. Л., Немзер А. С. Парадоксы чувствительности // «Столетия не сотрут...»: Русские классики и их читатели. Сост. А. А. Ильин-Томич. М.: Книга, 1989. С. 33–54 (раздел написан А. С. Немзером). Некоторые

рамзинистам в воспоминаниях Н. И. Греча и связывавшая арзамасский культ Карамзина с культом «Бедной Лизы» («Блудов, самый исступленный карамзинист, веровавший в Бедную Лизу как в Варвару-великомученицу»⁴⁹), подразумевает, конечно, не пламенную любовь утонченных эстетов к наивной сентиментальной повести; она использует «Бедную Лизу» как метонимический знак того явления, которое Жуковский позже сформулировал в стихотворной строчке: «Святое имя: Карамзин».

Пародическая апология карамзинской «Бедной Лизы» в речи Уварова выступает прежде всего как *апология Карамзина*. Карамзин подвергался непрерывным нападкам с конца XVIII века. Одним из главных его литературных врагов был А. С. Шишков. Он не только атаковал Карамзина как творца тлетворного «нового слога», но и публично осудил карамзинские повести (и «Бедную Лизу» в частности) за их развращающее воздействие на нравы⁵⁰. Летом 1815 года у Карамзина, завершившего значительную часть «Истории государства Российского», созревает намерение отправиться зимой в Петербург, с тем чтобы представить Государю завершённые тома. Двадцать четвертого июля он извещает об этом А. Тургенева⁵¹. Через Тургенева планы Карамзина, конечно, становятся известными и прочим арзамасцам. Не без основания ожидается, что предстоящий визит будет омрачен кознями и интригами «беседчиков». В качестве одного из наиболее серьезных врагов рассматривается А. С. Шишков. И хотя умело организованное личное знакомство несколько смягчило Шишкова (однако далеко не до конца, как можно было заключить по свидетельствам сглаживающих коллизии мемуаристов⁵²),

небезынтересные наблюдения см. также в кн.: *Топоров В. Н.* «Бедная Лиза» Карамзина: Опыт прочтения. М.: РГГУ, 1995.

⁴⁹ *Греч Н. И.* Записки о моей жизни. М.: Книга, 1990. С. 291.

⁵⁰ См.: *Шишков А. С.* Прибавление к сочинению, называемому Рассуждение о старом и новом слоге... СПб., 1804. С. 148–149.

⁵¹ См.: Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Материалы для биографии, с примечаниями и объяснениями М. Погодина. Т. 2. М., 1866. С. 127.

⁵² Примечательно, что в новое издание «Рассуждения о старом и новом слоге» Шишков включит полемику с академической речью Карамзина, произнесенной в 1818 году (Карамзин, по обыкновению, по имени не назван, но речь его процитирована точно). См.: *Шишков А. С.* Собрание сочинений и переводов. Ч. 2. СПб., 1824. С. 29. Этот полемический выпад, кажется, не был замечен исследователями.

предубеждение и напряженность с обеих сторон были очень велики — в письме жене от 14 февраля 1816 года, уже после состоявшегося знакомства с Шишковым, Карамзин сообщает о предстоящем обеде с «шишковистами»: «Нынешний день буду у Державина обедать со всеми моими *смешными* неприятелями, и скажу им: есмь един посреде вас, и не утрашуся!»⁵³

В ожидании приезда Карамзина и возможных интриг вокруг него младшие друзья предпринимают акции поддержки — по большей части моральной и эмоциональной (судьба «Истории» и историографа решается в столь высоких сферах, что *реальную* помощь не в состоянии был оказать даже Уваров, в ту пору — наиболее сановный и влиятельный из арзамасцев). Развернутое в уваровской речи ритуально-символическое посмеяние самого могущественного литературного противника Карамзина (и ритуальное же прославление самого писателя) — составная часть этих акций.

БЛУДЛИВЫЙ СТАРЕЦ, ИЛИ НЕСОСТОЯВШИЙСЯ АПОКАЛИПСИС

А. Л. Зорин в свое время точно заметил: «Бедная Лиза была, по сути дела, канонизирована сентиментальной культурой»⁵⁴. С этим специфическим сакральным статусом повести и ее героини оказалась связана и игра, развернутая в уваровской речи. Повесть Карамзина — образец искусства. История литературного покровительства Шишкова Буниной предстает как комическая пародия этого образца. Имитация «Бедной Лизы», травестийное проигрывание ее сюжета и стилистики в литературных отношениях Седого Деда и Девы оборачиваются характерными *искажениями* образца.

Прежде всего эти искажения проявляются в реализации эротического сюжета. Страсть Девы к Старцу — сюжет, не санкционированный традицией сентиментальной повести, ибо это страсть не природная, а противоестественная, не тор-

⁵³ Цит. по изд.: Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Материалы для биографии, с примечаниями и объяснениями М. Погодина. Т. 2. М., 1866. С. 139.

⁵⁴ Зорин А. Л., Немзер А. С. Парадоксы чувствительности. С. 26. Там же — очень тонкие соображения о причинах такой канонизации, в частности — о созвучности соединения «греха и святости» сентиментальному сознанию.

жество Натуры, а ее поругание. *Старчество* — обычный атрибут *родителей* героини; любовь Старца и Девы в сентиментальной повести была возможна только как безгрешная, *родительская* и *дочерняя*, любовь. О соотношенности образа Седого Деда именно с родительским архетипом свидетельствует едва ли не единственная в речи *прямая* отсылка к «Бедной Лизе»: «...красноречивый старец рукою, призывавшею на брань народов и царей, нежно прижимал к сердцу страстную Певичу...» Ср. у Карамзина: «Чувствительная, добрая старушка, видя неутомимость дочери, часто прижимала ее к слабо бьющемуся сердцу...»⁵⁵ Заметим, что и *седина* в сентиментальной традиции выступает как устойчивый атрибут родительского облика: *седой старик* — приемный отец сироты Анюты в повести Вл. Измайлова «Ростовское озеро»; *старец, покрытый сединами*, — отец героини другой повести Вл. Измайлова, «Прекрасная Татьяна, живущая у подошвы Воробьевых гор»⁵⁶. *Седой любовник* в этой системе совершенно невозможен.

Между тем в рассказе Уварова литературные отношения между *Седым дедом* и *Девой* описаны как подчеркнуто сексуализированные. Так, приведенная выше фраза, отсылающая к тексту повести Карамзина, имеет характерное продолжение: «Уверяют даже, что красноречивый старец рукою, призывавшею на брань народов и царей, нежно прижимал к сердцу страстную Певичу, и — чинил ей иногда перья». Эта сентенция (как и следующая за нею) представляет собой перифразу куплета из «Певца в Беседе Славенороссов» Батюшкова—Измайлова:

Друзья! вишневки поскорей!
И выпьем в честь Весталки!
У ней давно семья детей
И детки — очень жалки
Сегодня оду в свет родит,
А завтра — снова бремя!
Ей перья сам Шишков чинит
От дел в досужно время.
За ней есть много дев других;
Все в запуски плодятся:

⁵⁵ Карамзин Н. М. Избранные сочинения. В 2 томах. Т. 1. С. 607.

⁵⁶ Ландшафт моих воображений... С. 79, 205.

Но диво в том, что чада их
Полмертвые рождаются.⁵⁷

Выражение «чинить перья» — несомненная двусмысленность. Дело в том, что во французском языке фразеологический оборот «чинить перо», *tailler une plume*, издавна имел специфическое сексуальное значение, восходившее к либертинскому жаргону: *lui faire une fellation*⁵⁸. «Перо» в этом контексте обозначало *le membre virile*. Соответствующая фразеология как бы провоцировала на специфически сексуальное осмысление и самого творческого акта. Однако в описании отношений Шишкова и Буниной выражение приобретает дополнительные непристойные и комические оттенки, поскольку «нормальная» сексуальная ситуация здесь инвертируется: «точит перо» не она ему, а наоборот — он ей. Ее «орудие письма» — вагина; оно-то и готовится Шишковым «от дел в досужно время» к творческой активности⁵⁹.

⁵⁷ РНБ, ф. 542. Ед. хр. 725. Л. 4 об.—5. Впервые опубликовано мною по рукописи в издании: *Батюшков К. Н. Избранные сочинения*. М.: Правда, 1986. С. 208. По этому изд. воспроизведено в кн.: *Батюшков К. Н. Сочинения в двух томах*. Т. 1. С. 392.

⁵⁸ *Coulin, Jean-Paul, etc. Dictionnaire de l'argot*. Paris: Larousse, 1990. P. 606. Подробнее об этом выражении см.: *Duneton, Claude. La Puce à l'oreille: Anthologie des expressions populaires avec leur origine*. Nouvelle édition, revue et augmentée. Balland, 1985. P. 92 — 93.

⁵⁹ Остается открытым вопрос, кому из соавторов принадлежит этот куплет. Оба они — и Батюшков, и Измайлов — были мастерами непристойного каламбура. О словесной игре у Батюшкова см.: *Шатищ М. Из истории «пародического балладного стиха»*. 1. *Пером владеет как елдой* // *Анти-мир русской культуры: Язык. Фольклор. Литература. Сборник статей*. Сост. Н. Богомолов. М.: Ладомир, 1996. С. 247 — 249; *Проскурин О. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест*. М.: Новое литературное обозрение, 1999. С. 174; о подобной же словесной игре у Измайлова см.: *Проскурин О. «Писатель не для дам»? К демифологизации расхожих историко-литературных представлений* // *Новое литературное обозрение*, 1993, № 2. С. 211–213. В пользу авторства Измайлова свидетельствует, однако, следующее обстоятельство: куплет о «Весталке» находится в том сегменте текста, который бесспорно принадлежит Измайлову — между строфой о Хвостове, с одной стороны, и стихами о Захарове, Львове, Палицыне, Станевиче и Анастасевиче — с другой. В ранней редакции этого текста (сохранившейся в автографе Измайлова) уже есть характеристика Буниной, правда, еще не развернутая: «*Потемкин*, слава наших дней, // И Бунина девица! // В Беседе говорят о ней: // «Стихи плеть мастерица» (РНБ, ф. 310, ед. хр. 2. Л. 87). Подробно о мере участия Измайлова в создании «Певца в Беседе Славенороссов» я писал в своей неопубликованной диссертации: *Проскурин О. А. А. Е. Измайлов и литературная жизнь первой трети XIX века*. Дисс. ... канд. филол. наук. (машинопись). МГУ, 1984. С. 61–71.

Уваров, воспитанный на французской культуре и владевший французским языком лучше, чем русским, с легкостью распознал эти двусмысленности. Его остроты следуют в заданном «Певцом...» направлении: «Старец на лоне Певницы начертывал те чудные творения, которыми он преобразил русский язык. Между тем как он углублялся в изыскания корней словес, юная Певница летала по верхам Пинда». Результатом этих совокупных усилий и оказываются все новые и новые «плоды». Описание творческого процесса явно рассчитано на пробуждение у слушателей новых сексуально-эротических ассоциаций. В случае с Седым дедом проекция творческого акта на акт сексуальный основана, в частности, на сопряжении двух значений глагола «углубляться». В случае с Девой сексуальные ассоциации введены более прихотливо: «летать по верхам» через калькированный фразеологизм «быть на верху блаженства» восходит к «être au faite du bonheur» — эвфемизму французской эротической литературы, означающему оргазм.

Появление этих шуток в уваровской речи неслучайно. Повесть Карамзина вызывала обвинения в безнравственности, в поэтизации незаконной любви. Однако с позиции читателей Карамзина повествовательные коллизии «Бедной Лизы» могли осмысляться как апология естественности, природной страсти. В речи Уварова естественная страсть трансформируется в *противоестественную*. Перенос атрибутов старца и родителя на героя-любownika привел к глубоким изменениям в «сентиментальном» сюжете, несмотря на сохранение многих его формальных элементов и общей стилистической аранжировки.

Сюжет оказался, в частности, осложнен мотивом *деторождения*. Этот мотив позволил подключить изложенную Уваровым историю к литературному плану. Метафорическое обозначение литературных произведений как детищ, «чад» сочинителя — образ древний, корнями уходящий в античность⁶⁰. Соответствующее уподобление часто и охотно использовалось в арзамасском и околоарзамасском кругу, нередко —

⁶⁰ Friedman, Susan Stanford. Creativity and the Childbirth Metaphor: Gender Difference in Literary Discourse // Speaking of Gender. Edited by Elaine Showalter. New York and London: Routledge, 1989. P. 73–100 (проблема рассмотрена в феминистической перспективе). См. также: Brody, Jules. Le métaphore érotique dans la critique de Boileau // La cohérence intérieure: Études sur la littérature française du XVIIe siècle présentées à Judd D. Hubert. Paris: Jean-Michel Place, 1977. P. 223–233.

в шутивно-фривольном ключе⁶¹. То или иное сочинение об-
 являлось плодом связи сочинителя и Музы, в зависимости
 от эстетического качества — более или менее удавшимся
 [ср. известный отзыв И. И. Дмитриева о «Руслане и Людми-
 ле» в письме Вяземскому от 20 октября 1820 г.: «Мне кажет-
 ся, что это недоносок пригожего отца и пригожей матери
 (музы)»]⁶².

Отношения автора и музы — это уже не сюжетный план
 карамзинской «Бедной Лизы», а план порождения самого
 текста, метафора творческого процесса. В этом плане исто-
 рия «литературной» любви Деда и Певницы оказывается уже
 не только невольной пародией внутренних коллизий «Бед-
 ной Лизы», но и пародией на механизм творчества вообще,
 на «нормальные» отношения Автора и Музы. До степени
идеала такие отношения, по мысли арзамасцев, были возве-
 дены в творчестве Карамзина, автора «Истории государства
 Российского». В речи по случаю вручению историографу ар-
 замасского диплома (писанной Жуковским и представлен-
 ной затем от лица всех арзамасцев) Карамзин выступал как
 «отец наших предков, ибо он вместе с красавицею, Музою
 истории, произвел их на свет таковыми точно, каковыми они
 есть, и сдунул с лица земли тех самозванцев и самохвалов,
 которые в арлекинских платьях таскались по миру под их
 священным названием»⁶³. В речи Уварова, *предшествовав-*
шей арзамасским торжествам по случаю приезда Карамзина
 в Петербург, *священный брак Автора и Музы* как метафора
 высокого творчества оказывался загодя спародирован. Отно-
 шения Седого деда и Певницы предстали как кощунственная
 травестия священного брака.

В этом плане особые функции начинает исполнять и *седина*
 героя, запечатленная в избранной Уваровым сатирической
 кличке Шишкова. У Шишкова было множество пародийно-
 полемических прозвищ. Из них самыми ходовыми были *Сла-*

⁶¹ Не лишённые интереса (несмотря на «психоаналитические» фантазии)
 соображения см. в статье: *Cooke, Brett. Pushkin and the Pleasure of the
 Text: Erotic and Anal Images of Creativity // Russian Literature and Psycho-
 analysis. Edited by Daniel Rancour-Laferriere. Amsterdam and Philadelphia:
 J. Benjamins, 1989. P. 193–224.* Чрезвычайно ценные наблюдения и мате-
 риалы — в работе: *Шапир М. И. Из истории «пародического балладного
 стиха». 1. Пером владеет как елдой. С. 232–266.*

⁶² Письма И. И. Дмитриева к кн. П. А. Вяземскому. СПб., 1898. С. 25.

⁶³ «Арзамас»: Сборник в двух книгах. Кн. 1. С. 349.

венофил и Мешков. Почему Уваров выбрал иную — *Седой дед*? Эта кличка впервые появляется в «Певце в Беседе Славенороссов» Батюшкова—Измайлова (тексте, как уже отмечалось, вообще исключительно важном для уваровской речи): «Хвала Седому Деду! // Друзья! он, он родил на свет // Славенскую Беседу!» В оригинале батюшковского перепева — «Певце во стане русских воинов» Жуковского — соответствующие стихи были посвящены Кутузову. Образ «героя под сединами» в свою очередь отсылал к посланию Жуковского «Вождю победителей» (1812), адресованному тому же Кутузову: «И пред твоей священной сединою // Безумная гордыня пала в прах». Бытовой факт — *седина* полководца — был включен в общую эсхатологическую символику антинаполеоновских войн (и в общую эсхатологическую образность послания «Вождю победителей»): «седина» позволяла проецировать фигуру Кутузова на образ Сына Человеческого, явленный в видении Иоанну: «Глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег...» (Откр. 1, 14)⁶⁴. Эта эсхатологическая подсветка сохранилась и в «Певце во стане русских воинов», написанном вслед за посланием «Вождю победителей». Соответственно образ Шишкова — «Седого Деда» — в «Певце» Батюшкова—Измайлова также приобретает эсхатологические черты, но эсхатология здесь пародируется. «Седой Дед» (Шишков) кощунственно имитирует сакрализованного «героя под сединами» (Кутузова), типологически соотношенного с торжествующим Христом, — подобно тому как воинственная «Беседа Славенороссов» кощунственно имитирует священное русское воинство, доблестно сражающееся с Наполеоном.

Кощунственная имитация сакрального неизбежно связывается с inferнальным, дьявольским началом. Соответствующие коннотации есть уже и в перепеве Батюшкова—Измайлова; еще отчетливее проступают они в речи следовавшего за Батюшковым Уварова. Демонические черты нарисованного Уваровым персонажа были живо распознаны арзамасцами — в частности Дашковым, которому выпало по условию жребия отвечать на речь Уварова. Дашков уже откровенно, безо всяких перифраз, уподобляет отношения Шишкова и Буниной отношениям дьявола с его жертвой: «Он погубил Неопытную Музу ее и, подобно лукавому диаволу, насадил плевелы, кои

⁶⁴ Об этом подробнее см.: *Проскурин О.* Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. С. 245–248.

подавили возрастающую пшеницу!» И, мечтая о грядущем литературном воскрешении Буниной, Дашков рисует радостную картину ее возможного освобождения от сатанинских ков: «Она отреклась бы от всех прелестей диавольских, от наваждений седого Мешкова и его клеветов...»⁶⁵

Сам Уваров, однако, уготовил бедной Певнице несколько иную участь: быть не просто невинной жертвой, но и представительницей inferнального мира «Беседы». Уваров — следуя Батюшкову и Измайлову — подчеркивает, что Певница в продолжение союза с Седым дедом, принесшего множество «плодов», оставалась *девою*. Уваров здесь играет на непреднамеренно двусмысленных заявлениях самой Буниной: создательница «Неопытной Музы» постоянно — и в своих стихах, и в сопровождающих их пояснениях — называет себя «девою» (что, видимо, соответствовало действительности); она же, говоря о своем творческом процессе, неосторожно употребляет понятие «плодиться». Это противоречие обыграно уже в «Певце в Беседе Славенороссов» Батюшкова—Измайлова. Однако Уваров осмыслил тему «плодящейся девы» как тему, связанную с литературной сакральностью и с ее профанацией. Сюжет порождения «литературных чад» Буниной и Шишкова предстает в этой перспективе как кощунственная *пародия на непорочное зачатие*.

Такая пародия была известна в христианской эсхатологии. От девы, чудесным образом забеременевшей, либо от блудницы, принимаемой (или выдаваемой) за девственницу, должен был родиться *антихрист*. Подлинным его родителем должен стать, согласно некоторым эсхатологическим легендам, сам дьявол (в некоторых случаях самый антихрист толковался как воплотившийся дьявол — он должен был выступить как пародия Слова, воплотившегося во Христе)⁶⁶. Уваров, знаток древностей (в частности религиозных древностей греческого Востока), должен был хорошо знать многие из подобных эсхатологических легенд. К этому следует добавить, что «рождество» антихриста должно было состояться в Вавилоне (=Новом Вавилоне). В арзамасской же комической мифологии функция литературного Вавилона была изначально отве-

⁶⁵ «Арзамас»: Сборник в двух книгах. Кн. 1. С. 312.

⁶⁶ См. богатый материал об этом в кн.: McGinn, Bernard. Antichrist: Two Thousand Years of the Human Fascination with Evil. Harper San Francisco, 1994.

дена «Беседе любителей русского слова», где и осуществился чудесный союз Старца и Девы...⁶⁷

Рассказанная Уваровым история «Бедной Певичцы» оказывается, помимо прочего, как бы предысторией *литературного антихриста*, должного выйти из недр Вавилона-«Беседы»⁶⁸. Однако породить полноценного литературного антихриста Седому деду не под силу — даже с помощью влюбленной Певичцы: все «детища» чудесного союза оказываются обречены на литературную гибель вместе с породившей их матерью-«Девой». Создать что-либо способное противостоять творениям Карамзина, истинного литературного божества, «беседникам» так и не удается.

Таким образом, история творческих отношений Шишкова и Буниной в интерпретации Уварова предстала как гротескная травестия двух важнейших для нового эстетического сознания моментов: 1) сакрального, основополагающего сюжета современной русской литературы, заданного «Бедной Лизой», и 2) сакральных отношений Творца и Музы, совершенным образцом которых выступило творчество Карамзина⁶⁹. В обоих планах Шишков оказался смешным и несостоятельным и, сле-

⁶⁷ О «Беседе» как «Новом Вавилоне» см.: *Проскурин О.* Новый Арзамас — Новый Иерусалим. С. 88–90. Видимо, отчасти для усиления «вавилонского» колорита Уваров вводит в свой рассказ тему литературной содомии.

⁶⁸ Тема «антихриста», между прочим, тщательно разработана в «Дунциаде» Поупа. См. об этом 6-ю главу (*The Anti-Christ of Wit*) блестящего исследования: *Williams, Aubrey.* *Pope's Dunciad: A Study of its Meaning.* London: Methuen & Co., 1955. P. 131–158.

⁶⁹ Венди Росслин, которая тоже сделала арзамасскую речь Уварова предметом своего анализа (впрочем, нимало не сходного с нашим, см. с. 269–275 ее монографии) полагает, что отношения Буниной и Шишкова, как они описаны в речи Уварова, заключали в себе полемическое сопоставление с отношениями между Карамзиным и А. И. Плещеевой (*the relationship of tender friendship and platonic love*), отразившимися в поэзии Карамзина (P. 274; по-видимому, имеется в виду все же Н. И. Плещеева). Такое предположение представляется маловероятным. Намеки на былые отношения Карамзина с сестрой первой жены в пору, когда он был уже давно и счастливо женат вторым браком, в устах карамзиниста Уварова звучали бы вопиющей бестактностью. Помимо прочего, следует иметь в виду, что арзамасские речи и протоколы переписывались и немедленно отправлялись в Москву князю Вяземскому (брату второй жены Карамзина), который знакомил с ними весь московский карамзинский кружок — в том числе и самого Карамзина. В сохранившуюся в Остафьевском архиве тетрадь арзамасских бумаг (РГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1194) вошла и уваровская речь.

довательно, символически посрамленным. Сам Карамзин, видимо, отчетливо ощущал символически-ритуальный подтекст арзамасских насмешек над беседчиками (и, в частности, над Шишковым): сообщая жене о предстоящей встрече со своими «смешными неприятелями», он значимо выделил соответствующее определение подчеркиванием: *смешными* его неприятели сделались именно после арзамасских речей, в особенности после речи Уварова.

Ну а что же другая героиня уваровской речи — «бедная Певица» — Анна Петровна Бунина? При том что формально уваровская речь была посвящена именно ей, бедной певице оказалась уготована в общем вспомогательная роль. Она здесь не более чем орудие для осмеяния Шишкова. Между тем, многие из арзамасцев, хотя и любившие подчас посмеяться над Буниной, признавали за ней бесспорное дарование, которого не смогли вполне испортить ни Шишков, ни «Беседа». Батюшков, потопивший Бунину в своем «Видении на брегах Леты», писал Гнедичу в августе 1811 года: «Что делают все, и в этом числе Бунина, с которой я помирился? Она написала „О счастья“». Предмет обильный и важный, слишком важный для дамы. В ее поэме нет философии (а предмет философический), нет связи в плане, много чего нет, но зато есть прекрасные стихи. Прочитай конец третьей песни, описание сельского жителя. Это все прелестно. Стихи текут сами собою, картина в целом выдержана, и краски живы и нежны. Позвольте мне, милостивая государыня, иметь счастье поцеловать вашу ручку! Клянусь Фебом и Шишковым, что вы имеете дарование»⁷⁰. Правда, куплет о Буниной, как мы видели, появился было и в «Певце в Беседе Славенороссов» Батюшкова—Измайлова, но был устранен из вариантов, санкционированных Батюшковым к распространению: куплет обнаружился только в одном из самых ранних списков, сохранившемся в архиве Оленина (впрочем, как мы могли убедиться, куплет был хорошо известен Уварову, близкому к оленинскому кружку). Трудно сказать, чем более руководствовались соавторы в своем решении об изъятии этих стихов — видимо, свою роль сыграло не только признание дарования Буниной, но и сочувствие ее трагической судьбе.

В речи Уварова, однако, не стоит искать сентиментального гуманизма, как не стоит ее автора упрекать за отсутствие тако-

⁷⁰ Батюшков К. Н. Сочинения в двух томах. Т. 2. С. 178.

Бедная певица

вого. Его речь — образец блестящей и холодной, истинно классической игры, которой нет дела до реального человека. Литературная личность отвлекается здесь от бытового контекста; комические эффекты обнаруживаются всюду, где усматривается противоречие логике, разуму и вкусу. По отношению к своей героине Уваров вполне безжалостен — настолько, что даже отвечавший ему по жребию Дашков вынужден был (уникальный случай в арзамасской практике!) взять Бунину под защиту...

Через четыре года после речи Уварова (в начале 1820 года) в обзоре «Взгляд на текущую словесность» молодой В. К. Кюхельбекер разобрал новое издание стихотворений А. П. Бунинной. Стихотворения, которые послужили для Уварова образцом логических несообразностей, теперь оказались превознесены и противопоставлены конвенциональным мотивам элегической поэзии: «Здесь не мечтательное несчастье унылого юноши, который в существенном мире не нашел того, что может дышать в одном мире фантазии, здесь говорит несчастье истинное голосом боли, голосом отчаяния»⁷¹. Принципиальная переоценка творчества «бедной Певницы», произведенная молодым литератором, вышедшим из недр карамзинской школы, сигнализировала о конце господства старой эстетики и о рождении эстетики новой. Но Уварову эта эстетика будет уже совершенно чужда.

⁷¹ Кюхельбекер В. К. Взгляд на текущую словесность // Декабристы: Эстетика и критика. М.: Искусство, 1991. С. 239 (впервые: Невский Зритель, 1820, № 3).

«Сей призрак странный»

*О причинах и следствиях одного журнального выступления
Вильгельма Кюхельбекера*

«СТИХОТВОРЕНИЯ ТАКИХ РОДОВ, КОТОРЫХ ЕЩЕ НЕ БЫЛО В РОССИЙСКОМ СТИХОТВОРСТВЕ»¹

Недавно американская исследовательница Гитта Хаммерберг обнаружила в альбоме А. Е. Измайлова любопытный стихотворный текст — своего рода метакомментарий к альбомной продукции¹. По замечанию Хаммерберг, это, «возможно, наиболее примечательная в своем роде трансформация торжественного горацианского „Eхegi monumentum“ в неприязнительную „Шутку“». В ее статье приведен (в транслитерации) и кусочек текста этой «Шутки»:

Ia pamiatnik sebe vozdvig nesokrushimyi:
Ne v silakh grom, ni vikhr' podeistvovat' nad nim!
Edinym Geniem moim rukovodimyi,
Ia pervyi napisal Rossiiskii Omonim.
Tak, ves' ia ne umrul..²

Стихотворение, записанное в альбоме Измайлова, обрывается посреди фразы, поэтому исследовательница меланхолически заключила: «Угол страницы оторван, и мы никогда не сможем узнать ни всего стихотворения, ни его автора...»³ Однако, по счастью, у нас есть возможность узнать не только окончание «Шутки» и имя ее автора, но даже и повод, по которому

¹ РГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, ед. хр. 23.

² *Hammarberg, Gitta. Flirting with Words: Domestic Albums, 1770–1840 // Russia. Women. Culture. Edited by Helena Goscilo and Beth Holmgren. Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 1996. P. 304.*

³ *Hammarberg, Gitta. Flirting with Words: Domestic Albums, 1770–1840. P. 317.*

это стихотворение было написано. Более того: мы в состоянии включить непритязательный альбомный текст в определенный историко-литературный контекст и увидеть в нем отражение одного из любопытных этапов литературной борьбы первой четверти XIX века... Но обо всем по порядку.

В начале 1820 года лицейский однокашник Пушкина Вильгельм Кюхельбекер стал одним из фактических издателей нового журнала «Невский Зритель» (ключевое положение в редакции Кюхельбекер сохранит по крайней мере до апреля)⁴. В первых номерах «Невского Зрителя» (вышедших соответственно в феврале и марте) он поместил обширное обозрение новинок современной литературы и журналистики, появившихся в начале 1820 года, — «Взгляд на текущую словесность». В первой части статьи был дан примечательный отзыв об одном из столичных журналов — «Благонамеренном». Вот что писал Кюхельбекер:

«Благонамеренный» — журнал, издаваемый А. Измайловым с эпиграфом:

On fait ce qu'on peut
Et non pas ce qu'on veut. —

Не значит: взявшись за гуж, не говори, что не дюж. Но, впрочем, г. Издатель напрасно обижает самого себя; у него даже помещены стихотворения таких родов, каких еще не было в *российском стихотворстве*, а именно омонимы, что значит: тождесловы, или соименники, и поэтические анекдоты (иначе не умеем назвать сего рода, который, вероятно, также найдет многих себе подражателей), поэтические анекдоты о пьяницах.

К реплике о «поэтических анекдотах» Кюхельбекер дал саркастическое примечание:

Чтобы распространить круг литературных сведений наших читателей, мы считаем приятною для нас обязанностию поместить здесь сие стихотворение, по скромности названное сказкою:

*Филат жене своей с похмелья побожился,
Что пуншу в рот он не возьмет;
Посмотришь — ввечеру чуть жив домой идет.*

⁴ Гласе А. В. К. Кюхельбекер — издатель журнала «Невский Зритель» // Научные доклады высшей школы. Филологические науки, 1967, № 3. С. 111–113.

— *Бессовестный! Опять напился!*

Где был?

— *У свата Емельяна.*

— *Пуши пил?*

— *Нет!.. водки выпил три стакана⁵.*

Приведенный Кюхельбекером «поэтический анекдот» — стихотворная «сказка» А. Измайлова «Клятва пьяницы».

Из сочинений, помещенных в первых двух номерах «Благонамеренного» за 1820 год, похвалы — хотя и не безусловной — удостоились лишь стихотворения Вяземского («Во втором номере „Благонамеренного“ несколько стихотворений хотя и не в новом роде, но с подписью: Варшава») и «Послание к Е. А. Б...вой» Дельвига («легкая, прелестная безделица, напоминающая нам хорошие французские послания в сем роде»)⁶. Заканчивался разбор «Благонамеренного» весьма двусмысленным пассажем:

В заключение приведем еще четырестишие, подписанное: Томск.

Мудрец! на свете сем, меж глупыми и злыми,
Чем занят ты, я знать хочу.

— В большой больнице сей я слезы лью с больными,
*А с дураками хохочу!*⁷

Топонимом «Томск» подписывал свои стихотворные мелочи, печатавшиеся в «Благонамеренном», Алексей Дамианович Илличевский — однокашник Пушкина и Кюхельбекера, одно время «первый лицейский поэт» (он действительно проживал

⁵ *Кюхельбекер В. К.* Взгляд на текущую словесность // Кюхельбекер В. К. Путешествие; Дневник; Статьи. Издание подготовили Н. В. Королева, В. Д. Рак [М. Г. Альтшуллер]. Л.: Наука, 1979. С. 443 (впервые: Невский Зритель, 1820, № 2). В связи с предстоявшей эмиграцией М. Г. Альтшуллера (подготовившего для данного издания разделы «Путешествия», «Статьи» и «Дополнения») выпуск тома прозы Кюхельбекера в «Литературных памятниках» оказался под угрозой. Для спасения книги В. Д. Рак (подготовивший статью «Разбор фон-дер-Борговых переводов русских стихотворений») согласился, чтобы на титуле было выставлено его имя, но при условии, что в тайну будут посвящены два свидетеля — В. Э. Вацуро и В. П. Степанов. Об этом «сговоре» и о других трагикомических злоключениях издания см.: *Альтшуллер Марк.* Неопубликованная редакция повести В. К. Кюхельбекера «Адо» // Russian Language Journal, 1992. Vol. XLVI. № 153–155. P. 192–196.

⁶ *Кюхельбекер В. К.* Взгляд на текущую словесность. С. 443.

⁷ *Кюхельбекер В. К.* Взгляд на текущую словесность. С. 444.

в ту пору в Томске). Кюхельбекер процитировал напечатанное во 2-м номере стихотворение Илличевского «Ответ Карнеада». Нелишне заметить, что последняя строчка («А с дураками хохочу!») была выделена курсивом не Илличевским, а Кюхельбекером. С помощью строки из Илличевского Кюхельбекер как бы суммировал свою оценку «Благонамеренного». Намек выходил довольно обидный: «Благонамеренный» — это как раз и есть то сборище *дураков*, в котором *мудрецу* (шутка, вполне понятная только для своих: Илличевский некогда был активнейшим участником рукописного журнала «Лицейский мудрец») пристало лишь хохотать...

Этой знаменательной цитатой заканчивался разбор «Благонамеренного» — и вся первая часть «Взгляда на текущую словесность».

Чем же объясняется столь резкий отзыв Кюхельбекера о журнале, в котором он сам сотрудничал почти с основания и где поместил в 1818–1819 годах десять своих сочинений (девять стихотворений и рецензию на повесть И. Георгиевского «Евгения, или Письма к другу»)?..

«Благонамеренный», начавший выходить с января 1818, в первые годы издания был журналом пестрым: Измайлов печатал и своих родственников, и своих приятелей, и родственников своих приятелей. Так в журнал проникали поэтические упражнения Ф. Рындовского (казанского шурина постоянно вкладчика «Благонамеренного» — В. И. Панаева) — вроде прочувствованных стихов «Г. И. П.: К грудной булавке с птичкой, держащей сердечко на золотой цепочке» (1818, № 6. С. 286). Но вместе с тем Измайлов печатает и многих из лучших тогдашних авторов, открывает страницы своего журнала литературной молодежи, вчерашним лицеистам и их друзьям: помимо Илличевского и Кюхельбекера, в эту пору в «Благонамеренном» активно печатаются А. А. Дельвиг, Е. А. Баратынский, В. И. Туманский... В 7-м номере за 1818 год появится знаменитая «Надпись к портрету Жуковского» Пушкина...

Правда, во второй половине 1819 года «Благонамеренный» несколько зачах, зато как раз в начале 1820-го оживился (увы, ненадолго, но Кюхельбекер об этом еще не мог знать). В 1-м номере поэтический отдел ничем особенным не блистал, зато в отделе прозы была помещена очень неплохая повесть В. И. Панаева «Приключение в маскарде» (ставшая одним из источников пушкинских «Повестей Белкина»). Что же касается 2-го номера,

то по качеству литературного материала он мог, пожалуй, поспорить с любым из лучших тогдашних журналов: стихотворение Баратынского, стихотворение Дельвига, девять (!) стихотворений Вяземского, причем два из них — из тех, что станут классическими («Устав столовой» и «К красавице уединенной»)... Сочинители «второго ряда» тоже представлены вполне достойными текстами: идиллия В. Панаева «Дамет» (из лучших его произведений), шесть милых безделок А. Илличевского...

Возможно, язвительной тон отзыва Кюхельбекера отчасти объясняется какими-то — пока неизвестными нам — бытовыми обстоятельствами. Однако нетрудно заметить, что первые два номера «Благонамеренного» за 1820 год послужили Кюхельбекеру лишь поводом для того, чтобы высказаться о содержании и позиции измайловского журнала в целом. Общее же отношение Кюхельбекера к «Благонамеренному» явно определялось не только преходящими бытовыми моментами, но и более принципиальными вещами. Какими именно — нам и предстоит понять.

«ПОЭТИЧЕСКИЕ АНЕКДОТЫ О ПЬЯНИЦАХ»

Прежде всего, почему Кюхельбекер ополчился против стихотворных сказок издателя «Благонамеренного», А. Е. Измайлова, уничижительно назвав их «поэтическими анекдотами о пьяницах»?

А. Е. Измайлов был в свое время весьма популярным поэтом-баснописцем, уступавшим по степени известности только Крылову. С начала 1800-х до середины 1810-х годов он проделал довольно существенную эволюцию. Самые ранние его басни были написаны в суховатой и несколько архаичной манере И. И. Хемницера (следуя Хемницеру, Измайлов в ту пору использовал в основном сюжеты басен моралиста Геллерта). В начале 1810-х он меняет стилистику и старается писать изящные басни в духе И. И. Дмитриева. Но уже тогда Измайлов параллельно с обычными баснями о животных начинает сочинять литературно-полемические сказки. Этим сказкам суждено было сыграть в эволюции Измайлова решающую роль. Сказками (от французского conte) в классической теории именовались нравоучительные стихотворения, близкие басне, но избирающие своими героями людей. Плодовитейший баснописец и теоретик басенного жанра Д. И. Хвостов разграничивал басню («притчу») и сказку так: «Притча есть наставление (moralité), извлекаемое из повести о приключе-

ниях животных, птиц, рыб, насекомых, деревьев и всех бессловесных существ, и <...> подобием своим делает гнусным порок и возвеличивает добродетель <...> Сказка описывает приключения людей. <...> Сказка представляет нравоучение свое прямым лицом, не растворяя оно красками иносказания»⁸. В свете этой теории «Лебедь, Щука и Рак» Крылова — басня, а его же «Демьянова уха» — сказка. Нынешнему читателю такие нюансы могут показаться несущественными и чересчур схоластическими (басня и сказка воспринимаются как разновидности одного дидактического жанра); читателем начала XIX века они ощущались более отчетливо.

Уже первые сказки Измайлова начали разрушать представление о сказке как о дидактическом жанре, хотя бы и представляющем нравоучение «прямым лицом». Тот же Хвостов по поводу сказки Измайлова «Шут в парике» (1811) — понравившейся ему! — принужден был заметить: «...творение г-на Измайлова есть более полемическое и сатирическое, чем басня»⁹. Если в измайловских сказках начала 1810-х годов дидактика и аллегория вытеснялись литературной сатирой, то в сочинениях середины и особенно конца 1810-х годов дидактическая установка вытесняется бытовым материалом. Измайловские сказки этого времени — своеобразная панорама русского быта 1810–1820-х годов. Герои их из абстрактных персонажей, носителей того или иного отвлеченного свойства или порока, превращаются в российских чиновников, приказных, купцов, степных помещиков, мужиков... Персонажи погружаются в насыщенную бытовую атмосферу: действие сказок разворачивается в казенных местах, трактирах, торговых рядах, на городской улице. Действие нередко приурочивается к географически определенному пространству (Москва, Петербург, Ярославль, Смоленск и пр., и пр.; в сказке «Служанка» названо даже несколько петербургских адресов!). Местный колорит проявляется и в мелких деталях: в сказках Измайлова герои потчуют друг друга архангельской семгой и вологодскими рыжиками («Заветное пиво»), на дуэли стреляются из английских пистолетов («Стрелки»), а в качестве взяток дают оренбургские шали («Так, да не так»)...

⁸ Хвостов Д. И. Поэма: Притчи. М., 1807. С. 25–26.

⁹ Литературный архив: Материалы по истории литературы и общественного движения. Под ред. С. Д. Балухатого, Н. К. Пиксанова и О. В. Цехновицера. Вып. 1. М.; Л.: АН СССР, 1938. С. 376.

фически и социально окрашенной становится и речь персонажей. Вот как изъясняется у Измайлова традиционный скупец (из басни «Кашей и лекарь», напечатанной в 1-м номере «Благонамеренного» за 1818 год) — перед нами словно заготовка к монологу гоголевского Плюшкина:

Что ж делать? Так и быты! Сейчас пошлю Ванюшку.
Иван! приподними ты у меня подушку;
Возьми, вот пять алтын!
Вот гривна!.. Кажется, дал лишний грош один.
Постой-ка: раз, два, три, четыре, пять — ну, верно!
Скорей с рецептом ты беги,
Да не зайди в кабак. Куда как это скверно!..
Не грязно на дворе, так скинь ты сапоги.

Быт (то есть зарисовки повседневной жизни, часто в ее языковой выразительности и определенности) использовался как материал сатирической и комической поэзии и до Измайлова. Но прежде быт осмыслялся как *низкий быт* — как сфера, противостоящая норме и идеалу, достойная только обличения и насмешек. Как комический материал использован быт и в знаменитом «Опасном соседе» В. Л. Пушкина, в создании которого, по сообщениям осведомленных современников, принимали участие и другие карамзинисты, в том числе Жуковский (Жуковскому приписывался блистательный в своей непристойной двусмысленности стих: «Херы с покоями сплетались по стенам»). Однако за «Опасного соседа» никто никогда ни словом не попрекнул Василия Львовича Пушкина (если не считать, конечно, задетого в поэме Шаховского). Более того: заведомо непечатной поэмой восторгались самые рафинированные ценители — от Батюшкова до Баратынского. Напротив того, бытописательные сказки Измайлова (по своим сюжетам не шедшие ни в какое сравнение с «Опасным соседом») были встречены критикой как неприличные, грязные, низкие, сальные. Почему?

Потому что поэма Василия Львовича принадлежала к «нижнему этажу» литературы, то есть к той ее подпольной области, которая не только допускала, но и *предполагала* нарушение норм и условностей, обязательных для литературы «верхнего этажа»¹⁰

¹⁰ О соотношении «нижнего» и «верхнего» пластов словесности в эстетической практике карамзинистов см.: *Лотман Ю. М. Поэты 1790–1810-х годов // Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб.: Искусство-СПБ, 1996. С. 343–348.*

(сам Василий Львович, переходя с нижнего этажа на верхний, писал вполне конвенциональные чувствительные романсы, изящные басни и дидактические послания). Специфическая пикантность «низкого» текста в полной мере выступала только на фоне этих норм.

Простодушная дерзость Измайлова заключалась в том, что он рискнул распространить принципы построения «нижнего этажа» литературы на ее «верхний» этаж. Он заговорил на языке «подпольных» жанров в жанрах басни и сказки, которые усилиями карамзинистов (главным образом — эпигонов карамзинизма) превратились в новозавоеванную территорию, подчиненную изящному салонному Вкусу. Мало того: Измайлов — может быть, первый из представителей «высокой литературы» — начал воспринимать быт не только как объект сатиры, но и как объект эстетического любования. Он явно получал удовольствие от изображения быта как такового, безотносительно к дидактическим задачам, от смакования жанровых сценок, от бескорыстной игры с языком разных социальных слоев...¹¹ И это, конечно, ощущали читатели, в общем с благодарностью принявшие измайловские новации.

Современная критика была не столь благосклонна. В лучшем случае она соглашалась рассматривать новые сказки Измайлова как некое подобие фламандской жанровой живописи: к началу 20-х годов Измайлов получает репутацию «русского Теньера» (Тенирса) — по имени живописца, любившего изображать «низкие» предметы. Однако чаще басни и сказки Измайлова встречались жесткой критикой. Серию печатных нападок на Измайлова открыл третьестепенный литератор Г. Окулов — специальной брошюрой, посвященной разбору измайловских басен: «Издатель С<ына> О<течества> сделал отзыв о баснях г. Измайлова <...> что их можно детям выучивать наизусть для образования их нравственности — но какой благоразумный родитель позволит детям твердить отвратительные выражения: *насандалить исправно нос, как стелька пьян* и тому подобные, или заставит выучивать наизусть подробности пьяных происшествий в трактирах? <...> Ничто так не располагает к развращению молодых сердец, как чтение та-

¹¹ См. об этом некоторые соображения в статье: *Проскурин О.* «Писатель не для дам»: К демифологизации расхожих историко-литературных представлений // Новое литературное обозрение, 1993, № 2. С. 210–213.

кого роду сочинений»¹². Вскоре подобные обвинения сделаются общим местом высказываний об Измайлове.

Примечательно, однако, что новации Измайлова могли неприязненно восприниматься не только литераторами, хранившими традиционные (настоящие на эстетике позднего классицизма) представления об «изящном», но и представителями новых литературных генераций. Нападки на Измайлова, давно раздававшиеся из разных лагерей, подытожит во второй половине 20-х годов отнюдь не «литературный старовер», а Ксенофонт Полевой (человек поколения Кюхельбекера!) — в ту пору адепт самых модных эстетических идей. В своих оценках он, на первый взгляд, поразительно совпадет с консервативным Г. Окуловым: «У Г. Измайлова те и лучшие Басни и Сказки, где выходят на сцену *Пьянюшкины, Яшки-повара, люди в сермяжной броне* (собственное выражение Г. Измайлова) и прочие *подонки общества*: здесь он является Теньером, верным списателем поговорок, привычек избранного им класса; но если всякий список, с самого изящного произведения, не ведет к великому, творческому, то каковы должны быть списки с тех предметов, которые в старину назывались *неизящною природою?*» Полевой осуждает не только предметы, но и язык измайловских сочинений: «В выражениях Г. Измайлов не разборчив. Положим, что ему может казаться забавным и даже приятным частое употребление слов: *лучок, блинки, припека, селедка, ветчинка, ячки* и проч. и проч. и прочее: у всякого свой вкус; но, кажется, ни чьему вкусу не может угодить частое употребление слов, каковы: *каналья, бестия, вор, мошенник, дьявол, плут* и проч. и проч., и проч. А они так часто встречаются у него, особенно в Баснях, названных им Сказками! Решительно не советуем молодым авторам в этом подражать Г. Измайлову. Пусть учатся они языку у Дмитриева и Крылова, простодушной плутоватости у Хемницера и забывают *Яшек-поваров и Пьянюшкиных, отставных квартальных*»¹³.

Нападки Ксенофонта Полевого на сочинения Измайлова, при всем внешнем сходстве их с выступлениями критиков 1810-х годов, исходят, однако, из новых эстетических предпо-

¹² Окулов [Г. А.] Рассмотрение рассуждения, изданного г. Измайловым, в журнале С. О., о басне, и самых его басен. СПб., 1817. С. 27–28.

¹³ Кс. <Полевой К. А.> Сочинения в прозе и стихах Александра Измайлова <...> Басни и сказки Александра Измайлова, издание пятое <...> Опыт о рассказе басни <...> // Московский телеграф, 1827, № 3. С. 215, 217.

сылки. Ксенофонт Полевой уже усваивает романтическую концепцию поэзии: в основе поэтического творчества должно находиться не «подражание природе» (как то представлялось теоретикам классицизма), а выражение возвышенного духа художника-творца. В этой перспективе сочинения Измайлова плохи вдвойне: и потому, что они всего лишь подражают природе, и потому, что они подражают природе неизящной, низкой, отвратительной. Выражение подобной позиции в статье романтически ориентированного автора второй половины 20-х годов вполне естественно. Куда примечательнее, что те же, по сути, взгляды выражает Кюхельбекер — в пору, когда о романтизме в России появляются только первые слухи и когда само слово «романтик» не употребляется еще даже и как бранная кличка. Это обстоятельство говорит о том, что в системе эстетических взглядов Кюхельбекера очень рано начинают созревать предпосылки для усвоения романтической эстетики, но созревают они на особой почве.

По свидетельству Н. А. Маркевича (особенно ценному для нас тем, что оно относится непосредственно к интересующему нас времени; Маркевич был учеником Кюхельбекера по Благородному пансиону при Петербургском педагогическом институте в 1817–1820 годах), «Кюхельбекер не высоко ценил его [Измайлова] и говорил, что сказки его пахнут гостиним двором, кабаком

и чесноком и водкой...».¹⁴

Характеризующая сказки Измайлова поэтическая формула (почти наверняка восходящая к реплике самого Кюхельбекера) — особенно выразительна; это цитата из «Опасного соседа» В. Л. Пушкина:

Вся провонявшая и чесноком и водкой,
Сидела сводня тут с известною красоткой...

«Сводня» с «известною красоткой» — это те «две гостьи дюжие», которые в поэме Василия Пушкина «Стерна Нового как диво величали». В интерпретации Кюхельбекера, «гостьи

¹⁴ Маркевич Н. А. Из воспоминаний // Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. В 2 т. Сост. и прим. Р. В. Иезуитовой, Я. Л. Левкович, И. Б. Мушиной. Т. 2. М.: Художественная литература, 1980. С. 301.

дюжие» скорее должны величать как диво басни и сказки издателя «Благонамеренного»: последние, по Кюхельбекеру, обладают теми же свойствами, что и сами обитательницы низкопробного веселого дома...

«Низкий быт» был изначально исключен из системы эстетических ценностей Кюхельбекера, воспитанного на трактате Псевдо-Лонгина «О возвышенном» и с юных лет устремленного к «высокому и прекрасному»¹⁵. Идеи Лонгина (будем и дальше называть неведомого гения так, как называли его в XVIII и начале XIX века), почитавшегося авторитетом и в классической теории, оказались одним из важнейших источников для формирования европейской романтической эстетики. Во-первых, лонгиновское понимание «возвышенного» заключало в себе почти все те качества, которые романтики распространяют на поэзию как таковую (поэзия *вся* должна быть возвышенной); во-вторых, основным условием поэзии, по Лонгину, оказывается не следование правилам, не тщательность отделки, а возвышенное состояние души, помыслов и чувствований автора. Это — краеугольный камень романтической концепции творчества.

В Европе романтическая адаптация фундаментальных идей Лонгина произошла уже в ту пору, когда сам он утратил былой авторитет и уже почти не читался. Его идеи усваивались романтиками в основном через посредников¹⁶. Не так было в России, с ее на редкость динамическим и, как следствие, смещенным литературным развитием. Случай Кюхельбекера демонстрирует возможность прямого воздействия Лонгина на формирование романтического сознания, обнаруживает вызревание романтических идей внутри не утратившей престижа классической эстетики. В свете этого раннего, но уже почти романтического лонгинианства становятся особенно ясными причины резкой неприязни Кюхельбекера к сказкам Измайлова, написанным в новой манере: ни величия помыслов, ни

¹⁵ Ср. точное замечание: «Тсория „высокого“, обоснованная в трактате Лонгина, стала для Кюхельбекера исходным пунктом в развитии его литературно-эстетических воззрений» (*Мордовченко Н. И.* Русская критика первой четверти XIX века. М.; Л.: АН СССР, 1959. С. 378; на с. 378–379 — краткие, но исключительно важные соображения о значимости лонгинианства как для Кюхельбекера, так и для некоторых литераторов более младшего поколения — в частности, Шевырева).

¹⁶ См. об этом: *Abrams M. H.* The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition. NY: W. W. Norton & Co., Inc., 1958. P. 72–78.

силы и восторга чувствований (необходимые условия возвышенного искусства, по Лонгину) обнаружить в них, конечно, было невозможно.

Общеэстетические воззрения Кюхельбекера рубежа десятилетий наиболее отчетливо выразились в его аналитических разборах картин из Дрезденской галереи (это фрагменты так называемого «Путешествия», опубликованные в 1824 году, в «Мнемозине», но писавшиеся в основном в 1821–1822 годах). Для наших целей особенно важны оценки художников фламандской школы. Кюхельбекер, отдавая должное некоторым из фламандцев, даже в лучших из них видит либо слишком неформленное и мутное вдохновение (как у Рембрандта), либо слишком тесную связь с повседневной жизнью, не просветленной светом трансцендентного идеала. Последние, по Кюхельбекеру, подобны тем стихотворцам, которые избрали «род, приближающийся к земной, обыкновенной жизни, к прозе изображений и чувств; писатели, посвятившие себя этому роду, бывают стихотворцами, но не поэтами; между ними есть таланты, но нет гениев»¹⁷ (таковы, по Кюхельбекеру, Буало, Поп, Фонтенель, Виланд). Если даже замечательные художники, слишком погруженные в «обыкновенную жизнь», обречены на неполноценность, то что же говорить о тех из них, кто выбрал своим предметом «низкий быт»?.. «Теньер, всегда однообразный и отвратительный, в Дрездене тот же, что в С.-Петербурге: у него везде пьяные мужики, растрепанные солдаты, толстые бабы, грубые пляски, карты и вино».¹⁸

Говоря о Теньере (Тенирсе) и подобных ему художниках, Кюхельбекер не приводит параллелей из искусств словесных, как он это делал ранее. Но таких параллелей проводить в общем и не требовалось: они напрашивались. Репутация «российского Теньера» в поэзии уже была закреплена за Александром Ефимовичем Измайловым. Следует заметить, что само описание картин Теньера не лишено у Кюхельбекера двусмысленности (видимо, вполне сознательной): Теньер «в Дрездене тот же, что в С.-Петербурге». Буквальный смысл высказывания, разумеется, такой: картины Теньера, хранящиеся в Дрезденской галерее, совершенно таковы же, что и его картины, хранящиеся в петербургских собраниях... Но за ним просветчи-

¹⁷ Кюхельбекер В. К. Путешествие // Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. С. 18.

¹⁸ Кюхельбекер В. К. Путешествие С. 23.

вает второй, каламбурный, смысл: «дрезденский Теньер» (художник) столь же однообразен и отвратителен, что и «петербургский Теньер» (А. Е. Измайлов). Такое каламбурное прочтение тем более естественно, что перечисленные Кюхельбекером «отвратительные» сюжеты картин Теньера — почти совершенно те же, что в «поэтических анекдотах» Измайлова... Основания для романтического противопоставления художников, прикрепленных к земной жизни, и художников, устремленных в мир идеала, по сути, были уже заложены в лаконической реплике о «поэтических анекдотах о пьяницах».

«ТОЖДЕСЛОВЫ, ИЛИ СОИМЕННИКИ»:
СТИХОТВОРЕНИЯ ДЛЯ ЗАБАВЫ
И ВОЗВЫШЕННАЯ ЭСТЕТИКА

Попытаемся понять теперь, почему Кюхельбекер с таким сарказмом обрушился на сочинения другого рода, также причисленные им к сочинениям, еще неизвестным в российском стихотворстве, — на «тождесловы, или соименники», чаще, впрочем, именуемые своим греческим названием — «омонимы».

Жанр омонима принадлежал к числу литературных игр, так или иначе связанных с загадкой (Н. Остолопов в «Методической таблице» к своему «Словарю древней и новой поэзии» отнес их к рубрике «Стихотворения для забавы»¹⁹). Самой простой (и самой популярной) из них была шарада (по описанию частей требовалось угадать целое слово); другие стихотворения такого типа были чуть посложнее, но строились по тому же принципу. Подобные безделки, родившиеся в салонных играх и составлявшие поэтическую периферию карамзинизма, неожиданным образом сделались особенно популярными в самом конце 1810-х годов. В ту пору они печатались повсеместно — и в консервативном «Вестнике Европы», и в либеральном «Соревнователе просвещения и благотворения». Уже знакомый нам Ксенофонт Полевой, вспоминая о первых выступлениях своего брата Николая в московской печати (относившихся, между прочим, именно к 1820 году), рассказывал, что тот поместил в «Вестнике Европы» Каченовского «множество шарад, анаграмм, омонимов, логогрифов,

¹⁹ Словарь Древней и Новой поэзии, составленный *Николаем Остолоповым*, Действительным и Почетным Членом разных Ученых Обществ. Часть 3. СПб.: Императорская Российская Академия, 1821. С. XXIX.

ничтожных игрушек стихотворных, которые были тогда в моде». Вместе с тем мемуарист считал нужным подчеркнуть: «„Благонамеренный“, журнал А. Е. Измайлова, сделался чуть не *специальностью* этого рода сочинений, как сказали бы в наше время, когда, заботясь об оригинальности, искажают язык»²⁰.

Справедливости ради надо заметить, что на первых порах «Благонамеренный» печатал сочинения «этого рода» даже в меньшем числе, чем это делали другие литературные журналы. В 1818 году появилась одна единственная (!) шарада (в 7-м номере, сочинение Д. Самсонова). Лишь с 1-го номера 1819 года шарлады начинает печатать сам Измайлов (в 1, 2 и 3-м номерах). Его почин был подхвачен: к издателю «Благонамеренного» скоро присоединятся Н. Остолопов (под псевдонимом «Никост») и некто М. С... Активность вдохновленных издателем авторов росла стремительно: с 5-го номера «Шарады» выделяются в особый отдел; до конца года в нем опубликовано почти полсотни стихотворных безделок. Жанр шарлады, доминировавший среди литературных забав «Благонамеренного» (видимо, как самый легкий), дополнялся другими, более сложными: в 1819 году были опубликованы два логогрифа (Остолопов и И. Покровский) и три омонима (Остолопов и П. Теряев; Остолопов напечатал два омонима и в начале 1820 года — в первых двух номерах, отрецензированных Кюхельбекером). Кроме того, в измайловском журнале печатались загадки и альбомные акrostихи.

Николай Остолопов, отличавшийся особой неутомимостью и изощренностью в составлении сочинений подобного рода, поместил во 2-м номере «Благонамеренного» за 1820-й извлечение из готовившегося им к печати «Словаря древней и новой поэзии» (под названием «О загадке, логогрифе, шарладе и омониме») — подробнейшее описание «забавных» жанров, правила к их сочинению и, разумеется, образчики сих родов стихотворства. Вот что писал Остолопов, в частности, об *омониме*: «Недавно изобретен в Германии новый род загадки, названной по Гречески *омоним*, а по Немецки *Gleichname*, что значит *Тождеслов* или *Соименник*. Загадка сия делается таким образом: должно найти слово, которое имело бы различные значения, и каждому из сих значений делать особенное опре-

²⁰ Николай Полевой: Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Ред., вступ. статья и комментарий Вл. Орлова. Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1934. С. 131.

деление по правилам простых загадок, то есть, стараться, чтобы оныя определения не были ни слишком ясны, ни слишком темны и затруднительны для отгадывания <...> На Русском языке первые Омонимы появились в прошедшем 1819 году — в Журнале Г. Измайлова под названием *«Благонамеренный»*²¹.

Первые русские омонимы принадлежали, разумеется, перу самого Николая Федоровича Остолопова. Созданный Остолоповым *первый* российский омоним (*«Благонамеренный»*, 1819, часть 8, № 19), был особенно сложным и заключал в себе сразу четыре значения:

Вещь чудную во мне, читатель, ты найдешь,
Когда подробнее рассмотришь, разберешь
Мои различные деяния и свойства:
Я часто в война вселяю дух геройства;
Небесные тела известны стали мной;
Огня ты не страшись тогда, как я с тобой;
При том же иногда так высоко бываю,
Что храмы и дворцы ногами попираю;
Имею сходственность с людьми — и вот она:
Наружность белая, а внутренность черна.

Разгадка омонима: *«труба — она бывает воинская, зрительная, пожарная, печная»*²².

Впрочем, и омоним Остолопова, помещенный в 1-м номере *«Благонамеренного»* за 1820 год (разобранном Кюхельбекером), хотя был не столь богат значениями (их всего три), зато отличался зловещей замысловатостью:

Меня в натуре нет; один лишь только знак.
Но солнышко его не обойдет никак.
Меня встречаете с предлинными усами,
Хожу я по земле и плаваю в воде.
Меня ж — читатели! вы согласитесь сами —
Дай Бог вам не иметь и не видеть нигде²³.

²¹ Текст Остолопова практически без изменений был перепечатан в его *«Словаре древней и новой поэзии»*. Здесь и далее цитирую по изд.: *Словарь Древней и Новой поэзии*, составленный Николаем Остолоповым, Действительным и Почетным Членом разных Ученых Обществ. Часть 2. СПб.: Императорская Российская Академия, 1821. С. 279–280, 281 (фототипическое переиздание: München: Wilhelm Fink Verlag, 1971).

²² *Словарь Древней и Новой поэзии*. Часть 2. С. 282.

²³ *Словарь Древней и Новой поэзии*. Часть 2. С. 281.

Разгадка: «*Рак*. — Слово сие принято здесь в трех знаменованиях, означающих *знак Зодиака, животное и болезнь*».

Издатель «Благонамеренного» в пространном примечании к статье Остолопова дополнил сведения из истории поэтических игрушек на русской почве (не преминув воспользоваться удобным случаем, чтобы отметить и свои личные заслуги в распространении столь приятных жанров): «Первые самые Шарады, если не ошибаюсь, напечатаны были у нас в Журнале: С.П.бургский Меркурий 1793 года. Логогрифы ввел в употребление Сочинитель сей статьи (Н. Ф. Остолопов). Прежде всего показались они в его Журнале: Любитель Словесности 1806 года. В прошедшем 1819 году удалось мне написать несколько *Шарад*, и я был так счастлив, что нашел многих себе подражателей: теперь, по благосклонности их, довольно запасено у меня Шарад для *Благонамеренного*»²⁴. Как уже отмечалось, благосклонность подражателей Измайлова оказалась даже чрезмерной...

Чем, однако, особо провинились перед Кюхельбекером невинные литературные игрушки? Тем, в частности, что это именно *игрушки*. Мелочные версификационные поделки должны были представляться Кюхельбекеру уродливым — и в своем роде логичным — следствием того взгляда на поэзию, который творчество сводил к «форме», к «легкости и чистоте слога» (тот же Измайлов в своем комментарии к статье Остолопова писал: «Замечу, что легкость и шутовность слога составляют главное достоинство как Шарады, так Логогрифа, Загадки и т. п.»²⁵). Литературные забавы как бы доводили до предела представление о поэзии как словесной игре. В этом смысле сама идея (и популярность!) литературных игрушек, в представлении Кюхельбекера, заключала в себе нечто противоположное идеалу высокого искусства. Уже в 1845 году в своем дневнике Кюхельбекер так комментировал сон,

²⁴ Благонамеренный, 1820, № 2. С. 102. Г. В. Зыкова уточняет эти сведения: «Первые русские шарады появились, кажется, в журнале В. С. Подшивалова и П. А. Сохацкого «Чтение для вкуса, разума и чувствований» (М., 1791–1794)» (Зыкова Г. В. Поэтические игрушки // Русская речь, 1993, № 6. С. 113). Эта поправка в свою очередь требует небольшого уточнения: первая стихотворная «Шарада» появилась во II части «Чтения для вкуса, разума и чувствований» за 1791 г. (с. 259), когда журнал еще не перешел под редакцию Подшивалова (это случится в 1792 году), а издавался содержанием Университетской типографии В. И. Огороковым.

²⁵ Благонамеренный, 1820, № 2. С. 102.

в котором ему явились покойные Крылов и Пушкин (запись от 27 мая): «Теперь не во сне скажу, что мы, т. е. Грибоедов, я и даже Пушкин, точно обязаны своим слогом Крылову; но слог только форма; роды же, в которых мы писали, все же гораздо выше басни, а это не безделица»²⁶. Если даже почтенный род басни гораздо ниже тех, что мыслились Кюхельбекером необходимым условием для пропуска в бессмертие, то что же говорить о «Тождесловах, или Соименниках»?.. Представления, которые с полной отчетливостью прозвучали в 1845 году, оформлялись в эстетическом сознании Кюхельбекера уже на рубеже 1810–1820-х.

«ЗАГАДКИ ВСЯКОГО РОДА»: СТИХОТВОРНЫЕ БЕЗДЕЛКИ И ТЕКУЩАЯ ПОЛИТИКА

Резкие нападки Кюхельбекера на стихотворные забавы объяснялись, однако, не только эстетическими причинами. На это определенно намекает фраза, брошенная критиком еще до разбора «Благонамеренного», в связи с определением авторства стихотворений Вяземского в «Сыне Отечества» (напечатанных анонимно либо с подписью «Варшава»): «Загадки всякого рода ныне очень в моде: мы надеемся, что наша столь же легка, как известная французская...»²⁷ Что означает: «загадки всякого рода»? Многообразие форм литературных забав? Думается, не только это. Скрытый смысл реплики Кюхельбекера проясняется политическим (и связанным с ним литературным) контекстом.

Одиннадцатого марта (по Григорианскому календарю — 23 марта) 1819 года немецкий студент-террорист Карл Занд убил даровитого апологета политики Священного Союза, агента русского правительства в Германии, известного литератора Августа фон Коцебу. К смерти был приговорен и находившийся в Германии с особой миссией русский дипломат и литератор Александр Скарлатович Стурдза — автор политического памфлета *Mémoire sur l'état actuel de l'Allemagne* (1818), в котором немецкие университеты расценивались как опасные рассадники революционного духа и атеизма. Стурдзе, заранее предупрежденному, удалось своевременно скрыться. В апреле он был уже в Варшаве.

²⁶ Кюхельбекер В. К. Дневник // Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. С. 429.

²⁷ Кюхельбекер В. К. Взгляд на текущую словесность. С. 439.

Обычно ко времени от 2 апреля до июня 1819 относят текст известной пушкинской эпиграммы на Стурдзу:

Холоп венчанного солдата,
Благодари свою судьбу:
Ты стоишь лавров Герострата
Иль смерти немца Коцебу.
А впрочем, мать твою <...>²⁸.

Верхняя крайняя дата мотивируется тем, что информация об убийстве Коцебу была обнародована в номере «Северной почты» от 2 апреля и до того времени Пушкин не мог знать об этом событии²⁹. Однако, чтобы получить известия о покушении Занда, Пушкину не нужно было дожидаться номера «Северной почты». Н. М. Карамзин информировал об этом событии И. И. Дмитриева уже 31 марта: «Коцебу зарезан в Мангейме Студентом за его немодный образ мыслей. Что-то будет с Стурдзою?»³⁰ С другой стороны, пушкинская эпиграмма — определенно отклик *не* на события 11 (23) марта; убийство Коцебу — только *фон* для другого сюжета. Эпиграмма явно относится к периоду, достаточно близкому к террористическому акту Занда (он еще свеж в памяти и актуален) и в то же время несколько отдаленному от него (убийство Коцебу заслоняется иной, более злободневной проблематикой). В центре пушкинской эпиграммы — деятельность и судьба А. К. Стурдзы.

Участь Стурдзы активно обсуждается братьями Тургеневыми, Вяземским и Карамзиным с весны до середины лета 1819 года. Следы обмена мнениями и подчас резких споров запечатлелись в их тогдашней переписке. Стурдза был почти своим: он был любимцем министра иностранных дел Каподистрии — «почетного арзамасца»; на его сестре был женат арзамасец Д. П. Северин (протеже и, по некоторым слухам, побочный сын И. И. Дмитриева). Поэтому и участь и идеи Стурдзы

²⁸ Пушкин. Полн. собр. соч. Т. II. М.: Изд. АН СССР, 1947. С. 78, 554. Последний стих, наличествующий во всех авторитетных списках, не был включен в основной текст Академического собрания сочинений явно не по текстологическим, а по идейным соображениям.

²⁹ Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина: 1799–1826. Изд. 2, испр. и доп. Л.: Наука, 1991. С. 178, 653.

³⁰ Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб.: Имп. Академия наук, 1866. С. 259.

переживались в высшей степени интимно. С одной стороны, брошюра «Mémoire sur l'état actuel de l'Allemagne», едва не стоившая автору жизни, выражала мнения, с которыми не мог вполне согласиться даже Карамзин. С другой — Стурдза ставил вопросы, которые занимали всех: безопасность и развитие посленаполеоновской Европы, судьбы наследия Просвещения, роль религии в конструировании нового порядка, и т. д. и т. п. В суждениях Стурдзы усматривались не только безусловные ошибки, но и крупницы истины. Самой остротой поставленных вопросов книга Стурдзы провоцировала на раздумья. Можно ли примирить обнаруженные в позиции Стурдзы противоречия? Как соединить стремление к свободе с законностью и твердым порядком? Как согласовать интересы народов с интересами государств?.. С подобными дебатами, вызванными книгой Стурдзы и самой его деятельностью, Пушкин — посетитель Карамзина и завсегда́тай дома братьев Тургеневых (где он, кстати, встречался со Стурдзой в 1818 году)³¹ — был, бесспорно, хорошо знаком. Его эпиграмма на Стурдзу — видимо, в известной степени полемическая реплика на мнения, слышанные им в кругах петербургских знакомых весной — летом 1819 года.

У пушкинский эпиграммы, однако, есть и другой — литературный — план, который позволяет уточнить ее датировку и реконструировать, по крайней мере отчасти, обстоятельства ее создания. В 12-м номере «Благонамеренного» за 1819 год (датированном 30 июня) была напечатана «Загадка» В. К-ва:

Друзья! что значит сей фантом,
С умильным, ласковым лицом,
Но и с когтями, и с хвостом,
Подобье древня супостата?
Трубит в бумажную трубу,
Увенчан лаврами Марата.
Обрызган кровью Коцебу³².

Автором, скрывшимся за псевдонимом В. К-в, был, бесспорно, В. И. Козлов (под тем же самым криптонимом в том же самом номере «Благонамеренного» появились лирические стихотворения Козлова «К самому себе» и «Весеннее

³¹ «Арзамас»: Сборник в двух книгах. Кн. 1. С. 52.

³² Благонамеренный, 1819, № 12. С. 352–353.

чувство»)³³. Пушкин Козлова знал еще по «допожарной Москве» — тот бывал в московском доме отца поэта, Сергея Львовича. Сохранившиеся высказывания Пушкина о Козлове (все — в письмах брату Льву) исполнены презрительной насмешливости. Для Пушкина он образец «невежества» и плебейского сервилизма. Так, в письме ко Льву от января — начала февраля 1824 года Пушкин замечает: «Русская слава льстит может какому-нибудь В. Козлову, которому льстят и петербургские знакомства, а человек немного порядочный презирает и тех и других»³⁴. Не объясняется ли подчеркнуто пренебрежительный тон подобных отзывов среди прочего и фактом публикации «Загадки», выразившей воззрения и настроения самой консервативной части петербургского общества?..

Строго говоря, загадкой («стихотворением для забавы») в точном смысле слова «Загадка» Козлова не была. Это скорее политический памфлет, облеченный в форму стихотворения для забавы. Об ответе на загадку предоставлялось задуматься самим читателям: обычной расшифровки в «Благонамеренном» не последовало. Но разгадать смысл «Загадки» для искушенного читателя не составляло особого труда: страшный «фантом» — это, несомненно, дух вольности...³⁵

Текст пушкинской эпиграммы находится с козловской «Загадкой» в отчетливых интертекстуальных отношениях: Пушкин использует общую структуру «Загадки», ее ключевые образы, систему ее рифмовки, демонстративно рифмует свои стихи со стихами Козлова (*супостата — солдата, Марата — Герострата, трубу — судьбу*), значимо сохранив в пуантирующей рифме — но наполнив совершенно иной семантикой! — имя убиенного Коцебу... Разумеется, пафос пушкинской эпиграммы оказывается прямо противоположным пафосу

³³ О В. И. Козлове см. биографический очерк В. Э. Вацура в изд.: Поэты 1820–1830-х годов. Т. 1. Биограф. справки, составление, подготовка текста и примечания В. Э. Вацура. Л.: Советский писатель, 1972. С. 89–90.

³⁴ Пушкин. Полн. собр. соч. Т. XIII. С. 86.

³⁵ Своего рода художественной параллелью к стихотворению Козлова, проясняющей его смысл и направленность, могут служить альбомные эскизы Ореста Кипренского конца 1810-х годов (т. е. современные «Загадке») — «Гений вольности, несомый химерою» и т. н. «Аллегория вольности» (см. их воспроизведение, напр., в изд.: Зименко В. М. Орест Адамович Кипренский. 1782–1836. М.: Искусство, 1988. С. 226–227). На этих эскизах «гений вольности» изображен в виде человека с крыльями мотылька, с повязкой на глазах и с факелом в руке; несущая его химера — «с когтями и с хвостом».

козловской «Загадки»: проклятие духу либерализма трансформируется в проклятие духу Священного Союза³⁶.

Теперь можно попытаться ответить на вопрос, когда именно и при каких обстоятельствах появилась пушкинская эпиграмма. Номер «Благонамеренного» с «Загадкой» Козлова датирован 30 июня. С середины до конца июня Пушкин серьезно болен — настолько серьезно, что друзья опасаются за его жизнь. Лишь 1 июля Вяземский с облегчением пишет Тургеневу: «Пушкин выздоравливает»³⁷. В пору выздоровления Пушкину и должен был попасть в руки свежий номер «Благонамеренного» с «Загадкой» В. К-ва (легко представить, с какой жадностью должен был наброситься на него Пушкин, несколько недель оторванный от литературных новинок). «Воскресавший» Пушкин находился в эпиграмматическом ударе. Об этом свидетельствует мемуарный рассказ В. Эртеля, посетившего выздоравливающего поэта в компании с Дельвигом и Баратынским: «Мы говорили о древней и новой литературе. Суждения его были вообще кратки, но метки, и даже когда они казались несправедливыми, способ изложения их был так остроумен и блистателен, что трудно было доказать их неправильность. В разговоре его была большая склонность к насмешке, которая часто становилась язвительною»³⁸. Ценность приведенного свидетельства в том, что это один из немногих мемуарных рассказов о молодости поэта, опубликованных *при жизни* Пушкина; достоверность его, следовательно, очень высока.

По всей вероятности, эпиграмма на Стурдзу была создана экспромтом во время одного из подобных разговоров поэта с друзьями «о древней и новой литературе» (и, конечно, не только о литературе) либо на одном из сопутствовавших

³⁶ Не могло ли, однако, все быть наоборот: не Пушкин играл с текстом В. Козлова, а напротив, Козлов откликнулся на текст Пушкина? Вряд ли. В отклике на эпиграмму Пушкина невозможно было бы писать об «умильном, ласковом лице» демонического фантома. В пушкинской эпиграмме нет никакой «маски», прикрывающей «кровожадные намерения». Более того: демонстративная и вызывающая определенность пушкинского текста, видимо, как раз и объясняется тем, что Пушкин как бы стремился снять с либералистов обвинения в двуличии. Созданный фантазией Козлова фантом — не личность, а «дух времени».

³⁷ Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 1. СПб., 1899. С. 260.

³⁸ Цит. по: Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. СПб.: Академический проект, 1998. С. 164. Впервые опубликовано под названием «Выписка из бумаг дяди Александра» в изд.: Русский Альманах на 1832 и 1833 годы, изданный В. Эртелем и А. Глебовым. СПб., 1832. С. 285–300.

выздоровлению застолий. Это была импровизация, в которой смешались впечатления выздоравливающего от недавних политических событий, от свежего номера журнала и, может быть, от рассказов о судьбе Стурдзы (к середине года переселившегося в родовое имение и там, в деревенском уединении, приступившего к работе над новым политическим трактатом). Импровизационный отпечаток особенно отчетливо виден в последнем стихе.

По всей вероятности, эпиграмма на Стурдзу была создана в начале или в первой половине июля, то есть вскоре после выхода соответствующего номера «Благонамеренного» и до отъезда Пушкина в Михайловское (середина июля), откуда он возвратился только во второй половине августа 1819 года. Во второй половине августа номер «Благонамеренного» с «Загадкой» перестал быть новинкой и поэтическое обыгрывание козловской стихотворной инвективы утрачивало всякую остроту... О том же, что самый отъезд Пушкина в Михайловское совершался на фоне каких-то дебатов о Стурдзе, так сказать, «на фоне Стурдзы», свидетельствует письмо В. Л. Пушкина к Вяземскому от 27 июля 1819 года: «Наш поэт Пушкин выздоровел и отправился в Белоруссию очиститься в деревне от городских грехов»³⁹. М. А. Цявловский, впервые опубликовавший фрагмент из этого письма, сообщил, что здесь «имеется в виду Псковская губерния», но не разъяснил, какая связь существует между Псковской губернией и Белоруссией. Между тем потаенный смысл шутиливой эпистолярной реплики Василия Львовича прояснится, если вспомнить, что именно в Белоруссии, в фамильном имении Устье, уединился в начале июля 1819 года бежавший из Германии Стурдза⁴⁰. Таким образом, в канун отъезда Пушкина в Михайловское фигуры Пушкина и Стурдзы в восприятии близких знакомых оказались связаны настолько тесно, что могли стать предметом шутиливой суб-

³⁹ Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. С. 183.

⁴⁰ Именно этим временем датирует приезд Стурдзы в Устье его первый — весьма осведомленный — биограф: «По возвращении в отечество, А. С. Стурдза должен был взять отпуск для пользования зрения, крайне расстроенного напряженными трудами. С половины 1819-го до половины 1821-го года он провел в деревне, неохотно уступая необходимости лечения и отдыха» (*Диктиадис*. Краткое сведение об А. С. Стурдзе // Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских, 1864. Кн. 4. С. 197). Об «устьинском затворничестве» Стурдзы см.: *Martin, Alexander M. Romantics, Reformers, Reactionaries: Russian Conservative Thought and Politics in the Reign of Alexander I*. Dekalb: Northern Illinois University Press, 1997. P. 175–176.

ституции, не требовавшей комментариев. Такое могло произойти только по свежим следам эпиграммы...

Читал ли Кюхельбекер «Загадку» В. Козлова? Наверняка читал (он был не только сотрудником, но и подписчиком «Благонамеренного»). Знал ли Кюхельбекер одну из самых едких политических эпиграмм Пушкина? Почти наверняка знал. Н. А. Маркевич, в ту пору ученик Кюхельбекера по Благородному пансиону при Педагогическом институте, свидетельствует, что Кюхельбекер был не только прекрасно знаком с рукописными пушкинскими стихотворениями, но и сам способствовал их распространению: «Я застал уже, что мысль о свободе и конституции была в разгаре. Кюхельбекер ее проповедовал на кафедре русского языка; Ал. Пушкин написал свою оду «Вольность»; другую пьесу «Кинжал», «Деревня»; все это я имел через Кюхельбекера и через Льва Пушкина»⁴¹. Эпиграмма на Стурдзу принадлежала к числу наиболее популярных политических стихотворений Пушкина. Сам поэт не делал из нее секрета: он читал ее в литературных кругах еще весной 1820 года. В. Н. Каразин (в ту пору — вице-президент Вольного общества любителей российской словесности, где активно сотрудничает Кюхельбекер) в своем дневнике 12 марта 1820 года (в день убийства Павла I) целиком приводит пушкинскую эпиграмму, «которую восхищаясь Греч и пересказывая свой у него пир с другими подобными, мне пересказал»⁴². Кюхельбекер — вполне вероятный участник и этого «пира» петербургских литераторов-либералов, и уж, во всяком случае, многих ему подобных и ему предшествовавших. Заметил ли Кюхельбекер, что текст Козлова послужил пародическим основанием для эпиграммы Пушкина? Прежде всего, Кюхельбекер мог об этом попросту *знать*. Но в любом случае, как исключительно тонкий читатель (один из самых гениальных читателей своего времени!), он с легкостью мог эти тексты соотнести и распознать их внутреннюю связь...

Во всяком случае, многое говорит за то, что кюхельбекеровская реплика насчет «загадок всякого рода...», которые «...ныне очень в моде» (предварявшая выпад против литературных забав «Благонамеренного»), имела скрытый, но отчет-

⁴¹ Маркевич Н. А. Из воспоминаний // Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. С. 293.

⁴² Базанов В. Г. Ученая республика. М.; Л.: Наука, 1964. С. 137.

ливый политический подтекст. Возможно, однако, что она заключала в себе косвенную полемику и с еще одним политическим суждением, в свою очередь высказанным в иронической форме. В уже упоминавшемся нами письме Н. М. Карамзина Дмитриеву от 31 марта 1819 года сообщалось: «Коцебу зарезан в Мангейме Студентом за его *немодный* образ мыслей» (курсив мой. — О. П.). Трудно сомневаться в том, что эту эпистолярную реплику Карамзину не раз довелось повторять (и, возможно, развивать) в разговорах 1819 года — в том числе и в разговорах с лицеистами либерального образа мыслей. Похоже, что Кюхельбекер своим замечанием о загадках, которые ныне в *модe* (а также и последующими нападками на стихотворные безделки), как бы включался в полемику с историографом, словно отвечал своей репликой на реплику о «немодном образе мыслей»: неужели «*модные* загадки», провозглашающие дух вольности «подобьем древня супостата», — это единственная альтернатива «*модному*» либерализму?..

* * *

Когда Кюхельбекер писал свой обзор, у него перед глазами был и еще один, совсем свежий, образец политического применения игровых жанров — «Анаграмма» некоего П. Р-га, напечатанная во 2-м номере «Благонамеренного» за 1820 год (то есть в том самом номере, где появилось вызвавшее саркастический отклик Кюхельбекера сообщение о жанрах, введенных «Благонамеренным» в русскую поэзию). Вот текст этой «Анаграммы»:

Причина, коею бунтовщики мечтают
Быть в праве волновать народ,
Показывает ей сама на оборот,
Чем казнь за это совершают⁴³.

Анаграмма — согласно Н. Остолопову, разновидность загадки: «Анаграмма есть разделение или переставление слогов, либо букв, собственного имени, или какогонибудь слова, таким образом, чтобы выходило другое слово имеющее другой смысл, и чтобы сверх того ни одной буквы не оставалось»⁴⁴.

⁴³ Благонамеренный, 1820, № 2. С. 146.

⁴⁴ Словарь Древней и Новой поэзии. Ч. 1. С. 20.

Анаграмма П. Р-га в точности соответствует этому требованию. В следующем номере «Благонамеренного» появилась — для недогадливых — и ее разгадка: *ропот и топор...*

«Анаграмматическая загадка» П. Р-га печатается в то время, когда России достигают слухи о начавшейся в Испании революции. Испанская революция, проходившая под лозунгом восстановления Конституции 1812 года и соединения свободы с законом, была встречена русскими либералистами с большими надеждами. В этом смысле весьма характерно письмо П. Я. Чаадаева брату, М. Я. Чаадаеву, от 25 марта 1820 года: «Еще большая новость — и эта последняя гремит по всему миру: революция в Испании закончилась, король принужден был подписать конституционный акт 1812 года. Целый народ восставший, революция, завершившаяся в 8 месяцев, и при этом ни одной капли пролитой крови, никакой резни, никакого разрушения, полное отсутствие насилий, одним словом, ничего, что могло бы запятнать столь прекрасное дело, что вы об этом скажете? происшедшее послужит отменным доводом в пользу революций»⁴⁵.

Сам Кюхельбекер встретил известия об Испанской революции с присущим ему энтузиазмом. Во втором из его «Европейских писем» (напечатанном в том же номере «Невского Зрителя», где и «Взгляд на текущую словесность» с разбором «Благонамеренного»), рассказывалось о том, как автор, путешествующий по Европе будущего, «до самой полуночи бродил между развалинами Эскуриала» и о том, какие исторические воспоминания сопровождали его во время прогулки: «Испания в борьбе за свободу и независимость, за священнейшие права народов — великий и назидательный пример для потомства!» Кюхельбекер пользуется здесь эзоповым языком: говоря «из будущего» об историческом прошлом (о борьбе Испании с Наполеоном), он подразумевает прежде всего *настоящее* — события Испанской революции, прямо сказать о сочувствии которым в русской печати было, конечно, невозможно... Выразителен пассаж, неожиданно перебивающий течение высоких мыслей автора-героя и многозначительно заключающий письмо: «Холодный ветер, поднявшийся с севера, прервал мои мечтания, но я еще долго бродил, задумчивый, между развалинами и чувствовал

⁴⁵ Чаадаев П. Я. Сочинения. Сост., подготовка текста, прим. В. Ю. Проскуриной. М.: Правда, 1989. С. 300.

ничтожность свою и всего земного»⁴⁶. *Ветер с севера* — это тоже «эзоповский» политический намек, означающий примерно следующее: не загасит ли холодный ветер из стран Священного Союза искры борьбы за «священнейшие права народов»?.. «Анаграмма» П. Р-га для Кюхельбекера, бесспорно, принадлежала к разряду сочинений, способных усилить этот «северный ветер»...

Вторая часть «Взгляда на текущую словесность» завершается характеристикой симпатичного Кюхельбекеру «Соревнователя просвещения и благотворения» (органа Вольного общества любителей российской словесности). Эту характеристику (как и всю статью) Кюхельбекер заканчивает неожиданной на первый взгляд фразой: «Что касается до нас, мы <...> хотя противники шарад, загадок и тому подобного, радовались прекрасной шараде господина Ф. Г.»⁴⁷ Чему радовался Кюхельбекер? Почему он счел возможным закончить свой критический цикл панегириком какой-то шараде — жанру, противником которого он только что себя объявил?..

Как ни удивительно, никто из исследователей и комментаторов не ответил на вопрос, какую же шараду «господина Ф. Г.» имел в виду Кюхельбекер. Между тем, речь здесь идет, бесспорно, о «Шараде» Федора Глинки, напечатанной в 1-м номере «Соревнователя» за 1820 год («Слог первый мой везде есть признак превосходства...»). Эта шарада была известна в рукописи еще до публикации и читалась на заседаниях «Зеленой лампы» (видимо, во второй половине октября 1819 года)⁴⁸. Кюхельбекер не случайно противопоставил ее прочим «шарадам, загадкам и тому подобному». В невиннейшую форму «стихотворения для забавы» здесь оказалось заключено острое политическое содержание, на этот раз левое, в духе «Союза Благоденствия» и пушкинской «Вольности». «Шарада» Глинки, в соответствии с требованиями жанра, содержала в себе загадку с отгадкой: «пре-стол». Описание «целого» (слова, которое надлежало угадать) и заключало в себе изложение политической доктрины:

⁴⁶ Кюхельбекер В. К. Сочинения. Л.: Художественная литература, 1989. С. 304.

⁴⁷ Кюхельбекер В. К. Взгляд на текущую словесность. С. 449.

⁴⁸ «Шарада» Глинки сохранилась в бумагах «Зеленой лампы». См.: Томашевский Б. В. Пушкин. Кн. 1: 1813–1824. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1956. С. 209–210.

Слог первый мой везде есть признак превосходства.
 Вторая часть нужна для пищи, для дородства,
 Нередко и для книг, а чаще для бумаг;
 Для лакомых она источник лучших благ.
 Что ж целое мое? — всегда жилище власти,
 И благо, где на нем, смирив кичливы страсти,
 Спокойно восседит незыблемый закон:
 Тогда ни звук оков, ни угнетенных стон
 Не возмущают дух в странах, ему подвластных;
 Полны счастливых сел и городов прекрасных,
 Любуются они красой своих полей.
 И солнце, кажется, сияет им светлей...
 Но горе, где, поправ священные законы,
 Забыв свой долг, презрев граждан права и стоны,
 Воссядет равный им с *страстьми*, а не закон.
 Там в миг преобратит строптивой властью он
 В ничто — обилья блеск, луга и нивы — в степи,
 И детям от отцов наследье — грусть и цепи,
 И землю окропят потоки горьких слез,
 И взыдет стон людей до выпрених небес!⁴⁹

Конечно, ничего особенно радикального в этой «Шараде» не было. Здесь запечатлелась излюбленная идея Глинки (и кружка его сочувственников) о конституционной монархии, зиждущейся на строгом Законе как предпочтительной форме правления. Однако печатное изложение политической концепции, опиравшейся на идеи Монтескье (отчасти — Мабли) и умеренных просветителей, в напряженной атмосфере рубежа десятилетий выглядело чрезвычайно смело и впечатляюще. Сочувственно поддержав шараду Глинки, Кюхельбекер имплицитно противопоставил ее *благонамеренным* стихотворным забавам, причем противопоставил в двух отношениях: как сочинение важного содержания сочинениям ничтожным и как сочинение, исполненное высоких и благородных мыслей, сочинениям, исполненным помыслов низких и недостойных. Окидывая взором два возможных пути установления государственного благоденствия (предлагаемые в загадках и анаграммах «Благонамеренного», с одной стороны, и в «Шараде» Глинки — с другой), Кюхельбекер недвусмысленно отдал предпочтение Закону перед Топором.

⁴⁹ Цит. по: Глинка Ф. Н. Избранные произведения. Л.: Советский писатель, 1957. С. 203.

«ПОЭТ, ПРОКЛЯТЫЙ АПОЛЛОНОМ»

В стане сотрудников «Благонамеренного» статья Кюхельбекера вызвала негодование и почти немедленную реакцию. Чуть ли не весь 6-й номер «Благонамеренного» оказался по сути антикюхельбекеровским: в нем появилось сразу несколько выступлений против критика. Ни в одном из них, однако, Кюхельбекер не был назван по имени. Что ж, «загадки всякого рода ныне очень в моде». Разгадать те из них, что оказались связаны со статьей Кюхельбекера, для осведомленных читателей «Благонамеренного», видимо, не составляло особого труда.

Прежде всего, с ответом на насмешки по поводу «Тожделовов или Соименников» выступил Николай Остолопов, пересадивший этот поэтический цветок с германской почвы на отечественный глинозем. В 6-м номере «Благонамеренного» появилась его стихотворная «Шутка» (с подзаголовком «Пародия») — то самое переложение оды Горация, поврежденную рукопись которого американская исследовательница обнаружила в альбоме Измайлова. «Шутка» была подписана псевдонимом «Никост» (соединившим первые слоги имени и фамилии автора), которым Остолопов подписывал многие свои шарады и омонимы, в том числе и *первый*, написанный им специально для «Благонамеренного»... «Шутка» представляла собой пародическую перелицовку державинского «Памятника» (согласно теоретическим представлениям Остолопова, развернутым им в соответствующей статье «Словаря древней и новой поэзии», такая перелицовка рассматривалась как «главный род *Пародии*»⁵⁰). В стихотворении использовалась форма знаменитого державинского стихотворения, *направлено* же оно было не против Державина, а против Кюхельбекера. Вот полный текст этой «Шутки»:

Я памятник себе воздвиг несокрушимый:
Не в силах гром, ни вихрь подействовать над ним!
Единым гешием моим руководимый,
Я первый написал Российский Омоним.

Так, весь я не умру! — потомок просвещенный
Увидит с радостью Германский сей цветок,
Моим старанием удачно пренесенный...
Он вспомнит обо мне! — Вот вечный мой венок!

⁵⁰ Словарь древней и новой поэзии. Ч. 2. С. 337.

Вот слава! — О восторг! — Но кто сей призрак странной,
По виду — человек и длинный и сухой,
По речи — должен быть породы иностранной,
Грызет мой памятник и рвет с улыбкой злой?

Кто дерзкий ты? Вещай! — И се протяжным тоном
Запел рапсодию на греческий размер —
Внимаю: — он поэт, проклятый Аполлоном,
С досады клятву дал Зоила взять в пример...

Ужели не вотще сей странною мечтою
Днесь дух мой поражен? Ужель погибнет труд,
Подавший образец столь счастливо собою? —
Нет, нет — спокоен я! молчу — не вниду в суд.

Ты, муза, возгордись заслугой справедливой!
Кто Омонимам враг, того ты презирай!
Пиши их впредь — пиши рукой неторопливой,
И время праздное без скуки проводи.

Никост⁵¹.

Прежде всего, Остолопов дал протокольно точный словесный портрет Кюхельбекера. Точность его подтверждается свидетельствами современников. *По виду — человек и длинный и сухой*: «Длинный до бесконечности, притом сухой и как-то странно извивающийся всем телом» (М. А. Корф); «Это был человек длинный, тощий...» (Н. А. Маркевич). *По речи — должен быть породы иностранной*: «Вильгельм Карлович Кюхельбекер, начавший поздно учиться по-русски и от того, хотя и изучивший этот язык в совершенстве, но сохранивший в выговоре явные черты немецкого происхождения» (М. А. Корф)⁵². Даже *протяжный тон* — по-видимому, документально точная деталь. По свидетельству того же Маркевича, Кюхельбекер был «слабогрудым»: «...говоря, задышался, читая лекцию,пил сахарную воду...»⁵³ Чтение нараспев («протяжным тоном») — прием, помогавший декламировать стихи, не сбивая дыхания... Наконец, *рапсодия на греческий размер* — намек на гекзаметрические опыты

⁵¹ Благонамеренный, 1820, № 6. С. 423–425.

⁵² Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 287, 291.

⁵³ Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 291.

Кюхельбекера. Кюхельбекер отдал этому «героическому сти-ху» щедрую дань: к концу 1810-х годов он был автором почти полутора десятков гекзаметрических стихотворений (два из них — «К Пушкину» и «Отомщенный Геркулес» — были опубликованы в «Благонамеренном», соответственно в 8-м и 11-м номерах за 1818 год).

Остолопов в своем ответе стремится сохранить шуточный тон и даже нечто вроде самоиронии: первый российский Омоним как вечный памятник — это, конечно, не всерьез; соответственно и Муза, покровительствующая сочинителю, — это не Муза высокой поэзии (как у Державина), а Муза поэзии забавной — той, что служит для препровождения без скуки праздного времени... Однако в одной фразе чувство добродушной веселости Остолопову изменило; за ней явственно проскользнуло уязвленное литературное самолюбие: «поэт, проклятый Аполлоном» как характеристика врага омонимов — это уже нечто большее, чем добродушная насмешка... Заметим, что в державинско-горацианскую канву Остолоповым оказались довольно искусно инкорпорированы (и обыграны) мотивы «Дома сумасшедших» Воейкова — из строфы, посвященной П. И. Голенищеву-Кутузову:

Вот Кутузов: он зубами
Бюст грызет Карамзина,
Пена с уст течет ручьями,
Кровью грудь обагрена.
Но напрасно мрамор гложет,
Только время тратит в том,
Он вредить ему не может
Ни зубами, ни пером.

Стихи эти в свою очередь используются почти пародически — как аллюзия на ставшее классическим описание бес- сильного завистника, ревнующего к чужой славе. Особую пикантность этой игре придавало то обстоятельство, что со- ответствующая строфа сатиры Воейкова подразумевала по- литические доносы Кутузова на Карамзина — последний об- винялся Кутузовым в якобинстве и в претензиях на роль первого Консула... Случайно ли Кюхельбекер, «грызущий памятник» творца первого российского омонима, оказался уподоблен творцу печально знаменитых политических доно- сов? Нет ли в этом уподоблении намек на то, что своей ста-

твѣй Кюхельбекер выступает в роли доносчика Кутузова — только, так сказать, Кутузова другого лагеря? Иными словами: не разгадал ли Остолопов политического подтекста нападок Кюхельбекера на «стихотворения таких родов, которых еще не было в российском стихотворстве»?.. С полной уверенностью ответить на эти вопросы пока не представляется возможным.

Заслуживает, однако, внимания одно обстоятельство: стихотворение — в той его части, которая посвящена «явлению призрака», — мотивно-тематически и структурно поразительно близко перекликается с памятной нам «Загадкой» В. Козлова. Оба текста строятся по одной модели: вопрос-загадка (*Друзья! что значит сей фантом... — Но кто сей призрак странной...*), указание примет персонажей (*С умильным, ласковым лицом, // Но и с когтями, и с хвостом, // Подобье древня супостата? — По виду — человек и длинный и сухой, // По речи — должен быть породы иностранной...*) и, наконец, описание совершенных злодеяний (*Трубит в бумажную трубу, // Увенчан лаврами Марата, // Обрызган кровью Коцебу — Грызет мой памятник и рвет с улыбкой злой*). Конечно, сходство может быть частично объяснено воспроизведением в обоих случаях архетипических признаков жанра простой загадки. Но только частично! Последовательные и многосторонние соответствия трудно объяснить простым совпадением...

Не оставил без ответа пренебрежительного отзыва Кюхельбекера (о «поэтических анекдотах о пьяницах») и уязвленный издатель «Благонамеренного», Александр Ефимович Измайлов. В рубрике «От издателя», выстроенной в форме переписки с сотрудниками и значимо заключающей журнальный номер, оказалось упрятано сразу несколько ответов Кюхельбекеру.

В первом письме Измайлов рассыпался в благодарностях перед Жителем Васильевского острова (кн. Н. А. Цертелевым, украшавшим «Благонамеренный» своими антиромантическими пасквилями) — за присланную в журнал памфлетную статью «Спор». Измайлов, однако, заявил, что не во всем согласен с суждениями своего постоянного автора и давнего приятеля — и обещал даже при случае поспорить с ним печатно (нелишняя предосторожность: Цертелев начал здесь кампанию против всей новой поэзии, обрушившись уже не только на «баловней-поэтов», но и на почитаемого Измайловым

Батюшкова). Свое обещание-пожелание редактор «Благонамеренного» завершил таким пассажем: «Станем спорить о литературе и литераторах без предубеждения, без пристрастия, без насмешек и без сердца.

Я спорить с умными люблю;
От споров с ними я учуся;
Но спорить с ... боюсь
И им всегда, во всем охотно уступлю».

Измайлов указал в примечании и источник приведенных стихов: «Сказка моя, или, как говорит один ученый критик, поэтический анекдот о Дураке Филатке. См.: *Невский Зритель*, книжку II, с. 125»⁵⁴.

Отсылка к терминологическому нововведению «ученого критика» указывает на статью Кюхельбекера — в частности, на его характеристику сказок Измайлова как «поэтических анекдотов о пьяницах». Реплика Измайлова внутренне весьма саркастична. В цитате из собственной сказки Измайлов заменил отточенным невинное слово «глупые». Пропуск этот, однако, как всякий минус-прием, скорее заострял внимание на отсутствовавшем слове. Какое именно слово пропущено — догадаться не составляло труда, тем более что слово «дурак» безо всяких купюр приведено в заголовке сказки Измайлова, жанр коей охарактеризован посредством ссылки на «ученого критика»... Кюхельбекер в своем разборе объявил (с помощью цитаты из Илличевского) «Благонамеренный» сборищем дураков. Измайлов (с помощью цитаты из самого себя) ответил своему оппоненту: сам дурак!

Но этим выпадом Измайлов не ограничился. Второе письмо, помещенное в той же рубрике «От издателя», было адресовано неназванному корреспонденту. Вот текст этого письма: «На критику моих *Басен* и *Шарад*, присланную ко мне из *Пошехонья* от *К. В. Тр.п.т.ва*, ничего отвечать не могу. Стихотворения его: *Влюбленный Чорт* и *В альбом прекрасной прачке Л...* охотно бы напечатал я в *Благонамеренном*; но формат моего журнала слишком мал для длинных стихов *Г. Тр.п.т.ва*, а он требует, чтобы его стихи не ломались в печати»⁵⁵.

⁵⁴ Благонамеренный, 1820, № 6. С. 439.

⁵⁵ Благонамеренный, 1820, № 6. С. 440.

Письмо это также направлено против Кюхельбекера. *К. В.* — это переставленные местами инициалы имени обличителя «Благонамеренного» (Вильгельм Карлович); *Тр.п.т.в* — консонантный ряд его прозвища, бытовавшего в измайловском кругу. О том, что это за прозвище, сообщает письмо Измайлова к П. Л. Яковлеву (уехавшему в ту пору из Петербурга) от 20 сентября 1823 г.: «Нет дня, в который бы не вспоминал я об вас. Одно утешение мне осталось — ваши каррикатуры. Часто посматриваю на них — смеюсь и вздыхаю. Многие из каррикатур вклеил я в оба свои альбома и сделал к ним надписи, например к каррикатуре, представляющей театральную карету, выписал все, что о сем сказано в *чувствительном Путешествии по Невскому проспекту*. К другой, где нарисованы Виль Кю, Св. и Гр., приписал речи сих героев: *Я Трепетов* и пр., *Миленькой! надобно прикрасить* и пр»⁵⁶. Упомянутые в письме Яковлеву: *Гр.* — несомненно, Н. И. Греч; *Св.* — Павел Свиныин, будущий персонаж басни Измайлова «Лгун» (1823), где герою будет передано то самое речение, которое Измайлов припишет к карикатуре Яковлева («надобно прикрасить иногда!»)⁵⁷. *Виль Кю* — это Вильгельм Кюхельбекер. Прозвище заключало в себе двусмысленный и не очень чистый, но, видимо, потешавший измайловцев каламбур: *Vil Cu* — грязная задница. «Я Трепетов» — это, как следует из контекста, реплика Кюхельбекера. Что она означает — пока трудно сказать: либо перед нами пародически обыгранная цитата (может быть, неожиданная форма множественного числа слова «трепет»?) либо какой-то иной намек.

Итак, *Тр.п.т.в* — Трепетов — Кюхельбекер... За шутливым тоном скрывались понятные для посвященных ядовитые намеки. Прежде всего, Измайлов объявляет, что суждения Кюхельбекера-Трепетова о баснях и шарадах (высказанные во «Взгляде на текущую словесность») не заслуживают возражения и опровержения. В письме не говорится — почему, но догадаться не составляет труда в силу особой *локализации* адресата: замечания написаны жителем *Пошехонья*, то есть, согласно национальной мифологии, царства глупости. Вступать же в полемический диалог с глупцом изда-

⁵⁶ Рукописный отдел Института русской литературы. Отдельные поступления. № 14163. Л. 20 об.

⁵⁷ См. басню («сказку») «Лгун» в изд.: Стихотворная сказка (новелла) XVIII — начала XIX века. Л.: Советский писатель, 1969. С. 474–475.

тель не может — по причинам, изложенным в первом письме рубрики.

Следующая реплика не менее выразительна. Комические заголовки «присланных стихотворений», видимо, метят в какие-то реальные обстоятельства жизни Кюхельбекера (возможно, в какую-то его неудачную влюбленность): *Влюбленный Чорт* — это, скорее всего, намек на самого Кюхельбекера, *прекрасная прачка* — надо полагать, предмет его страсти... Насмешка над *длиной* стихотворений Тр.п.т.ва направлена против опытов Кюхельбекера, писанных гекзаметром. Издательское заявление Измайлова о том, что формат «Благонамеренного» не позволяет ему печатать столь длинных стихов, фактически означало следующее: Измайлов закрывает для Кюхельбекера страницы своего журнала. Такова была месть издателя «Благонамеренного» за насмешки над баснями и шарадами⁵⁸.

⁵⁸ У этой полемики, впрочем, возникло любопытное ответвление. Сразу же после истории с Кюхельбекером неистощимый мистификатор М. В. Милонов — видимо, в веселую минуту — прислал в «Благонамеренный» писанную *гекзаметром* басню на традиционный эзоповский сюжет «Лягушка и вол», с подписью *Анонимус* (по-гречески) и с пометой: *Овидиополь*. Басня сопровождалась запиской с просьбой напечатать текст шрифтом помельче, чтобы строчки не дробились. «Но как в типографии столь мелкого шрифта нет, — пишет Измайлов в специальном примечании, — а притом мелкую печать читать очень трудно, то и решился я велеть набрать сию оригинальную притчу, как и прочие стихи в моем журнале, корпусом, только не поперек страницы, а вдоль». Вдоль страницы она и была напечатана. К этой гекзаметрической басне Измайлов дал и еще одно — гекзаметрическое же — примечание, рифмующееся с концовкой милоновского опуса («Лопнете вы, как она, и собою других насмешите»): *Притчей размером таким, господин Аноним, не пишите — // Или пишите — да только в журнал мой, прошу вас, не шлите* («Благонамеренный», 1820, № 9. С. 198). Милонов, однако, немедленно прислал в «Благонамеренный» писанное гекзаметром послание к издателю, два мадригала, эпиграмму, эпитафию и даже перевод отрывка из комедии Мольера «Ученые женщины»! Все эти опыты были опубликованы в 10-м номере. В «Послании к издателю Благонамеренного» Милонов отчасти обнажил пародическую установку своих гекзаметрических опытов — направленность их против Воейкова, выступившего с апологией гекзаметра в послании Уварову. В подтексте этой мистификации, однако, присутствует полемическая направленность и против других «гекзаметристов» конца 1810-х годов — от Жуковского до Кюхельбекера. Некоторые из опытов Милонова перепечатаны Г. В. Ермаковой-Битнер в изд.: *Поэты-сатирики конца XVIII — начала XIX в. Л.: Советский писатель, 1959. С. 513–514, 516–517*. Исследовательница не знала, что взрыв поэтической активности Милонова был вдохновлен полемикой «Благонамеренного» с Кюхельбекером.

НЕОЖИДАННЫЙ СОЮЗНИК

В том же, 6-м, номере «Благонамеренного» появилось еще одно примечательное сочинение — достаточно хорошо известное, но никогда, кажется, не связывавшееся с Кюхельбекером. Между тем есть все основания заключить, что перед нами — выпад именно против Кюхельбекера, причем выпад весьма резкий. Это эпиграмма молодого Александра Бестужева:

По городу молва несется,
 Что тощий журналист Фома
 Сошел с ума.
 Что ж чудного? — Где тонко, там и рвется⁵⁹.

Александр Бестужев, будущий декабрист, через несколько лет превратится в литературного врага Измайлова, в язвительного критика «Благонамеренного» (это он пустит знаменитую шутку, ставшую крылатой и немало бесившую Измайлова: «*Благонамеренный* забавен для своего круга»). В частной переписке 1820-х годов издатель «Благонамеренного» будет именовать своего бывшего сотрудника не иначе, как *Алексашка-завирашка*. Но пока все это еще впереди. В 1820-м году Бестужев еще совершает первые шаги на литературном поприще, активно участвует в деятельности измайловского Вольного общества любителей словесности, наук и художеств (куда принят недавно) и сотрудничает в «Благонамеренном». Именно с «Благонамеренным» связаны его поэтические дебюты. Эпиграмма — из их числа.

Молодые Кюхельбекер и Бестужев придерживались во многом противоположных эстетических взглядов. Хотя оба они воспитались на карамзинизме, Кюхельбекера влекло к высокому, грандиозному и национальному, Бестужева — к ясному, точному и космополитичному. Кюхельбекеру в конце 1810-х годов уже тесны карамзинистские рамки: он морально готов к переходу в лагерь «младоархаистов». Бестужев в эту пору — последовательный карамзинист арзамасского толка⁶⁰.

⁵⁹ Цит. по изд.: *Бестужев-Марлинский А. А.* Собрание стихотворений. Л.: Советский писатель, 1948. С. 45.

⁶⁰ Блестящий и точный анализ эстетических воззрений Бестужева в начале 1820-х годов см. в работе: *Мордовченко Н. И.* Русская критика первой четверти XIX века. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1959. С. 85–94.

Разнонаправленность их воззрений и вкусов особенно наглядно проявилась в отношении к одному литературному событию. В 1-м номере «Сына Отечества» за 1820 год появилось стихотворение П. А. Катенина «Песнь о первом сражении русских с татарами на реке Калке под предводительством князя Галицкого Мстислава Мстиславича Храброго» (впоследствии Катенин откажется от этого громоздкого названия и озаглавит стихотворение просто: «Мстислав Мстиславич»). Кюхельбекер в своем «Взгляде на текущую словесность» (где с такой пренебрежительной краткостью упомянул о «Благонамеренном») дал детальнейший разбор стихотворения Катенина. Последнее оценивалось — хотя и не без оговорок — чрезвычайно высоко. Вскоре после соответствующего номера «Невского Зрителя», в 12-м номере «Сына Отечества», Бестужев печатает «Письмо к Издателю» (под псевдонимом «А. М.»), посвященное разбору той же «Песни...». Судя по всему, не в меньшей степени, чем стихотворением Катенина, бестужевское письмо оказалось инспирировано «Взглядом...» Кюхельбекера. Статья Бестужева, опубликованная в марте, была значимо датирована — «19 февраля 1820». Эта дата в общем совпадает со временем выхода 1-го номера «Невского Зрителя» (16 февраля Кюхельбекер преподнес свежееотпечатанный экземпляр 1-го номера «Невского Зрителя» Вольному обществу любителей российской словесности⁶¹; видимо, около этого времени номер был разослан подписчикам). Хотя ни имя Кюхельбекера, ни его «Взгляд...» в статье Бестужева не упоминаются, нельзя не заметить, что в ряде основных положений автор отталкивается от суждений Кюхельбекера.

Кюхельбекер восхищается зачином «Песни...»: «Стихи не Жуковского, не Батюшкова — но стихи, которые бы принесли честь и тому и другому». По мнению Бестужева, это место «более дурно, нежели хорошо: ни одного удачного сравнения, ни одной новой мысли». Для Кюхельбекера стихи *Решето стал щит дебельый, / Меч — зубчатая пила* «показывают талант Катенина», для Бестужева они показывают насилие над языком. И этот скрытый спор длится до конца. Разбор Кюхельбекера заканчивается соображениями о возможностях смешения разных стихотворных размеров и увенчивается таким аккордом: «Впрочем, публика и поэты должны быть бла-

⁶¹ Гласе А. В. К. Кюхельбекер — издатель журнала «Невский Зритель». С. 112–113.

годарны г-ну Катенину за единственную, хотя еще и несовершенную в своем роде попытку сблизить наше нерусское стихотворство с богатою поэзией русских народных песен, сказок и преданий — с поэзией русских нравов и обычаев». Итоговый вывод Бестужева совершенно иной: «Словом, пьеса сия, написанная без цели, начала и конца, без красок того времени и без цветов (не скажу: *грибов*) настоящей литературы, в которой размеры играют главную роль, — поневоле заставляет повторить известные слова: что труднее об ней сказать свое мнение, нежели ее сочинить»⁶².

Для последовательного карамзиниста апология поэзии Катенина, самая возможность обнаружить у него «стихи не Жуковского, не Батюшкова — но стихи, которые бы принесли честь и тому и другому», — нонсенс. В творениях Катенина сам Бестужев склонен был находить стихи, которые принесли бы честь не Жуковскому и Батюшкову, а разве что графу Хвостову. В том же, 6-м, номере «Благонамеренного», где давался коллективный отпор Кюхельбекеру (и где появилась эпиграмма на «журналиста Фому»), Бестужев печатает «Письмо к издателю Благонамеренного» с предложением открыть литературную кунсткамеру, куда предполагается помещать всяких литературных монстров: ужей, преклоняющих колена, голубей и уток с зубами, говорящие пробки, и пр., и пр.⁶³ Почти все эти чудовищные монстры заимствованы Бестужевым из сочинений графа Хвостова, давно получившего репутацию эталонного графомана. Особая язвительность предложения об основании литературной кунсткамеры, однако, заключалась в том, что Бестужев предлагал поместить в ней на почетном месте «Сон Гофоллии» Катенина... Ну, а поскольку подлинное место творца «Песни о первом сражении русских с татарами...» — на одной полке с зубастыми голубями графа Хвостова, то всякий, кто способен усмотреть в его писаниях невиданные красоты, — форменный *безумец*. Эта идея, судя по всему, одушевляла Бестужева при создании и публикации *одновременно* с «Письмом к издателю» эпиграммы на неназванного, но в соответствующем контексте легко узнаваемого «тощего журналиста».

⁶² Ср.: *Кюхельбекер В. К.* Взгляд на текущую словесность. С. 436–439 (разбор Кюхельбекера); *Декабристы: Эстетика и критика.* М.: Искусство, 1991. С. 59–65 (разбор Бестужева).

⁶³ См.: *Декабристы: Эстетика и критика.* С. 54–58.

Тому, что эпиграмма Бестужева была направлена именно против Кюхельбекера и что об этой ее направленности прекрасно знали в кругу «Благонамеренного», имеется косвенное подтверждение. В 15-м номере «Благонамеренного» за 1821 год (августовском, но вышедшем с запозданием, в сентябре) была опубликована повесть П. Л. Яковлева «Молодые журналисты». Эта повесть — характерный для среды и эпохи игровой текст, сочинение на заданные слова (*рассадник, жених, дед, дилижанс, студенты, счастье, рожь, Англия* и пр.), читанное в домашнем литературном обществе С. Д. Пономаревой — «Сословии Друзей Просвещения» — 12 августа 1821 года⁶⁴. Вместе с тем повесть Яковлева — не только литературная игра, но и едкий памфлет на «Невский Зритель», своего рода комическая история этого журнального предприятия. Как всегда у Яковлева, повесть насыщена цитатами и аллюзиями (понятными только в кругу посвященных). Аллюзионно окрашен и рассказ о судьбе трех «молодых журналистов». Особенно плачевно сложилась она у «сухощавого студента», недавно «кончившего курс учения»: «Один — самый сухощавый — сошел с ума — его посадили в желтый дом»⁶⁵. Этот журналист — бесспорно, Вильгельм Карлович Кюхельбекер. Упоминание о *сумасшествии*, постигшем его при прохождении журнального поприща, — своего рода цитата из эпиграммы Бестужева, запомнившейся литераторам измайловского круга...

Бестужев — в отличие от Измайлова и Остолопова — не был задет во «Взгляде...» Кюхельбекера лично. Задеты оказались его эстетические убеждения. Именно это и побудило его написать эпиграмму на «тощего журналиста». В кругу «Благонамеренного» она пришлась как нельзя более кстати и вписалась в антикюхельбекеровский номер измайловского журнала вполне органично.

* * *

Летом 1820 года Кюхельбекер (по протекции Дельвига) получил приглашение от А. Л. Нарышкина сопровождать его за границу в качестве секретаря. Уже 8 сентября он вместе со своим новым патроном выехал из России. К тому времени Измайлов, видимо, сменил гнев на милость: в 14-м (августов-

⁶⁴ Веселовский А. А. Сословие друзей просвещения // Русский библиофил, 1912, № 4. С. 60.

⁶⁵ Благонамеренный, 1821, № 15. С. 186.

ском) номере успела появиться стихотворная «Эпитафия» Кюхельбекера. Правда, в отношении к Кюхельбекеру журнал испытывал постоянные колебания: в сентябре предполагалось напечатать какую-то критическую статью Ореста Сомова о кюхельбекеровском «Дифирамбе. Из Бакхилида» («Соревнователь просвещения и благотворения», 1820, № 7) — настолько, видимо, резкую, что цензура не сочла возможным ее пропустить⁶⁶. Уже по возвращении Кюхельбекера из-за границы, в июльском (12-м) номере «Благонамеренного» за 1821 год появилось, однако, дружеское послание П. А. Теряева «К Кюхельбекеру». В 1822 году в 7-м номере «Благонамеренного» печатается придиричивый разбор Жителя Петербургской стороны (того же Сомова?) послания Кюхельбекера «А. С. Грибоедову при отсылке моих Аргивян»: послание предлагается поместить в основанную Бестужевым литературную кунсткамеру, вместе с зубастыми голубями Хвостова и «Сном Гофолли» Катенина... Зато в 1824 году «Благонамеренный» решительно поддержал кюхельбекеровскую «Мнемозину». И хотя сам Кюхельбекер теперь появлялся на страницах «Благонамеренного» только эпизодически (главным образом с антикритиками и рецензиями), отношения между ним и Измайловым были восстановлены и вплоть до событий 14 декабря оставались теплыми⁶⁷. В 1825 году Измайлов всерьез подумывал о привлечении Кюхельбекера (которого он теперь именует не иначе как «благородным малым!») в качестве соиздателя «Благонамеренного» и даже о полной передаче ему журнала в случае получения вице-губернаторского места...⁶⁸

⁶⁶ См. письмо Измайлова Яковлеву от 13 сентября 1820 г.: «Сейчас пришел я в экспедицию от строгого своего цензора. Не пропустил, злодей! нескольких стихотворений и критики Ореста Сомова на дифирамб из Вакхилида, предложенный любезнейшим нашим поэтом Виль Кю. О цензура, цензура!» (*Левкович Я. Л.* Литературная и общественная жизнь пушкинской поры в письмах А. Е. Измайлова к П. Л. Яковлеву // Пушкин: Исследования и материалы. Т. VIII. Л.: Наука, 1978. С. 155).

⁶⁷ Очерк истории отношений Кюхельбекера с Измайловым см. в исследовании: *Азадовский М. К.* Литературная деятельность Кюхельбекера накануне 14 декабря // Азадовский М. К. Страницы истории декабризма. Кн. 1. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1991. С. 334–347; ценные дополнения — в комментарии А. А. Ильина-Томича к этой работе (*Ibid.* С. 442–445).

⁶⁸ См. письмо Измайлова П. Л. Яковлеву от 16 августа 1825 г.: *Левкович Я. Л.* Литературная и общественная жизнь пушкинской поры в письмах А. Е. Измайлова к П. Л. Яковлеву. С. 174.

Как бы ни развивались, однако, дальнейшие отношения Кюхельбекера с «Благонамеренным», полемика 1820-го года многое предопределила в дальнейшей судьбе оппонентов. С одной стороны, «Взгляд на текущую словесность» засвидетельствовал, что «перелом» в литературной биографии Кюхельбекера, который так поразил его друзей в 1822–1823 годах и который они склонны были связывать с дурным влиянием «злого духа» Грибоедова, готовился исподволь.

С другой стороны, беглая реплика Кюхельбекера о «поэтических анекдотах о пьяницах» способствовала окончательному закреплению за Измайловым репутации певца «низкого быта». Через несколько месяцев после появления «Взгляда...» А. Воейков пополнит свой «Дом сумасшедших» новым куплетом:

Вот И<змай>ов! — Автор басен,
Рассуждений, эпиграмм,
Он пищит мне: «Я согласен,
Я писатель не для дам.
Мой предмет — носы с прыщами,
Ходим с музою в трактир
Водку пить, есть лук с сельдями —
Мир квартальных есть мой мир»⁶⁹.

В рецензии на четвертое издание измайловских «Басен и сказок», появившейся на страницах некогда благожелательного к Измайлову «Сына Отечества», теперь утверждалось не без сарказма: «Г. Измайлов <...> особенно отличается точным и близким изображением *низкой Природы*: его Сказки, в которых главную роль играют люди *пятнадцатого* класса, могут назваться *единственными* в нашей литературе!»⁷⁰ Последняя

⁶⁹ Поэты 1790–1810-х годов. Вступ. статья и сост. Ю. М. Лотмана. Подгот. текста М. Г. Альтшуллера. Л.: Советский писатель, 1971. С. 299. О том, что соответствующий куплет появился именно после статьи Кюхельбекера и, возможно, был отчасти инспирирован ею, свидетельствует письмо Измайлова к Яковлеву от 23 сентября 1820 года: «Недавно попались мне три вновь прибавленные Воейковым куплета к известной его пиесе „Дом сумасшедших“. В 1-м говорит он о Грече, во втором — обо мне, а в 3-м — о Каразине. На меня напал он за *Пьянушкина*; клеветает, будто я с музою хожу в трактир, будто ем там лук с сельдями, будто дамы меня не читают и пр. и пр. Ах! он собака! Добро, дам ему себя знать!» (*Левкович Я. Л.* Литературная и общественная жизнь пушкинской поры в письмах А. Е. Измайлова к П. Л. Яковлеву. С. 156).

⁷⁰ *Сын Отечества*, 1821, № 36. С. 135.

Глава VI

формула — едва ли не перифраза формулы Кюхельбекера: «стихотворения таких родов, каких еще не было в *российском стихотворстве*».

Наконец, статья Кюхельбекера напорочила дальнейшую судьбу «Благонамеренного». Если в 1820 году он был еще совсем не так плох, как представлялось его суровому критику, то вскоре положение дел изменится. Со страниц журнала исчезнут и Вяземский, и Дельвиг, а со временем — даже Илличевский. Литературные забавы почти совершенно заместят настоящую поэзию; журнал превратится сначала в орган домашнего кружка С. Д. Пономаревой⁷¹, а потом и попросту — в печатный орган друзей и родственников А. Е. Измайлова. Но это уже другая история.

⁷¹ Об этом периоде истории «Благонамеренного» см.: *Вацуро В. Э.* С. Д. П.: Из истории литературного быта пушкинской поры. М.: Книга, 1989.

«Его перо любовью дышет»

*Литературно-полемический контекст
поэтической шалости Пушкина*

ИЗ ТВОРЧЕСКОЙ ПРЕДЫСТОРИИ

XXXI строфа 4 главы «Евгения Онегина» начинается известными стихами:

Не мадригалы Ленской пишет
В альбоме Ольги молодой;
Его перо любовью дышет,
Не хладно блещет остротой...¹

Стихи эти не так давно стали предметом любопытной академической полемики. Канадский исследователь Дуглас Клейтон связал их с пушкинскими насмешками над Ленским: влюбленный поэт наивно видит в своей невесте чистое и девственное создание, в то время как Ольга, внемля его стихам, мечтает совсем о другом — на что указывает «фаллический каламбур» (phallic quibble), запечатленный в стихах о «пере»². Профессору Клейтону возразил видный английский пушкинист П. Бриггс, вставший на защиту девичьей чести Ольги и объявивший намеки Клейтона на сексуальные фантазии невесты Ленского (равно как и сами фаллические коннотации «пера») «нереалистичными»³.

¹ *Пушкин*. Полн. собр. соч. Т. VI. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1937. С. 86.

² «Such hints that Ol'ga is not the chaste, pure-minded virgin of Lenskii's imaginings <...> culminate in an easily perceivable phallic quibble which serves to mock the muse convention» (*Clayton, J. Douglas. Ice and Flame: Aleksandr Pushkin's Eugene Onegin*. Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press, 1985. P. 132).

³ «J. D. Clayton hints unrealistically at her probable sexual awareness, even spotting 'an easily perceptible phallic quibble' in Lensky's pen...» (*Briggs, A. D. P. Alexander Pushkin, Eugene Onegin*. Cambridge University Press, 1992. P. 81).

Кто из спорящих прав? Действительно ли в соответствующем месте пушкинского текста скрыт «фаллический каламбур»? Не является ли он порождением специфически направленной читательской (=исследовательской) фантазии?⁴ Можно ли вообще сколько-нибудь удовлетворительно разрешить подобные вопросы?.. Попробуем.

Чтобы восстановить культурно-исторический контекст XXXI строфы 4-й главы, необходимо прежде всего знать, когда именно она была написана. До последнего времени мы располагали на сей счет довольно туманной информацией. Было известно только, что Пушкин работал над 4-й главой «Евгения Онегина» в течение продолжительного времени: с 1824 до начала 1826 года. Лишь недавно С. А. Фомичев — на основании анализа пушкинских рабочих рукописей — детализировал творческую историю текста. Он установил, что в работе Пушкина над 4-й главой обнаруживается значительная пауза: по заключению Фомичева, к июлю 1825 года относится завершение работы *над первой половиной* главы (кончая строфой XXX). Затем, с июля по 7 ноября, Пушкин почти всецело занят «Борисом Годуновым». Некоторое время спустя после завершения трагедии Пушкин возвращается к прерванной работе над романом в стихах и начинает ее непосредственно со строфы о влюбленном Ленском — «возможно, уже в декабре»⁵.

Этот вывод можно было бы принять целиком, если бы исследователь на нем остановился. Однако, начав с осторожной датировки возобновления работы («в декабре»), С. А. Фомичев затем почему-то приурочил ее к более конкретному и более позднему времени: «в конце декабря»⁶. Не будем гадать, на каких основаниях предпочтение было отдано *концу* декабря, — в любом случае некоторые обстоятельства решительно не поз-

⁴ Выдающийся французский исследователь Пьер Жиро справедливо заметил, что в принципе большинство слов в языке потенциально содержит в себе сексуальный образ, легко актуализирующийся в соответствующем контексте. См.: *Guiraud, P. Sémiologie de la sexualité*. Paris: Payot, 1978. P. 110. («Une énorme partie, sans doute la plus grande partie des mots de la langue, comporte, en puissance, une image sexuelle que le moindre contexte suffira à actualiser»).

⁵ Фомичев С. А. Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 835: Из текстологических наблюдений // Пушкин: Исследования и материалы. Т. XI. Л.: Наука, 1983. С. 44.

⁶ Фомичев С. А. Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 835: Из текстологических наблюдений. С. 44.

воляют отнести возобновление работы над романом к этому времени.

14 декабря 1825 года состоялась неудачная попытка выступления на Сенатской площади. 18 декабря Пушкин уже знал в общих чертах о случившихся событиях от прибывшего из Петербурга повара Осиповых. Скоро информация о них проникает в печать: 19 декабря в «Русском инвалиде» публикуется краткое сообщение о беспорядках; 22 декабря в той же газете обнародуется манифест Николая, специально касающийся происшествий 14 декабря. Наконец, 29 декабря в «Русском инвалиде» публикуется «Подробное описание происшествия, случившегося в Санктпетербурге 14-го декабря 1825 года», с перечнем и характеристиками главных заговорщиков (среди них много друзей и близких знакомых Пушкина). В числе активных участников выступления назван, между прочим, Вильгельм Кюхельбекер; при этом указано, что он, «вероятно, погиб во время дела»⁷.

Между тем начальные строфы второй части 4-й главы открываются... полемикой с Кюхельбекером: в XXXII–XXXIII (и частично XXXIV) строфах подробно обсуждается вопрос о соотношении элегии и оды, выдвинутой Кюхельбекером в статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие». Предположить, что в тревожной ситуации после 14 декабря Пушкин как ни в чем не бывало мог вступить в дружескую и вполне безмятежную по тону литературную полемику с Кюхельбекером — причастным к бунту и, возможно, убитым! — решительно невозможно.

Скорее всего возобновление работы над четвертой главой относится к самому началу декабря (может быть — к самому концу ноября) 1825 года. Как раз в конце ноября — начале декабря фигура Кюхельбекера оказывается в центре внимания Пушкина. Высказывания о Кюхельбекере в пушкинских письмах этого времени (в основном — так или иначе связанные с вопросом о романтизме) следуют одно за другим. Сначала имя Кюхельбекера возникает в письме к А. А. Бестужеву от 30 ноября: «Сколько я не читал о романтизме, все не то; даже Кюхельбекер врет»⁸ (примечательно это «даже» в письме к давнему литературному оппоненту Кюхельбекера, отнюдь не счи-

⁷ Цяловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина: 1799–1826. Изд. 2, испр. и доп. Л.: Наука, 1991. С. 580, 582, 584.

⁸ Пушкин. Полн. собр. соч. Т. XIII. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1937. С. 245.

тавшему последнего авторитетом в эстетических вопросах!). Получив от самого Кюхельбекера его драматическую шутку «Шекспировы духи», Пушкин немедленно откликается письмом, в котором критикует новое сочинение своего друга и попутно оспаривает его недавние критические суждения (письмо датируется 1–6 декабря; к нему нам еще предстоит вернуться). Примерно тогда же (4–6 декабря) Пушкин сообщает П. А. Плетневу: «Кюхельбекера *Духи* дрянь; стихов хороших очень мало; вымысла нет никакого. Предисловие одно порядочно»⁹.

ШИХМАТОВ ПРОТИВ ПУШКИНА

Острый интерес Пушкина к Кюхельбекеру-критику был задан еще в 1824 году известной статьей «О направлении нашей поэзии, особенно лирической...», напечатанной в «Мнемозине»¹⁰. По точной формуле Ю. Тынянова, Пушкин «был задет» статьей Кюхельбекера. Впечатления от нее отразились и в работе над «Евгением Онегиным»: ироническая цитата из статьи появилась в предисловии к отдельному изданию 1-й главы, а характеристика поэзии Ленского во 2-й главе под влиянием Кюхельбекера оказалась переработана и дополнена новыми деталями¹¹. Наконец, поставленный Кюхельбекером вопрос о соотношении «оды» и «элегий» в развитии лирической поэзии, как уже отмечалось, выдвинется на первый план в 4-й главе...

Однако впечатления от критических выступлений Кюхельбекера явно не исчерпывались статьей годичной давности. Более того: можно с уверенностью говорить о том, что как раз сильное воздействие, произведенное статьей «О направлении нашей поэзии...», заставило Пушкина с повышенным вни-

⁹ *Пушкин*. Полн. собр. соч. Т. XIII. С. 249. О роли «Шекспировых духов» (в том числе предисловия к ним) в пушкинском творчестве конца 1825 года см.: *Эйхенбаум Б.* О замысле «Графа Нулина» // *Эйхенбаум Б.* О поэзии. Л.: Советский писатель, 1969. С. 169 – 180.

¹⁰ См.: *Тынянов Ю. Н.* Архаисты и Пушкин // *Тынянов Ю. Н.* Архаисты и новаторы. Л.: Прибой, 1929. С. 202–223.

¹¹ См.: *Тынянов Ю. Н.* Архаисты и Пушкин. С. 226; *Лотман Ю. М.* Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий // *Лотман Ю. М.* Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки. 1960–1990; «Евгений Онегин». Комментарий. СПб.: Искусство-СПБ, 1995. С. 598, 637; *Вацууро В. Э.* К истории элегии «Простишь ли мне ревнивые мечты...» // *Временник Пушкинской комиссии.* 1978. Л.: Наука, 1981. С. 12.

манием отнестись и к позднейшим критическим текстам Кюхельбекера. Две его новых статьи появились в 1825 году, на одну из них — «Разбор поэмы князя Шихматова „Петр Великий“» (Сын Отечества, 1825, №№ 15, 16) — Пушкин откликнулся в письме Кюхельбекеру от 1–6 декабря.

Чем же могла задеть Пушкина апология полузабытой поэмы полузабытого стихотворца-архаиста, пресловутого «варягоросса», «славенофилова кума» Ширинского-Шихматова?.. Напряженный интерес Пушкина к выступлению Кюхельбекера станет понятен, если мы примем во внимание, что в своей новой статье критик был озабочен не только желанием восстановить справедливость по отношению к недооцененному поэту, но и стремлением уточнить положения, выдвинутые в статье «О направлении...». Кюхельбекер вносил важные коррективы в свои прежние рецепты для оздоровления российской словесности.

В статье «О направлении...» жанром, альтернативным посланию и элегии, провозглашалась ода. Однако в 1825 году Кюхельбекер уже не мог не видеть, что литературная современность ставила на очередь создание новой «большой формы». Противостоять натиску новейших «романтических» опытов могло, в его представлении, только жанровое образование, соизмеримое по масштабам с эпосом и в то же время связанное с одической традицией. Опыт подобного удачного совмещения Кюхельбекер обнаружил у Шихматова: «Он свое лирико-эпическое творение создал по образцу не „Илиады“ Гомеровою, а похвальных од Ломоносова»¹². «Петр Великий» представлялся достойной альтернативой и обветшалому эпосу, и субъективной байронической поэме: Кюхельбекер прямо называет шихматовскую поэму «попыткой проложить новую дорогу в области поэзии»¹³. Так в новой статье оказались развиты и трансформированы идеи статьи 1824 года: от апологии оды Кюхельбекер пришел к идее *развития больших жанровых форм на основании оды*.

Апология шихматовского жанра оказалась неразрывно соединена с апологией «архаистического» стиля. В восторженных

¹² Кюхельбекер В. К. Разбор поэмы князя Шихматова «Петр Великий» // Кюхельбекер В. К. Путешествие; Дневник; Статьи. Издание подготовили Н. В. Королева, В. Д. Рак [М. Г. Альтшуллер]. Л.: Наука, 1979. С. 470 (об авторстве М. Г. Альтшуллера см. прим. 5 к очерку «Сей призрак странный»).

¹³ Кюхельбекер В. К. Разбор поэмы князя Шихматова «Петр Великий». С. 470.

похвалах стилю Шихматова был заключен демонстративный вызов прежним друзьям и литературным союзникам. С 1822 года все они дружно сетовали о переходе Кюхельбекера в лагерь «славян». В своих сетованиях они то и дело поминали Шихматова — как символ неудобоваримой «славенщизны». 4 сентября 1822 года Пушкин писал брату Льву по поводу новых сочинений Кюхли, присланных Дельвигом: «Читал стихи и прозу Кю<хельбекера> — что за чудак! Только в его голову могла войти жидовская мысль воспеть Грецию, великолепную, классическую, поэтическую Грецию, где все дышит мифологией и героизмом — славяно-русскими стихами, целиком взятыми из Иеремии»¹⁴. В письме, писанном весною 1823 года (датируется временем от марта до мая), Дельвиг шутливо рекомендовал Кюхельбекеру: «Так и быть! Грибоедов соблазнил тебя, на его душе грех. Напиши ему и Шихматову проклятие; но прежними стихами, а не новыми. Плюнь, и дунь, и вытребуй у Плетнева старую тетрадь стихов, читай ее внимательно и по лучшим местам учись слогу и обработке»¹⁵.

Особенно примечательно письмо Кюхельбекеру В. И. Туманского, написанное в Одессе 11 декабря 1823 года: «Страшусь раздражить самолюбие приятеля, но право и вкус твой несколько *очеченился!* Охота же тебе читать Шихматова и Библию. Первый — карикатура Юнга; вторая — не смотря на бесчисленные красоты, может превратить Муз в церковных певчих. Читай Байрона, Гете, Мура и Шиллера, читай, кого хочешь, только не Шихматова!»¹⁶ Письмо это, как бы суммирующее упреки Кюхельбекеру от лица «партии», писалось в присутствии Пушкина и, бесспорно, сохранило в себе живые отголоски бесед с Пушкиным. Сам Пушкин снабдил текст письма любопытной припиской. К словам Туманского: «...я всегда был уверен, что ты меня любишь *не от делать нечего*, а от сердца» он сделал собственноручное примечание: «Citation de mon nouveau poeme. *Suum cuique*»¹⁷. Цитата эта — из первой главы «Евгения Онегина». *Suum cuique* в данном контексте означает, видимо, примерно следующее: «ты превращаешь Муз в церковных певчих, я пишу поэмы в новом роде; посмотрим, кто из нас прав».

¹⁴ Пушкин. Полн. собр. соч. Т. XIII. С. 45.

¹⁵ Дельви́г А. А. Сочинения. Сост., вступ. статья, коммент. В. Э. Вацура. Л.: Художественная литература, 1986. С. 281.

¹⁶ Пушкин. Полн. собр. соч. Т. XIII. С. 81–82.

¹⁷ Пушкин. Полн. собр. соч. Т. XIII. С. 81.

Первая глава «Онегина» вышла в 1825 году. Кюхельбекеру она не могла понравиться — потому что в его глазах представляла собой пример «ложного» пути словесности, отказ от возвышенной поэзии во имя словесного щегольства. В эпистолярной и позднейших дневниковых записях Кюхельбекера сохранились следы негативного отношения к пушкинскому сочинению. Никто, однако, не заметил, что Кюхельбекер успел высказать свое мнение о «Евгении Онегине» и печатно.

В статье о Шихматове содержится принципиально важный пассаж, посвященный защите и обоснованию славянизированной стилистики шихматовской поэмы: «Не употреблять в оде, в поэме, в высокой лирической или даже описательной поэзии славянских выражений считаем столь же странным, как употреблять оные в комедии, в легком послании, в песенке или в прозаической по содержанию и по духу повести, хотя бы она и была в стихах и даже писана лирическими строфами» (курсив мой. — О. П.)¹⁸.

Именно здесь Кюхельбекер отвечает друзьям (и прежде всего — Пушкину) на упреки в «славенщизне»: славянские выражения мотивированы жанрово, принадлежностью текста к «высокой» поэзии. Последней противопоставлены жанры более «низкие», заведомо второстепенные: они чужды высоким предметам, и, следовательно, высокий стиль в них неуместен. Комедия и легкое послание — традиционные, зафиксированные во всех школьных классификациях примеры таких жанров. А вот что значит «прозаическая» по содержанию и по духу «повесть в стихах», написанная «лирическими» (то есть — в соответствии с терминологией эпохи — одическими или связанными с одой) строфами? Не приходится сомневаться в том, что Кюхельбекер имеет в виду «Евгения Онегина», первая глава которого только что вышла из печати. Поэтическому чутью Кюхельбекера следует отдать должное: он, видимо, был первым, кто отметил генетическую связь онегинской строфы со строфой одической (ныне общепризнанную) и одним из первых, кто уловил родство нового жанра с дружеским посланием и со стихотворной комедией: такая связь, действительно, весьма существенна¹⁹. Однако про-

¹⁸ Кюхельбекер В. К. Разбор поэмы князя Шихматова «Петр Великий». С. 470–471.

¹⁹ См. об этом: Скачкова О. Н. Дружеское послание А. С. Пушкина и «Евгений Онегин» // Проблемы пушкиноведения: Сборник научных трудов. Рига: Латвийский гос. университет, 1983. С. 5–15; Проскурина О. «Евгений

нительно отмеченные Кюхельбекером особенности пушкинского сочинения отнюдь не были для критика свидетельством его литературных достоинств, скорее наоборот. Большая форма, основанная на торжественной «ломоносовской оде», в статье Кюхельбекера имплицитно противопоставляется большей форме, выросшей из «легких» и комических жанров карамзинизма. Путь, проложенный Шихматовым, кажется Кюхельбекеру более продуктивным, чем путь, выбранный Пушкиным.

Кюхельбекер определенно желал видеть Пушкина одним из основных читателей статьи о поэме Шихматова. Для Пушкина статья во многом и писалась. Об этом свидетельствует ее многозначительная концовка: «Наша словесность весьма еще не богата: прекрасным же не должен пренебрегать даже тот, кому дано превосходное!»²⁰ Пушкин — именно тот поэт, кому «превосходное» дано в высочайшей степени. И потому он — во имя и во благо российской словесности — обязан со всем вниманием отнестись к шихматовскому опыту и извлечь из него полезные уроки. Своим разбором «Петра Великого» Кюхельбекер указывал Пушкину направление для выхода из тупика «прозаической по духу» поэзии к «истинной народной эпопее».

«ХОЛОДНОЕ ОСТРОУМИЕ»

Пушкин, видимо, распознал тайную адресацию новой статьи Кюхельбекера, как и ее «заднюю мысль». Статью он прочел очень внимательно, чему сохранились хотя и косвенные, но весьма красноречивые свидетельства²¹. Однако рекомендации

Онегин» и русская стихотворная комедия // *Russian Language Journal*, 1999. Vol. LIII, № 174–176. P. 7–42 (там же и основная литература вопроса).

²⁰ Кюхельбекер В. К. Разбор поэмы князя Шихматова «Петр Великий». С. 492.

²¹ Так, А. Н. Соколов отметил одну совершенно бесспорную переключку пушкинской «Полтавы» с поэмой Шихматова «Петр Великий»: «Сентенциозное высказывание Шихматова: *Но ах! сердца людей коварных // Как бездны моря глубоки* (59) — переключается с подобными же образами аналогичной сентенциозности Пушкина: *Кто снидет в глубину морскую, // Покрытую недвижно льдом? // Кто испытующим умом // Проникнет бездну роковую // Души коварной?»* (Соколов А. Н. «Полтава» Пушкина и «Петриады» // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. Т. 4–5. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1939. С. 68). Означает ли это, что Пушкин, работая над «Полтавой», перечитывал Шихматова? Или он запомнил шихматовские стихи с лицейских лет — когда осмеивал «варягоросса» вслед за арзамасцами? Ни то, ни другое: эти два стиха (именно два стиха — вычлененные из контекста) были приведены в статье Кюхельбекера как образец сен-

Кюхли не могли его убедить и вдохновить: они указывали направление, во многом прямо противоположное тому пути, который нащупывал в литературе сам Пушкин²².

Читая статью, Пушкин должен был обратить внимание на обширное примечание, в котором обосновывалось родство Шихматова с... Кальдероном: «С Кальдероном князь Шихматов вообще имеет сходство решительное: в обоих встречаем одинакую, строгую, нерастленную светским умничаньем приверженность к вере своих праотцев; в обоих одинакое знание таинств религии и обрядов церковных, душа обоих напоена чтением священного Писания и св. отец...» Пушкин не мог не понять, в чей огород эти камешки: ведь это *он* смеялся над Кюхлиными «славяно-русскими стихами, целиком взятыми из Иеремии» и это он благословил Туманского на то, чтобы отвратить Кюхлю от чтения Библии, которая, «не смотря на бесчисленные красоты, может превратить Муз в церковных певчих»! В ответ Кюхельбекер выдвигает уже не чисто стилистическую, но и семантическую мотивировку обращения к священному Писанию: это главный источник того «высокого», что недоступно душе, растленной «светским умничаньем»... Ну, а кто такой этот «светский умник», способный только насмеяться над верой отцов, — догадаться не составляло труда...

Сопоставление Шихматова с Кальдероном развивается в неожиданном направлении: «Оба они, подобно поэтам Азии,

тенции, заставляющей «невольно задуматься» (*Кюхельбекер В. К. Разбор поэмы князя Шихматова «Петр Великий»*. С. 489).

²² Так, одним из главных достоинств поэмы Шихматова Кюхельбекер объявлял «выдержанность» эпического слога: «Слог поэмы „Петр Великий“ нигде не представляет пестроты, которую встречаем и в лучших сочинениях Сумарокова, Петрова и даже Державина; нигде слова и обороты славянские не перемешаны в оной с низкими простонародными...» (*Кюхельбекер В. К. Разбор поэмы князя Шихматова «Петр Великий»*. С. 491). Пушкин в больших жанрах ставил перед собою прямо противоположную задачу. О разрешении проблемы «выхода за пределы единого слога» в «Борисе Годунове» выразительно писал Г. О. Винокур: «Задача заключалась в том, чтобы заменить условный язык драмы, основанный на обособленном высоком слоге, *общим поэтическим языком эпохи*, как его понимал и создавал Пушкин, т. е. внутренне богатым и разнообразным, совмещающим в себе материалы разного качества и колорита, пестрым по составу, но цельным, стройным и законченным в своем последнем выражении» (*Винокур Г. О. Язык «Бориса Годунова» // Винокур Г. О. О языке художественной литературы. М.: Высшая школа, 1991. С. 204*). Подобные же задачи Пушкин ставил перед собой и в другом инновационном произведении «большой формы» — «Евгении Онегине».

любят играть словами, и напрасно бы сию последнюю склонность назвали пороком; она иногда происходит от обилия мыслей, *от избытка чувства, а не от холодного только остроумия*: есть различие между игрою словами, попадающеюся иногда в Шекспире, Кальдероне, Гафисе, и тою же игрою, когда употребляют ее вялый Дорат и бездушный Марини» (курсив мой. — О. П.)²³. Так в статье манифестировалась оппозиция, издавна присутствовавшая в эстетическом сознании Кюхельбекера: вдохновенные гении — холодные («бездушные») мастера. В контексте статьи эта оппозиция оказывалась связана не только с извечной антиномией небесного и земного, но и с ее конкретной реализацией — контрастом между высоким и вдохновенным эпосом Шихматова и «прозаическим по содержанию и по духу» эпосом Пушкина.

Противопоставление сердечного чувства и холодного остроумия будет повторено и в следующей статье Кюхельбекера (появившейся в 17-м номере «Сына Отечества» и также, несомненно, прочитанной Пушкиным) — «Разборе фон-дер-Борговых переводов русских стихотворений». Кюхельбекер, в частности, приводит здесь (в собственном переводе) чрезвычайно парадоксальное, основанное скорее всего на недостаточной осведомленности, суждение немецкого рецензента фон-дер-Борговой антологии русской поэзии: «...Самое благодетельное действие Шиллер и вообще немецкая словесность оказали на младшем из всех здесь исчисленных стихотворцев — кн. Вяземском, который, вопреки переводчику, *отличается более чувством, нежели* (как уверяет нас г. ф.-д. Борг) *остротой и умом пронизательным*». Кюхельбекер комментирует это заключение с полным сочувствием: «Хотя здесь немецкий критик, по своему обыкновению, суждение свое основывает на двух небольших произведениях кн. Вяземского, однако же на сей раз мы довольно с ним согласны и скажем любезному нам поэту со всею откровенностию, к которой он с нашей стороны привык: и мы уверены, что ему более суждено действовать на сердце своих читателей *излияниями собственного сердца, нежели щеголять перед ними ложным и нередко заимствованным остроумием*»²⁴ (курсив мой. — О. П.).

²³ Кюхельбекер В. К. «Разбор поэмы князя Шихматова «Петр Великий». С. 482.

²⁴ Кюхельбекер В. К. Разбор фон-дер-Борговых переводов русских стихотворений // Кюхельбекер В. К. Путешествие; Дневник; Статьи. С. 497.

Подобные замечания не могли не остановить на себе внимания Пушкина уже потому, что, во-первых, как уже отмечалось, косвенно метили в него самого, во-вторых — заключали в себе истинно «кюхельбекерную» парадоксальность: Шихматов оказывался совместником Кальдерона, воспитанный на французской традиции остроумец Вяземский — тайным учеником Шиллера... Но, кроме того, за откровенными и отчасти демонстративными парадоксами Кюхельбекера Пушкин наверняка должен был обнаружить еще один парадокс — глупинный и вряд ли осознанный самим автором.

Дело в том, что противопоставление «сердечное чувство — холодное остроумие» лежало в основании той эстетической культуры, которая породила критикуемый Кюхельбекером жанр — элегию. Осуждение холодного остроумия («остроты»), альтернативой которому объявлялись восторженная пылкость чувств и исповедальная искренность, составляло самый субстрат элегического мышления²⁵. Противопоставление было органически связано с концепцией «прекрасной души», развитой сентиментальной эстетикой.

Кюхельбекер неожиданно и невольно продемонстрировал, что, борясь с элегией во имя высоких жанров, он сохранял в глубинах своего эстетического сознания именно те представления, которые питали творчество элегиков. Так Пушкин получил возможность соединить критику «унылой элегии» с критикой ее критика.

«ПЕРО»

Пушкин ответил Кюхельбекеру в письме от 1–6 января. Здесь воспетому Кюхельбекером стихотворцу давалась демонстративно резкая характеристика: «...кн.<язь> Шихматов, несмотря на твой разбор и смотря на твой разбор, бездушный, холодный, надутый, скучной пустомеля..... ай ай, больше не буду! не бей меня»²⁶.

Пушкинское письмо очень примечательно не только своим содержанием, но и своим тоном. С одной стороны, в нем выражено резкое и откровенное несогласие с оценками Кюхельбекера. Высказывание Пушкина задевало, конечно, не только

²⁵ Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб.: Наука, 1994. С. 31–33.

²⁶ Пушкин. Полн. собр. соч. Т. XIII. С. 248.

Шихматова, но и его апологета — те его эстетические установки, которые позволяли выдвинуть Шихматова за счет Пушкина. С другой стороны, примечательно, что это несогласие не переходит в конфронтацию и разрыв, но разрешается в «домашнюю» шутку. Тирада о Шихматове завершается фразой, отсылающей к лицейской атмосфере, к тем временам, когда эстетические дебаты могли завершиться потасовкой («ай-ай...»), что не мешало, однако, друзьям оставаться друзьями. Этот «знак Лицея» — один из ориентиров для правильного понимания смысла и тона второго полемического отклика на суждения Кюхельбекера — в «Евгении Онегине».

В XXXI строфе 4-й главы отчетливо слышны отголоски недавних критических суждений Кюхельбекера: строфа открывается противопоставлением «чувства» и «холодного остроумия» (затем появятся и «порывы сердца»; ср. с «излияниями собственного сердца» у Кюхельбекера). Необходимо помнить при этом, что у самого Кюхельбекера соответствующее противопоставление появилось в рассуждении о разных типах *игры словами*. Именно *игра словами* превратится в скрытый структурный стержень пушкинской шутки.

Бросается в глаза, что стихи о влюбленном Ленском перекликаются — даже в мелких деталях — с лицейской эпиграммой Пушкина на Кюхельбекера (около 1816 года):

Вот Виля — он любовью дышет,
Он песни пишет зло,
Как Геркулес, сатиры пишет,
Влюблен, как Буало²⁷.

Ср. в «Онегине»: *Не мадригалы Ленской пишет... Его перо любовью дышет*. Переключки эти, конечно, не случайны. Лицейская эпиграмма осмеивает литературную и бытовую нелепость Кюхли, разительное несоответствие между избираемыми им целями и непригодными для их исполнения средствами: Геркулес славился отнюдь не интеллектом, но, среди прочего, невиданной сексуальной мощью; писать сатир он заведомо не мог — зато был в состоянии дефлорировать за одну ночь сорок девять царских дочерей. Напротив того, Буало, автор блистательных стихотворных сатир, никак не мог быть образцом в любви: он был кастратом и женоненавистником... В «Евге-

²⁷ Пушкин. Полн. собр. соч. Т. I. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1937. С. 290.

нии Онегине» сохранится и общая идея несоответствия интенций и реализации, и комическая сопряженность сексуальной и литературной сфер.

Пушкинский Ленский изначально задумывался как пародия на поэта-элегика: пародия означала освобождение от традиционного элегического модуса. В особенности активно нападал Пушкин на элегический «девственный энтузиазм». В своем романе Пушкин искусно демонстрирует фиктивность этой «девственности», несоответствие элегического сознания и искусственного элегического языка эмоциональному и интеллектуальному опыту человека 1820-х годов. Почти во всех эпизодах романа, связанных с Ленским, автор последовательно подвергает элегический язык иронической деконструкции.

Основной ее прием — подсвечивание традиционного элегического языка скрытым «вторым планом». Стертые элегические «поэтизмы» подбирались и использовались так, что они одновременно проецировались на язык французской элегической поэзии (послужившей основанием для языка русской «унылой элегии») и на язык французской эротической литературы. Возможность такой игры оказалась обусловлена дискурсивной двупланностью текста «Евгения Онегина»: соответствующие описания даются одновременно 1) в плане героя и «на языке героя» (здесь они совершенно серьезны и субъективно «целомудренны») и 2) в плане автора и в соотнесенности с языком автора (здесь они начинают звучать иронично, пародийно и двусмысленно). Поэтому формулы типа «лоно тишины» и «живые слезы» в плане Ленского выражают поэтические переживания на свойственном герою условном языке («скорбь в одиночестве»); в плане автора те же формулы — будучи соотнесены с фразеологией французской скабрезной литературы — оказываются заряжены острым непристойным смыслом, разоблачающим действительный характер страданий героя («мастурбация в одиночестве»). Именно взаимное подсвечивание этих планов придавало стилистическому миру пушкинского романа острый игровой эффект²⁸.

Пушкин демонстрирует, что, пытаясь изгнать все слишком земное, плотское, «чувственное» из сферы творчества, элегическая поэзия невольно инкорпорирует изгоняемое ею вождение

²⁸ См. подробнее: *Проскурин О.* Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М.: Новое литературное обозрение, 1999. С. 153–157.

в сам элегический язык: в его лексику, грамматику, в его семантические структуры. Язык как бы смеется над усилиями унылых элегиков умертвить страсть, лежащую в основании любовной поэзии. Задача истинной («истинно романтической», как сказал бы Пушкин в 1825 году) поэзии — выработать такую поэтику, которая позволила бы преодолеть дистанцию между реальными желаниями и их условным поэтическим выражением.

Кюхельбекер со своим противопоставлением истинного чувства холодному остроумию дал Пушкину новый импульс для продолжения пародийно-деконструирующей игры, начатой во 2-й главе. В 4-й главе рассказ о влюбленном Ленском вновь ведется в «стилистической зоне» самого героя; это, в известном смысле, его «несобственно-прямая речь». Но в то же время это речь, *изображенная автором* с определенной иронической дистанции. В эстетической системе Ленского, на его «языке», перифрастическое выражение «перо, хладно блещущее остротой» означает: «поэзия, не одушевленная возвышенным и искренним чувством». Напротив того, «перо, дышащее любовью», — это подлинное творчество, в котором выразилась «душа» сочинителя. Однако возникающий образ изначально каламбурен; слово «острота» омонимично. С одной стороны, это указание на качество писаний, с другой — указание на свойство инструмента письма. Именно второе значение позволяло переключить формулу из «плана героя» в «план автора» — и обыграть ее.

Во французском языке издавна существовало (и существует донныне) восходящее к либертинской фразеологии выражение *tailler un plume* — «затачивать, острить перо». Оно имеет остро сексуальное содержание и обозначает *fellatio*, оральные ласки пениса²⁹. В свете этой ходовой метафоры самое «перо» приобретает отчетливые фаллические коннотации. Игра с этим французским фразеологическим подтекстом велась в русской словесности и до Пушкина³⁰, и — что самое примечательное — практически одновременно с ним, притом в сходной функции.

В то самое время, когда Пушкин заканчивал работу над 4-й главой «Евгения Онегина», подобную же шутку использовал Е. А. Баратынский в эпиграмме «Не трогайте парнасского пера...» (датируется временем не позже начала января 1826 года):

²⁹ *Duneton, Claude. La Puce à l'oreille: Anthologie des expressions populaires avec leur origine. Nouvelle édition, revue et augmentée. Balland, 1985. P. 92–93.*

³⁰ См. очерк «Бедная Певница» в наст. издании.

«Его перо любовью дышет»

Не трогайте парнасского пера,
Не трогайте, пригожие вострушки!
Красавицам не много в нем добра,
И им Амур другие дал игрушки...³¹

Стихотворение Баратынского, осмеивающее «дамскую версию» элегической поэзии, связано — как и у Пушкина — с преодолением наследия элегизма самим автором. Баратынский в эту пору отчетливо осознает близость своего пути пушкинскому и иногда — даже не без некоторой ревности — указывает на свой приоритет в этом отношении. Так, в письме Пушкину (датирующемся временем между 5 и 20 января 1826 года) он пишет: «Как ты отделал элегиков в своей эпиграмме! Тут и мне достается, да и поделом; я прежде тебя спохватился и в одной ненапечатанной пьесе говорю, что стало очень приторно

Вытье жеманное поэтов наших лет»³².

Близость методов преодоления элегического модуса у Пушкина и Баратынского разительна. Как недавно установил В. И. Коровин, текст Баратынского восходит в некоторых деталях к эпиграмме Экушара Лебрена³³. Эпиграмма, таким образом, создавалась на французском фоне — тем естественнее было Баратынскому активизировать фразеологический арсенал французской шуточной поэзии, в частности фаллические коннотации «пера» и сексуальный смысл выражения «острить перо». Внешне невинное выражение «пригожие *вострушки*» в свете соответствующих проекций приобретало отчетливо непристойный смысл: *вострушки* — это те, кому надлежит «острить перо» — но отнюдь не то «перо», что предназначено для сочинения чувствительных стишков. «Другие игрушки», предоставленные им Амуром, — это, конечно, мужские гениталии: во французском языке

³¹ Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений. Л.: Советский писатель, 1989. С. 135.

³² Баратынский Е. А. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М.: Правда, 1987. С. 165.

³³ Коровин В. И. Две заметки о стихах Баратынского // Новые безделки: Сборник статей к 60-летию В. Э. Вацура. М.: Новое литературное обозрение, 1995/96. С. 436–440.

слово «играть», *jouer*, использовалось в многообразных фразеологических сочетаниях, означающих: *faire l'acte vénérien*³⁴. Самый механизм словесной игры, заключенной в эпиграмме Баратынского, верифицирует и поясняет характер словесной игры Пушкина.

Итак, в «двойной экспозиции» «Евгения Онегина» «перо, блещущее остроотой» становится двусмысленным каламбуром: в «плане Ленского» образ означает холодную, на технике основанную поэзию; в «плане автора» — холодную, на чистой технике основанную эротику. Противопоставленное ему «перо, дышащее любовью», в свою очередь приобретает двойной смысл: выступая в плане героя синонимом истинной поэзии, в плане автора оно становится намеком на плотскую страсть Ленского (перо как пенис). Об этом потайном смысле образа свидетельствует и тот факт, что именно в 4-й главе — причем уже после XXXI строфы — плотски-эротическое начало в переживаниях Ленского впервые иронически и демонстративно обнажено («Ах, милый, как похорошели // У Ольги плечи, что за груди! // Что за душа!...»). Характерны также стихи о предстоящей женитьбе, данные в стилистической сфере Ленского и как бы пропущенные сквозь его дискурс: «Он весел был. Чрез две недели // Назначен был счастливый срок. // И тайна брачных постели // И сладостной любви венок // Его восторгов ожидали»³⁵.

Теперь уместно вспомнить ученый спор профессора Клейтона и профессора Бриггса относительно целомудрия Ольги. Наш анализ позволяет заключить, что прав профессор Клей-

³⁴ *Delvau, Alfred*. Dictionnaire érotique moderne. Nouvelle édition revue, corrigée, considérablement augmentée par l'auteur et enrichie de nombreuses citations. Paris: La Bibliothèque Privée, 1969. P. 217–218 (первое издание опубликовано в 1864 г.). Нескромный план эпиграммы Баратынского первым отметил, видимо, Омри Ронен. Рассматривая традицию двусмысленных насмешек над «женской» поэзией, исследователь констатировал: «Традицию начал, кажется, Баратынский — в „Эпиграмме“ 1826 г. — намеками, совсем прозрачными для тех, кто читывал пресловутую „Девичью игрушку“» (*Ронен Омри*. «Бедные Изиды»: Об одной вольной шутке Осипа Мандельштама // Литературное обозрение, 1991, № 11. С. 91). В дополнение к наблюдению Ронена следует заметить, что намеки, видимо, были достаточно прозрачными даже для тех, кто «Девичьей игрушки» не читал: «игрушки» определенно отсылали не только к Баркову, но и к французской эротической литературе, даже, пожалуй, в первую очередь к ней. Похабный Барков просвечивал через гривуазную французскую традицию.

³⁵ *Пушкин*. Полн. собр. соч. Т. VI. С. 93, 94.

тон: «фаллический каламбур» в пушкинском тексте определенно есть. Но отчасти прав и его оппонент: к сексуальным фантазиям Ольги каламбур не имеет отношения; Ольга в пушкинском романе не субъект, а лишь объект восприятия, чистая функция элегического видения. «Фаллический каламбур» возникает не в сознании Ольги, а в сознании Автора и — в «подсознании» Ленского...

Так, отправляясь от суждений Кюхельбекера, Пушкин вновь посмеялся над современной элегической поэзией. Но вместе с тем он задел и ее критика. Предложенная Кюхельбекером апология возвышенного стихотворства, воспаряющего над низменной «прозой жизни», оказывается, по Пушкину, ближе к установкам традиционной унылой элегии, чем к реальным задачам, стоящим перед современной поэзией, — овладеть умением включать в свою орбиту «жизненную прозу». Не случайно в XXXIV строфе появится многозначительная формула: «Владимир и писал бы оды, // Да Ольга не читала их». Эстетическое сознание элегика Ленского, по мысли Пушкина, не противоречит обращению к одическому жанру: если такого обращения не происходит, то не по принципиальным, а по случайным причинам. Пылкий Ленский и пылкий Кюхля обнаруживают глубинное литературное родство; разница между элегией и одой оказывается иллюзорной.

УРОКИ НАРОДНОСТИ

Однако игра с «пером» осуществляется Пушкиным не только в двух планах (элегические поэтизмы — фривольная традиция). Она вовлекает в себя и *третий* план — народную русскую поэзию. Активизация этого плана, видимо, в свою очередь была стимулирована выступлениями Кюхельбекера.

Статья «О направлении нашей поэзии» заключалась призывами к русским писателям освободиться от оков подражательности и обратиться к созданию поэзии истинно национальной. Одним из основных адресатов этого призыва был Пушкин: «Но не довольно — повторяю — присвоить себе сокровища иноплеменников: да создастся для славы России поэзия истинно русская <...> Вера праотцев, нравы отечественные, летописи, песни и сказания народные — лучшие, чистейшие, вернейшие источники нашей словесности. Станем надеяться, что наконец наши писатели, из коих особенно некоторые молодые одарены прямым талантом, сбросят с себя поносные оковы и захотят быть русскими. Здесь особенно

имею в виду А. Пушкина, которого три поэмы, особенно первая, подают великие надежды»³⁶.

Призыв совпал по времени с резким обострением интересов самого Пушкина к проблемам «народности». Как раз к 1824 году относятся его первые записи народных песен и, видимо, первые опыты художественной адаптации народной поэзии. Пушкинский фольклоризм, однако, был далек от романтической серьезности: он не отрицал, а предполагал веселость и ироническую игру. Игровой момент вполне дает себя знать и в XXXI строфе 4 главы «Евгения Онегина». Здесь Пушкин как бы откликается на призыв Кюхельбекера и обращается за вдохновением к чистейшему источнику поэзии — «песням народным». Но он черпает оттуда совсем не те сокровища, которые имел в виду Кюхельбекер. Особое внимание Пушкина привлекла эротическая песенная традиция.

На протяжении XVIII–XIX веков широко бытовала песня об уговорах молодцем (обычно — Ванюшей) девицы (обычно — Дуняши) остаться у него ночевать и о полученном согласии. Выдающийся знаток русских рукописных песенников А. В. Позднеев сообщает о наличии шести вариантов этой песни в сохранившихся записях XIX века и пяти вариантов в сборниках XVIII века³⁷. Старейшая из записей («Во Московском Государстве, за Яузой-рекой...») относится к 1740-х годам. Кроме того, один из вариантов песни был опубликован еще в XVIII веке, в известном сборнике М. Д. Чулкова.

По мнению Позднеева, в процессе своего бытования песня эволюционировала: «Вступление (рассказ об излечении девицы) и конец песни (что сделал молодец с девицей) обычно забывается, и песня обычно ограничивается лишь намеками». «Эволюция песни, — заключает исследователь, — происходила неравномерно: быстрее в больших городах (см. вариант из сб. Чулкова — вторая половина XVIII в.) и медленнее в небольших городах и деревнях, здесь „сжатие“ песни и отпадение подробностей относится только ко второй половине XIX века»³⁸.

³⁶ Кюхельбекер В. К. О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие // Кюхельбекер В. К. Путешествие; Дневник; Статьи. С. 458.

³⁷ Позднеев А. В. Рукописные песенники XVII–XVIII вв.: Из истории песенной силлабической поэзии. М.: Наука, 1996. С. 439–440.

³⁸ Позднеев А. В. Рукописные песенники XVII–XVIII вв. С. 441.

Выводы исследователи вряд ли можно принять целиком: судя по всему, сравнительно рано происходит отпадение *начальной* части песни с ее конкретными топографическими и профессиональными реалиями (если считать варианты Андреевского сборника 1740-х годов именно исходной версией). Что касается второй части сюжета («что сделал молодец с девицей»), то она в процессе бытования не только не исчезла, но развернулась и обогатилась новыми подробностями. Поспешное заключение Позднеева обусловлено тем, что он сосредоточился на изучении песенников — собраний текстов с очень специфической прагматикой: они отбирали материалы, пригодные для употребления в «приличном обществе», и поэтому неизбежно должны были смягчать особо острые и двусмысленные места. Апелляция же к сборнику Чулкова (в качестве доказательства того, что песня быстрее всего эволюционировала «в больших городах») и вовсе методически некорректна: это все равно что на основании опубликованной В. Рубаном «Оды в похвалу любви» (одной из самых непристойных барковских од, ловко приносившей к печати) заключить, что в процессе своего бытования барковские срамные оды эволюционировали от похабности к целомудрию. Несомненно, причина появления в сборнике Чулкова «краткой версии» объясняется не эволюцией текста, а невозможностью воспроизвести в печати эротические «подробности» сюжета.

Показательно, что песня в чулковском сборнике искусственно обрывается в кульминационный момент, безо всякой замены опущенного эпизода эвфемистическими намеками (такая замена происходит в некоторых из рукописных вариантов):

Оставалась девица,
У молодца ночевать,
Во всем платье спать ложилась,
На тесовую кровать³⁹.

Эта резкость обрыва — своеобразное подтверждение тому, что Чулков *знал* концовку песни и искусственно ее элиминировал. Чулков (сам, кстати сказать, не только знаток русской

³⁹ Сочинения Михаила Дмитриевича Чулкова. Издание Отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Том I. Собрание разных песен. Части I, II и III. СПб.: Тип. Императорской Академии Наук, 1913. С. 661 (часть III, № 140).

непристойной поэзии, но и ее незаурядный практик)⁴⁰ этим приемом достигал особого эффекта: посвященный читатель, обнаружив в печати «приличную» версию «неприличного» текста, должен был получать особое удовольствие. Пушкин был чуток к такого рода играм: как раз ознакомление с сокращенной публикацией песни в чулковском сборнике могло способствовать актуализации в творческом сознании поэта ее полной версии.

Итак, что же случилось после того, как Дуняша целомудренно («во всем платье») возлегла на тесовую кровать? Ответить на этот вопрос мы можем совершенно точно, поскольку песня о Дуняше и Ванюше дошла до наших дней не только в песенниках и сборниках, но и *в живом фольклорном бытовании*. Примечательно, что все полевые записи фиксируют именно «пространную версию»; во всех вариантах наличествует — слегка модифицируясь — один и тот же яркий метафорический образ.

Вот запись песни «Дуня бела, румяна» (Архангельская область, 1994) — с того момента, на котором заканчивается текст в сборнике Чулкова:

Повалилась Дуня спать
На тесовую кровать.
А Иванушка по горенке
Похаживает,
А Иванушка по горенке
Похаживает,
Он сапог об сапог
Поколачивает,
Он сапог об сапог
Поколачивает,
Ко Дуняше на кровать
Приворачивает.
Ко Дуняше на кровать
Приворачивает.
У Дуняши сарафан
Заворачивает,

⁴⁰ Традиция приписывает ему авторство одной из самых популярных «срамных од» барковианы. См.: Девичья игрушка, или Сочинения господина Баркова. Изд. подготовили А. Зорин и Н. Сапов [С. И. Панов]. М.: Ладомир, 1992. С. 7, 390. Текст оды — там же, с. 45–50.

«Его перо любовью дышет»

Вынимает для нее
Свое белое перо.
Начал Ванюшка писать,
Начала Дуня кричать⁴¹.

И так далее.

Вот как звучит соответствующее место в версии, записанной на Смоленщине (1988), — «Подговаривал Ванюша»:

Словно Ванюшка по горенке похаживает.
И сапожек об сапожек и пощелкивает.
Лебядиное пяро вынимает наголо.
А стал Ванюшка писать — стала Дунюшка кричать...⁴².

Особенно интересный вариант записан в Калужской области (1989) — «Приглашал Ваня Дуняшу с собой ночку ночевать»:

Ваня с горенки у горенку похаживает,
Вапя с горенки у горенку похаживает,
Сам в окошечко, в окошечко поглядывает,
Сам в окошечко, в окошечко поглядывает,
Свои плисовы штаненочки растягивает,
Свои плисовы штаненочки растягивает,
Свое белое перо вынимает наголо,
Свое белое перо вынимает наголо,
Сам у Дуниной черпилочки помакивает,
Сам у Дуниной чернилочки помакивает,
Как начал Ваня писать — стала Дунюшка кричать...⁴³

Среди фольклорных записей, сделанных Пушкиным в Михайловском, песни на этот сюжет нет, что само по себе ни о чем не свидетельствует: по всему видно, что Пушкин записывал только те фольклорные тексты, которые он считал пригодными для возможного последующего издания. Кроме того, Пушкин мог знать песню на соответствующий сюжет еще до начала

⁴¹ Русский эротический фольклор: Песни; Обряды и обрядовый фольклор; Народный театр; Заговоры; Загадки; Частушки. Составление и научное редактирование А. Топоркова. М.: Ладомир, 1995. С. 107.

⁴² Русский эротический фольклор. С. 266.

⁴³ Русский эротический фольклор. С. 295.

своих этнографических занятий в Михайловском: уже в начале 1820-х годов эротический песенный фольклор (причем достаточно раритетный) искусно использовался им — в частности, в поэме-сказке «Царь Никита и сорок его дочерей»⁴⁴.

У нас есть и дополнительные — хотя и косвенные — свидетельства тому, что песня о молодце и девице оказалась в центре внимания поэта как раз в пору работы над 4-й главой «Евгения Онегина». Ко времени не раньше ноября 1824 года (и не позже января 1826 года)⁴⁵ относится первый пушкинский опыт стихотворения в «народном стиле» — набросок «Как жентиться задумал царский арап». Там есть такие строки:

Меж боярынь арап похаживает,
На боярышен арап поглядывает.
Что выбрал арап себе сударышку,
Черный ворон белую лебедушку...⁴⁶

Этот текст в высшей степени соответствует особой, чисто пушкинской технике работы с фольклором, в свое время точно определенной Р. О. Якобсоном как «техника коллажа», предполагающая способность «сводить вместе разнородные и далекие элементы», фольклорные и литературные⁴⁷. Как недавно установил В. Д. Рак, контрастный образ «черный ворон — белая лебедушка», по видимости такой фольклорно-русский, восходит к французскому переводу (1) шекспировского «Отелло»⁴⁸. Пушкин добивается иллюзии аутентичной «фольклорности» тем, что мастерски обволакивает этот шекспиризм русским песенным стилем. Характерно, что формула, вводящая антитезу «ворон — лебедушка», находит особенно

⁴⁴ См. об этом: *Левинтон Г. А., Охотин Н. Г.* «Что за дело им — хочу...»: О литературных и фольклорных источниках сказки А. С. Пушкина «Царь Никита и 40 его дочерей» // *Литературное обозрение*, 1991, № 11. С. 28–35. См. в особенности приведенное в статье письмо Р. О. Якобсона к одному из авторов — с указанием на отчетливый параллелизм некоторых мотивов пушкинской сказочной поэмы и песни «Чуманиха» (с. 30).

⁴⁵ *Фомичев С. А.* Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 835: Из текстологических наблюдений. С. 64.

⁴⁶ *Пушкин*. Полн. собр. соч. Т. II. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1947. С. 338.

⁴⁷ *Якобсон Роман*. Пушкин и народная поэзия // *Якобсон Роман*. Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987. С. 208.

⁴⁸ См.: *Рак В. Д.* Пушкин и французский перевод «Отелло» // *The Pushkin Journal*, 1993. Vol. 1, No 1. P. 36–44 (в особенности р. 37–40).

близкое соответствие именно в песне про Дуняшу — в версии, зафиксированной в Калужской губернии:

Ваня с горенки у горенку похаживает,
Сам в окошечко, в окошечко поглядывает...

О том, что переключки эти не случайны и что пушкинский набросок соотнесен именно с эротическим песенным текстом, свидетельствует функциональная эквивалентность формул: в обоих случаях соответствующие стихи выступают как предлюдия к развертыванию эротического сюжета⁴⁹.

Построение текста на взаимодействии фольклорных и литературных (притом иноязычных!) источников было почти «всерьез» реализовано в песенном наброске. В «Евгении Онегине» этот же прием был использован уже в откровенно игровой функции.

Как и в случае с *французским* пером, *русское* народное перо служит Пушкину для игровой деконструкции условного элегического дискурса: Ленский может *помышлять* о тех же вещах, о каких рассказывает фольклор, но он не в состоянии *изложить* свои помыслы так же откровенно, лукаво и весело, как сделала это народная песня. Пушкин вновь подтрунивает над Кюхельбекером: обратившись к «чистейшему источнику» народной поэзии, он отыскал в нем блистательную эротическую метафору, превосходящую своей картинной выразительностью самые изысканные французские эротические перифразы.

Вместе с тем Пушкин здесь не только посмеялся над Кюхельбекером, но и шуточно его верифицировал. Тот, процитировав в своем разборе антологии фон-дер-Борга мнение немецкого рецензента о том, что старинные русские песни «будто бы» «все дышат глубокою заунывностью», писал:

⁴⁹ Калужская версия песни о Ванюше и Дуняше вообще теснее всего связана со старинной фольклорной традицией. М. И. Шапир обратил внимание на любопытное «перифрастическое описание полового акта» в былине о Ставре Годиновиче (изданной Гильфердингом): *А моя была чернильница серебряна, / А твое было перо да позолочено, / Ты тут помакивал всегда, всегда...* (Шапир М. И. Из истории «пародического балладного стиха». 1. *Пером владеет как елдой* // Анти-мир русской культуры: Язык. Фольклор. Литература. Сборник статей. Сост. Н. Богомолов. М.: Ладомир, 1996. С. 252). Текст былины обнаруживает примечательное сходство именно с калужской версией нашей песни: *Свое белое перо вынимает наголо, // Сам у Дуниной чернилочка помакивает.*

«...Можем уверить г. Критика и г. фон-дер-Борга, что не все наши старинные песни заунывны»⁵⁰. Это замечание было исполнено принципиального полемического смысла: Кюхельбекеру было важно отделить национальный фольклор от элегической поэзии, в которой «чувство уныния поглотило все прочие»⁵¹. Пушкин своей игрой своеобразно подтвердил правоту Кюхли.

«ЯЗЫКОВ ВДОХНОВЕННЫЙ»

Однако и этим — фольклорным — планом затеянная Пушкиным литературная игра не исчерпывается! Она продолжена и завершена в следующих стихах XXXI строфы. Итак, Ленский

Что ни заметит, ни услышит
Об Ольге, он про то и пишет:
И полны истины живой
Текут элегии рекой.
Так ты, Языков вдохновенный,
В порывах сердца своего,
Поешь, Бог ведает, кого,
И свод элегий драгоценный
Представит некогда тебе
Всю повесть о твоей судьбе⁵².

Никто из комментаторов не отметил и не разъяснил вопиющее противоречие, заключенное в этих стихах. Суть противоречия в следующем: к поэзии Ленского Пушкин относился иронически; к поэзии Языкова — восторженно⁵³. Уподобление элегий вышучиваемого Ленского элегиям почитаемого Языкова — для последнего не столько комплимент, сколько обида. Неужели Пушкин этого не заметил? Кроме того, элегии молодого Языкова совершенно непохожи на элегии Ленского: качеств, присутствующих писаниям Ленского («что ни увидит, ни услышит...»),

⁵⁰ Кюхельбекер В. К. Разбор фон-дер-Борговых переводов русских стихотворений». С. 497.

⁵¹ Кюхельбекер В. К. О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие. С. 456.

⁵² Пушкин. Полн. собр. соч. Т. VI. С. 86.

⁵³ Именно Пушкин был инициатором установления сначала литературных, а потом и личных отношений с Языковым; сам Языков в ту пору относился к Пушкину скорее с недоброжелательной настороженностью.

у Языкова-элегика найти нельзя. Мало того: в элегических текстах Языкова решительно невозможно обнаружить и «повесть о судьбе», которую приписал ему Пушкин и указание на которую Ю. М. Лотман счел исключительно точной характеристикой эстетической природы поэзии романтизма⁵⁴.

Молодой Языков выступил как *разрушитель* элегической традиции: он резко редуцировал в своих элегиях лирический «сюжет» и выдвинул на первый план «прием» — неожиданное развернутое сравнение эмоционально-психологического состояния с каким-либо явлением внешнего мира. Это — подлинный семантический центр элегий раннего Языкова⁵⁵. Мы встречаем этот прием уже в одной из первых опубликованных языковских элегий («Так путник в ранние часы, // Застигнут ужасами бури, // С надеждой смотрит на часы...») ⁵⁶ и в элегии, напечатанной в августе 1825 года в «Новостях литературы» («Поэт ли склонит перед ней // Свои возвышенные взгляды! // Так след убогого челна // Струя бессильная лобзает, // Когда могучая волна // Через него перелетает»⁵⁷). Этот же прием разворачивается и в самой обширной к тому времени подборке языковских элегий (четыре текста), появившейся в сентябре 1825 года, в 7-м номере «Соревнователя просвещения и благотворения»,⁵⁸ — единственной, дававшей основание с некоторой

⁵⁴ Лотман Ю. М. Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий // Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки. 1960–1990; «Евгений Онегин». Комментарий. СПб.: Искусство-СПБ, 1995. С. 636.

⁵⁵ Такой прием — пока еще в комической функции — использовался и в шуточных, оставшихся в рукописи элегиях 1823–1824 гг. — «О деньги, деньги! для чего // Вы не всегда в моем кармане?» («Так ратник в поле боевом // Свою судьбину прокликает, // Когда разбитое врагом» и проч. — всего 8 стихов) и в особенности в «Еще элегии», где традиционные мотивы унылой элегии неожиданно снижаются пространной (в 12 стихов) иронической концовкой, скроенной по модели знаменитого 2-го эпода Горация: «Такие чувствует печали // Богач, которого казну // Его завистники украли...» См.: Языков Н. М. Полное собрание стихотворений. Ред., вступительная статья и комментарии М. К. Азадовского. М.; Л.: Academia, 1934. С. 149, 152.

⁵⁶ Языков Н. М. Полное собрание стихотворений. С. 152 (первоначально: Новости литературы, 1824, № 3).

⁵⁷ Языков Н. М. Полное собрание стихотворений. С. 179.

⁵⁸ Пушкин наверняка знал эти тексты: в 1825 году он сам сотрудничал в «Соревнователе»; в № 3 напечатаны два его антологических стихотворения — «Я говорил тебе, страшися девы милой» и «Миля красавица, когда свое чело...»; в № 6 — «Желание славы».

натяжкой говорить о «своде» языковских элегий: «Печаль от сердца отошла, // И с ней любовь. Так пар дыханья // Слетает с чистого стекла!»; «Любви не знал я: так волна // В лучах светила золотого // Блестит, кипит, — но холодна!»⁵⁹. «Любовь» как таковая здесь явно заслоняется самодовлеющим поэтическим образом: автора интересует не столько любовь, сколько возможность ее трансформации в поэтическую фигуру. Показательно, что соответствующий прием венчает и первое послание Языкова к Пушкину — уже вне всякой связи с любовным сюжетом («Так камень с низменных полей // Носитель Зевсовых огней, // Играя, на гору заносит»)⁶⁰.

В XXXI строфе 4-й главы «Евгения Онегина» обнаруживается не только хорошее знакомство Пушкина с языковскими элегиями, но и отчетливое осознание новой конструктивной функции излюбленного Языковым приема. Композиция строфы точно воспроизводит построение языковских элегий: сначала краткое описание «любви» и вызванного этой любовью состояния — затем неожиданное развернутое сравнение: «Так ты, Языков вдохновенный, // В порывах сердца твоего...» и проч. В роли образа внешнего мира, «явления природы» у Пушкина выступает само языковское творчество.

Таким образом, обращение к опубликованным до конца 1825 года элегиям Языкова позволяет объяснить появление в XXXI строфе самого приема сравнения и выявить его цитатный смысл, но несколько не помогает обнаружить содержательных оснований для такого сравнения. Судя по всему, пушкинский образ и здесь заключает в себе двупланную игру: Пушкин определенно имел в виду не только напечатанные элегии Языкова. В 1825 году в поле зрения автора «Евгения Онегина» оказались и другие языковские элегии — не предназначенные для печати и совершенно не похожие на те, что появлялись на страницах журналов и альманахов.

Весной (не позже 20 апреля) 1825 года Пушкин пишет в Дерпт А. Н. Вульф, содействовавшему установлению литературных контактов между Пушкиным и Языковым: «Обнимаю вас братски. Также и Языкова — послание его и чувствительная Элегия — прелесть»⁶¹. Упомянутое «послание» — это,

⁵⁹ Языков Н. М. Полное собрание стихотворений. С. 218, 219.

⁶⁰ Языков Н. М. Полное собрание стихотворений. С. 200.

⁶¹ Пушкин. Полн. собр. соч. Т. XIII. С. 162.

конечно, первое послание Языкова Пушкину («Не вовсе чужа бога света...»), ответ Языкова на переданные через Вульфа стихи Пушкина («Издравле сладостный союз...»). А вот о какой «элегии» идет здесь речь? Комментаторы затрудняются ответить на этот вопрос. Дотошный Б. Л. Модзалевский сокрушенно писал в своих примечаниях к пушкинскому письму: «Какую „чувствительную элегию“ Языкова имел в виду Пушкин, — не догадываемся»⁶². Ему вторит и новейший комментатор: «Какую элегию Языкова имел в виду Пушкин, неизвестно»⁶³.

Между тем, как кажется, недоумение здесь напрасно. Существует достаточно оснований для того, чтобы ответить на вопрос вполне уверенно. В конце августа 1825 года Пушкин пишет тому же Вульфу: «Кланяюсь Языкову. Я написал на днях подражание Элегии его *Подите прочь*»⁶⁴. Вульф, судя по всему, пожелал узнать текст этого «подражания» (письмо его до нас, к сожалению, не дошло). Пушкин отвечал ему 10 октября: «Желал бы я очень исполнить желание ваше касательно подражания Язкву — но не нахожу его под рукой. Вот начало:

Как широко,
Как глубоко!
Нет, бога ради,
Позволь мне сзати. — etc. —

Не написал-ли Яз.<ыков> — еще чегонибудь в том-же роде? или в другом? перешлите нам — мы будем очень благодарны»⁶⁵.

Вряд ли может подлежать сомнению, что Пушкин говорит здесь о «подражании» той самой «элегии», которую Вульф прислал ему весной вместе с языковским посланием. Иначе говоря, «чувствительная элегия» Языкова — не что иное, как его *непристойная* «элегия» «Поди ты прочь» (Пушкин не очень точно воспроизводит ее первую строку). Комментаторов ввело в заблуждение пушкинское определение; пушкинисты не догадались, что в соответствующем контексте слово

⁶² Пушкин. Письма. Под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского. Т. I. М.; Л.: Гос. изд-во, 1926. С. 409.

⁶³ Переписка А. С. Пушкина в двух томах. Т. 2. М.: Художественная литература, 1982. С. 179.

⁶⁴ Пушкин. Полн. собр. соч. Т. XIII. С. 219.

⁶⁵ Пушкин. Полн. собр. соч. Т. XIII. С. 237–238.

«чувствительная» выступает не как серьезная, а как шутливая характеристика жанра.

Понравившееся Пушкину стихотворение примыкает к дерптскому циклу эротических «элегий», написанных Языковым в основном в 1824 году⁶⁶. Оно не смогло попасть в издания сочинений Языкова даже и в XX веке. М. К. Азадовский, напечатавший пять из семи дерптских «элегий» (с вынужденными огромными купюрами), о последней упомянул только в комментарии и привел из нее лишь пять с половиной стихов: «Поди ты прочь! // Теперь не ночь; // А также кстати // И нет кровати! // Ах, радость, Хлоя, // Позволь... и т. д.»⁶⁷.

Прислал ли Вульф Пушкину еще что-нибудь «в том же роде» — трудно сказать с абсолютной уверенностью. Во всяком случае, судя по обращенным к Вульфу запросам, Пушкин знал, что подобный «элегический» опыт был у Языкова не единственным.

В эротических «элегиях» Языкова (в отличие от элегий, появившихся в печати), действительно, выстраивалась своего рода «повесть» об отношениях между лирическим субъектом и «элегической героиней». Но между этой «повестью» и традиционными элегическими циклами (например, «Каменецким циклом» Батюшкова) существовала принципиальная разница: Языков повествовал не о платонических страданиях наделенного «прекрасной душой» влюбленного героя, а исключительно о сексуальных отношениях персонажей, совершенно лишенных атрибутов элегической невинности. Пользуясь языком эпохи, можно сказать, что это были не «чувствительные», а сугубо «чувственные» сочинения.

Эти сочинения имели, однако, важные отличительные особенности. До Языкова сексуальные отношения в не предназ-

⁶⁶ Пять из семи «элегий» полнее всего (но все же со значительными купюрами) были напечатаны М. Азадовским по автографу из альбома Н. Д. Киселева в изд.: *Языков Н. М. Полное собрание стихотворений*. С. 153–158. Во всех позднейших изданиях стихотворений Языкова купюры увеличивались. Лишь сравнительно недавно по автографу были опубликованы выпущенные стихи пяти элегий и целиком две элегии, не вошедшие в советские издания. См.: *Dees, Benjamin. Yazykov's Unpublished Erotica // Russian Literature Triquarterly*, 1975, 10. P. 408–413.

⁶⁷ *Языков Н. М. Полное собрание стихотворений*. С. 728. Азадовский процитировал эти стихи по сборнику «Русская Приапея и Циника», знакомством с которым он оказался «обязан дружеской любезности Гр. А. Гукковского» (С. 729).

наченной для печати поэзии описывались только в одной традиции и в одном регистре — в регистре «барковианы». Вся соль была в насыщении эротического текста обценной лексикой, в замене условных эротических перифраз жесткой номинативностью «низкого» лексического ряда («похабщиной»). Языков пошел иным путем. Для развертывания откровенно эротических сюжетов он адаптировал достижения языка «школы гармонической точности», его стилистику, словарь и фразеологию. Более того: именно здесь — в силу относительной свободы от канона — возникали благоприятные возможности для поэтического экспериментирования с традиционным элегическим языком. Примечательно, что даже неблагосклонный к Языкову исследователь не без проницательности обнаружил именно в «дерптских» эротических элегиях 1824 года примеры смелых поэтических образов, которые в «серьезной» языковской поэзии разовьются лишь в последующие годы⁶⁸. Непристойные элегии дерптского цикла — «домашняя» часть той поэтической работы, которая совершалась в эти годы Языковым и возможных результатов которой Пушкин ожидал с надеждой и дружественной симпатией (не случайно ведь он и сам создал в веселую минуту «подражание» языковской элегии!).

По всей вероятности, именно эти непечатные элегии Языкова (*наряду* с элегиями печатными) и вспомнил Пушкин, когда вносил в свою строфу похвалы Языкову. В этой двойной проекции похвала Языкову приобретала шутивно-фривольный смысл: «повесть о судьбе» на самом деле оказывалась повестью об эротических похождениях. Выражение «порывы сердца» в соответствующем контексте делалось двусмысленным, намекающим на активность совсем другого органа: слово «сердце», *le coeur*, на французском эротическом жаргоне и во французской эротической поэзии устойчиво обозначало генииталии⁶⁹. На этом фоне двусмысленным делалось и выражение «поешь, Бог ведает, кого»: Пушкин явно отсылал к каламбур-

⁶⁸ См.: Сквазников В. Д. Реализм лирической поэзии. М.: Наука, 1975. С. 293.

⁶⁹ Обозначение сделалось особенно распространенным после появления стихотворения Буфлера «*Le coeur*», вызвавшего необыкновенно шумный резонанс и ставшего в своем роде хрестоматийным. См. текст стихотворения в изд.: *Parnasse satyrique du XVIIIe siècle. Introduction par Guillaume Apollinaire*. Paris: Bibliothèque des curieux, [s. a.]. P. 20–23. Излишне напоминать, что Буфлера Пушкин знал превосходно.

ной традиции русской комической поэзии (в частности, к «Видению на берегах Леты» Батюшкова), использовавшей слово «петь» для замещения другого понятия — «еть»⁷⁰. Таким, образом, в подтексте пушкинского «поешь, Бог ведает, кого» отчетливо проступает: «е<....> Бог ведает кого». Эта формула точно соответствует содержанию языковских «элегий» 1824 года.

Если признать, что в комплименте Пушкина подразумевались в первую очередь *непристойные* языковские элегии, то сопоставление Ленского с Языковым обнаруживает отчетливый игровой смысл: оно указывает на *подлинное* содержание желаний Ленского, на то, что скрывается под оболочкой элегических клише, созданных «дышащим любовью» пером: целомудренные элегии Ленского и нецеломудренные элегии Языкова питаются одним и тем же материалом — эротическим вожделением. Но поэт Языков *умеет легко и остроумно писать* о том, о чем поэт Ленский умеет лишь тайно помышлять, маскируя свои плотско-чувственные желания бесплотно-чувствительным языком.

Актуализация скрытого «языковского плана» оказалась результатом размышлений Пушкина над критическими сочинениями Кюхельбекера. Предложению Кюхельбекера отказать от элегического модуса и перейти на путь эпоса, вырастающего из оды, Пушкин противопоставляет иной путь — обновление элегической лирики за счет отказа от традиционных мотивов унылой элегии (и, соответственно, отказа от традиционного элегического стиля), приближение ее к «правде чувствований» современного молодого человека. В силу этих обстоятельств XXXI строфа оказалась иронической прелюдией к открытой полемике с Кюхельбекером в строфах XXXII–XXXIV.

Таким образом, в XXXI строфе 4-й главы сфокусировалась литературно-эстетическая проблематика, чрезвычайно актуальная для Пушкина в конце 1825 года. Отправляясь от критических выступлений Кюхельбекера, автор «Евгения Онегина» посмеялся и над элегией, и над критиком элегии, неожиданно обнаружившим глубинное родство с элегическим сознанием. Вместе с тем, как бы откликаясь на призыв

⁷⁰ См.: *Serman, Ilya Z. Konstantin Batyushkov*. New York: Twayne Publishers, 1974. P. 47–48.

Кюхельбекера, Пушкин продемонстрировал и неожиданные возможности обогащения литературы из сокровищницы «народной поэзии» (а заодно намекнул и на возможности обогащения ее из других заповедных источников). При этом он послал явный и тайный приветы литературному собрату — соратнику в деле обновления лирической поэзии. И все это — в одной строфе!

Перо Пушкина — в отличие от элегического пера его незадачливого персонажа и дидактического пера его строгого критика — здесь определенно *блещет остротой*. Да еще как!

Конец благих намерений

«Благонамеренный», «Московский телеграф»
и Александр Пушкин

«ДОМАШНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

В свое время Б. М. Эйхенбаум, разбирая «вопрос о литературном профессионализме», дал выразительную характеристику русской литературной жизни начала XIX века: «Литература уходит в быт — становится делом интимным, домашним, сосредоточивается в письмах, в альбомных посланиях, в *petits jeux*. <...> Интересно, что даже журналы этой эпохи приобретают оттенок семейной фамильярности и своеобразной беззастенчивости. Таков, например, типичный журнал этого времени — „Благонамеренный“ А. Е. Измайлова, интересный именно как особая литературно-бытовая форма. Это было совершенно домашнее предприятие, нечто в роде мелочной лавочки, хозяин которой смотрел на нее как на свое частное дело и подсовывал читателю всякий товар, какой придется: стихи Хвостова, над которыми сам потешался, трагедии купца Ганина, которого дурачил и заставлял подписываться на 50 экземпляров. С читателями Измайлов изъяснялся совершенно по-домашнему...»¹

Характеристика, как всегда у Эйхенбаума, блестящая — и, как всегда, несколько упрощающая (точнее — схематизирующая) положение дел. «Благонамеренный», функционируя как «домашнее предприятие», издавался все же не из чистой любви к искусству, а из стремления получать доход. И на первых порах А. Е. Измайлов более-менее успешно справлялся с этой задачей. Как это ему удавалось? Как совмещалась «домашность» с «коммерцией»?.. И почему такое совмещение чем дальше, тем менее становилось возможным?.. Попробуем разобраться в этих вопросах.

¹ *Эйхенбаум Б. М. Мой современник*. Л.: Изд. писателей в Ленинграде, 1929. С. 63.

С первых лет издания значительная часть тиража «Благонамеренного» распространялась Измайловым через друзей и знакомых, особенно тех, что жили в провинции: об этом свидетельствуют его письма Н. Ф. Грамматину, П. Л. Яковлеву, Н. И. Шредеру и другим. Более всего в этом отношении оказался обязан Измайлов Шредеру: служа губернатором в Тамбове, а потом в Орле, последний доставлял своему приятелю (и собрату по масонской ложе) десятки подписчиков. В основном это были захолустные помещики и мелкие чиновники, подписывавшиеся на журнал, дабы угодить губернскому начальству. Сам Измайлов не особенно обольщался насчет этой категории своих читателей и обходился с ними запросто. 12 февраля 1820 года он пишет Шредеру: «Гг. Борисоглебские субскрибенты изъявили желание получать журнал мой на любской бумаге; но как на этой бумаге не очень много остается у меня экземпляров, притом же и подписавшиеся в Борисоглебске по рекомендации вашей особы верно не охотники до хороших изданий и не имеют у себя щегольских библиотек: то и решил я посылать к ним *Благонамеренного* не на любской, а на простой бумаге; излишне же полученные от них деньги отдать от имени Борисоглебских субскрибентов бедным, которые будут молить за них Бога. Одобряете ли вы это своевольное мое распоряжение?»²

В том же февральском письме Измайлов с трогательным благодушием сообщал Шредеру о реализации доходов, полученных от провинциальных подписчиков: «Не знаю как благодарить вас за все дружеские ваши одолжения. На полученные чрез вас от Борисоглебских субскрибентов деньги накопил я себе к маслянице столов, стульев, кресел простого и красного дерева, с черною кожею и с голубым барканом, и оставил ими целые две комнаты: залу и гостиную <...> Много и премного вам обязан: без вас не в состоянии бы я еще был и теперь переменить старой дрянной своей мебели, которую с радости отослал к бедным старухам»³.

² Рукописный отдел Института русской литературы, ф. 396, № 8, письмо № 31 (в комплекте писем Измайлова Шредеру пронумерованы не листы, а сами письма). Заметим, что раньше Измайлов подобным же образом обошелся и с моршанскими подписчиками, к тому же — по домашним обстоятельствам — существенно задержав им высылку журнала (см. письма Измайлова Шредеру от 29 сентября и 30 ноября 1819 года).

³ Рукописный отдел Института русской литературы, ф. 396, № 8, письмо № 31.

На таких же патриархальных началах было организовано и ведение внутренних журнальных дел. Ничего похожего на редакцию в «Благонамеренном» не было. Все хлопоты по редактированию литературных материалов и все типографские заботы падали на плечи самого Измайлова. Стремясь получить наибольший доход при минимуме затрат, он отказался от платного помощника (между тем как в изданиях Греча, Булгарина и Воейкова такие функции уже выполняли специально нанятые и оплачиваемые В. И. Козлов, Орест Сомов и мало кому ныне ведомый Вильгельм Тило; Сомов потом будет выполнять сходную работу и в изданиях Дельвига). О том, какого рода деятельностью приходилось заниматься издателю «Благонамеренного», дает представление его выразительное письмо Шредеру от 16 июня 1822 года: «Каждое утро хожу — нет, соврал! — езжу на рыжем жеребчике к строгому моему Цензору; каждое утро и каждый вечер, кроме воскресных дней и двенадесятых праздников, смотрю корректуру, а иногда даже три и четыре раза в сутки. Всякой Божий день надо чтонибудь для журнала написать, или переписать (ибо благодаря просвещению и в столице не найдешь грамотных писцов, которые бы все могли исправно переписывать — да и многие записные наши литераторы не знают правописания) — а сколько надобно времени *на мытье чужого белья!*»⁴ («Мытьем чужого белья» Измайлов называл работу по переделке присланных в его журнал сочинений.)

При таком положении дел ход журнала полностью зависел от расторопности и от домашних обстоятельств редактора-издателя. Неудивительно, что уже в первые годы издания отдельные номера «Благонамеренного» (особенно совпадавшие по времени с большими праздниками) начинают выходить с опозданием. Но самого Измайлова эти задержки на первых порах не очень тревожат. Он пока считает возможным оправдываться перед читателями разного рода житейскими причинами. В 7-м номере за 1819 год Измайлов оправдывает опоздание краткой репликой: «Виноват Издатель: гулял на праздниках». В 6-м номере за 1820 год оправдание облекается уже в поэтическую форму (не нужно, однако, думать, что такие поэтические явки с повинной были обычными даже для той «домашней» эпохи; стихотворное оправдание Измайлова произвело сильное впечатление на современников): «Опять виноват Издатель:

⁴ Там же, письмо № 45.

Как Русский человек, на праздниках гулял;
Забыл жену, детей, не только что журнал».

Еще один немаловажный фактор, влиявший на периодичность и даже на содержание журнала, заключался в том, что «Благонамеренный» был для Измайлова не основным, а дополнительным источником дохода. Основным было все же чиновничье жалованье. Бюрократические заботы стали отнимать особенно много времени с 1821 года, когда Измайлов был назначен начальником отделения Департамента казначейства. Статус чиновника-литератора ставил Измайлова как издателя в жесткую зависимость от обстоятельств службы. Еще 19 августа 1821 года он с досадой писал Шредеру: «...Не вижу как летит время, и, что всего досаднее, не могу почти располагать им. Ах! не дай Бог никому быть вместе подьячим и литератором, особенно журналистом»⁵. 3 августа 1822 года Измайлов пишет тому же Шредеру: «Вот уже два месяца, как по случаю отъезда одного из моих товарищей в отпуск правлю я двумя отделениями. Ох, тяжело! а нечего делать, потерпеть еще месяц, а может быть и более. Того и гляжу, что бы не остановился мой журнал»⁶.

На первых порах Измайлов как-то выкручивался, однако до бесконечности это продолжаться не могло — положение журнала неуклонно ухудшалось. Если в письме Шредеру от 20 апреля 1823 года Измайлов сообщал, что журнал приносит ему довольно солидный годовой доход — 5 тысяч рублей⁷, то в письме к нему от 6 ноября того же, 1823-го, года звучат уже тревожные ноты: «Дай Бог, чтобы пришел поскорее новый год. В это только время, т. е. с начала года, бывают у меня деньги, а то бьюсь, как рыба об лед. 1823 год был для меня истинно *черный* год. Убыло более ста подписчиков, а журнал несравненно лучше прошлогоднего! Вся моя надежда, а также и надежда добрых моих заимодавцев на подписку будущего года»⁸. Надежды, однако, не оправдались: как явствует из письма Измайлова к П. Л. Яковлеву от 14 декабря 1824 года, чистый доход от издания журнала в 1824 году не превышал уже полутора тысяч рублей...⁹

⁵ Там же, письмо № 43.

⁶ Там же, письмо № 46.

⁷ Там же, письмо № 55.

⁸ Там же, письмо № 58.

⁹ *Левкович Я. Л.* Литературная и общественная жизнь пушкинской поры в письмах А. Е. Измайлова к П. Л. Яковлеву // Пушкин: Исследования и материалы. Т. VIII. Л.: Наука, 1978. С. 166.

Проблема заключалась, однако, не только в трудностях, вызванных совмещением должностей начальника отделения и редактора. Когда Измайлов утверждал, что журнал его делается лучше год от года, он добросовестно заблуждался: журнал год от года становился хуже. Этот упадок в свою очередь оказался связан с особенностями «Благонамеренного» как журнального предприятия.

«Благонамеренный» задумывался как своего рода неофициальный орган возобновленного в 1816 году Вольного общества любителей словесности, наук и художеств (издатель «Благонамеренного» состоял «по совместительству» бессменным его председателем). Предполагалось, что на страницах журнала будут по преимуществу публиковаться сочинения, зачитывавшиеся на собраниях этого общества. Разумеется, ни о каких гонорах не могло быть и речи: от публикации своих сочинений авторы должны были получать чисто моральное удовлетворение... Ничего исключительного в такой практике не было: на сходных принципах издавался «Соревнователь просвещения и благотворения», орган другого столичного литературного объединения — Вольного общества любителей российской словесности. Разница была в том, что доход от издания «Соревнователя» (впрочем, скромный) поступал в казну общества, доход от «Благонамеренного» — в семейный бюджет Измайлова...

Сначала, благодаря активной деятельности Измайлова по вовлечению в ряды «Вольного общества» талантливой литературной молодежи, такая тактика имела успех. В «Благонамеренном» 1818–1821-х печатаются недавние лицеисты — Пушкин, Дельвиг, Кюхельбекер, Илличевский; входящие в моду молодые поэты — Е. Баратынский, В. Туманский, П. Плетнев, А. Бестужев; ветераны словесности (некоторые из них считались украшением русского Парнаса) — Ф. Глинка, М. Милонов, П. Вяземский, Денис Давыдов... Однако уже к 1822-му положение дел меняется: лучшие поэты уходят из журнала Измайлова (это было связано и с общими изменениями в литературной жизни столицы — многие из прежних участников измайловского «Вольного общества» перемещают центр своей активности в Вольное общество любителей российской словесности¹⁰). Едва ли не лучшими поэтами из печат-

¹⁰ См. об этом: *Базанов В. Г.* Ученая республика. М.; Л.: Наука, 1964. С. 55–56.

тавших на страницах «Благонамеренного» в 1822 году оказываются Туманский и Илличевский — для «золотого века» русской поэзии выбор не очень богатый!..

Уход ведущих литературных сил во многом был обусловлен архаичностью литературной позиции «Благонамеренного» и литературных вкусов его издателя. Сам Измайлов искренне любил Жуковского, Батюшкова и Пушкина, но видел в их творчестве венец старого, карамзинистского периода поэзии. К примеру, «главным достоинством» «Руслана и Людмилы» им объявлялись «картинные описания, живость и приятность рассказа и легкая, непринужденная версификация»¹¹. За подобные же красоты хвалился и «Кавказский пленник»: «Прекраснейшие картины, списанные с природы мастерскою рукою; естественный и благородный рассказ; легкая и исправная версификация — вот главнейшие достоинства сей новой Поэмы первого из молодых наших стихотворцев А. С. Пушкина»¹².

Позиция Измайлова по отношению к поэтам поколения Пушкина была более сдержанной, но на первых порах скорее благодушной... Зато его сподвижники — Н. Остолопов, Б. Федоров, Н. Цертелев (сначала — и Орест Сомов) — новейшую поэзию ненавидели и непрерывно издевались над нею в своих журнальных выступлениях. Особенно злобствовал князь Цертелев. Еще в 1820 году он злобно критиковал Жуковского вкупе с Дельвигом, а в 1823-м облаял уже и Вяземского, и Батюшкова (последнего, между прочим, за «безнравственность»!). Отношения между «ядром» «Благонамеренного» и молодыми поэтами делаются все более и более напряженными.

Не без влияния своего окружения Измайлов и сам начинает все чаще и все язвительнее выступать против «новых поэтов» (правда, обычно демонстративно противопоставляя им Пушкина — как поэта истинного). В 3-м номере «Благонамеренного» за 1823 год в придуманной Измайловым «Сатирической газете» появилось такое объявление: «В новооткрывшемся галиматическом магазине отдаются напрокат разные

¹¹ Благонамеренный, 1820, № 18. С. 405–406. Заметим, что исключительно доброжелательная рецензия Измайлова сопровождается едкими выпадами в адрес А. Воейкова — автора педантического разбора пушкинской поэмы.

¹² Благонамеренный, 1822, № 36. С. 398.

первого сорта отборные галиматические выражения, как то: *баловень, сладострастие, упоение, чаши, бывшее...* Тут же можно получить также напрокат причастия и существительные имена, совершенно противоположные между собою, например: *веющее дыхание, веющий сон, грустящая ночь*, также видеть редкости, например *толпу слепую, ночь с вечера до полуночи, глаза выросшие на рябине и березе*, и проч.»¹³ Все эти выражения — подлинные: они заимствованы из сочинений Дельвига, Кюхельбекера, Баратынского, Туманского... Измайлов восстает здесь и против новомодных слов-символов (разрушавших привычные границы между анакреонтической и элегической поэзией), и против новой метафорики, казавшейся нелепой, противоречащей привычным представлениям о «вкусе и здравом смысле»...

Наконец, в 21-м номере «Благонамеренного» за 1823 год, в объявлении о подписке, Измайлов известил читателей: «Не будут иметь места в *Благонамеренном* <...> сладострастные, вакхические и даже *либеральные* стихотворения молодых наших баловней-поэтов»¹⁴. Давая подобные обещания, Измайлов, сам того не желая и, видимо, о том не подозревая, лишал себя не только еще нескольких ценных сотрудников, но и еще не одной сотни подписчиков¹⁵.

Эта «антиромантическая» позиция привела к последствиям, катастрофическим для судьбы журнала. В 1823 году со страниц «Благонамеренного» почти полностью исчезают имена авторов не только первого, но и второго ряда (вернее, имена их мелькают там довольно часто — но только как предмет критики и пародий). В ту пору едва ли не главным поэтом «Благонамеренного» делается Борис Федоров, главным критиком — князь Цертелев, главным прозаиком — П. Л. Яковлев... Сам Измайлов, разрывающийся между делами службы и редакционными заботами, пишет очень мало: за весь 1820 год он не написал ни одной басни, в 1821-м — только четыре, в 1822-м — одну... Правда, как раз в 1823-м и 1824 году он пишет 14 басен и сказок, но лучшие из них — литературно-полюемические — были такого рода, что так и не

¹³ Благонамеренный, 1823, № 3. С. 237.

¹⁴ Благонамеренный, 1823, № 21. С. 224.

¹⁵ Об «антиромантических» кампаниях «Благонамеренного» подробно см.: Вацуро В. Э. С. Д. П.: Из истории литературного быта пушкинской поры. М.: Книга, 1989.

смогли своевременно увидеть печати... Из значительных авторов в «Благонамеренном» последних лет печатался лишь Н. М. Языков (провинциал, еще не успевший получить прочной репутации) — да и он за глаза иронизировал над измайловским журналом...¹⁶

Заменить сочинения отвергнутых «баловней-поэтов» было нечем. Журнал начинает заполняться случайными низкосортными материалами: ученически беспомощными стихами, переводами старинных анекдотов и моралистических статей (порою напоминающих школярские упражнения), сочинениями на заданные слова, мадригалами и надписями из семейных альбомов, поздравительными стихотворениями ко дню рождения и дню ангела, застольными песнями... Тут уже трудно было ответить на вопрос: это *уже* литература или все-таки *еще* быт?.. Скорее все-таки последнее...

Сочинения, полученные от добровольных «вкладчиков», часто были настолько плохи, что самому редактору приходилось немало повозиться, чтобы придать им мало-мальски удобочитаемую форму. Пятнадцатого января 1823 года Измайлов жаловался И. И. Дмитриеву: «У меня отнимает много времени *стирка чужого белья*, или поправка прозаических опытов, а иногда и сочинений...»¹⁷ Эта же жалоба повторяется в письме к нему от 1 февраля 1824 года: «Я дал себе клятву не принимать никаких статей от безграмотных наших переводчиков. Ах! сколько мытье чужого грязного белья отняло у меня времени! <...> В случае недостатка материалов лучше буду наполнять книжки выписками из книг»¹⁸. Подобная неразборчивость вызывала раздражение даже у людей, дружески расположенных к издателю «Благонамеренного». Тот же И. И. Дмитриев, давая Измайлову советы по улучшению содержания журнала, писал (в самом конце 1824-го либо в самом начале 1825 года): «Повторю наконец прежнее: как можно больше оригинального, а меньше переводного. А от переводных анекдотов можно бы и совсем уволить: они как-то напоминает мне *Разумного товарища* и *Спутника и Собеседника веселых людей* 1760 и 1770 годов.

¹⁶ Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822–1829). СПб., 1913. С. 112.

¹⁷ Измайлов А. Е. Письма к И. И. Дмитриеву // Русский архив, 1871, № 7–8. С. 976.

¹⁸ Измайлов А. Е. Письма к И. И. Дмитриеву. С. 980.

Простите мою искренность. Она происходит от любви к Словесности и участия, которое беру в вашем журнале»¹⁹.

Увы, последовать этому совету Измайлов, даже понимая его разумность и основательность, был не в состоянии: платить сотрудникам он не хотел, да к тому же — при все ухудшавшемся материальном положении — уже и не мог. Найти же сколько-нибудь пристойных авторов, согласных бескорыстно снабжать «Благонамеренный» оригинальными сочинениями, теперь было затруднительно... И потому Измайлов со вздохом облегчения извещал Яковлева (в письме от 19 декабря 1824 года) о наполнении редакционного портфеля более чем сомнительными материалами: «Слава Богу! материалы на нынешний год есть — большею частью переводы, но не старых сочинений. Есть две хорошенькие повести, есть и серьезные, только не сухие пиэсы. Авось как нибудь с Божьею помощью окончим»²⁰. Надежды на Божью помощь, однако, оказались напрасными: в 1825 году «Благонамеренный» делается убыточным изданием...

Между тем в том же 1825 году в первопрестольной столице начинает выходить «Московский телеграф» Николая Полевого — журнал, который скоро стяжал шумный (хотя и несколько скандальный) успех и превратился в своеобразный символ новой эпохи русской журналистики²¹. И потому не

¹⁹ Письма Дмитриева к Измайлову, которые (судя по ответным письмам Измайлова) должны были охватывать период с середины 1810-х до начала 1830-х годов и представлять исключительный историко-литературный интерес, к сожалению, не сохранились: они пропали вместе с основной частью измайловского архива. Приведенное суждение дошло до нас благодаря тому, что Измайлов процитировал его в письме к своему племяннику и постоянному сотруднику П. Л. Яковлеву от 21–23 января 1825 года. См.: Рукописный отдел Института русской литературы. Отдельные поступления. № 14163. Л. 75–75 об.

²⁰ Рукописный отдел Института русской литературы. Отдельные поступления. № 14163. Л. 64.

²¹ О Полевом и его «Московском телеграфе» существует уже довольно обширная литература. Лучшим, впрочем, остается давнее исследование: Орлов В. Н. Николай Полевой — литератор тридцатых годов // Николай Полевой: Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Ред., вступ. статья и комментарий Вл. Орлова. Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1934. С. 11–75 (статья неоднократно перепечатывалась с дополнениями. См., напр.: Орлов Вл. Николай Полевой и его «Московский телеграф» // Орлов Вл. Пути и судьбы: Лит. очерки. Изд. 2. Л.: Советский писатель, 1971. С. 313–448). В комментариях к «Материалам» (с. 355–503) сосредоточен исключительно ценный

только характерно, но в своем роде и символично, что последние годы существования «Благонамеренного» завершились острой полемикой с «Московским телеграфом» — частью печатной, частью закулисной. В эту полемику оказались вовлечены виднейшие литераторы эпохи — в том числе А. С. Пушкин.

ПРЕЛЮДИЯ

В известных мемуарах Ксенофонта Полевого история отношений между двумя журналами излагается следующим образом: «С „Московским Телеграфом“ повторялась басня „Умирающий Лев“. Все породы бессильных стали нападать на него, все они почитали за долг лягнуть его. Это очень неудачно выполнил Александр Ефимович Измайлов, издававший тогда журнал „Благонамеренный“. Измайлов был, как говорят, разгульный добряк, и этот же характер выражался в его журнале <...> Измайлов беспрестанно шутил и гаерствовал в своем „Благонамеренном“, упоминал о пеннике, о настойке, о растегайчиках, о трактире и тому подобных неблагоуханных предметах <...> На беду свою „Благонамеренный“, по примеру других, потому что иного повода не было, вздумал подсмеяться над „Московским Телеграфом“ и выбрал предметом насмешки стихотворение Пушкина: „Враги мои“ и проч. Обыкновенным своим тоном он говорил: „у господина сочинителя есть и к о г т и: у, как страшно!“ Пушкин, видимо, вспыхнул, прочитав эту пошлую насмешку, и тотчас полетело к нам, по почте, собственную рукою его написанное:

Ex ungue leonem

Недавно я стихами как-то свистнул
И выдал их без подписи своей;
Журнальный шут о них статейку тиснул
И в свет пустил без подписи ж, злодей!
Но что ж? ни мне, ни площадному шуту
Не удалось прикрыть своих проказ:
Он *по когтям* узнал меня в минуту,
Я *по ушам* узнал его как раз!

материал, касающийся истории «Московского Телеграфа». Ср. новейшую работу: *Rzadkiewicz, Chester M. N. A. Polevoi's Moscow Telegraph and the journal wars of 1825–1834 // Literary Journals in Imperial Russia. Edited by Deborah A. Martinsen. Cambridge University Press, 1997. P. 64–87.*

Это окончательно сделало „Благонамеренный“ неблагонамеренным в отношении к „Московскому Телеграфу“ — по милости Пушкина»²².

Рассказ Кс. Полевого (всегда относившегося к Измайлову с большой неприязнью) содержит ряд неточностей. В действительности все обстояло не совсем так.

А. Е. Измайлов познакомился с Н. А. Полевым, видимо, еще зимою 1823 года, когда Полевой «ездил в Петербург пожить в кругу умственной жизни, которой не находил в Москве»²³. Между двумя литераторами устанавливаются вполне приятные, если не дружественные отношения. Очевидно, в октябре или ноябре 1824 года Полевой направляет Измайлову письмо с подписным билетом на «Телеграф» и с просьбой поместить в «Благонамеренном» объявление об издании нового журнала. Само письмо Полевого не сохранилось, зато сохранился ответ Измайлова, свидетельствующий о явном расположении издателя «Благонамеренного» к будущему издателю «Московского телеграфа». Измайлов писал следующее:

Милостивый Государь мой Николай Алексеевич!

Извините, простите меня, что я по сие время не отвечал на ваше письмо и не благодарил вас за весьма приятный для меня подарок, т. е. за билет на *Телеграфа*. Во время наводнения я умер и меня похоронили, только не знаю где. После этого посадили меня в крепость за самые невинные куплеты на наводнение. Наконец вызвали к С.П.бургскому Военному Генералу Губернатору; я струсил (боюсь всех Графов, стихотворцев и чудотворцев) и я *отравился*. Не верите? Это говорят люди, достойные вероятия. Большую часть сих справедливых слухов распустили *журналисты-монополисты*. Боятся меня, как черта. — А я все еще молчу; но с нового года — проучу.

Сердечно рад, что вы вздумали издавать журнал. Дай Бог успеху, и я совершенно в этом уверен. Слава Богу, что прибавился у нас один умный журналист и притом Русский. А то эти Немцы и Поляки — настоящие собаки. Лаяться я с ними не стану; но со всею скромностию и хладнокровием изобличу и в [бессовестном] криводушии и в невежестве.

²² Николай Полевой: Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. С. 173–174.

²³ Николай Полевой: Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. С. 142.

Как это случилось, что вы не заловили меня? Я *субботствую* и несколько уже лет каждую субботу вечером бываю дома. Только нынешним летом, когда переправляли у меня покой, бегал я дома. Не ужь ли в самое это время были вы в Петербурге?

Объявление о вашем *Телеграфе* уже в Морской типографии и печатается в XIX № *Благ.*, который выйдет на сих днях.

Прошу покорнейше принять и от меня билет на *Благон.* Общество наше благодарно вам за экз. Телеграфа. Письменно засвидетельствует вам свою благодарность.

Простите, почтеннейший и любезнейший Николай Алексеевич! Если вы именинник 6 ч., то примите усердное мое поздравление и искренние желания всевозможных благ в сей печальной юдоли. Но пора уже кончить нескладное мое послание.

С совершенным почтением и душевною преданностию имею честь быть всегда вашим покорнейшим и усерднейшим слугою

А. Измайлов

4 Декабря 1824²⁴

Расположение Измайлова объяснялось, видимо, не только личными симпатиями, но и причинами литературно-тактического характера: издатель «Благонамеренного» надеялся получить в Полевом союзника по борьбе с «журналистами-монополистами» — Гречем и Булгариным, в литературной войне с которыми он провел весь 1824 год (это про распущенные ими сплетни о последствиях измайловских «куплетов на наводнение»²⁵ рассказывает он в письме Полевому). Измайлов, конечно, не знал, что 27 октября 1824 года Булгарин послал Полевому письмо с предложением отказаться от замысла нового журнала и стать ведущим сотрудником в «Северной Пчеле», которая должна была начать выходить в 1825 году. Письмо это долгое время считалось утраченным и было известно только по тенденциозному пересказу Ксенофонта Полевого (в пору создания мемуаров тесно сошедшегося с Булгариным и Гречем)²⁶. Лишь недавно В. Э. Вацуро

²⁴ Отдел рукописей Российской государственной библиотеки, ф. 178 (Музейное собрание). Карт. 8566. Ед. хр. 42. Л. 1–1 об.

²⁵ Измайловские «куплеты на наводнение» ныне опубликованы. См.: Вопросы литературы, 1983, № 8. С. 267–269 (публикация О. А. Проскурина).

²⁶ Николай Полевой: Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. С. 152–153.

обнаружил и опубликовал подлинный текст этого письма, из которого со всей очевидностью следует, что Булгарин вполне откровенно предлагал Полевому отступного²⁷. Полевой отказался — это предопределило дальнейшее развитие событий. Страх журнальной конкуренции заставил журналистов-монополистов встретить новый печатный орган в штаны; Полевой не остался в долгу, и вскоре между «Московским телеграфом» и изданиями Греча—Булгарина началась настоящая литературная война²⁸. В этом смысле надежды Измайлова вполне оправдались.

Не удивительно, что первые номера «Московского телеграфа» были приняты Измайловым с сочувственным интересом (см. его письма к П. Л. Яковлеву от 21 января, 23 января и 19 февраля 1825 года²⁹). Измайлов имел и дополнительные основания быть довольным «Телеграфом»: о самом «фабулисте» в новом журнале появлялись вполне доброжелательные отзывы. Правда, в «Обзрении русской литературы в 1824 году» Полевой признавал справедливость дружных упреков Измайлову за предпринятое им издание сочинений Озерова (Измайлов внес в текст драматурга ряд произвольных исправлений и «улучшений»), но, во-первых, отзыв Полевого по тону не шел ни в какое сравнение с издательскими откликами других критиков (например, того же Булгарина), а во-вторых, Полевой даже как бы извинял Измайлова тем, что издатель только следовал сложившейся эдиционной традиции (правда, саму эту традицию Полевой считал порочной). Но и эта сдержанная критика Измайлова-издателя компенсировалась похвалами Измайлову-сочинителю: в том же «Обзрении» Измайлов был отнесен к числу наиболее известных русских поэтов³⁰.

²⁷ См.: Вацуро В. Э. Страничка из жизни Грибоедова: Неизданные письма Ф. В. Булгарина к Н. А. Полевому // Пушкин и другие: Сборник статей к 60-летию профессора С. А. Фомичева. Новгород: Новгородский государственный университет, 1997. С. 175–176.

²⁸ О полемике «Московского Телеграфа» с изданиями Греча—Булгарина см. комментарий Вл. Орлова в изд.: Николай Полевой: Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. С. 398–401.

²⁹ Левкович Я. Л. Литературная и общественная жизнь пушкинской поры в письмах А. Е. Измайлова к П. Л. Яковлеву. С. 168, 169.

³⁰ Московский Телеграф, 1825, № 1. С. 84, 86.

«ДЕЛО ОТ БЕЗДЕЛЬЯ»,
ИЛИ НАЧАЛО БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Вскоре, однако, отношения между журналами существенно осложнились, чему способствовало появление в «Благонамеренном» серии статей «Дело от безделья, или Краткие замечания на современные журналы», где были подвергнуты придирчивой критике и три первых номера «Московского телеграфа». Этим статьям было суждено оставить заметный след не только в истории отношений двух журналов, но и в истории русской литературы — прежде всего потому, что в них оказался задет Пушкин, который в свою очередь не оставил выпад «Благонамеренного» без ответа. Уже в силу этих обстоятельств «Дело от безделья» заслуживает особого внимания.

По давней традиции автором «Дела от безделья» считается сам Измайлов; такого мнения, как мы видели, придерживался уже Ксенофонт Полевой (приводивший в пользу авторства Измайлова даже характерные «стилистические» аргументы). Сходного мнения продолжало придерживаться и большинство исследователей — в частности, исследователей-пушкинистов. Такой знаток эпохи, как Б. Л. Модзалевский, комментируя письмо Пушкина Вяземскому от начала июля 1825 года (в котором сообщался текст пушкинской эпиграммы *Ex ungue leonem*), называет Измайлова автором антипушкинского выпада безо всяких сомнений³¹. В вышедшем в 1931 году (и недавно дважды переизданном) авторитетном «Путеводителе по Пушкину» (автор заметки об Измайлове — Б. В. Томашевский) сообщалось, что Измайлов «очень недоверчиво относился к успеху поэзии П<ушкина> и писал о нем с двусмысленными оговорками. Одна из его критических заметок 1825 года вызвала эпиграмму *Ex ungue leonem*»³². По всей вероятности, основания для вывода о двусмысленно недоверчивом отношении Измайлова к поэзии Пушкина дала Томашевскому именно эта критическая заметка: все остальные отзывы Измайлова о Пушкине по тону почти восторженны... В недавнем (и во многих отношениях чрезвычайно полезном)

³¹ *Пушкин*. Письма. Под ред. и с примечаниями Б. Л. Модзалевского. Т. I. 1815–1825. М.; Л.: Гос. изд-во, 1926. С. 462.

³² *Пушкин*. Полн. собр. соч. Т. XIX (информационно-справочный). Изд. 2, переработанное и дополненное. М.: Воскресение, 1997. С. 1040.

сборнике «Пушкин в прижизненной критике» «Дело от безделья» упомянуто дважды. Правда, первый раз (автор комментария — Е. О. Ларионова) авторство Измайлова обозначено предположительно, под вопросом; зато в помещенной там же специальной заметке о «Благонамеренном» (авторы — Е. А. Губко и Г. Е. Потапова) никаких вопросов уже не возникло: «В 1825 г. Пушкин высмеял „журнального шута“ Измайлова в эпиграмме *Ex ungue leonem*, которая была вызвана насмешливым отзывом Измайлова о стихотворении „Журнальным приятелям“, напечатанном в „Московском телеграфе“ за подписью „А. П.“»³³.

М. Ф. Мурьянов в специальном исследовании, посвященном пушкинской «Телеге жизни» (в первой статье «Дела от безделья» оценивалась и «Телега...»), не решился отвечать на вопрос об авторстве «Дела от безделья» с такой определенностью, как его коллеги: «Рецензент лаконично обещал назваться в конце статьи, пока прикрывшись словами *Имя впредь*, но обещание выполнил оригинально: когда статья завершилась в XIII тетради журнала, читатели увидели подпись следующего содержания: „Сельцо Соколово. Февраля 24 дня 1825 года“. Надо полагать, избранная часть читателей была осведомлена, имя кого из публицистов находится по этому адресу, но сегодня разыскание затруднено тем, что русская историческая топонимика насчитывает 121 село под названием Соколово, без сведений о фамилиях помещиков»³⁴.

Между тем для разрешения вопроса об авторстве «Дела от безделья» отнюдь не требуется устанавливать всех владельцев сел под названием Соколово и изучать их связи с литературной жизнью. Дело в том, что сам Измайлов уже 6 февраля 1825 года конфиденциально сообщал П. Л. Яковлеву, что автором критического цикла является Николай Остолопов³⁵. Авторство Остолопова подтверждено в письме тому же корреспонденту от 19 февраля 1825 года: «Дело от безделья, или

³³ Пушкин в прижизненной критике. 1820–1827. Под общ. редакцией В. Э. Вацуро, С. А. Фомичева. СПб.: Гос. Пушкинский Театральный Центр, 1996. С. 441, 477.

³⁴ Мурьянов М. Ф. Из символов и аллегорий Пушкина. М.: Наследие, 1996. С. 157. В примечании к сведениям из исторической топонимики Мурьянов с обычной своей эрудицией ссылается на издание: *Russisches geographisches Namenbuch*. Wiesbaden, 1977. 8 Bd. S. 418–420.

³⁵ Рукописный отдел Института русской литературы. Отдельные поступления. № 14163. Л. 78 об.

Замечания на журналы написаны Остолоповым. Mais c'est entre nous. Впрочем, об этом в Вятке никто не поинтересуется»³⁶. Самое удивительное состоит в том, что последнее письмо было опубликовано в специальном пушкиноведческом серийном издании, но значимость сообщенной Измайловым информации не оценили ни читатели-пушкинисты, ни сам публикатор измайловской переписки, Я. Л. Левкович: в ее комментарии соответствующее сообщение вообще никак не пояснено, а во вступительной заметке к осуществленной ею публикации «Дело от безделья, или *Критические* (так! — О. П.) замечания на современные журналы» названо... журнальным разделом³⁷.

Итак, на арену вновь выступил Николай Остолопов — старый приятель и литературный соратник Измайлова. К середине 20-х годов он превратился в брюзгливого литературного консерватора: его «Словарь древней и новой поэзии» за четыре года после запоздалой публикации совершенно устарел и рассматривался как памятник «схоластического» периода русской критики. Его антиромантические басни и стихотворные памфлеты оказывались созвучны антиромантическим же выступлениям других сотрудников «Благонамеренного», однако уступали им в язвительности и задиристости. Особого резонанса они не имели, а на фоне разносных статей кн. Цертелева и стихотворных пасквилей Бориса Федорова попросту терялись... Трудно сказать, чем более руководствовался

³⁶ Левкович Я. Л. Литературная и общественная жизнь пушкинской поры в письмах А. Е. Измайлова к П. Л. Яковлеву. С. 170.

³⁷ Левкович Я. Л. Литературная и общественная жизнь пушкинской поры в письмах А. Е. Измайлова к П. Л. Яковлеву. С. 153. Я указывал на необоснованность традиционной атрибуции «Дела от безделья» и на то, что подлинным автором обзора является Николай Остолопов, еще в своей диссертации (к сожалению, по условиям времени не имевшей шансов быть опубликованной): *Проскурин О. А. А. Е. Измайлов и литературная жизнь первой трети XIX века. Дисс. ... канд. филол. наук.* (Машинопись). МГУ, 1984. С. 115, 261. Лишь совсем недавно появилось издание, в котором правильно указано авторство Остолопова. Это «Сводный каталог серийных изданий России, 1801–1825. Т. 1. Журналы (А–В)» (СПб.: Изд. Российской национальной библиотеки, 1997. С. 161; автор росписи «Благонамеренного» — А. Р. Румянцев). Судя по «Списку использованной литературы», автор был знаком и с моей диссертацией; я, однако, нимало не настаиваю на том, что сведения об авторстве Н. Остолопова были почерпнуты именно из этого источника. Составителю достаточно было с должным вниманием прочесть опубликованную часть переписки Измайлова с Яковлевым.

Измайлов, когда начал печатать в «Благонамеренном» «Дело от безделья», — старой приятнью, многолетними литературными и приятельскими отношениями, совпадением литературных взглядов или надеждой хоть как-то оживить окончательно захиревший критический отдел журнала. Ни Измайлов, ни Остолопов, во всяком случае, явно не предвидели того, к каким последствием приведет публикация «Дела от безделья». В противном случае Измайлов, видимо, еще основательно подумал бы, перед тем как решиться печатать остолоповскую бранчивую критику (да еще анонимно!), а Остолопов — знай он о том, что «Дело от безделья» окажется одним из немногих переживших его сочинений (и притом будет приписываться кому угодно, но только не ему самому!), — может быть, поставил бы под «Делом от безделья» свою полную подпись...

В «Замечаниях на журналы», конечно, немалое внимание уделено и новой звезде на журнальном небосклоне — «Московскому телеграфу». Впрочем, в первой статье критического цикла Остолопова содержание журнала Полевого оценивалось хотя и сдержанно, но благосклонно; похвалил Остолопов и пушкинские стихи, напечатанные в этом номере, хотя не удержался от дидактических комментариев («*Телега жизни*, стихи А. Пушкина. — Хорошо! но я думаю, что не время гонит лошадей, а страсти наши сильно об этом хлопочут: страсти скорее времени приближают к ночлегу!»). Мелкие придирки относились в основном к неправильностям языка некоторых журнальных статей и к дурной корректуре.

Зато в следующей статье 2-й номер «Московского телеграфа» оценивался значительно более прохладно. Бегло похвалив перевод письма Вольтера к Миллеру, Остолопов сосредоточился на недостатках номера: вновь бранился новомодный язык, критические суждения Полевого в программном «Обзрении русской литературы» объявлялись «мало удовлетворительными». Иные из недоброжелательных оценок, впрочем, слишком явно диктовались личными причинами. Такой личной неприятнью продиктован ядовитый разбор послания Кюхельбекера «К Грибоедову»: с одной стороны, Остолопов давно не любил Кюхельбекера (еще в 1820 году состоялась их перепалка по поводу «русских омонимов»), с другой — адресат послания, Грибоедов, был членом болгаринской партии, в боях с которой «Благонамеренный» провел весь 1824 год. Столь же интимными причинами объяснялось неожиданно

гневное возражение нашего автора на замечание Полевого, назвавшего пародию «самым низшим родом поэзии»: сам Остолопов не только любил этот жанр и культивировал его, но и гордился тем, что был одним из первых в России теоретиков пародии. Пренебрежительное замечание Полевого (кстати, хорошего пародиста) воспринималось, видимо, почти как личная обида...

По ходу разбора тон критика становился все более язвительным: «Говоря о переводе *Орлеанской Девы*, Издатель приговаривает, что Г. Жуковский *даже употреблял неслыханный размер 6 1/2 стоп ямба и пиррихия...* и что это есть *вновь изобретенное им стопосложение*. — Помилуйте, Г. Издатель! Как! размер 6 1/2 стоп есть размер *неслыханный*? Прибавьте, по крайней мере, для кого неслыханный. Прочтите следующий стих:

Беда, как сапоги начнет точать пирожник.

Здесь шесть стоп с половиною, здесь есть ямбы и пиррихий — и об этом размере вы никогда не слышали?»³⁸ Стих из басни Крылова «Щука и Кот» (несколько, кстати сказать, переиначенный) подобран был в качестве образца, конечно, не без расчета: содержание крыловского стиха (как и содержание самой басни, из которой он был позаимствован) должно было косвенно характеризовать Полевого — это он, невежда, взявшийся судить о стихотворных размерах, не посоветовавшись со знающими людьми (вроде Остолопова), уподоблялся пирожнику, взявшемуся тачать сапоги...

Однако все эти выпады были еще сравнительно невинными. Наибольшей резкости Остолопов достиг в заключительной статье своих «Кратких замечаний», посвященной по преимуществу 3-му номеру «Московского телеграфа». В этом номере, в «Обзрении русской литературы в 1824 году», Полевой дал такую характеристику «Благонамеренного»: «*Благонамеренный*, журнал, изд. А. Е. Измайловым, продолжается без остановки уже семь лет. Образ издания переменался несколько раз: в прошлом году Благонамеренный выходил книжками, по два раза в месяц. В нем помещались проза, стихи, критика, но более всего статьи шуточные»³⁹.

³⁸ Благонамеренный, 1825, № 12. С. 443.

³⁹ Московский Телеграф, 1825, № 3. С. 252.

Характеристика журнала подчеркнута нейтральна. Она подходит более на библиографическую справку, чем на критическую оценку. Но все же эта краткая характеристика во многих отношениях весьма значима. Прежде всего она *до обидного* кратка — «до обидного», если сравнить ее с развернутыми, порою интересными несколькими страницами, разборами других русских журналов в том же обозрении. «Проза, стихи, критика» — безо всякой детализации, без выделения каких-либо имен или текстов. Так о журналах в обозрениях обычно не пишут. Точнее, пишут тогда, когда хотят подчеркнуть, что журнальные материалы попросту не заслуживают особого разговора. Вольно или невольно, но Полевой сказал о «Благонамеренном» именно это. Единственная отличительная черта «Благонамеренного», выделенная в обзоре, — преобладание «статей шуточных». Полевой сам любил пошутить, но для него шуточные статьи никак не могли составлять *основного* содержания современного периодического издания... Полевой совершенно не собирался ссориться с Измайловым. Но все же его «полумолчание» оказалось красноречивым: оно по сути говорило о том, что в понимании задач журналистики и литературы «Московский телеграф» придерживался воззрений, противоположных тем, что определяли лицо «Благонамеренного»...

Остолопов, задетый Полевым (задетый к тому же и лично: он поставлял в «Благонамеренный» «статьи шуточные» с начала его основания), в своей последней статье поставил целью доказать обратное: что именно «Московский телеграф» не соответствует требованиям, предъявляющимся к мало-мальски удовлетворительному периодическому изданию. Для исполнения этой цели Остолопов счел необходимым разобрать по косточкам все материалы третьего номера «Телеграфа» — не только статьи самого Полевого, но и сочинения самых ценных его сотрудников...

Во-первых, согласно Остолопову, журнал Полевого дает читателям устаревшую информацию, тем самым не оправдывая своего амбициозного названия: «Две первые статьи: *Корнель*, *Шекспир и Альфиери* и *Картина Голландии* переведены довольно хорошо; но по содержанию своему довольно стары для Телеграфа, который обязан, кажется, сообщать нам одно только новое. Что если бы какой действительный телеграф уведомил нас ныне о вшествии Генриха IV в Париж?»⁴⁰ (Заметим,

⁴⁰ Благонамеренный, 1825, № 19. С. 171.

что придирка во всяком случае довольно странна: сам «Благонамеренный» в 1824 году опубликовал «Журнал пребывания Российского царя Петра I в Париже» и даже фрагменты из путешествия барона Герберштейна по России времен Иоанна Васильевича.)

Во-вторых, художественный уровень литературных материалов «Телеграфа» оставляет желать лучшего. Помещенные здесь стихи по большей части слабы или малозначительны. Эпиграмму Пушкина «Журнальным приятелям» Остолопов решил высмеять со всей возможной убийственностью (в том же, что за сопровождавшей эпиграмму подписью А. П. скрывался именно Пушкин, вряд ли кто сомневался). Он обыграл «противоречие» между заголовком и началом текста, а затем с комическим ужасом прокомментировал строчку «Не избежит пронзительных когтей...»: «Из самого начала сего ужасного осмистишия открывается, что для сочинителя *приятель* и *враг* суть синонимы: он пишет послание к приятелям и называет их: *враги мои!* <...> Страшно, очень страшно! Более же всего напугало меня то, что у Господина сочинителя есть *когти* <...> Сколько вкуса и чувствительности! — Пришлось похвалить! Долго ли до истории?»⁴¹ Пушкин, как известно, действительно щеголял длинными ногтями... Впрочем, эпиграмма Вяземского «Крохоборам» не удостоилась даже иронии, а была попросту названа «тяжелой и бестолковой»⁴².

Из своих «разборов» Остолопов попытался вывести мораль, направленную против Полевого. Тот сетовал на распространение среди молодых авторов графомании, на что Остолопов назидательно отвечал: «...В этой вине нередко участвуют и Господа Журналисты, печатающие в своих изданиях, для наполнения листочков, всякой стопосложной вздор. Примеры не далеки от нас»⁴³. В смелости и независимости мнений Остолопову не откажешь: «стопосложной вздор» — это ведь в первую очередь сочинения Вяземского и Пушкина, помещенные в «Телеграфе» (о поэтических материалах других журналов критик отозвался не в пример благосклоннее). Разговор о «Телеграфе» (как и вообще цикл своих критических статей) Остолопов завершил многозначительной фразой: «Так, признаемся с прискорбием, что теперь настало у нас

⁴¹ Там же. С. 173.

⁴² Там же. С. 174.

⁴³ Там же. С. 176.

время *малых трудов и больших успехов*⁴⁴. «Малые труды и большие успехи» — эта формульная характеристика относится, конечно, и к новейшей литературной эпохе в целом, и к ее детищу — «Московскому телеграфу».

EX UNGUE LEONEM, ИЛИ КОГО ЖЕ ПРИЗНАЛ ПУШКИН ПО УШАМ?

В начале июля 1825 года на выступление «Благонамеренного» откликается Пушкин из своей михайловской ссылки. Он пишет знаменитую эпиграмму *Ex ungue leonem* — ту самую, которую привел в своих мемуарах Ксенофонт Полевой, — и шлет ее сначала Полевому, а затем — Вяземскому, при следующем письме: «Вот еще эпиграмма на Благонам<еренно-го>, который, говорят, критиковал моих Приятелей <...> Отослано к *Полевому*»⁴⁵. Эпиграмма увидела свет в 13-м номере «Телеграфа»...

Кого же признал Пушкин «по ушам»? Иными словами, против кого была направлена эпиграмма, ставшая знаменитой? Вопрос не праздный. Об авторстве Остолопова Пушкин, судя по всему, не знал и склонен был (подобно позднейшим исследователям) отождествлять автора «Дела от безделья» с самим издателем «Благонамеренного» — Александром Ефимовичем Измайловым. Об этом свидетельствуют некоторые формулировки из письма Вяземскому: «Благонамеренный, говорят, критиковал моих Приятелей...» Присмотримся к этой конструкции повнимательнее. Фигура предположения («говорят») относится явно не к самому факту критики (Пушкин статью в «Благонамеренном», бесспорно, уже прочел, поскольку его эпиграмма строится на обыгрывании остроты насчет «когтей» сочинителя), а к факту ее авторства.

Пушкин (как и Вяземский) охотно и часто использовал шуточный метонимический прием — обозначал издателей названиями издаваемых ими журналов⁴⁶. Замечательно, что как

⁴⁴ Там же. С. 184.

⁴⁵ *Пушкин*. Полн. собр. соч. Т. XIII. С. 186

⁴⁶ «Растолковали ли вы Телеграфу, что он дурак? Ксенофонт Телеграф в бытность свою в С.-Петербур>ге, со мною в том было согласился (но сие да будет между нами; Телеграф добрый и честный человек и я с ним ссориться не хочу» (М. П. Погодину, 1 июля 1828, XIV, 21); «На днях обедал я у Орлова, у которого собрались Московские Наблюдатели, между прочим жених Хомяков (Н. Н. Пушкиной, 11 мая 1836, XVI, 114) и др.

раз в переписке с Вяземским 1825 года этот прием особенно в ходу. 7 июня 1825 года Вяземский пишет Пушкину: «Охота тебе было печатать une réclamation на Телеграфа у подлеца Булгарина! Телеграф очень огорчился, а виноват был во всем я <...> Вот тебе письмо от Телеграфа. Давай ему стихов и скажи, чего хочешь, только не дорожись и не плутай»⁴⁷. Подобная же игра содержится и в том самом июльском письме Пушкина, в котором Вяземскому была переслана эпиграмма: «Думаю, что ты уже получил ответ мой на предложения Телеграфа <...> Телеграф — человек порядочный и честный, но враль и невежда...»⁴⁸. *Телеграф* здесь — определенно не журнал, а его издатель, то есть Николай Полевой; таким образом, и *Благонамеренный* — в свою очередь не журнал, а его издатель, почтеннейший Александр Ефимович Измайлов. В последнем случае такая метонимическая субституция была как бы подсказана самим Измайловым: он подписывался «Благонамеренный» и в своих письмах, и в альбомных стихах, и даже в своих журнальных сочинениях... Смысл реплики из письма Пушкина к Вяземскому, следовательно, такой: шлю тебе эпиграмму на Измайлова; по слухам, именно он критиковал мою прежнюю эпиграмму — вот ему за это новая...

Итак, статья, вызвавшая пушкинскую эпиграмму, была написана Остолоповым — ответная эпиграмма оказалась направлена определенно против Измайлова. *Ex ungue leonem* — редкий пример эпиграммы (причем блестящей, по праву вошедшей в не такой уж богатый золотой фонд русских образцов жанра!), направленной не по адресу, точнее — не совсем по адресу (поскольку Измайлов, поместивший статью Остолопова в своем журнале, все-таки так или иначе возлагал на себя часть моральной ответственности за ее содержание)... Остолопов, таким образом, потерял редкий шанс войти в бессмертие в качестве объекта пушкинской эпиграммы: он замаскировался

⁴⁷ Пушкин. Полн. собр. соч. Т. XIII. С. 181.

⁴⁸ Пушкин. Полн. собр. соч. Т. XIII. С. 186. Следует заметить, что в изданиях переписки Пушкина, приближенным к «современным грамматическим нормам» и отмеченным «высокой издательской культурой» (в советском понимании), «Телеграф» и «Благонамеренный» во всех случаях поставлены в кавычки (видимо, только по счастливой случайности сходная участь не постигла и «Московских Наблюдателей»). Это привело к комическим нелепицам: «„Телеграф“ очень огорчился»; «Вот тебе письмо от „Телеграфа“»; «„Телеграф“ добрый и честный человек» и т. п. (См., например: Переписка Пушкина. В двух томах. Т. 1. М.: Художественная литература, 1982. С. 203, 208 и др.)

так хорошо, что даже Пушкин не признал его — принял его уши за уши Измайлова... Этой пушкинской дешифровкой адресата и оказались введены в заблуждение позднейшие исследователи.

Заметим, что некоторые структурные элементы пушкинской эпиграммы, с одной стороны, подчеркивают ее антиизмайловскую направленность (напомним, что имя Измайлова в эпиграмме прямо не названо), с другой же — сигнализируют о ее принадлежности к определенной полемической традиции. В 1822–1823 годах Е. А. Баратынский пишет послание «Гнедичу, который советовал автору писать сатиры». Это послание было во многих отношениях ответом на нападки, которым Баратынский начал подвергаться в кругу «Благонамеренного» (как «поэт-модернист») с 1822 года⁴⁹. Здесь содержались чрезвычайно едкие характеристики литераторов измайловского круга. Характеристика самого издателя «Благонамеренного» открывалась в этом послании стихами:

Измайлов, например, знакомец давний мой,
В журнале плоский враль, ругатель площадной...⁵⁰

Пушкин, отлично знавший это послание, в своей антиизмайловской эпиграмме искусно воспользовался формулой Баратынского, характеризующей Измайлова, — «площадной». Использование формулы оказывалось очень многозначным: здесь и понятное для немногих (прежде всего для самого Баратынского) приветствие одного опального поэта другому, и знак того, что Пушкин выступает союзником Баратынского в литературной борьбе с кругом «Благонамеренного, и испол-

⁴⁹ О литературной истории этого послания подробно см.: Вацуро В. Э. Списки послания Е. А. Баратынского «Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры» // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1972 год. Л.: Наука, 1974. С. 55–62. Традиционно первая редакция послания Баратынского датируется 1823 годом (с. 55). Однако есть основания заключить, что замысел и начало работы над текстом относятся еще к 1822 году. Об этом свидетельствуют стихи: *Сказать Измайлову: болтун еженедельной, // Ты сделал свой журнал Парнасской богадельной*. Стихи эти явно указывают на то, что журнал Измайлова выходит еженедельно. Между тем еженедельно «Благонамеренный» выходил только в 1822 году; в следующем, 1823-м, он выпускался два раза в месяц.

⁵⁰ Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений. Сост., подготовка текста и примечания В. М. Сергеева. Л.: Советский писатель, 1989. С. 350.

ненное тонкой комплиментарности указание на то, что послание Баратынского — это уже как бы классика, закрепившая за обитателями русского Парнаса устойчивые сатирические маски и способная генерировать цитатный фонд⁵¹.

Мечь Пушкина издателю «Благонамеренного» и диалог его с Баратынским этим, однако, не исчерпались. В 1826 году поэт приступает к работе над пятой главой «Евгения Онегина». В XXIII строфе (Татьяна пробудилась от своего таинственного сна и пожелала истолковать его смысл) появляется рассказ о том, каким образом оказался у Татьяны Мартын Задека — «гадатель, толкователь снов»:

Сие глубокое творенье
Завез кочующий купец
Однажды к ним в уединенье,
И для Татьяны наконец
Его с разрозненной Мальвиной
Он уступил за три с полтиной,
В придачу взяв еще за них
Собрание басен площадных...

Оборвем на этом цитирование хрестоматийных стихов, и без того слишком хорошо известных. Что подразумевал Пушкин под «площадными баснями», полученными бродячим книгопродавцем в обмен на Мартына Задеку и разрозненную «Мальвину»? Ю. М. Лотман в своем комментарии к «Евгению Онегину» вообще оставил «басни площадные» без внимания; В. Набоков же предположил, что здесь подразумеваются лубочные книжки, предназначенные для низших классов⁵². Толкование Набокова в данном случае маловероятно: трудно представить себе, что в доме Татьяны, влюблявшейся в обманы

⁵¹ Связь пушкинской эпиграммы с посланием Баратынского отметили — независимо друг от друга — В. Э. Вацура и пишущий эти строки. См.: *Проскурин О. А.* А. Е. Измайлов и литературная жизнь первой трети XIX века. Дисс. ... канд. филол. наук. (Машинопись). МГУ, 1984. С. 117–119; *Вацура В. Э.* Из заметок филолога. <1.> «Площадной шут» в пушкинской эпиграмме // *Русская речь*, 1986, № 3. С. 16–19. Мне особенно приятно отметить это совпадение.

⁵² «The reference is to chapbooks meant for the lower classes — merchants, artisans, more or less literate retainers, and so forth» (*Eugene Onegin. A Novel in Verse* by Aleksandr Pushkin. Translated from the Russian, with a Commentary, by Vladimir Nabokov. Revised Edition. In Four Volumes. Vol. 2. Princeton University Press, 1975. P. 516).

Ричардсона и Руссо, и ее матушки, заочной поклонницы Грандисона, держались лубочные книжки для простонародья.

«Басни площадные» — это, вероятнее всего, басни А. Е. Измайлова (кстати, как раз в 1826 году «Басни и сказки» Измайлова вышли пятым изданием). Сочинитель «басен *площадных*» устанавливается достаточно определенно, если вспомнить измайловскую (точнее, антиизмайловскую) маркированность соответствующего эпитета, отсылающего к формулам «ругатель площадной» (в сатире Баратынского) и «площадной шут» (в недавней пушкинской эпиграмме). В «Евгении Онегине» формула оказалась перенесена на *все* поэтическое творчество Измайлова: басни Измайлова приравнены к макулатуре, с которой не жалко расстаться во имя Мартына Задеки, — к давно пройденной грамматике и ветхим «Петриадам»... Пушкинская шутка, конечно, вряд ли была понятна непосвященным читателям — но поэт ведь шутил не для непосвященных...

Пушкинская эпиграмма, видимо, в свою очередь не прошла мимо внимания Баратынского. В начале 1826 года он начинает готовить свои стихотворения к выпуску отдельным изданием. Сборник стихотворений выйдет из печати в 1827 году — кстати, «под наблюдением» Николая Полевого. Для этого издания Баратынский кардинально перерабатывает многие из своих давних стихотворений, в том числе послание Гнедичу. Он исключает из него почти все памфлетные характеристики недругов из круга «Благонамеренного» и сохраняет только две — Измайлова и В. Панаева. Измайлов при этом как бы «расщепляется», выступая под двумя разными сатирическими кличками — Паясин и Шутилов. В новой редакции знакомые нам строки об Измайлове получают такой вид:

Шутилов, например, знакомец давний мой,
В журнале пошлый шут, ругатель площадной...

Баратынским сохранен эпитет «площадной», но вместе с тем характеристика героя оказалась дополнена новыми деталями: к «площадному» прибавился «шут». При этом «шутство» как важнейшая черта Измайлова форсируется тем, что прямая характеристика персонажа дублируется (точнее — утраивается) присвоенными ему сатирическими именами — Шутилов и Паясин (паяс = шут). Все это определенно отсылает к эпиграмме Пушкина. Остроты насчет Измайлова совершили круговое движение: от Баратынского к Пушкину приходит «площадной»,

от Пушкина к Баратынскому — «шут». Этот круговорот был значим: как раз в середине 20-х годов Баратынский всячески стремится сблизиться с Пушкиным и настойчиво подчеркивает близость своей литературной позиции пушкинской⁵³.

Пополнение послания Гнедичу «пушкинскими» деталями должно было свидетельствовать о нескольких вещах: во-первых, о том, что Баратынский увидел и оценил «союзническое» использование его антиизмайловской формулы в антиизмайловской пушкинской эпиграмме; во-вторых, о том, что Баратынский в свою очередь отдает должное выразительности и точности пушкинского определения Измайлова как *шута* — определения, которое также имеет все основания сделаться классическим и нарицательным (что Баратынский тут же подтверждает на практике). Словом, перебрасывание взаимными цитатами, вышучивающими «шута» Измайлова на все лады, должно было свидетельствовать о том, что язык у Пушкина и Баратынского — общий...⁵⁴ Антипушкинская эскапада «Благонамеренного», таким образом, невольно послужила поводом для изысканного диалога между двумя ведущими поэтами поколения...

НЕДОЛГОЕ ПЕРЕМИРИЕ

Не мог остаться в стороне от выходов «Благонамеренного» и сам Николай Полевой. Но, как журналист, он не мог ограничиться утонченной литературной игрой для посвященных, а должен был отвечать ясно, понятно и по существу дела — так, чтобы у читателей не возникало никаких недоразумений. Вскоре после публикации пушкинской эпиграммы, в особом прибавлении к 15-му номеру «Московского телеграфа», он поместил свои возражения автору «Дела от безделья». Полевой педантично разобрал все упреки «Благонамеренного», старательно демонстрируя их несостоятельность:

⁵³ В этом отношении характерно его письмо к Пушкину, написанное между 5 и 20 января 1826 года. См.: *Баратынский Е. А. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников*. М.: Правда, 1987. С. 165.

⁵⁴ Соображения, очень близкие нашим, высказал по этому поводу В. Э. Вацура (*Вацура В. Э. Из заметок филолога*. <1.> «Площадной шут» в пушкинской эпиграмме. С. 18–19). В то же время он не исключал, что строчка о «площадном ругателе» могла быть создана Баратынским до пушкинской эпиграммы и что Пушкин, следовательно, мог перефразировать ее в своем тексте.

Статьи стары? Рецензент не знает, что статья о Бейроне новейшее сочинение В. Скотта, а две другие (то есть вызвавшие саркастические комментарии Остолопова «Картина Голландии» и «Корнель, Шекспир и Альфиери». — *О. П.*) также новейшее сочинение американца Франклина. Посредственные стихи! Но прошу угодить Рецензенту Благонамеренного: он разобрал стихи Пушкина, назвал *бестолковой* эпиграмму Кн. Вяземского; но как бы вы думали, что он хвалит? что ему нравится? В Украинском Вестнике стишки, *Признание*:

Тебя
Любя,
Я рад
И в ад...

Надеюсь, что читатели уволят меня от труда отвечать ему.⁵⁵

Этот иронический ответ должен был поставить под сомнение и степень осведомленности рецензента «Благонамеренного», и качество его эстетических вкусов.

Дело принимало нежелательный оборот, чего, судя по всему, Измайлов не ожидал. Ему пришлось срочно выправлять положение. В 22-м номере «Благонамеренного» за тот же 1825 год появилось объявление о подписке на «Московский телеграф» на следующий год. «Телеграф» неожиданно оказался здесь возведен издателем «Благонамеренного» в ранг «одного из лучших наших журналов»⁵⁶. В условиях обострившейся борьбы Полевого сразу на нескольких журнальных фронтах заметка Измайлова могла восприниматься как демонстративная поддержка. Во всяком случае, именно так была она истолкована в самом «Телеграфе». В «Особенном прибавлении» к 22-му номеру своего журнала, в статье «О новых полемических статьях против Московского телеграфа», Полевой постарался опровергнуть утверждение Булгарина о том, что против «Телеграфа» (по его, конечно, вине!) ополчились все русские журналы. Подчеркнув, что непримиримо воинственную позицию занимают лишь издания Греча и Булгарина, «Вестник Европы» и «Дамский журнал», критик добавлял: «Правда, были еще замечания на Телеграф в *Благонамеренном*; но г. Измайлов, печатая привязчивые замечания неизве-

⁵⁵ Московский Телеграф, 1825, № 15. Особ. прибавление. С. 17.

⁵⁶ Благонамеренный, 1825, № 22. С. 303.

стного критика, не согласен с ним, ибо в № XXII-м Благонамеренного, на стр. 303 (после всех уже привязок) признает Телеграф одним из лучших Журналов в России»⁵⁷.

Примечательно, что номером раньше в «Московском телеграфе» появилась направленная против Греча и Булгарина статья «Медвежья травля»⁵⁸. Под маской невинного нраво-описательного очерка из минувших времен (жанр, все более входивший в моду) здесь давалась памфлетная зарисовка современных журнальных нравов. В этом очерке, в частности, фигурировали Брылан, «славный польский пес», и его хозяин, «сухощавый немец». Сюжет очерка своеобразно перифразировал не попавшую в печать, но широко известную в списках басню Измайлова «Слон и Собаки» (1824), где действовали «Брылан, задорный польский пес» (Булгарин) и «Брех, пудель сухощавый» (Греч)⁵⁹. Полевой (а автором заметки почти наверняка был именно он) использует басню Измайлова в качестве полемиического метатекста для осмеяния булгаринско-гречевского альянса, как своего рода антибулгаринскую классику...

Судя по всем этим фактам (и, между прочим, по тому еще, что в объявлении о подписке на «Московский телеграф» были сообщены такие подробности, которые Измайлов мог узнать только непосредственно от Полевого), между Измайловым и Полевым произошло к тому времени нечто вроде объяснения — может быть, обмен письмами. Измайлов, видимо, уверил Полевого в том, что автором «привязчивых статей» был не он и что эти статьи не выражают его мнения. Было ли при этом сохранено инкогнито Остолопова — определенно сказать невозможно, но скорее всего было. Не случайно в статье «О новых полемических статьях...» подчеркивается разница между позицией Измайлова и «неизвестного автора»... Так что Ксенофонт Полевой, заявив, что по милости Пушкина «Благонамеренный» окончательно сделался «неблагонамеренным» по отношению к «Московскому телеграфу», погрешил против истины. Скорее уж пушкинская эпиграмма послужила

⁵⁷ Московский Телеграф, 1825, № 22. Особ. прибавление. С. 33.

⁵⁸ Московский Телеграф, 1825, № 21. С. 416–418.

⁵⁹ См. комментарии к этой басне, раскрывающие обстоятельства ее появления и ее полемический смысл, в изд.: Поэты-сатирики конца XVIII — начала XIX в. Л.: Советский писатель, 1959. С. 693–694 (автор комментария — Г. В. Ермакова-Битнер); Русская басня XVIII—XIX веков. Л.: Советский писатель, 1977. С. 590 (автор комментария — В. П. Степанов).

поводом к прекращению развязавшихся было боевых действий и к установлению перемирия...

В начале 1826 года в «Благонамеренном» появляются даже открытые выступления в защиту Полевого от нападков его литературных антагонистов. Так, в небольшой библиографической заметке о театральном альманахе «Драматический альбом для любителей и любительниц театра и музыки» (один из издателей которого, А. И. Писарев, принадлежал к числу наиболее остервенелых врагов издателя «Московского телеграфа») Измайлов вступился в защиту купеческого происхождения Полевого, коим последнего не уставали попрекать оппоненты: «Почему же не трудиться издателям для своих выгод и не издавать журнала купцу, если он имеет нужные к тому способности и сведения? Благодаря нынешнему просвещению, многие из почтенного купеческого сословия пишут лучше, нежели иные дворяне. Вспомним, что один из лучших наших ученых и поэтов, именно *Ломоносов*, был крестьянин рыбак»⁶⁰. Формально возражая Писареву, Измайлов вместе с тем метил в Греча и особенно в Булгарина (тот в своей «Северной пчеле» с особенным удовольствием смаковал выходки Писарева против Полевого): это он — тот «дворянин», лучше которого пишут ныне многие почтенные купцы... Упрек, брошенный Измайловым Писареву (и подразумеваемым «иным дворянам»), был вскоре повторен и в специальной, более развернутой, рецензии на «Драматический альбом»⁶¹.

Однако установившийся между журналами мир не мог быть прочным и длительным. И дело было не в персональном расположении или нерасположении. Как ни стремились Полевой и Измайлов сохранить добрые отношения, они не могли ликвидировать того, что не зависело от их личной доброй воли, — принадлежности к разным литературным эпохам.

О «Московском телеграфе» как провозвестнике новой литературной эры написано столько, что подробно останавливаться на этом вопросе нет надобности. Применительно к нашему сюжету следует только подчеркнуть, что «Телеграф» изначально задумывался как журнал, противостоящий архаической «домашности». Европеизм, энциклопедизм, романтизм — вот те лозунги, которые были незримо начертаны на гербе «Телеграфа». Своим пафосом журнал Полевого проти-

⁶⁰ Благонамеренный, 1826, № 3. С. 170.

⁶¹ Благонамеренный, 1826, № 5. С. 301.

востоял «Благонамеренному» как изданию, укорененному в уходящей эпохе. Это внутреннее противопоставление внешне выразилось в украсившем «Московский телеграф» эпиграфе — гордом высказывании знаменитого шведского дипломата и полководца Акселя Оксеншерны: *Mann Kann, was man will, was man kann* ('Могу то, что хочу — хочу то, что могу'). Амбициозный эпиграф (вызвавший, разумеется, град насмешек), видимо, не был лишен полемического подтекста. Измайловский «Благонамеренный» в течение многих лет выходил с эпиграфом: *On fait ce qu'on peut et non pas ce qu'on veut* («Делают то, что могут, а не то, что хотят»). Вряд ли эта переключка эпиграфов была случайной. Эпиграф измайловского журнала — почти эмблематическое выражение начал литературной домашности. Эпиграф журнала Н. Полевого — манифестация принципиально нового видения функций журналистики. Как бы ни стремились издатели сохранять мир (а они, как мы видели, к этому действительно стремились), рано или поздно разнонаправленность их воззрений должна была обнаружиться и привести к конфронтации куда более глобальной, чем прежняя.

Скоро повод для этого представился.

«КАЛЕНДАРЬ МУЗ»

Еще в начале 1825 года Измайлов, обеспокоенный падающим доходом от подписки на «Благонамеренный» и в то же время вдохновленный финансовым успехом «Полярной звезды» и «Северных цветов», решает на беспроектную (как ему казалось) аферу: он намеревается поправить свое материальное положение изданием собственного альманаха⁶². В качестве соиздателя он привлекает к этому начинанию своего родственника, постоянного сотрудника и корреспондента — Павла Лукьяновича Яковлева. В письме к нему от 19 февраля 1825 года Измайлов откровенно делился своими планами: «Спрашиваешь ты меня: быть или не быть альманаху? Быть, быть! Право, это будет для нас хорошо — по крайней мере достанется тысячи по две барыша на брата со всеми издержками. „Нев-

⁶² О доходах, приносившихся изданием альманахов в 1820-х годах, см.: Рейтблат А. И. Литературный альманах 1820–1830-х гг. как социокультурная форма // Новые безделки: Сборник статей к 60-летию В. Э. Вацу-ро. М.: Новое литературное обозрение, 1995/96. С. 177.

ский альманах“ дрянной, но и тот хорошо разбирают. <...> Через год надобно будет вдруг взять двух моих дочек — так годится им на гардероб»⁶³ (дочки Измайлова заканчивали в ту пору Смольный институт).

Дело оставалось за малым: набрать материалы. И вот тут-то обнаружились первые затруднения. Первоначально Измайлов замахнулся широко. Отвечая Яковлеву 16 апреля 1825 года на высказанное (в не дошедшем до нас письме) упование приблизить литературное качество «Календаря муз» к эталонной «Полярной Звезде», он провозглашал не без самонадеянности:

Нет, почтеннейший и любезнейший мой племянник! Мало будет того, если наш альманах сравнивается с *Полярною Звездою*; надобно, что бы он затмил ее. О стихах я и не забочусь: если не будет стихотворений всех *знаменитых*, или *модных* поэтов, то все будут стихи очень хорошие, и ручаюсь головою, что не помещу ни одной посредственной пиэсы, каких довольно можно найти не только в *Северных Цветах*, но и в *Полярной Звезде*. — Вот проза!.. А ею-то мы и перещеголяем, если только не поленимся. Но ты верно приготовишь три, или четыре статейки острые, сатирические. И я на старости лет что-нибудь напишу, да попрошу написать Панаева, Остолопова и Князя Цертелева и еще человек двух или трех. Кажется для прозы и будет довольно. А для стихов будут у нас: А. Крылов, Межаков, Панаев, Ободовский, Норов, Н. Языков и пр. Попрошу и надеюсь получить хоть по пиэске от И. И. Дмитриева, И. А. Крылова, Жуковского, Пушкина и так далее. В Июне и объявим, а до того подумаем как бы получше назвать нам будущее наше детище.⁶⁴

Но этим прекраснодушным мечтам не суждено было сбыться. При подготовке альманаха Измайлов руководствовался теми же принципами, что и при издании «Благонамеренного», — то есть намеревался приобрести наибольший доход при наименьших расходах. Это означало, что издатель рассчитывал получить материалы от вкладчиков по дружбе

⁶³ Левкович Я. Л. Литературная и общественная жизнь пушкинской поры в письмах А. Е. Измайлова к П. Л. Яковлеву. С. 170.

⁶⁴ Отдел рукописей Института русской литературы. Отдельные поступления. № 14163. Л. 92 об. Впрочем, нечто похожее Измайлов писал Яковлеву уже 19 февраля (см.: Левкович Я. Л. Литературная и общественная жизнь пушкинской поры в письмах А. Е. Измайлова к П. Л. Яковлеву. С. 170).

и по знакомству, уповая на их бескорыстную любовь к словесности. Между тем издатели наиболее успешных альманахов уже платили своим лучшим авторам деньги — и деньги немалые... Ни Крылов, ни Жуковский, ни Пушкин («у Господина сочинителя есть когти...») в альманахах не дали ни строчки. В результате «Календарь муз» (именно такое имя получил в конце концов новый альманах), составившийся так же, как «Благонамеренный», закономерно оказался своеобразным двойником «Благонамеренного» (едва ли не ухудшенным): в дело пошли и любительские опыты, и стишки для альбомов, и даже сочинения, присланные в «Благонамеренный» провинциальными сочинителями и когда-то признанные непригодными для публикации в журнале самим издателем... Да и за «духом века» альманах явно не поспевал: и в прозаическом, и в поэтическом отделах он был наполнен обычными антиромантическими (и для второй половины 1820-х годов — уже безнадежно архаическими) выходками.

Сам Измайлов из соображений рекламы печатно выражал свое сугубое довольство собранным им «Календарем муз». Наличие же в нем несовершенных сочинений он оправдывал точно так же, как оправдывал несовершенство своего журнала. Примечательно в этом отношении его рекламное объявление — в прозе и стихах — о новом альманахе (объявление помещено, кстати, в том же номере «Благонамеренного», где появилась реплика в защиту Полевого):

Тут в прозе, кажется, пиэски хороши,
И есть хорошие весьма стихотворенья. —
Не все... кто без грехов?
И образцовые творенья
Не без плохих стихов!⁶⁵

Впрочем, в переписке Измайлов был откровеннее и честнее. В письме к Яковлеву от 1 февраля 1826 года он оценивал «Календарь муз» куда более сдержанно:

С ума что ли ты сошел, племянник, что с такими оговорками вздумал мне говорить правду о стихах, или стишонках, в Календаре Муз. Да если бы и злодей, например Булгарин Фадей, сказал бы мне правду со всеми возможными грубостями, то право

⁶⁵ Благонамеренный, 1826, № 3. С. 172.

бы и на него не осердился, а был бы *внутренно* ему благодарен. Очень чувствую, что много плохих стихов в Календаре; что и мои к сердечному другу и пр. не заслуживали тиснения — но рассуди милостиво, в две недели поспел альманах — по пяти, по 6 корректур держал на день — Смирдин только и твердил: *оригинала! оригинала!* Право, без этого иных стихов не напечатал бы не только в альманахе, но даже и в Благои.⁶⁶

«Злодей» Булгарин Фаддей, однако, правды не сказал: в 6-м номере «Северной пчелы» за 1826 год «Календарь муз» был оценен чрезвычайно высоко и причислен к «солнцам нашей словесности»! Звучало это довольно двусмысленно, а на слух современников, пожалуй, даже чересчур двусмысленно, с оттенком цинизма: «Полярная звезда» неожиданно закатилась, зато на смену ей появились сразу несколько «солнц»!.. Дело объяснялось просто: после событий 14 декабря 1825 года Булгарин лишился многих из лучших своих сотрудников и ссориться с популярным баснописцем (потенциальным автором-сотрудником) сейчас ему было не с руки.

Зато Полевой сразу же встретил «Календарь муз» с негодованием. Конечно, свою роль тут сыграли и полемические наскоки Яковлева в открывавшей альманах сатирической статье «О новейших словах и выражениях, изобретенных российскими поэтами в 1825 году» (немало «слов и выражений» было заимствовано из «Московского телеграфа» — и не только из поэтических текстов), и бесстыдная в своем цинизме похвала альманаху со стороны ненавистного Булгарина. Но все-таки главное заключалось не в этом. Альманах действительно оказался живым воплощением тех литературных принципов, от которых Полевой всеми силами стремился уйти.

22 января 1826 года Полевой пишет своему бывшему патрону П. П. Свиньину: «Альманахи нынешний год что-то оплошали. Если *Северные Цветы* не вывезут, признаться, не много выиграем мы от многого числа их. Не говоря о *Невском Альманахе*, как не совестно Ал. Еф. Измайлову выдавать, под своим шифром, такой вздор? <...> Но странно мне, что у ваших петербургских откупщиков достало духу <...> сравнивать *Календарь Муз* и *Уралию* с двумя солнцами. Кажется, что с нового года *Пчелка* забыла весь стыд и врет без стыда и без совести,

⁶⁶ Рукописный отдел Института русской литературы. Отдельные поступления. № 14163. Л. 141 об.

льстит, ползает перед каждым могущим снабдить статейкой, и это литераторы!.. И это критика!..»⁶⁷

И уже во втором номере «Московского телеграфа» за 1826-й появляется рецензия на «Календарь Муз», полемически заостренная против «Северной пчелы». Автором ее, бесспорно, был Николай Полевой⁶⁸. В своей рецензии Полевой сразу же отметил «двойничество» альманаха по отношению к «Благонамеренному»: «Календарь Муз — другой Благонамеренный; это два близнеца литературные, во всем друг с другом сходные, одной физиономии, одних свойств, одного наречия, одного духа»⁶⁹. Это было принципиально важное заявление: критикуя альманах, рецензент тем самым метил в журнал и вообще в издательские принципы Измайлова. Полевой продолжает: «Тут найдете вы прозу и стихи, которые покажутся вам вырванными из *Кошелька*, *Смеси* и других еженедельных изданий семидесятых годов (разумеется, XVIII века; заметим, что в этой оценке „прогрессист“ Полевой удивительным образом совпал с „консерватором“ И. И. Дмитриевым. — О. П.). Найдутся,

⁶⁷ Козмин Н. К. Очерки из истории русского романтизма: Н. А. Полевой как выразитель литературных направлений современной ему эпохи. СПб., 1903. С. 516.

⁶⁸ В указателях произведений Н. Полевого эта рецензия не зарегистрирована. Между тем за принадлежность ее Полевому свидетельствует несколько обстоятельств. Так, примечание к статье подписано литерой «П». Между тем В. Г. Березина убедительно показала, что анонимные статьи «Московского Телеграфа» 1826 года, снабженные примечаниями за этой подписью, в подавляющем большинстве своем написаны самим Полевым (*Березина В. Г. Н. А. Полевой в «Московском Телеграфе» // Ученые записки Ленинградского гос. университета им. А. А. Жданова, 1954, № 173. С. 102*). В позднейшей рецензии «Московского телеграфа» на «Северные цветы» и «Уранию» содержалась фраза: «О Невском альманахе и Календаре муз мы уже говорили...» (*Московский Телеграф, 1826, ч. 8, № 5. С. 359*). Упомянутая здесь рецензия на «Невский альманах» была подписана Полевым, на основании чего Я. Г. Сафиулин резонно заключил, что Полевому же принадлежат рецензии на «Северные цветы» и «Уранию» (*Сафиулин Я. Г. Об авторстве Н. А. Полевого по отношению к некоторым статьям «Московского телеграфа» // Романтизм в художественной литературе. Казань: Изд. Казанского ун-та, 1972. С. 18*). Почему Сафиулин не распространил своего заключения и на упомянутую Полевым рецензию на «Календарь муз» — совершенно непонятно. Наконец, последним — но, может быть, решающим — аргументом в пользу авторства Полевого является то обстоятельство, что рецензия местами текстуально совпадает с цитировавшимся нами письмом Полевого к Свиньину от 22 января 1826 г.

⁶⁹ Московский Телеграф, 1826, № 2, отд. 1. С. 190.

может быть, и редкие исключения, но они *пятна в солнце*, ибо, для сведения наших читателей должны мы напомнить, что один из Петербургских Журналов (однако же не *Благонамеренный*, хотя на этот раз и слишком благонамеренный) сопричислил Календарь Муз к солнцам нашей литературы»⁷⁰.

Возражая Яковлеву, Полевой провозгласил изобретение новых слов одним из важных элементов свободного и самобытного творчества, идущего в ногу с просвещением. Что же касается помещенных в альманахе *стихов*, то Полевой издевательски спрашивал Измайлова, сколько затрачено им труда и времени на создание послания «На приезд сердечного друга Я. И. Г.» (того самого послания, которое сам Измайлов в письме к Яковлеву откровенно признавал не заслуживающим печати). Прочитывая несколько строк из этого «домашнего» рукоделия, рецензент с сарказмом заключал: «Боишься продолжать нашу выписку, а не то Издатели Календаря Муз в праве будут обвинить нас в похищении лучшей их собственности». В конце рецензии, в специальном примечании, Полевой не без злорадства переадресовал Измайлову все упреки, некогда предъявленные «Московскому телеграфу» в «Деле от безделья» (при этом Полевой адресовался непосредственно к Измайлову — видимо, все-таки не поверил, что автором «Дела от безделья» был не он!). Долг оказался красен платежом.

СОЧИНИТЕЛЬ В ГНЕВЕ,
ИЛИ ХОРОШО, КАБАЧНИК, УЗНАЕШЬ, КАКОВ
АЛМАНАЧНИК!

Для Измайлова выступление Полевого (а в том, что автором рецензии был именно Полевой, он, в отличие от позднейших исследователей, ни минуты не сомневался) прозвучало как гром среди ясного неба. В письме к Яковлеву от 26 февраля он кипит негодованием (чуть-чуть стилизованным): «Мщение! мщение! любезный племянник! Полевой... *ах! он кутчишка! ах злодей!* обругал наш Календарь муз, разругал твою прозу и мои стихи! <...> хорошо, *кабачник*, узнаешь, каков *алманачник!*»⁷¹

⁷⁰ Там же. С. 192.

⁷¹ *Левкович Я. Л.* Литературная и общественная жизнь пушкинской поры в письмах А. Е. Измайлова к П. Л. Яковлеву. С. 186 (небольшие уточнения вношу по рукописи: Рукописный отдел Института русской литературы. Отдельные поступления. № 14163. Л. 149).

Свою угрозу Измайлов скоро привел в исполнение. В письме к И. И. Дмитриеву от 15 апреля 1826 года (то есть писанном в пору пасхальных праздников) он сообщал: «Вместо красного яичка посылаю к вашему превосходительству безделку, которая не стоит и простого яйца, но которая может быть расшевелит вас, — *Дружеское послание издателю Телеграфа*. Я защищал его против *Брылана* и *сухощавого пуделя*, а он, неблагодарный, обругал наш *Календарь муз* и особенно послание мое к *сердечному другу доктору Яше...*»⁷²

Чтобы придать своей «безделке» большую язвительность, Измайлов демонстративно построил ее как пародический перепев своего послания «На приезд любезного друга Я. И. Г. <Оворова>» — того самого, над которым издевался Полевой. Стихи на случай сохранились⁷³. Мы их имеем — вот они:

Н. А. Полевому
Радость наша,
Николаша!
Осердился,
Осрамился!
Ах, голубчик,
Умник, купчик,
Ах, кабачник⁷⁴,
Не сердися:
Алманачник⁷⁵
Даст бессмертье—
Веселися!
Не смотри ты
На Павлушку:
Он лоб медный,
Но дворянчик...
А ты купчик!
Ах, голубчик!
Будь умнее,
Перестань ты

⁷² Измайлов А. Е. Письма к И. И. Дмитриеву. С. 993.

⁷³ Отдел рукописей и редких книг Российской национальной библиотеки. Ф. 310. Ед. хр. З. Л. 108 об.—110.

⁷⁴ «Изобретать слова при случае можно, а изобретать выражения неминуемо должно писателю, который не обреч себя тащиться по чужим следам» и проч. *Моск. Телеграф*, № 3, с. 90. (Примечание Измайлова.— О. П.)

⁷⁵ Там же, с. 115. (Примечание Измайлова.— О. П.)

Глава VIII

*Аристархитъ*⁷⁶
И печатать
Своевольно
Вздор курсивом,
Ставить *шпильки*
Со *крючками*⁷⁷
Между скобок:
Право, стыдно!
Поучися
С *куликами*
По французски
Критик Русский,
Европейский,
Безбородый!

Ах, ей Богу!
Хуже слогу
В Телеграфе
Я не знаю.
И язык-то
Ведь не Русский,
Не Немецкий,
Не Французский,
А купецкий!
Так и пахнет
Он харчевней
Цареградской,
Или рядом
Москатильным.
Дама ахнет,
Прочитавши
Пять, шесть строчек
И картинок
В Телеграфе
Больше видеть
Не захочет.

Как хохочет
Греч, Булгарин,
Каченовский
И Измайлов;
Только плачет

⁷⁶ Выражение, изобретенное Г. Полевым. (Примечание Измайлова. — О. П.)

⁷⁷ *Восклицательные шпильки и вопросительные крючки.* Смотри *Полярную Звезду* на 1825 год или *Календарь Муз* 1826. (Примечание Измайлова. — О. П.)

Друг твой верный,
Лгун прескверный
Вор Павлушка.
А Павлушку,
Как лягушку,
Вмиг раздавит
Алманачпик,
Дюжий, толстый —
Плачь, кабачник!

Ты Грамматик,
Ты Статистик,
Ты Историк,
Ты Теорик,
Химик-практик,
Журналистик —
Много смыслишь,
Кто и спорит?
Не умеешь
Ты однако
Изъясняться
Благородно;
А смеяться,
Острословить,
О Издатель
Телеграфа,
Как у Графа
У Хвостова,
Нет в тебе, брат,
Дарованья:
Шутишь плоско,
Вяло, жестко!

Радость наша,
Николаша!
Критик скучный,
Смелоручный
И бездушный!
Будь умнее,
Будь скромнее,
Перестань ты
Аристархить.
Эй, уймися,
Не срамися:
Берегися!

26 и 27 Марта 1826

Измайлов, судя по этому произведению, внимательно следил за полемикой московских и петербургских журналов с Полевым и «Московским телеграфом». Его стишки — своеобразный коллаж из расхожих обвинений: здесь и насмешки над принадлежностью издателя «Телеграфа» к купеческому сословию (а ведь еще недавно Измайлов, защищая Полевого, вспоминал Ломоносова!); и попреки водочным заводом («химик-практик»), причем винокурение и журнальные занятия рассматриваются как явления одного порядка (это уже совсем недалеко от остроты «Вестника Европы», М. Т. Каченовского, насчет телеграфа, установленного на храме Бахуса); и заявления о «невежестве» и безграмотности Полевого (отсюда — рекомендации ему поучиться по-французски вместе с «куликами»; так именовались самоучки из низких состояний, с которыми любил носиться «вор Павлушка» — Павел Свинын, бывший покровитель Полевого); и насмешки над плебейским слогом сочинений «издателя Телеграфа», в частности над его смелыми неологизмами: слово «журналистик» обыгрывает введенное Полевым в литературный обиход слово, казавшееся удивительно нелепым и безграмотным, — «журналистика»!.. Измайлов, конечно, не догадывался, что этому слову суждено великое будущее...

Нам, увы, неизвестно, как отреагировал Иван Иванович Дмитриев на присланное ему вместо «красного яичка» послание к Полевому. Но если дипломатичный экс-министр и поблагодарил Александра Ефимовича за ценный подарок, то в душе он, видимо, не мог с Измайловым вполне согласиться... Уже в 1836 году, через два года после запрещения «Московского телеграфа», престарелый сподвижник Карамзина писал П. Свиныну о Полевом: «Не говоря о причинах, по которым я не могу быть к нему привязан <...> совестливо скажу, что он один только у нас имел дар привлекать к своему журналу всеобщим участием и занимательностью в выборе статей журнальных».⁷⁸ О журнале Александра Ефимовича благорасположенный к издателю Дмитриев, как мы помним, даже в глаза отзывался иначе...

ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ

Развернувшиеся боевые действия оборвались неожиданно. На июньском номере за 1826 год Измайлов прекратил издание «Благонамеренного» и в скором времени отправился в Тверь,

⁷⁸ Дмитриев И. И. Сочинения. Т. 2. М., 1893. С. 327.

надеясь на посту тверского вице-губернатора поправить финансовое положение, существенно подорванное неблагодарным издательским ремеслом... Надеждам этим не суждено было оправдаться: вице-губернаторство принесло Измайлову больше неприятностей, чем доходов, а с долгами, накопившимися за время издания «Благонамеренного», ему так и не суждено было расплатиться...⁷⁹

Последнее слово оказалось за оппонентами Измайлова. Сначала Ксенофонт Полевой напечатал в 3-м номере «Московского телеграфа» за 1827 год язвительнейшую рецензию на сочинения Измайлова — и таким образом как бы отомстил за обиженного брата. А в 8-м номере «Московского телеграфа» за тот же, 1827-й, год, в разделе «Журналистика» (ирония истории!), появилась следующая заметка, за подписью: «Журнальный сыщик»⁸⁰: «*Благонамеренный*, явившийся в 1818 г. на литературном горизонте, исчез в конце 1826 года. Кажется, что в нынешнем 1827 году не видать нам более сего необыкновенного литературного явления. За 1824 год недодано подписчикам две книжки (№ 23 и 24). За 1825 год не додано *двенадцать* книжек (№ 41–52). За 1826 год не додано также *двенадцать* книжек (№ 13–24). Не известно, скоро ли он поквитается. Последняя из вышедших книжек *Благонамеренного* была за *Июнь* месяц 1826 г. и вышла 19-го *Октября*. Прекращение сего журнала есть до сих пор одно только *намерение*, но столь *благое*, что нельзя не пожелать ему исполниться»⁸¹.

Таков был журнальный эпилог полемики «Московского телеграфа» с «Благонамеренным». Но у полемики этой ока-

⁷⁹ Сохранились документы, свидетельствующие о том, что Измайлов еще в начале 1830-х годов оставался должен Морской типографии 3661 рубль (см.: РО ИРЛИ. Ф. 461. № 16). Этот долг Измайлов, судя по всему, так и не смог вернуть.

⁸⁰ Чаше всего под псевдонимом «Журнальный сыщик» в «Московском телеграфе» выступал, как известно, Вяземский, но иногда — и сам Николай Полевой. Между тем эта заметка не включена в указатели сочинений ни Полевого, ни Вяземского — хотя могла принадлежать только человеку, облеченному полномочиями говорить от лица редакции. Я склоняюсь в пользу авторства Полевого: заметка демонстрирует прекрасную — так сказать, профессиональную — осведомленность о ходе современной журнальной жизни (во всяком случае, считать недоданные тома больше пристало бы Полевому, чем Вяземскому). Разумеется, новые архивные находки могут скорректировать эту гипотезу.

⁸¹ Московский Телеграф, 1827, № 8, отд. 2. С. 193–194.

зался и второй эпилог. В феврале 1827 года (то есть почти одновременно с соответствующим номером «Телеграфа») вышла из печати третья глава романа в стихах Пушкина «Евгений Онегин». В ее XXVII строфе каждый читатель мог теперь прочесть следующие стихи:

Я знаю: дам хотят заставить
Читать по-русски. Право, страх!
Могу ли их себе представить
С *Благонамеренным* в руках!

Строфа была написана еще в 1824 году — в год бурных литературных полемик; характеристика измайловского журнала несет на себе отсветы тогдашней литературной борьбы. Однако в 1827 году пушкинские строки приобретали несколько иной смысл. «Благонамеренный» уже прекратил свою существование, и стихи, в *рукописи* звучавшие как злободневный полемический выпад, в *печати* стали звучать как обобщающая итоговая характеристика.

Но это еще не все. Строки Пушкина неожиданно оказались предметом своеобразной читательской интерпретации, принятой на вооружение самим творцом «Евгения Онегина». 26 июля 1828 года Вяземский рассказывал Пушкину о своем соседе Бекетове, «добром и образованном человеке»: «...всего лучше то, qu'il entend malice a votre vers:

С благонамеренным в руках

и полагает, что ты суешь в руки дамские то, что у нас между ног. Я сказал ему, что передам тебе этот комментарий...»⁸². Пушкин, судя по всему, этим комментарием остался доволен. Во всяком случае, в письме к Вяземскому от 1 сентября он уже всю обигрывал невольный бекетовский каламбур. Описывая свои отношения с Аграфеной Закревской, он пояснял: «Я ей пишу стихи. А она произвела меня в свои сводники (к чему влекли меня и всегдашняя склонность и нынешнее состояние моего Благонамеренного, о коем можно сказать, что было сказано о его печатном тезке: ей ей намеренье благое, да исполнение плохое)»⁸³.

⁸² Пушкин. Полн. собр. соч. Т. XIV. С. 23.

⁸³ Пушкин. Полн. собр. соч. Т. XIV. С. 26.

При выпуске «Онегина» отдельным изданием (1832 г.) понадобилось уже комментировать и «Благонамеренный» — то есть, конечно, «печатного тезку»: «Журнал, некогда издаваемый покойным А. Измайловым довольно неисправно. Издатель однажды печатно извинялся перед публикою тем, что он на праздниках гулял». Это примечание (как и все вообще авторские примечания к «Евгению Онегину») отличается по-тайным лукавством. Строго говоря, сообщение о том, что «Благонамеренный» издавался «довольно неисправно», совершенно не объясняет, почему приличных дам невозможно представить «с *Благонамеренным* в руках». Набрасывая свое примечание, Пушкин определенно помнил шутку, сообщенную ему Вяземским в 1828 году. В свете этой шутки сам поэт читал теперь собственный текст в двойном регистре — в прямом и каламбурно-метафорическом (и предлагал в таком регистре читать его людям посвященным). Только это двойное бытие текста может объяснить смысл (точнее — многосмысленность) пушкинского примечания. Измайловский «Благонамеренный» в этом примечании тайно соотносился с его «непечатным тезкой»: само слово «неисправно» получало двойное, каламбурное звучание; «неисправно» — значит и неаккуратно, и неудовлетворительно. Такому *Благонамеренному*, разумеется, попадать в дамские руки незачем — толку не будет... Шутка предназначалась для своих: Вяземский, прочитав пушкинское примечание, наверняка весело хохотал...

Пушкин написал веселую эпитафию — и покойному А. Измайлову, и покойному «Благонамеренному», и целому периоду истории русской журналистики. Эпитафия вместе с тем оказалась и пропуском в бессмертие: только благодаря Пушкину «Благонамеренный» донине известен большинству читателей — как журнал, издатель которого гулял на праздниках и который невозможно представить в руках у порядочной дамы...

Незадачливый наследник

*Как Александр Пушкин помог Михайле Дмитриеву
написать донос в стихах и что из этого вышло*

«ДОНОС»

Мало кто из русских литераторов XIX века сумел приобрести себе более скверную репутацию, чем Михаил Александрович Дмитриев, племянник знаменитого поэта, друга и сподвижника Карамзина. Долгое время его имя если и появлялось в исторических и историко-литературных работах (обычно в примечаниях), то непременно в сопровождении ругательных дефиниций. «Верный и последовательный сторонник правительственной реакции»¹ — из числа самых мягких. Настороженная предвзятость то и дело оборачивалась вольным или невольным насилием над историей: факты, вступавшие в противоречие с «общепризнанной» репутацией Дмитриева, обычно искажались в угоду репутации.

Авторитетный пушкинист Н. В. Измайлов, анализируя литературный фон пушкинского «Медного всадника», заметил в связи с популярнейшим, сохранившимся в десятках списков «апокалипсическим» стихотворением «Подводный город»: «Н. П. Анциферов называет его автором М. А. Дмитриева, не давая объяснений этой атрибуции, впрочем очень мало вероятной...»². «Маловероятной» была признана атрибуция стихотворения, вошедшего в прижизненное издание Дмитриева, подготовленное самим автором!³ Предубежденность оказалась настолько сильна, что высокопрофессиональный и обычно очень осторожный исследователь не стал утруждать себя

¹ Эпиграмма и сатира: Из истории литературной борьбы XIX-го века. Т. I. 1800–1840. Сост. В. Н. Орлов. М.; Л.: Academia, 1931. С. 356.

² Пушкин А. С. Медный всадник. Издание подготовил Н. В. Измайлов. Л.: Наука, 1978. С. 245.

³ Дмитриев М. А. Стихотворения. Часть первая. М.: Тип. Л. И. Степановой, 1865. С. 175–178.

проверкой: ведь а priori понятно, что столь отчетливо оппозиционного стихотворения, как «Подводный город», «верный и последовательный сторонник правительственной реакции» написать не мог...

Порою предвзятость оборачивалась последствиями еще более курьезными. В своем «Взгляде на старую и новую словесность в России» (1823) издатель «Полярной звезды» А. А. Бестужев дал такую характеристику поэтического творчества молодого Дмитриева: «Полуразвернувшиеся розы стихотворений Михайла Дмитриева обещают в нем образованного поэта, с душою огненною»⁴. Позднейший комментатор, твердо помнивший репутацию Дмитриева, попросту не мог допустить, чтобы писатель-декабрист столь высоко оценил «последовательного реакционера». Поэтому в статье Бестужева он прочел духовными очами совсем иные строки: «...Михайла Дмитриева... с душою ограниченою... (так! — О. П.)» — и прокомментировал их подобающим образом: «Бестужевым дано удивительно точное определение последующих (! — О. П.) позиций М. А. Дмитриева (1796–1866), уже в 1820-х гг. выступившего как рьяный блюститель классицизма. Выступал он против романтических поэм и романа „Евгений Онегин“ Пушкина, „Горя от ума“ Грибоедова, был постоянным противником Н. Полевого, Белинского»⁵.

Дмитриев и впрямь был активным участником литературных боев 1820–1840-х годов. И литературных врагов у него, действительно, было много. Но к одиозной репутации Дмитриева его нападки на Полевого, Грибоедова и Пушкина имеют все же лишь косвенное отношение. Проблема не в них, а в имени, которое замкнуло список упомянутых комментатором дмитриевских «жертв»: принято считать, что своим доносительным стихотворением «Безыменному критику» Дмитриев создал для выдающегося критика чуть ли не смертельную угрозу.

Попытаемся понять, что же произошло в действительности.

⁴ Полярная звезда, изданная А. Бестужевым и К. Рылевым. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1960. С. 24.

⁵ Бестужев-Марлинский А. А. Сочинения в 2 т. Сост., подготовка текста и комментарии В. И. Кулешова. Том 2. М.: Художественная литература. 1981. С. 559. Справедливости ради следует заметить, что «душа ограниченная» появилась только в комментариях к изданию; в самом тексте статьи, подготовленном В. И. Кулешовым, высказывание Бестужева искажено иначе: «с душою ограниченою» (там же, с. 388).

Первые упоминания Белинского в переписке и в рукописных сатирических сочинениях Дмитриева относятся к началу 1840-х годов — ко времени, когда Белинский уже перебрался из Москвы в Петербург и сделался ведущим критиком «Отечественных записок». Несмотря на то, что на первых порах ново-рожденный «Москвитянин» (к кружку которого принадлежал и Дмитриев) и «Отечественные записки» А. Краевского стремились поддерживать лояльные отношения и единым фронтом противостоять «торговой» журналистике⁶, Дмитриев в возможность союза не особенно верил. В конце 1840 года (едва только появилось объявление о предстоящем выходе «Москвитянина») он дает Погодину напутствия: «...Говорите в журнале правду — и сделаете его самым оригинальным из наших журналов. Нечего церемониться с теми, которые употребляют все средства. <...> Читали ли вы в *Отечественных записках* о Ломоносове, что всеми признано нынче, что он не поэт!»⁷

Мир между журналами — вопреки первоначально декларированным намерениям Погодина и Краевского — длился недолго. Боевые действия начались с появления в 4-й книжке «Отечественных записок» за 1841 год язвительной анонимной заметки о статье Ф. Н. Глинки в «Московских ведомостях» (1841, № 16), восхвалявшей «Москвитянин» и утверждавшей, что основаниями поэзии и философии должны быть нравственность и религия (статья Глинки задевала и не названного прямо Белинского). Заметка принадлежала московскому сотруднику «Отечественных записок», впоследствии — видному историку литературы А. Д. Галахову, но в кружке «Москвитянина» была единодушно приписана Белинскому. Весь остаток 1841 года прошел в обменах выпадами: частный повод обнаружил принципиальную разницу в понимании литературы и ее задач⁸.

⁶ См.: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 5. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1892. С. 501; Оксман Ю. Г. Летопись жизни и творчества В. Г. Белинского. М.: ГИХЛ, 1958. С. 277 (письмо Погодина Краевскому от 7 января 1841 г). Ср.: Панаев И. И. Литературные воспоминания. Под ред. И. Г. Ямпольского. [М.; Л.:] ГИХЛ., 1950. С. 160.

⁷ Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 5. С. 494.

⁸ Обзор этой полемики (не очень точный и тенденциозный — с позиции «православно-русского направления») см. в кн.: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 6. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1892. С. 77–83. Все стычки «Отечественных записок» и «Москвитянина», в которых так или иначе фигурировало имя Белинского, тщательно зафиксированы в работе: Оксман Ю. Г. Летопись жизни и творчества В. Г. Белинского (см. по «Указателю газет, журналов и альманахов», с. 617).

Итог полемике подвела обзорная статья Белинского (напечатанная, как всегда, анонимно) «Русская литература в 1841 году». Это была первая попытка систематического изложения Белинским новой историко-литературной концепции, в свете которой теперь оценивалась литература прошлая и современная. Поскольку в основе этой концепции лежала своеобразная «теория прогресса» (наложенная на гегельянский каркас), то вся история русской литературы представляла как достаточно жалкое зрелище: даже значительные литературные явления были объявлены имеющими лишь относительную ценность, как выразившие только свою эпоху... Менее значительные явления в свете рисовавшегося Белинскому идеала казались и вовсе не заслуживающими внимания. В полемике «Москвитянина» и «Отечественных записок» столкнулись две утопии — утопия ретроспективная, ориентированная на «канон», и утопия прогрессистская, «золотой век» видевшая в будущем...

«Русская литература в 1841 году» послужила ближайшим поводом для создания стихотворения Дмитриева «К безыменному критику». Вот что рассказывает об этом сам автор в своих позднейших воспоминаниях: «Издатель новых „Отечественных записок“ Краевский приглашал и меня письмом своим участвовать в его издании, но, к счастью, у меня тогда не было ничего готового. Вскоре обнаружилось <...> направление, <...> совершенно противоположное моим убеждениям. Белинский начал ниспровергать все авторитеты, все признанные заслуги литературные; он говорил, что Ломоносов не поэт, не лирик; что Державин и Жуковский тоже не поэты, что Карамзин не писал истории России, потому что Россия до Петра Великого была младенцем, а кто же пишет историю младенца? <...> Это проповедовалось в каждой книжке, и все без подписи критика. — По этому случаю я написал стихи „К безыменному критику“, которые были напечатаны в „Москвитянине“ 1842 года»⁹.

Хотя Дмитриев говорит о «проповедывании» чуждых ему идей в «каждой книжке» «Отечественных записок», пересказанные им положения нашли наиболее концентрированное выражение именно в «Русской литературе в 1841 году».

⁹ Дмитриев М. Главы из воспоминаний моей жизни. Подготовка текста и комментарии К. Г. Боленко, Е. Э. Ляминой, Т. Ф. Нешумовой. М.: Новое литературное обозрение, 1998. С. 458.

Дмитриев, однако, не отметил в своем мемуарном рассказе еще одной — глубоко личной — причины, которая заставила его переживать очередную статью «безыменного критика» с особой остротой и оценивать ее с особым пристрастием.

Об этом личном интересе косвенно свидетельствует письмо Дмитриева к Погодину от 14 января 1842 года: «...Теперь еду подписываться на „Отечественные записки“: говорят, будто меня там побранили; это интересно прочитать»¹⁰. Слухи не были беспочвенными: «Отечественные записки» действительно «побранили» Дмитриева — все в той же «Русской литературе в 1841 году».

Говоря о конце пушкинского периода в истории русской словесности, А. (протагонист автора) рассуждает о литературной смерти поэтов пушкинской школы: из них теперь «не знаем, кого вспомнить, кого назвать...». На это с недоумением откликается Б. («простака» этого драматизированного критического диалога): «Как! столько имен, столько слав...». Эта простодушная реплика дает А. (=Белинскому) повод для чрезвычайно язвительного комментария:

— Но ведь в то время и г. Олин, автор «Корсара» и многих романтических элегий, издатель бесчисленного множества программ несостоявшихся журналов и газет, и г. М. Дмитриев, сочинитель целой книги стихов, и г. Раич, автор десятка плаксивых стихотворений, и г. Трилунный, переводчик и подражатель Байрона, и Ф. Н. Глинка, изобретатель благоухающей нравственностью поэзии, и много еще других — все это были имена и славы, да еще какие?¹¹

Дмитриев (как, впрочем, и другой сотрудник «Москвитянина» — Федор Глинка) оказался отнесен Белинским к числу третьестепенных сочинителей, которым могло придать какую-то цену только младенческое эстетическое сознание минувших десятилетий; их былая «слава» кажется смешной, если смотреть на нее с точки зрения нынешней эпохи, далеко ушедшей вперед по пути литературного прогресса... Раздражительный Дмитриев, несомненно, пришел в негодование, но до времени затаился. Повод излить желчь представился ему несколько позже.

¹⁰ Цит. по: Кулешов В. И. «Отечественные записки» и литература 40-х годов XIX века. М.: Изд. Московского университета, 1958. С. 198.

¹¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 5. М.: Изд. АН СССР, 1954. С. 560.

Через неделю после появления 1 номера «Отечественных записок» вышел из печати 1 номер «Москвитянина» на 1842 год, открывавшийся программной статьей Шевырева «Взгляд на современное направление русской литературы. Сторона черная». Статья эта заключала в себе резко негативную характеристику петербургской «промышленной» журналистики и содержала выразительный карикатурный портрет Белинского — «рыцаря без имени», наглого и невежественного. «Размахистым мечом он рубит направо и налево, и нет такого имени, которое остановило бы мах немилосердый. <...> Ничто так не действует на массу читателей невежд, как неуважение и дерзость перед всяким признанным прежде величием. Сам бобыль литературный, он не хочет уважать никаких преданий, никакого авторитета...»¹².

В начале 1842 года Белинский гостил в Москве. Около 9 января он в доме Щепкина слушал статью Шевырева в исполнении (надо полагать, уснащенном необходимыми театральными эффектами) известного «западника», переводчика Шекспира Н. Кетчера. Именно тогда у Белинского возник замысел памфлета на Шевырева. Этот памфлет — под названием «Педант» — появился в 3 номере «Отечественных записок» (цензурное разрешение — около 23 февраля). Памфлет имел широкий резонанс. Уже 13 марта московский лазутчик «Отечественных записок» Галахов извещал Краевского о том, что «Педант» до того разъярил «москвитян», что «они хотят жаловаться на Белинского и, главное, принял в этом участие кн. Д. В. Голицын, который на днях едет в Петербург. Возьмите скорей свои меры»¹³. Краевскому, видимо, «брать меры» не пришлось (о чем позже): никаких неприятностей у «Отечественных записок» в связи с публикацией «Педанта» не возникло.

Судя по всему, тогда-то Дмитриев и начинает писать свой поэтический ответ Белинскому, рассчитывая, что издатели «Москвитянина» окончательно избавились от иллюзий насчет возможного союза с «Отечественными записками» и потому не побоятся обнародовать резкий текст, направленный против петербургского журнала. Дмитриев уведомлял Погодина 31 марта: «Читал я их „Педанта“: — вот я им приготовил

¹² Москвитянин, 1842, № 1. С. XXVIII–XXX.

¹³ Оксман Ю. Г. Летопись жизни и творчества В. Г. Белинского. С. 321 (письмо Галахова Краевскому от 13 марта 1842 г.).

стишки для 5-й книжки, коли цензура пропустит»¹⁴. Речь здесь, видимо, идет именно о стихотворении «К безыменному критику» (никаких других «стишков» Дмитриева на «Отечественные записки» за этот год неизвестно): сам автор датировал стихотворение апрелем¹⁵, но это, по всей видимости, означает только, что к апрелю стихи, начатые ранее, были окончательно отделаны. Какие-то колебания и сомнения у редакции, видимо, все же сохранялись: послание «К безыменному критику» увидело свет только в 10-й, октябрьской книжке «Москвитянина» (цензурное разрешение — 26 октября).

Уже начальные строфы этого послания достаточно наглядно характеризуют его тон, пафос и концепцию:

Нет! твой подвиг непохвален!
Он России не привет!
Карамзин тобой ужален,
Ломоносов — не поэт!

Кто ни честен, кто ни славен,
Ни радел стране родной,
И Жуковский и Державин
Дерзкой тронуты рукой!

Ты всю Русь лишил деяний,
Как младенца, до Петра,
Не признав бытописаний
Славы, силы и добра!

Все язвить — что знаменито;
Что высоко — низводить;
Чувством нравственным открыто
Насмехаться и шутить;

Лить на прошлое отраву,
И трубить для всех ушей
Лишь сегодняшнюю славу,
Лишь сегодняшних людей;

Подточивши цвет России,
Червем к корню подползать —
Дух ли это анархии,
Иль невежества печать?

¹⁴ Литературное наследство. Т. 56. М.: Изд. АН СССР, 1950. С. 166.

¹⁵ См.: Дмитриев М. А. Стихотворения. Часть первая. С. 38.

Где ответ на дерзость эту?..
И кому судить навет?..
Нет! не мирному поэту!
Суд граждан тебе ответ!

Голос предков замогильный,
Громкий сердцу голос их,
Обвинитель будет сильный
Пред судилищем живых!..

И так далее — всего 19 строф...

Многие из обвинений, предъявленных «безыменному критику», повторяли упреки, уже высказывавшиеся Шевыревым. Принципиальна нова, в сущности, была только отчетливая политическая окрашенность текста, прямое указание на связь деятельности Белинского по разрушению литературных авторитетов с разрушительными политическими принципами. Характеризуя критику «Отечественных записок» в своих позднейших мемуарах, Дмитриев скажет об этом еще более прямо: «это были революционные начала, вносимые в литературу, за невозможности внести их в область государственного устройства»¹⁶. В стихотворении же подобный взгляд наиболее резко выражен в куплете:

Подточивши цвет России,
Червем к корню подползать —
Дух ли это анархии,
Иль невежества печать?

Политическая определенность этих поэтических обвинений смутила даже Шевырева, только что больно задетого памфлетом Белинского. Своими сомнениями Шевырев поделился с Дмитриевым. Тот отвечал 9 октября 1842 года: «Теперь об *анархии* <...> Вы говорите, скажут, что мы доносим! — А что же эта пиеса, как не донос правды, вышедшей из терпения! Вспомните, что я говорил об этом однажды у Антонского, и в чем вы со мною соглашались. Эта пиеса не что иное, как перевод в стихи моего мнения, обнаруженного в разговоре; это перевод на позволенный язык стихотворный, что было бы непозволительной официальной бумагой, если бы напечатать

¹⁶ *Дмитриев М.* Главы из воспоминаний моей жизни. С. 458.

в прозе! — Пускай разыгрывают невинность; но эти стихи обратят к их прежней прозе! — И так вот сколько причин заставляют меня так оставить; притом напечатанное имя стихотворца — отвечает за себя!»¹⁷

Шевырев сомневался не напрасно. Политическая заостренность дмитриевского текста дала в руки противников необыкновенно сильный козырь. Стихотворение — как и предсказывал Шевырев — было немедленно ославлено как «донос в стихах» (в печати это было названо более витиевато — стихотворение в роде «юридических обвинений»). С той поры и установилась в «левых» кругах весьма неблагоприятная политическая репутация Дмитриева, последствия которой давали себя знать чуть ли не полтора столетия...

В действительности, однако, дмитриевский «донос в стихах» вовсе не был зарифмованной кляузой апологета правительственной реакции на гонимого прогрессивного автора. «К безыменному критику» — выступление смелое, дерзкое и, по сути дела, оппозиционное, содержащее в себе обвинения не столько «Отечественным запискам», сколько правительству и его культурной политике. Самой же идеей такого выступления Михаил Дмитриев не в последнюю очередь оказался обязан... А. С. Пушкину.

«ВЫХОДКИ ПРОТИВУ ЛИТЕРАТУРНОЙ АРИСТОКРАТИИ»

Чтобы понять, в чем именно состоит долг Дмитриева Пушкину, нам придется перенестись из 1840-х годов к рубежу 1820–1830-х.

В 1830 году литераторы пушкинского круга, дотоле вынужденные искать пристанища в различных периодических изданиях, иногда весьма далеких по духу от их позиций, наконец получили свой орган — «Литературную газету» барона Дельвига. Кружок, сгруппировавшийся вокруг газеты, противники-конкуренты немедленно окрестили «литературной аристократией». «Литературная газета» сразу же сделалась объектом ожесточенных нападок, главным образом — со стороны изда-

¹⁷ Отдел рукописей и редких книг Российской Национальной библиотеки (бывш. Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина), ф. 850, ед. хр. 228, л. 1 об.

ний Греча и Булгарина («Сына Отечества» и «Северной пчелы») и «Московского телеграфа» Николая Полевого¹⁸.

Кампания против газеты, начавшаяся в январе, достигла кульминации летом. 7 августа в 94-м номере «Северной пчелы» появилось «Второе письмо из Карлова на Каменный остров» Фаддея Булгарина. Здесь, наряду с обычными насмешками над «аристократизмом» («Аристократизм не сделает глаже и умнее ни прозы, ни стихов»), содержался знаменитый «анекдот» про некоего «поэта из Испанской Америки», который кичился своим происхождением от негритянского принца, на поверку оказавшегося невольником, купленным шкипером за бутылку рома. В поэте без труда узнавался Пушкин...

В ответ на этот пасквиль «Литературная газета» (№ 45, 9 августа) поместила заметку, в которой, среди прочего, говорилось:

Новые выходки противу так называемой литературной нашей аристократии столь же недобросовестны, как и прежние <...> При сем случае заметим, что если большая часть наших писателей дворяне, то сие доказывает только, что дворянство наше (не в пример прочим) грамотное: этому смеяться нечего. Если же бы звание дворянина ничего у нас не значило, то и это было бы вовсе не смешно. Но пренебрегать своими предками из опасения шуток гг. Полевого, Греча и Булгарина не похвально, а не дорожить своими правами и преимуществами глупо. Недворяне (особливо не русские), позволяющие себе насмешки насчет русского дворянства, более извинительны. Но и тут шуточки их достойны порицания. Эпиграммы демократических писателей XVIII-го столетия (которых, впрочем, ни в каком отношении сравнивать с нашими невозможно) приутожили крики: *Аристократов к фонарю* и ничуть не забавные куплеты с припевом: *Повесим их, повесим. Avis au lecteur*¹⁹.

¹⁸ Полемика эта изучена достаточно обстоятельно, что избавляет нас от необходимости подробно излагать ее перипетии. Обзор основной литературы см. в работе: Вацуро В. Э., Пугачев В. В. Пушкин и общественно-литературное движение в период последекабрьской реакции: Ситуация 1825–1837 гг. // Пушкин: Итоги и проблемы изучения. Коллективная монография под ред. Б. П. Городецкого, Н. В. Измайлова, Б. С. Мейлаха. М.; Л.: Наука, 1966. С. 220–225 (соответствующий раздел написан В. Э. Вацуро). Впрочем, следует заметить, что отношения «Литературной газеты» с «Московским телеграфом» донныне изучены значительно хуже, чем ее полемика с «Северной пчелой».

¹⁹ Пушкин. Полн. собр. соч. Т. XI. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1949. С. 282.

Булгарин и Греч, против которых было направлено полемическое острие заметки, промолчали (почему — это особый вопрос; мы вернемся к нему позже). Зато с печатной отповедью выступил Николай Полевой: «С чего берет Литературная Газета, что Полевой насмеяется над дворянскими грамотами ее Издателей? *Нигде и ничего не говорил* Полевой об этом, и *не мог говорить*, ибо все помещаемое в его Журнале есть доказательство, что основанием всех его дел и мыслей были и будут уважение к гражданскому порядку, законам отечества, заслугам Русского Дворянства, желание счастья и благоденствия отчизне»²⁰ — и пр., и пр., и пр.

Ксенофонт Полевой, брат и сотрудник издателя «Московского телеграфа», впоследствии не без язвительности прокомментировал выступление «Литературной газеты» в своих мемуарах: «Чем это „Avis au lecteur“ лучше тех указаний, которыми славился и наконец сделался ненавистен впоследствии Булгарин? Разве это не явный донос, не обвинение в распространении революционных мнений? Не нужно пояснять, к кому взывает „Avis au lecteur!“ И это печатали Пушкин и его единомышленники в 1830-м году, при тогдашней опале журналов, указывая на Полевого, который больше других отличался независимыми мнениями!.. Довольно было бы одной такой выходки, чтобы навсегда отвернуться от „Литературной Газеты“, или, по крайней мере, не почитать ее добросовестною, не способною к тому же, в чем она упрекала Булгарина»²¹.

Кто же был автором скандальной заметки в «Литературной газете»? Ходили слухи, что Пушкин. Впервые заметка была включена в собрание сочинений Пушкина П. В. Анненковым (1857), и с тех пор авторство Пушкина долго не оспоривалось — тем более что оно было подтверждено осведомленным современником, родственником издателя А. И. Дельвигом. Правда, А. И. Дельвиг сообщал, что заметка была «шутя» написана в его присутствии Пушкиным и Дельвигом²². Однако вполне резонным было сочтено соображение известного знатока истории «Литературной газеты» Н. К. Замкова: «Слова

²⁰ Московский телеграф, 1830, № 14. Июль. С. 241–242.

²¹ Николай Полевой: Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Ред., вступ. статья и комментарий Вл. Орлова. Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1934. С. 311.

²² Дельвиг А. И. Полвека русской жизни: Воспоминания. Ред. и вступ. статья С. Я. Штрайха. Т. 1. М.; Л.: Academia, 1930. С. 149.

барона А. И. Дельвига <...> можно понимать лишь в том смысле, что Дельвиг делал некоторые указания; автором же был несомненно Пушкин, что доказывается рядом однородных замечаний его, сохранившихся в черновом виде»²³. Впоследствии предположения Замкова поддержал и подкрепил убедительным стилистическим анализом В. В. Виноградов²⁴. В так называемом Большом академическом собрании сочинений Пушкина заметка была напечатана в разделе «Dubia» (следствие общей осторожной текстологической тактики редакционной коллегии). Однако готовивший том критической прозы В. В. Гиппиус в специальной статье, посвященной полемике Пушкина с Булгариным, отметил, что перед нами «заметка, почти наверно написанная Пушкиным»²⁵.

Но проходило время, и некоторые исследователи неожиданно стали брать авторство Пушкина под сомнение. Так, Ю. Г. Оксман, прежде считавший авторство Пушкина «весьма вероятным»²⁶, в начале 1960-х годов не включил заметку в том критики Пушкина, подготовленный им для собрания сочинений, выходявшего в издательстве «Художественная литература». В примечаниях он назвал ее вероятным автором Дельвига²⁷. Недоказуемость авторства Пушкина подчеркивает в новейшей книге и Я. А. Гордин: «Противники Пушкина приписали заметку ему, хотя доказательств как не было у них, так нет и у нас»²⁸.

Эти сомнения кажутся на первый взгляд неожиданными. Свидетельства современника, теснейшая содержательная и стилистическая связь текста с бесспорно пушкинскими сочинениями — все это во всяком случае дает несоизмеримо

²³ Замков Н. К. К цензурной истории произведений Пушкина // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Вып. ХХІХ–ХХХ. Пг.: Тип. Российской Академии Наук, 1918. С. 55.

²⁴ Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей. М.: ГИХЛ, 1961. С. 411–413.

²⁵ Гиппиус Вас. Пушкин в борьбе с Булгариным в 1830–1831 гг. // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. Вып. 6. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1941. С. 241.

²⁶ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 6 томах. Под ред. М. А. Цявловского. Т. 5. М.; Л.: Academia, 1936. С. 723.

²⁷ Пушкин А. С. Собрание сочинений в десяти томах. Т. 6. М.: ГИХЛ, 1962. С. 551 (примеч. Ю. Г. Оксмана).

²⁸ Гордин Я. Право на поединок: Роман в документах и рассуждениях. Л.: Советский писатель, 1989. С. 207.

больше аргументов *в пользу* пушкинского авторства, чем против него. Но дело в том, что новейшие сомнения в авторстве Пушкина базируются не столько на текстологических, сколько на этических соображениях. В основании их убеждение в том, что заметка «Новые выходки...» — это своего рода политический донос, текст, не делающий чести своему автору.

Как мы видели, в этом обвинял «Литературную газету» еще Кс. Полевой. Из такого же понимания вещей исходил в свое время и Д. Д. Благой, журивший Пушкина: «Тем более не стоило бы задерживаться на этой полемике, что в пылу ее Пушкин опустил до применения тех же самых средств, которые он справедливо осуждал в своих противниках, — до попытки вмешать в нее в свою пользу третью силу, совсем уже нелитературную, — цензуру и правительство»²⁹. Но взгляд на заметку как на неблагоприятный поступок все же не считался достаточным основанием для того, чтобы отменить авторство Пушкина: последний еще был объектом критического изучения, а не ориентиром для гражданского поведения.

Ситуация изменилась с ростом в Советской России оппозиционного интеллигентского движения. Ю. Г. Оксман, десятилетие проведший на каторге и в ссылке, на себе испытал страшную силу политических обвинений. И теперь он — сознательно или бессознательно — желал вывести Пушкина из кампании наушников и стукачей. Только этим и можно объяснить перемену его прежних взглядов (никаких новых текстологических аргументов для их пересмотра не появилось). Я. Гордин, указывавший на недостаточность улики для осуждения Пушкина, уже вполне усвоил постулаты диссидентской этики. Характерна допущенная Гординым аберрация — заявление, что заметку приписали Пушкину «противники» (несомненно, для того чтобы очернить поэта в глазах прогрессивного общественного мнения!) — в то время как в действительности указание на авторство Пушкина принадлежит друзьям и почитателям поэта... В сознании связанного с диссидентской культурой автора такое уложиться не могло: ведь объявить того или иного человека «доносчиком» — это самое страшное из обвинений, означающее вечное отлучение от избранного круга...

Диссидентская мифология больше не тяготеет над вопросами интерпретации и, тем более, атрибуции текстов. Означает ли

²⁹ Благой Д. Д. Социология творчества Пушкина: Этюды. Изд. 2. М.: Кооп. изд-во «Мир», 1931. С. 15.

это, что теперь спокойно, в духе «строгого историзма», можно признать: да, статья, автором которой скорее всего был Пушкин, представляла собой обычный политический донос, ничем принципиально не отличающийся от болгаринских донесений?.. Нас этот вопрос занимает еще и потому, что реплика «Литературной газеты» во многих отношениях разительно напоминает стихотворение Дмитриева — с тою разницей, что политические обвинения в ней высказаны куда более отчетливо, чем в дмитриевском памфлете, что заметка определенно адресована «не литературной силе» («Не нужно пояснять, к кому взывает „Avis au lecteur!“») и в довершение ко всему — не подписана, то есть может рассматриваться как анонимная кляуза!..

Все было совсем не так просто. Ксенофонт Полевой, заявляя, что между выступлением «Литературной газеты» и доносами Фаддея Булгарина нет принципиальной разницы, искусно передергивал карты. Пушкин и его друзья выступили отнюдь не против опальных литераторов, которые «больше других отличались независимостью мнений». На самом деле задетые «Литературной газетой» «демократические писатели» были проводниками мнений, которые трудно назвать независимыми. Каких именно (и чьих) мнений — нам и предстоит выяснить. Результаты такого расследования пригодятся нам и для понимания позднейшего демарша М. Дмитриева против Белинского.

«ЛИТЕРАТУРНАЯ АРИСТОКРАТИЯ» И ЕЕ ВРАГИ

«Литературный аристократизм», в котором обвиняли издателей и сотрудников «Литературной газеты» их многочисленные враги, — явление комплексное. С одной стороны, это своего рода эстетическая программа — борьба за независимую и «чистую» литературу против «торговой» и продажной словесности новой эпохи. Но за эстетическим лозунгом скрывалась определенная социально-политическая платформа: ведущие сотрудники «Литературной газеты» (и Пушкин в первую очередь) отчетливо отождествляли позицию своего кружка с интересами «старинного дворянства». Последнее почти демонстративно противопоставлялось «новой аристократии», созданной Табелью о рангах и системой фаворитизма³⁰.

³⁰ Обильная литература о социально-политических взглядах Пушкина выборочно рассмотрена и суммирована в недавней книге: *Driver, Sam. Puškin: Literature and Social Ideas*. NY: Columbia University Press, 1989.

Исследователи социологической школы видели здесь выражение определенной «классовой психологии». В действительности *политическое* здесь явно доминировало над *социальным*.

Точнее других об этом сказал в свое время Б. В. Томашевский (предвосхищая новейшее направление в исторических исследованиях — «ревизионистское» по отношению к господствующему на Западе марксистскому подходу): «...Пушкиным дворянство провозглашалось не как социальная сила, которой, соответственно его социальному влиянию, отводилась бы и политическая роль в государстве, — а прежде всего как некий *политический* институт, которому должны быть предоставлены соответствующие социальные преимущества, обеспечивающие его *политическую миссию*». В подтверждение этому тезису Томашевский приводит наброски программной пушкинской статьи «О дворянстве» (1830; оригинал по-французски): «Не наследственная (на деле) знать есть знать *пожизненная*. В этом — средство окружить деспотизм преданными наемниками и подавить всякую оппозицию и всякую независимость. Наследственность знати — гарантия ее независимости». Томашевский комментирует: «Дворянство трактуется не как класс, а как политическое установление. О дворянстве говорится так, как если бы дело шло о Палате пэров»³¹. Исследователь связывает эти взгляды с традицией французского умеренного либерализма, в частности с воззрениями мадам де Сталь. К этому можно было бы добавить, что представления о дворянстве как политической силе, посредующей между «народом» и престолом (вне вопроса о феодальных социальных правах) в русской традиции восходило к Карамзину, в свою очередь отправлявшемуся от идей Монтескье — «отца» французского либерализма...

Далеко не все по этим острым вопросам удавалось высказать с достаточной отчетливостью на страницах «Литературной газеты»; большинство заметок Пушкина 1830-го года, трактующих проблему дворянства, осталось в рукописи. В «чисто литературной» газете политические взгляды высказывались в основном полунамеками, в примечаниях и дополнительных предложениях. И тем не менее политическая позиция «Литературной газеты», даже выраженная неявно, резко противоречила официальному курсу. Император Николай Павлович

³¹ Томашевский Б. В. Французские дела 1830–1831 гг. в письмах Пушкина к Е. М. Хитрово // Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово. 1827–1832. Л.: Изд. АН СССР, 1927. С. 355–356.

менее всего намеревался потакать амбициям «старинного дворянства» (к которому он изначально относился с повышенной настороженностью, подозревая за выступлением 14 декабря не до конца раскрытый «аристократический заговор»). «Дворянство для него, — точно заметил проницательный историк, — прежде всего служилая среда, которую он стремится дисциплинировать и удержать в положении покорного орудия власти»³². Добиться этого как раз и позволяла опора на «новую аристократию» и бюрократию — на слои, всецело обязанные своим благосостоянием существующему государственному порядку и лично государю. Николай стремился именно к тому, что страшило Пушкина, — «окружить деспотизм преданными наемниками и подавить всякую оппозицию». Кроме того, *посредник* между высшей властью и народом — на роль которого претендовало «старинное дворянство», — уже существовал. Таковым было созданное Николаем III Отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии.

О III Отделении, в том числе и о его отношениях с литературой, написано много³³, но все же очень многие аспекты его деятельности доньше оказываются недостаточно проясненными. Для правильного понимания культурной роли этого своеобразного института следует принять во внимание, что в его задачи входили не только сыскные и репрессивные функции, но и деятельность, так сказать, созидательная — организация и руководство «общественным мнением». В этой сфере III Отделение выражало не только абстрактные интересы монархической государственности, но и конкретные интересы вскормленной этой государственностью высшей бюрократии. Если быть еще более точным, III Отделение выражало интересы по преимуществу привилегированной этнической группы внутри правящей элиты — «русских немцев».

Эта группа имела большой вес при дворе и давнее влияние на Николая Павловича³⁴. Она состояла из семейств, связан-

³² Пресняков А. Е. Апогей самодержавия: Николай I. Л., 1925. С. 20.

³³ См., в частности: Лемке Мих. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг.: По подлинным делам Третьего Отделения Собств. Е. И. В. Канцелярии. Изд. 2. СПб.: Изд. С. В. Бунина, 1909; *Monas, Sydney*. The Third Section: Police and Society in Russia under Nicholas I. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1961.

³⁴ О влиянии немецкого окружения на молодого Николая см.: *Riasanovsky, Nicholas*. Nicholas I and Official Nationality in Russia, 1825–1855. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1959. P. 28–29.

ных между собою тесными родственными и деловыми узами. Характерным образцом клановости «русских немцев» может служить семейство Ливенов (награжденных при восшествии Николая на престол титулом светлейших князей): во главе клана — всемогущая Шарлотта Карловна Ливен, которая, по едкому замечанию П. Долгорукова, «вышла из разряда подданных и стала, можно сказать, членом царского семейства»³⁵; ее старший сын Карл Андреевич оказался министром народного просвещения в 1828–1833 годах; младший, Христофор Андреевич, был посланником в Лондоне, а потом — наставником наследника престола, Александра Николаевича. Жена Х. А. Ливена, Дарья (Доротей) Христофоровна, урожденная Бенкендорф, приходилась родной сестрой шефу жандармов и главноуправляющему III Отделением Александру Христофоровичу Бенкендорфу...

На Россию немецкая партия смотрела примерно так же, как европейские немецкие дворы смотрели на подчиненное им славянское население, — как на опасную и враждебную «варварскую» стихию, движение которой надо постоянно сдерживать самыми жестокими мерами. Отсюда — повышенная подозрительность по отношению ко всяким проявлениям русского национализма, какую бы социальную и политическую окраску он ни принимал. Разница между Петербургом и Веной заключалась в следующем: если славянские движения в германских странах были чреватые для последних территориальными потерями, то развитие национального сознания в России было еще опаснее; оно могло привести к отстранению немцев от ключевых позиций во власти. Характерно поэтому, что усиленное внимание обращалось не на «третье сословие» (в России слабое и лояльное по отношению к режиму), а на старинную родовую аристократию и вообще на русское дворянство — то есть на ту среду, которая могла реально *конкурировать* с пребывающими во власти немцами и всячески желать их отстранения. Именно здесь виделся центр недовольства, а то и возможного заговора против немецкой властной группировки.

С созданием III Отделения «немецкая партия» обрела свой штаб. Шеф жандармов и главноуправляющий III Отделением Александр Христофорович Бенкендорф и, в особенности, главный идеолог его Максим Яковлевич (Магнус Готфред) фон Фок

³⁵ Долгоруков П. Петербургские очерки; Памфлеты эмигранта. 1860–1867. М.: Новости, 1992. С. 258.

немало постарались для того, чтобы сделать немецкие интересы центром русской внутренней политики. Для этого, помимо прочего, требовалось непрерывно воздействовать на государя, напоминать ему о его связях с германским миром и указывать на опасность для легитимного режима всех «патриотически» окрашенных движений. Эти задачи выполняли годовые отчеты III Отделения, составлявшиеся фон Фоком и аккуратно изучавшиеся Николаем.

Уже в первом таком отчете, подводившем итоги 1827 года, была нарисована выразительная картина русской общественной жизни. Самая опасная и вредоносная среда — высшее общество (так казалось и самому Николаю). Оно делится на две группы — «довольных» и «недовольных». Глава «довольных» — расположенный к фон Фоку В. Кочубей. «Недовольные» в свою очередь разделяются на две партии. Одна из них — так называемая «куракинская» — в общем вполне безопасна («Партия Куракина состоит из закоренелых взяточников»; она «высказывается против злоупотреблений исключительно лишь потому, что сама она лишена возможности принимать в них участие»). Другая представляет значительно большую опасность. Эта партия «состоит из так называемых русских патриотов, столпом коих является *Мордвинов*... Партия *русских патриотов* очень сильна числом своих приверженцев. Центр их находится в Москве. Все старые сановники, праздная знать и полуобразованная молодежь следует направлению, которое указывает им их клубом (*сескле*) через Петербург. Там они критикуют все шаги правительства, выбор всех лиц, там раздается ропот на немцев, там с пафосом повторяются предложения Мордвинова, его речи и слова их кумира — Ермолова. Это самая опасная часть общества, за которой надлежит иметь постоянное и возможно более тщательное наблюдение. В Москве нет элементов, могущих составить противовес этим тенденциям... Партия Мордвинова опасна тем, что ее пароль — *спасение России*». Эта партия успешно воздействует на самый опасный «класс» общества — дворянскую молодежь: «*Молодежь*, т. е. дворянчики от 17 до 25 лет, составляет в массе самую гангренозную часть империи. Среди этих сумасбродов мы видим зародыши якобинства, революционный и реформаторский дух, выливающиеся в разные формы, и чаще всего прикрывающиеся маской *русского патриотизма*... Главное ядро якобинства находится в Москве, некоторые разветвления — в Петербурге». Вообще же русская партия охватила своим тлетворным влиянием самые разнообразные слои:

«Городские священники, даже самые образованные, стоят совершенно отдельно от правительства и составляют особый класс *русских патриотов*». Благонадежным остается, в сущности, только «средний класс», в наименьшей степени подвергшийся влиянию русской партии («Именно среди этого класса государь пользуется наибольшей любовью и уважением»)³⁶.

Тема «русской партии» лейтмотивом проходит и через отчеты за последующие годы; идея исключительной опасности «патриотов» вбивается в сознание императора с упорной методичностью.

«Литературная газета» и «литературная аристократия» вполне органично вписывались в изложенную III Отделением концепцию («Главное ядро якобинства находится в Москве, некоторые разветвления — в Петербурге»).

«ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПИСАТЕЛИ» И III ОТДЕЛЕНИЕ: ФАДДЕЙ БУЛГАРИН

Эта стройная концепция, однако, обязана своим существованием не столько интеллектуалам из III Отделения, сколько их неутомимому консультанту — Ф. В. Булгарину. Расхожие представления о последнем как о мелком и трусливом шпион-осведомителе теперь наглядно опровергаются совокупностью документов, сведенных воедино (а в значительной степени — впервые введенных в оборот) стараниями А. И. Рейтблата³⁷. Изучение этих документов и сличение их с годовыми отчетами III Отделения убеждают в том, что по крайней мере до начала 30-х годов Булгарин был подлинным «мозговым центром» российской политической полиции.

Булгарин помогал ей не за страх, а за совесть (как ни двусмысленно это звучит применительно к Булгарину). У него имелась своя социально-политическая концепция, которая неизбежно должна была сделать его врагом «литературной аристократии». Булгарин был «демократом». Он очень любил — и в своей газете, и в своих доносах — говорить о «среднем сословии» или «среднем классе». Подчиняясь словесной магии,

³⁶ Гр. А. Х. Бенкендорф о России в 1827–1830 гг.: Ежегодные отчеты III отделения и корпуса жандармов. [Публикация А. Сергеева] // Красный архив, 1929, Т. 6 (37). С. 143–145, 149–150, 153, 146.

³⁷ См.: Видок Фиглярин: Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III Отделение. Изд. подготовил А. И. Рейтблат. М.: Новое литературное обозрение, 1998.

некоторые исследователи превратили Булгарина чуть ли не в идеолога буржуазии. Между тем в понимании Булгарина «средний класс» отнюдь не равен «третьему сословию». По формулировке одного из первых булгаринских доносов (середина мая 1826 г.), «среднее состояние... состоит у нас из: а) достаточных дворян, находящихся в службе, и помещиков, живущих в деревнях; б) из бедных дворян, воспитанных в казенных заведениях; с) из чиновников гражданских и всех тех, которых мы называем *приказными*; д) из богатых купцов, заводчиков и даже мещан»³⁸. В позднейшем доносе (21 сентября 1828 г.) он несколько изменяет и еще более сужает границы сословия: «Средний класс, как то чиновники и офицеры, не приближенные к высшим военным чинам»³⁹.

«Средний класс» в интерпретации Булгарина социально чрезвычайно аморфен (от помещиков до мещан); в сущности, он включает в себя всех лично свободных граждан, кто «в поте лица добывает хлеб свой», — неважно, в поместье, на государственной службе или в «честном бизнесе». Залогом процветания «среднего класса» является покровительство ему со стороны абсолютистского государства. Это принципиально важный момент, обнаруживающий границу между воззрениями Булгарина и *действительным* буржуазным сознанием. Следует заметить, что булгаринская концепция среднего класса как опоры престола вполне совпадала с позицией III Отделения.

Полезному «среднему сословию» в представлении Булгарина противостоят вредные «русские баре», паразиты и развратники. Замечательно, что совершенно тождественные воззрения на сей счет обнаруживаются и в доносах Булгарина, и в его беллетристике. Вот как характеризует исследователь булгаринскую нравоописательную прозу: «Булгарин заостряет свое „нравоописание“ против верхнего слоя дворянства — прежде всего титулованной знати... Распадающиеся социально и морально представители высшего сословия — излюбленные типы в его „нравственно-сатирическом романе“»⁴⁰. А вот

³⁸ Видок Фиглярин. С. 46.

³⁹ Видок Фиглярин. С. 331.

⁴⁰ Вацуро В. Э. От бытописания к «поэзии действительности» // Русская повесть XIX века: История и проблематика жанра. Под ред. Б. С. Мейлаха. Л.: Наука, 1973. С. 218. Осуществленный в этой работе блестящий анализ нравоописательных повестей Булгарина (в частности, их антиаристократической заостренности и апологии в них «среднего сословия») вполне сохраняет свое значение.

«нравоописательная» зарисовка, содержащаяся в одном из болгаринских доносов («Секретная газета» от 6 июня 1828 г.): «Князь Вяземский (Петр Андреевич), пребывая в Петербурге, был атаманом буйного и ослепленного юношества, которое толпилось за ним повсюду. Вино, публичные девки и сарказмы против правительства и всего священного составляют удовольствие сей достойной компании»⁴¹. Это звучит почти как извлечение из готовящегося к печати «Ивана Выжигина»: самая российская действительность воспринимается Булгариным по сюжетной модели нравственно-сатирического романа.

Но здесь следует сделать одно уточняющее дополнение. Русская «аристократия» осознавалась Булгариным не только как социально-политически, но и как культурно-этнически враждебная среда. Булгарин был «чужаком» в русской культуре. Для большинства знакомых литераторов он был и оставался двойным перебежчиком, «польским псом», чуждым российским интересам. В этой враждебной атмосфере только личная преданность Булгарина власти и заинтересованность власти в нем могли гарантировать его благосостояние и самую безопасность. Булгарин пронизательно чувствовал, что между ним, международным проходимцем, и респектабельной остзейской элитой в этом отношении есть принципиальное родство. С вызывающей откровенностью, почти на грани дерзости, он указал на это родство в своем отчете о «политическом духе провинций Остзейских» (куда совершил поездку летом 1827 г.): «Остзейцы вообще не любят русской нации — это дело неоспоримое. Одна мысль, что они будут когда-либо зависеть от русских, — приводит в трепет. <...> По сей же причине они чрезвычайно привязаны к Престолу, который всегда отличает остзейцев, щедро награждает их усердную службу и облакает доверенностию. Остзейцы уверены, что собственное их благо зависит от блага Царствующей фамилии и что они общими усилиями должны защищать Престол от всяких покушений на его права. Остзейцы почитают себя гвардией, охраняющей трон, от которого происходит все их благоденствие и с которым соединены все их надежды на будущее время»⁴².

В этом выводе скрыт глубокий парадокс. Наиболее твердой опорой русского престола, его преторианской гвардией объявляется та часть империи, которая культурно чужда

⁴¹ Видок Фиглярин. С. 299.

⁴² Видок Фиглярин. С. 187.

подавляющему большинству населения, откровенно ему враждебна и более всего боится трансформации архаической Империи в национальное государство нового типа. «Трон» и «нация» отчетливо противопоставлены. Сказанное о безвестных остзейских дворянах *mutatis mutandis* было вполне применимо и к придворной верхушке, и к ведущим деятелям III Отделения, и к самому Фаддею Венедиктовичу. Замечательно, что подобные же идеи Булгарин осторожно, но удивительно настойчиво будет развивать в своих многочисленных записках о Польше, доказывая, что ее предельная автономизация, дарование ей новых прав, освобождение ее от контроля русских чиновников превратят этот беспокойный край из очага напряженности и недовольства в опору престола, наподобие Остзейских провинций.

Не удивительно, что именно Булгарин, получивший полную поддержку фон Фока, создал для нужд III Отделения виртуальную «русскую партию» — укорененную в дворянском обществе, с Мордвиновым и Ермоловым в качестве лидеров, с антинемецкой программой и тлетворным влиянием на молодежь. Уже в начале апреля 1827 года Булгарин докладывает о настроениях общества, вызванных отставкой Ермолова: «Падение его произвело сильнейшее впечатление в умах так называемых руссаков и патриотов. Они не скрываются с изъявлением своего негодования и явно кричат противу немецкой партии, которая существует в одном воображении некоторых вельмож (преимущественно Н. С. Мордвинова), которые распространили это мнение в народе»⁴³. Нельзя не восхититься здесь дипломатической тонкости (по обыкновению, граничащей с наглостью): в донесении, направленном в штаб-квартиру немецкой партии, Фаддей Венедиктович общается о том, что эта партия существует только в воображении деятелей «русской партии» — в то время как сама *русская партия* была его стратегическим изобретением!.. Изобретение оказалось в высшей степени удачным: обсуждение коварных действий «русской партии» пройдет через все булгаринские доносы 1827 года и ляжет в основание годового отчета III Отделения...

Поскольку основные профессиональные интересы Булгарина располагались в литературно-издательской области, естественно, что главными проводниками идей «русской пар-

⁴³ Видок Фиглярин. С. 156–157.

тии» предстали литература и журналистика. Фаддей Венедиктович искусно сплел политику с коммерцией: в его донесениях опасными русскими патриотами-«якобинцами» оказывались по преимуществу издатели периодических органов, могущих составить конкуренцию его «Северной пчеле». В отборе литераторов, должных обратить на себя внимание тайной полиции, изначально обнаруживается известная система. Так, уже в доносе на Михаила Погодина (ноябрь 1826) он пишет: «Молодой журналист с либеральным душком, как Погодин, хотя бы и не имел вредных намерений, легко увлечется наущением и влиянием чужого мнения, из протекции, из знаменитого сотрудничества и т. п. Два человека в Москве, князь Петр Андреевич Вяземский и Александр Пушкин, покровительством своим могут причинить вред. <...> Запретить Погодину издавать журнал, без сомнения, невозможно уже теперь. Но он хотел ехать за границу на казенный счет, хотел вступить в службу — вот как можно зажать его»⁴⁴. В августе 1827 года Булгарин живо откликается на попытки Николая Полевого (в ту пору еще тесно связанного с князем Вяземским и пушкинским кругом) получить разрешение на издание газеты «Компас». В новом доносе обвинения становятся более политически направленными (концепция «русской партии» уже сложилась): «*Полевого* покровительствуют все так называемые патриоты и даже Мордвинов. Все замеченные в якобинизме москвичи: *Титов, Киреевский, Соболевский* — сотрудники „Телеграфа“. Покровители оного князь Вяземский и бывший профессор *Давыдов*, самый отважный якобинец. Если свыше не взято будет мер, то якобинство приобретет величайшую силу для действия на умы»⁴⁵. Многие из этих имен повторятся в доносе, написанном через год (в мае 1828 г.), — в связи со слухами о том, что кружок «Московского вестника» добивается права на издание политической газеты: «Все эти издатели по многим отношениям весьма подозрительны, ибо явно проповедуют либерализм. Ныне известно, что партию составляют князь Вяземский, Пушкин, Титов, Шевырев, князь Одоевский, два Киреевские и еще несколько отчаянных юношей. — Поныне такое между ними условие: поручить издателю „Московского вестника“ Погодину испрашивать позволение <...> Сей Погодин чрезвычайно хитрый и двуличный человек,

⁴⁴ Видок Фиглярин. С. 88, 89.

⁴⁵ Видок Фиглярин. С. 194–195.

который под маскою скромности и низкопоклонства вмещает в себе самые превратные правила. Он предан душою правилам якобинства, которые составляют исповедание веры толпы московских и некоторых петербургских юношей, и служит им орудием»⁴⁶.

Итак, с самого начала существования III Отделения Булгарин обращает его внимание на весьма определенный (хотя и обладающий свойством несколько менять свои очертания — в зависимости от конкретных интересов Фаддея Венедиктовича в тот или иной момент) круг литераторов, находящихся под влиянием «русской партии». Это по большей части московская молодежь, выходцы из хороших дворянских семейств (а потому порочные и развращенные, не способные к скромному труду на благо империи, мечтающие о старинных «вольностях» русских боярских родов), руководимые развратным вольтерьянцем Вяземским и использующие в качестве подставной фигуры плебея Михаила Погодина. Мы увидим, что и общая картина литературной жизни, нарисованная Булгариным, и созданные им списки «неблагонадежных» литераторов, — все это будет определяющим образом влиять на литературную политику III Отделения в течение десятилетий.

Основание в 1830 году «Литературной газеты» легко было представить как очередную злонамеренную акцию «русской» (=«якобинской») партии — тем более что одним из главных сотрудников нового издания был «сам» князь Вяземский. Понятные для III Отделения указания определенно содержались уже в одном из первых открытых выступлений Булгарина против Пушкина — в «Анекдоте», мнимом переводе с английского («Северная пчела», 11 марта, № 30)⁴⁷. Издатель «Северной пчелы» счел именно Пушкина автором ядовитой рецензии в «Литературной газете» на булгаринского «Дмитрия Самозванца»; в последней выражалась надежда на то, что достопамятные исторические события когда-нибудь будут описаны не с польской, но с русской точки зрения. В «Анекдоте» история с рецензией излагалась как имевшая место во Франции, а самая рецензия была представлена как задевавшая этнического немца, пишущего по-французски, — Фр. Гофмана: «Чтоб уронить Гофмана во мнении французов, злой человек

⁴⁶ Видок Фиглярип. С. 289.

⁴⁷ См. об этом эпизоде: *Фомин А. Г.* Пушкин и журнальный триумвират 30-х годов // Пушкин. Под ред. С. А. Венгерова. Т. V. СПб., 1915. С. 460–461.

упрекнул автора тем, что он не природный француз и представляет в комедиях своих странности французов с умыслом для возвышения своих земляков-немцев».

Это, конечно, не просто незамысловатая «аллегория», а своего рода целенаправленный сигнал: Булгарин дает понять куда следует, что связывает свою литературную деятельность с интересами «немцев»⁴⁸. В письме Бенкендорфу от 25 января 1830 года (предшествовавшем развертыванию полемики против «литературной аристократии» и примечательном по искусству использования самых разных средств воздействия на корреспондента) Булгарин жалуется на то, что его гонят и преследуют враги, сильные при дворе, — Жуковский и Алексей Перовский — «за то именно, что я не хочу быть орудием никакой партии»! При обсуждении важнейшей, но табуированной для прямого называния темы Булгарин и его покровители пользовались условным языком: Булгарин недвусмысленно указывает на то, что преследования его обусловлены как раз тем, что он преданно служит интересам *вполне определенной* «партии» и не желает служить другой. Здесь же Булгарин сообщает об отчаянии, в которое его ввергли вражеские козни и преследования: «Несколько раз я намеревался бросить литературное поприще, удалиться к добрым моим немцам в Дерпт и перестать вовсе писать...»⁴⁹. Булгарин знал, кому и когда надо напомнить про «добрых немцев»!..

Для дискредитации круга «Литературной газеты» и его «покровителей» Булгарину весьма пригодились события Июльской революции. 10 августа 1830 г. — то есть *на следующий день* после появления в «Литературной газете» заметки «О новых нападках на литературную аристократию»! — Булгарин представляет в III Отделение донесение о реакции русского общества на революцию во Франции: «Все, что есть дерзкого, буйного, вольнодумного, революционного между молодыми людьми, покровительствуется партией Карамзина

⁴⁸ Видимо, и Пушкин не случайно представлен в том же фельетоне «французом»; в отчете III Отделения за 1828 год прямо указывалось на то, что причастная к «русской партии» либеральная молодежь находится под влиянием заграничной, в особенности французской пропаганды: «...Тайные политические общества не образуются без иностранного влияния. Возможно, что Вена подготавливает лжебратьев, а Париж настоящих» (Гр. А. Х. Бенкендорф о России в 1827–1830 гг.: Ежегодные отчеты III отделения и корпуса жандармов. С. 150).

⁴⁹ Видок Фиглярин. С. 382.

и Муравьева, и, к удивлению всех, от вступления на престол Императора Николая юноши, которые в своем даже кругу почитались дерзкими и опасными, получили в два, три года по несколько чинов и орденов и заняли важные места. Это действие было род *объявления* партии, гieroгиф, означающий слова: „Кто с нами, тот все получит; кто *против нас*, тот будет преследуем или останется в забвении“. Объявление это сбывается. Правительство, будучи всегда окружено этими людьми и веря в усердие, в благодарности за милости, никогда не обращало внимание на то, чтоб противодействовать влиянию партии на общее мнение и, напротив, увлеклось духом сей партии. Она ныне известна под именем патриотов»⁵⁰.

Пока прервем цитирование этого необычайно наглого и в высшей степени интересного документа. Итак, согласно Булгарину, на Руси по-прежнему безнаказанно действует партия патриотов. Но теперь в ее составе и тактике происходят некоторые перемены. Покровителями партии при дворе оказываются люди «партии Карамзина и Муравьева», то есть прежде всего москвичи и арзамасцы — ненавистные Булгарину Жуковский, Дашков, Блудов. Неблагонадежные молодые люди, успешно делающие карьеру под покровительством этих лиц, — Титов, Одоевский и другие перебравшиеся в Петербург «архивные юноши», о злонамеренности которых Булгарин не раз докладывал еще в 1827 году...

Далее идут весьма интересные указания: «Символ веры членов сей партии есть, что русское дворянство столь же зрело к свободным формам правления, как и французы, <...> что новые институции поддерживаются *только* новыми династиями, имеющими в том свою пользу. Эти речи можно ежедневно слышать в местах собрания сих патриотов. Сия-то партия русских патриотов с восторгом известилась о народных возмущениях во Франции и в Бельгии. Они вне себя от радости и пользуются этим случаем, чтоб развивать свои правила под разными видами.<...> Патриоты предоставляют себе важный труд: развернуть новые идеи в народе и объяснить им *со временем*, чего они должны требовать...»⁵¹.

В сущности, Булгарин указывает здесь именно на группу «литературных аристократов» и на их орган — «Литературную газету» (с помощью какого еще издания русская партия

⁵⁰ Видок Фиглярин. С. 393–394.

⁵¹ Видок Фиглярин. С. 394.

может «развернуть новые идеи в народе?»). Он предлагает властям и координаты, в которых должна истолковываться позиция этой группы. В толковании Булгарина, апология русского дворянства означает не что иное, как пробужденное новой Французской революцией воскрешение надежд русского дворянства на его сословную независимость. А воскрешение таких надежд в свою очередь означает опасность царствующему дому (и, конечно, тем, кто с этим домом связан), разрушение принципа легитимизма...

Теперь можно понять, почему Булгарин не откликнулся на заметку «Литературной газеты» в своей «Северной пчеле». Он избрал жанр, в котором суть выступлений «Литературной газеты» в защиту «литературной аристократии» и вообще амбициозного дворянства можно было бы объяснить куда отчетливее, чем в печати. Донесение Булгарина было тут же взято на вооружение. Именно после булгаринского доноса III Отделение занялось усердными поисками в материалах «Литературной газеты» «применений» к событиям Июльской революции (это прямо касается и заметки о «новых выходках против литературной аристократии», о чем нам придется говорить несколько позже). В свете булгаринских разъяснений становится понятен и самый факт приостановки «Литературной газеты» и отстранения Дельвига от редакции за публикацию в сущности вполне невинной надписи Казимира Делавиня к памятнику жертвам Июльской революции...

В свете всех этих фактов обнаруживается полный смысл и *газетных* выступлений Булгарина в 1830 году. Печатные нападки Булгарина на «Литературную газету» и на Пушкина отражали ту концепцию, которая была куда полнее изложена в не предназначенных для печати донесениях. Его выступления шли в полной согласованности с III Отделением и с его идеологией, во многом самим же Булгариним созданной. Это гарантировало Булгарину полную поддержку и полную безнаказанность: даже когда Николай выразил личное недовольство непристойным тоном рецензии Булгарина на 7-ю главу «Евгения Онегина» и в порыве раздражения предложил запретить «Северную пчелу», Бенкендорф твердо встал на защиту своего агента⁵².

Подоплеку булгаринских выступлений, судя по всему, достаточно отчетливо осознавали и в кругу «Литературной газеты».

⁵² Старина и новизна, 1903. Кн. 6. С. 7–9.

Князь Вяземский писал в программной статье «Объяснения некоторых современных вопросов литературных. Статья 1. О духе партий, о литературной аристократии» (№ 23, 21 апреля): «Если верить некоторым указаниям, то в литературе нашей существует какой-то дух партий, силятся восстановить какую-то аристократию имен. Указания эти повторяются отголосками журнальными, но нигде не объясняются убедительными доказательствами, а мнения без ясных улик остаются предубеждениями, предрассудками, не заслуживающими веры». М. И. Гиллельсон правильно почувствовал в словах Вяземского намек на закулисные действия III Отделения. Однако исследователь усомнился в обоснованности этих подозрений. Сам он склонен был усматривать в полемике с «литературной аристократией» исключительно инициативу Булгарина: по его мнению, «само III Отделение не было заинтересовано в обсуждении сословных вопросов (хотя бы и в литературном аспекте) на страницах журналов»⁵³. Думается, в данном случае правым был все же Вяземский, а не Гиллельсон. О «духе партий» (в связи с «недовольными» в высшем обществе) III Отделение информировало Государя в своих отчетах за три года до начала полемики о «литературной аристократии» и продолжало пользоваться этим же жупелом и в 1830 году... Исследователь, во-первых, явно недооценил срещенности Булгарина и III Отделения, а во-вторых, исходил из достаточно недифференцированного подхода к проблеме «сословных вопросов»: последние были высочайше исключены из компетенции журналистов только в начале 1840-х годов. В 1830 же году дискредитация неугодной группы дворян как адептов «русской партии» в высшей степени соответствовала интересам III Отделения. Булгарин это знал лучше других.

«ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПИСАТЕЛИ» И III ОТДЕЛЕНИЕ: НИКОЛАЙ ПОЛЕВОЙ

Если связи Булгарина с III Отделением давно известны и новейшие материалы только показали, что они были куда значительнее и теснее, чем представлялось прежде, то несколько иначе обстоит дело с другим непримиримым врагом «Литературной газеты» — Николаем Полевым. Он давно получил

⁵³ Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский: Жизнь и творчество. Л.: Наука, 1969. С. 197.

репутацию буржуазного радикала, передового журналиста, жертвы полицейских репрессий. Но и здесь не все так просто.

Любопытным образом расцвет «буржуазного радикализма» Полевого приходится не только на пору его разрыва с кружком Вяземского и его друзей, но и на время предельного сближения с Булгариным и его изданиями. Это не случайно. Концепция «среднего класса» у Полевого была близка воззрениям на этот предмет Булгарина. Как уже отмечалось, в конце 1820 — начале 1830-х годов прославление верного престолу «среднего сословия», противостоящего порочной и опасной «аристократии», в глазах III Отделения было не грехом, а добродетелью. К тому же популярный Полевой мог воздействовать на третье сословие в нужном направлении. Энергично призывая торговцев и промышленников к полезной деятельности на благо отечества, Полевой не уставал указывать на руководящую и определяющую роль правительства в экономическом прогрессе. Он — верный трубадур системы государственного протекционизма, проводимого министерством Канкринна. Полевой в это время резко выступает против классического экономического либерализма, осмеивает «старые пустяки о свободе торговли, о запретительных системах, все, чем надоели нам Сей и Рикардо»⁵⁴. Эта критика «устарелых» экономистов удивительно согласовывалась не только с общим правительственным курсом⁵⁵, но и с тем, что писало по экономическим вопросам III Отделение в своих годовых отчетах (в частности, рекомендуя правительству трансформировать запретительные тарифы и шире внедрять политику протекционизма⁵⁶).

Но Полевой был полезен III Отделению не только как популяризатор правительственной экономической политики, но и как критик праздного и порочного русского дворянства. Чтобы придать такой критике систематический характер, Полевой создал специальное сатирическое прибавление к «Московскому телеграфу» — «Новый Живописец Общества и Литературы». Удачно и с необычайной ловкостью воспользовавшись подвернувшимся случаем, Полевой в 1829 году

⁵⁴ Московский телеграф, 1830, № 13 (Июль). С. 133.

⁵⁵ См., в частности: *Полиевктов М.* Николай I: Биография и обзор царствования. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1918. С. 270–273.

⁵⁶ Гр. А. Х. Бенкендорф о России в 1827–1830 гг.: Ежегодные отчеты III отделения и корпуса жандармов. С. 165.

через Бенкендорфа добился высочайшего распоряжения, по которому критические материалы «Живописца» должны были проходить особую цензуру III Отделения⁵⁷. Это позволяло не только застраховать острые материалы от неприятностей в обычной цензуре, но и согласовывать в соответствующих инстанциях направление и даже конкретные объекты критики: связи Полевого с начальником Московского округа корпуса жандармов А. Волковым в эту пору становятся очень тесными и почти дружескими... Одним из постоянных объектов критики Полевого сделалась и «литературная аристократия».

Не усматривало ли III Отделение в поддержке «либерала» Полевого опасности? Видимо, нет⁵⁸. Если Полевой заговаривался и заходил слишком далеко, его можно было одернуть и направить по нужному пути. 8 февраля 1832 года Бенкендорф с удивительной мягкостью пенял Полевому за излишние якобинские увлечения: «Писатель с вашими дарованиями принесет много пользы государству, если он даст перу своему направление благомыслящее, успокаивающее, а не разжигающее страсти»⁵⁹. Эти отеческие увещания писались буквально через день (!) после того как тот же Бенкендорф объявил о запрещении «Европейца» Киреевского (последний, как мы помним, находился в черном списке III Отделения со времени ранних доносов Булгарина), — вызвавшего гнев императора тем, что «под словом *просвещение* он понимает *свободу*, что *деятельность разума* означает у него *революцию*, а *искусно отысканная середина* не что иное как *конституция*». Несомненно, соответствующая интерпретация статьи Киреевского «Девятнадцатый век» была подсказана Николаю III Отделением (а III Отделение, видимо, проинструктировал Булгарин). Но, как следует из письма Бенкендорфа министру народного просвещения Ливену, и эти хитроумно прочитанные формулы — не причины, а скорее следствие: главный грех Киреевского — «самая неприличная и непристойная выходка на счет

⁵⁷ Лемке Мих. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. С. 48–49.

⁵⁸ Преследования «Московского телеграфа», о которых так много написано, шли не из III Отделения, а из другого круга — в частности, из среды входивших в силу бывших арзамасцев. Инициатором закрытия «Телеграфа» в 1834 году стал министр народного просвещения С. С. Уваров. Закрытие журнала Полевого во многом противоречило интересам III Отделения; Бенкендорф как мог старался смягчить участь Полевого.

⁵⁹ Цит. по: Лемке Мих. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. С. 79–80.

находящихся в России иностранцев»⁶⁰. Этой выходкой издатель «Европейца» нанес очевидный ущерб интересам «русских немцев»... Член созданной совместными творческими усилиями Булгарина и руководства III Отделения «русской партии» Киреевский (за которого Жуковский тщетно ручался перед государем, как за самого себя!) казался III Отделению куда более опасным злодеем, чем ручной «якобинец» Полевой.

После закрытия «Телеграфа» Пушкин записал в своем дневнике (7 апреля 1834 года): «Телеграф достоин был участи своей; мудро с большей наглостью проповедовать якобинизм перед носом правительства; но Полевой был баловень полиции. Он умел уверить ее, что его либерализм пустая только маска»⁶¹. Пушкин был прав только наполовину. Полевой, действительно, был баловнем полиции. Но не потому что сумел искусно объявить свой якобинизм маской, а потому что полиция считала такого рода «якобинизм» (=«либерализм») достаточно безобидным. Отнюдь не в «среднем сословии» и не в потакании ему искались опасные стихии брожения и мятежей. Главными «якобинцами» были как раз *враги* Николая Полевого. III Отделение не просто смотрело на проказы Полевого сквозь пальцы; оно во многом *направляло* их, стремясь использовать популярный орган «третьего сословия» для нейтрализации и ликвидации более опасной и более тревожащей «оппозиции» — «литературной аристократии».

Теперь мы можем яснее оценить контекст, в который оказалась вписана реплика «Литературной газеты» насчет «новых выходок противу литературной аристократии», — и яснее понять ее смысл. От печатных издевок «Северной пчелы» и «Московского телеграфа» (как и от не предназначенных для печати донесений Булгарина) заметка отличалась принципиально. Издатели враждебных «Литературной газете» органов отчетливо ощущали на своей стороне поддержку III Отделения и корпуса жандармов. Издатели «Литературной газеты» в свою очередь ясно видели, что организованный против них поход поддерживается (если не направляется) аппаратом политической полиции (хотя они могли только догадываться, до какой степени значительна эта поддержка). Знали они и том, что у них самих сильного защитника у престола нет.

⁶⁰ Лемке Мих. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. С. 73.

⁶¹ Пушкин. Полн. собр. соч. Т. XII. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1949. С. 324.

О состоянии Пушкина в ту пору свидетельствует его письмо к Бенкендорфу от 24 марта 1830 года: «...Я ежеминутно чувствую себя накануне несчастья, которого не могу ни предвидеть, ни избежать <...> Г-н Булгарин, утверждающий, что он пользуется некоторым влиянием на вас, превратился в одного из моих самых яростных врагов из-за одного приписанного им мне критического отзыва. После той гнусной статьи, которую напечатал он обо мне, я считаю его способным на все. Я не могу не предупредить вас о моих отношениях с этим человеком, так как он может причинить мне бесконечно много зла»⁶².

3 апреля Бенкендорф ответил успокаивающим письмом, в котором, между прочим, писал: «Вы также неправы, предполагая, что кто-либо может на меня влиять во вред вам, ибо я вас знаю слишком хорошо. Что касается г-на Булгарина, то он никогда со мной не говорил о вас по той простой причине, что встречаюсь я с ним лишь два или три раза в году, а последнее время виделся с ним лишь для того, чтобы делать ему выговоры»⁶³. Бенкендорф, видимо, *почти* не лукавил: информация от Булгарина шла через фон Фока, и в частых личных встречах главноуправляющего III Отделением с верным журналистом не было надобности. Правдоподобно и то, что при последней встрече Бенкендорфу пришлось делать Булгарину выговоры — именно за ту «гнусную статью» о «Евгении Онегине», которая вызвала гнев государя. Умолчал Бенкендорф лишь о некоторых деталях: о том, в частности, что именно он только что спас Булгарина и его «Северную пчелу» от монаршего гнева, как и о том, что для этого ему пришлось всячески подчеркивать неблагонадежность и сомнительность Пушкина...

Вряд ли письмо Бенкендорфа особенно успокоило Пушкина. Последовавшие почти немедленно за ним новые выступления «Северной пчелы» и «Московского телеграфа» должны были только укрепить его в убеждении, что противники попрежнему пользуются сильной поддержкой.

Появившаяся в этой ситуации заметка о литературной аристократии — это не акт нападения, а *акт защиты*, попытка минуя посредничество жандармов указать высшей власти на то, что она, поддерживая «демократических писателей» и по-

⁶² Пушкин. Полн. собр. соч. Т. XIV. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1941. С. 403 (подлинник по-французски — с. 73).

⁶³ Пушкин. Полн. собр. соч. Т. XIV. С. 403 (подлинник по-французски — с. 75).

ощряя травлю писателей-дворян, совершает роковую ошибку... В основании реплики «Литературной газеты» — своеобразный парадокс, поскольку вещи в ней рассматривались не так, как их видели «наверху»: именно «верные слуги» режима (то есть те, кого режим рассматривал как верных слуг!) сопоставлялись с «демократическими писателями», подготовившими Французскую революцию. И наоборот, подозрительные элементы, за которыми тянулся шлейф репутации «неблагонадежных», провозглашались истинными хранителями традиций, на которых должна зиждиться государственность...

Заметка «Литературной газеты» содержала в себе расчет на политическую мудрость того «читателя», чьи интеллектуальные достоинства Пушкин вообще явно переоценивал. Пушкин и Дельвиг не учли того обстоятельства, что государь русской периодики (кроме «Северной пчелы») по доброй воле вообще не читал, а если читал — то только то, что подготавливали и соответствующим образом аранжировали III Отделение и тот же Булгарин. «Литературные аристократы» так и не смогли до конца понять, что из порочного круга для них нет выхода.

МЕЖДУ УВАРОВЫМ И БЕНКЕНДОРФОМ

Какое отношение имело все это к Михайле Дмитриеву и его «доносу правды»? Несмотря на прошедшие десять с лишним лет — самое прямое.

1840-е годы принято связывать с торжеством так называемой «официальной народности». Идеологическим основанием «официальной народности» считается знаменитая триединая формула, выдвинутая министром народного просвещения С. С. Уваровым в 1834 году, — «Православие. Самодержавие. Народность»⁶⁴. С особенной наглядностью компромисс космо-

⁶⁴ Обстоятельный, хотя кое в чем чересчур апологетический, разбор «триады» см. в монографии: *Whittaker, Cyntya H. The Origins of Modern Russian Education: An Intellectual Biography of Count Sergei Uvarov, 1786–1855.* De Kalb: Northern Illinois University Press, 1984. P. 94–127 (монография недавно переведена на русский язык). Серьезное изучение идейного генезиса уваровской доктрины только начинается. См., в частности, работы: *Зорин А. Л. Идеология «православия — самодержавия — народности» и ее немецкие источники // В раздумьях о России (XIX век). Сост. и ред. Е. Л. Рудницкая. М.: Археографический центр, 1996. С. 105–128; Зорин Андрей. Идеология «православия — самодержавия — народности»: Опыт реконструкции // Новое литературное обозрение, 1997, № 26. С. 71–104.*

политически воспитанного интеллектуала и бывшего либерала с автократическим режимом обнаружился в учении о «народности». Анджей Валицкий правильно заметил, что идея «народности» в уваровском толковании «противостояла идее Монтескье (столь близкой Карамзину) о посредничестве между властью и народом, отвергала претензии дворянства на такое посредничество»⁶⁵. Это было вместе с тем и отказом от наследия французского либерализма, в частности — от идей мадам де Сталь, с которой Уваров был близок в свои юные годы. Уваров явно шел навстречу мечтаниям Николая создать идеальную «всесословную» монархию, в которой дворянство низведено до роли государственных служащих. Такой ценой министр народного просвещения покупал возможность утвердить свою «теорию» в качестве государственной идеологии.

Для распространения своей теории Уваров стремился использовать не журналистов с сомнительной репутацией, а культурную элиту. В поле его внимания оказались, в частности, литераторы, связанные с «арзамасским» кругом и с «литературной аристократией». В 1831–1832 годах, когда доктрина только вызревала, а ее создатель только еще находился на пути к власти, Уваров рассчитывал привлечь в качестве союзника и Пушкина — но не преуспел. Последующие попытки закончились и вовсе неудачно: поэт после 1831 года уходил в сторону от идей, вдохновлявших Уварова; кроме того, он никогда не мог отказаться от своих «аристократических» претензий и предубеждений, которыми Уваров жертвовал. Кончилось все, как известно, тем, что Пушкин и Уваров сделались непримиримыми врагами⁶⁶.

⁶⁵ Славянофильство и западничество: Консервативная и либеральная утопия в работах Анджея Валицкого. Вып. 1. Реферативный сборник. М.: ИНИОН, 1991. С. 25.

⁶⁶ О перипетиях отношений Пушкина и Уварова в 1830-х гг. см.: Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины»: Очерки о книгах и пресе пушкинской поры. Изд. 2. М.: Книга, 1986. С. 192–210 (очерк написан В. Э. Вацуро). Ряд весьма ценных соображений по этому поводу содержится и в книге Я. Гордина «Право на поединок». Основной недостаток этого чрезвычайно интересного документального (хотя, к сожалению, не документированного) повествования — чрезмерная модернизация изображаемых событий и героев. Гординский Уваров слишком напоминает советского чиновника-карьериста, каким он виделся советскому либеральному интеллигенту. Исследователь, кажется, ни на минуту не допускает, что Уваровым могло руководить не только желание любыми средствами выслужиться перед начальством, но и амбициозное стремление вписать свое имя золотыми буквами в историю России и человечества.

Но, не преуспев в вербовке Пушкина, Уваров добился немалых успехов в отношении его друзей: многие из них уже в середине 1830-х годов окажутся в уваровском лагере и будут в той или иной степени способствовать воплощению в жизнь уваровской программы. В эту пору даже те из них, кто прежде обладал какими-то политическими иллюзиями, окончательно убеждаются в монолитной твердости самодержавия и в беспочвенности былых аристократических амбиций. Выдвинутые же Уваровым лозунги просвещенного консерватизма, сохранения «предания», заслона разрушительным буржуазным идеям должны были привлечь — и привлекали — многих из «писателей-аристократов» под его знамена. Кроме того, такие литераторы, как Жуковский и Плетнев, собственно, никогда и не были особенно увлечены «аристократической» мифологией, и Уваров на этом искусно сыграл: оба они оказались основными петербургскими проводниками идеологии «официальной народности»⁶⁷.

Второй культурной группой, которой Уваров намеревался воспользоваться в своих целях и которой он доверял более, чем первой, была московская литературно-университетская среда, по преимуществу связанная с кружком прежних «архивных юношей» (гнездо московской «русской партии», согласно концепции III Отделения и Булгарина). Остепенившиеся литераторы-профессора совершенно не имели «аристократических» амбиций и их было легче направлять по нужному пути (при желании — прямо диктовать то, что казалось полезным). Двое из «юношей» 20-х годов — Погодин и Шевырев — стали основными пропагандистами уваровской доктрины в Москве. Их воззрения восходили к тому комплексу государственно-политических идей, что 1828–1831 годы нашли блестящее художественное воплощение в поэзии Пушкина⁶⁸.

⁶⁷ Роль бывших арзамасцев и «литературных аристократов» в создании культуры «официальной народности» еще почти не изучена. Первое серьезное обращение к проблеме — в новаторских работах: *Киселева Л. Н.* Становление русской национальной мифологии в николаевскую эпоху (сусанинский сюжет) // Лотмановский сборник. 2. Сост. Е. В. Пермяков. М.: О.Г.И.; Изд. РГГУ, 1997. С. 279–302; *Киселева Л. Н.* Карамзинисты — творцы официальной идеологии (заметки о российском гимне) // Тыняновский сборник. Вып. 10. М., 1998. С. 24–39.

⁶⁸ О соотношении идейных позиций молодых Погодина и Шевырева с пушкинскими взглядами см.: *Тойбин И. М.* Пушкин и Погодин // Ученые записки Курского педагогического института, 1956. Вып. V; *Осват А. Л.* К литературным отношениям Пушкина и С. П. Шевырева // Проблемы пушкиноведения: Сборник научных трудов. Рига: Латвийский гос. университет, 1983. С. 57–65.

Только Пушкин затем двинулся от этих идей «влево», а Шевырев и Погодин — «вправо», в том именно направлении, которое было нужно Уварову.

В 1837 году — при живейшей поддержке Уварова — Погодин получает разрешение на издание «Москвитянина» (реализовано полученное право было только в 1841 году). Но, создавая орган, который должен был стать основным проводником его идей, Уваров вступал в резкое противоречие с интересами «немецкой партии».

Казалось бы, доктрина «православия — самодержавия — народности» должна была устроить всех лиц, близких ко двору и к высшей власти. Этого, однако, не произошло. Предметом недоумений и соблазнов оказался третий член формулы — «народность». Хотя Уваров на сей счет сделал массу успокаивающих оговорок, гипертрофированно развитый инстинкт самосохранения заставлял петербургских немцев видеть в поощряемой министром просвещения «народности» серьезную угрозу их благополучию, если не самому бытию. На страже интересов немецкой партии продолжало стоять III Отделение, где роль фон Фока (умершего в 1831 году) перешла к Л. В. Дубельту⁶⁹.

Оба издателя «Москвитянина» и почти все их ближайшие сотрудники еще с половины 1820-х годов находились

⁶⁹ Английский историк III Отделения П. С. Сквайр, заинтересовавшийся проблемой происхождения Дубельта (вообще темного), обратился за консультацией к проф. Б. Унбегауну, который подтвердил, что фамилия у Дубельта бесспорно немецкая, хотя и нельзя сказать с определенностью — балтийского или какого-то иного происхождения (*Squire, P. S. The Third Department: The establishment and practices of the political police in the Russia of Nicholas I. Cambridge: Cambridge University Press, 1968. P. 143*). С другой стороны, по словам весьма осведомленного в генеалогических вопросах П. В. Долгорукова, Дубельт — «сын лифляндского латыша-крестьянина, поступившего в военную службу и с офицерским чином приобретшего дворянское достоинство» (*Долгоруков П. Петербургские очерки; Pamфлеты эмигранта. С. 435*). Заметим, однако, что Долгоруков иногда без достаточных оснований указывал на «низкое» происхождение своих врагов, чтобы таким образом их дополнительно дискредитировать. Но как бы ни обстояло дело с происхождением Дубельта, суть, конечно, не в его этнических корнях, а в принадлежности к определенному типу культуры. В этом отношении Дубельт бесспорный «немец». Даже его легитимизм имел специфически немецкий сентиментально-бидермайерный характер (кажется, никто кроме Дубельта не договорился до того, чтобы назвать Николая «ангелом на троне!»). Изумительный материал для характеристики Дубельта дают его недавно опубликованные заметки и дневники. См.: Российский Архив. Т. VI. М.: ТРИТЭ — «Российский Архив», 1995. С. 106–335.

под бдительным надзором III Отделения — как адепты и проводники опасных идей «русской партии»; Погодин, как мы помним, был одним из основных персонажей уже самых ранних булгаринских доносов. Подозрения не могли вполне рассеяться и к началу 1840-х годов. Подозрительным было уже название журнала, отчетливым образом противопоставлявшее сомнительную Москву несомненному Петербургу. Подозрительным были и аффектированное «православие», и исповедывавшийся кружком культ «русской старины». Даже стремление Погодина привлечь к сотрудничеству как можно больше образованного духовенства должно было настораживать (вспомним положение доклада III Отделения о состоянии общества в 1827 году: «Городские священники, даже самые образованные, стоят совершенно отдельно от правительства и составляют особый класс *русских патриотов*»). Нездоровая любовь Погодина к славянским народам, якобы страждущим под мнимым немецким игом, и вовсе была предоступительна и опасна.

Совершенно естественно, что со стороны III Отделения были приложены самые энергичные усилия к тому, чтобы удушить «Москвитянин» как можно скорее. Задача была сложнее, чем в случае с «Литературной газетой»: в отличие от последней, у «Москвитянина» имелся высокий покровитель, а сами Погодин и Шевырев были людьми крайне осторожными. Но по условиям времени неверный шаг могли сделать и осторожные люди — потому что *каждый* шаг мог оказаться неверным. III Отделение и его литературные консультанты напряженно ждали, когда такой шаг будет сделан.

И здесь вновь на нашем горизонте появляется фигура Фаддея Венедиктовича Булгарина. Его место в сложном раскладе политических сил конца 1830–1840-х годов по сей день определяется крайне неточно. Даже в основополагающем исследовании Н. Рязановского Булгарин назван активным проводником идей «официальной народности»⁷⁰ (несомненно, потому, что доктрина эта понималась исследователем необычайно широко, недифференцированно, превращаясь временами почти в синоним всех официозных и полуофициозных идей эпохи). В действительности Булгарин и Уваров были непримиримыми врагами с конца 1810-х годов — когда Булгарин делал первые

⁷⁰ *Riasanovsky, Nicholas*. Nicholas I and Official Nationality in Russia, 1825–1855. P. 60–65.

шаги на поприще русской журналистики, а Уваров, как попечитель Петербургского учебного округа, препятствовал реализации его издательских планов. Конфликты между ними продолжались и в первой половине 1820-х годов. Вступив в контакты с тайной полицией, Булгарин решил воспользоваться удобным случаем, чтобы уничтожить старого врага: в 1826 году, в записке «Об Арзамасском обществе», он изобразил Уварова исступленным либералистом и оппозиционером, поставив его в один ряд с «невозвращенцем» Николаем Тургеневым⁷¹. Существенного вреда булгаринское донесение Уварову, судя по всему, не принесло, зато его содержание, по-видимому, стало известно самому Уварову... В этой ситуации о налаживании политического партнерства говорить не приходилось. Когда старый враг неожиданно сделался одним из первых лиц Империи, Булгарину оставалось всецело положиться только на старых патронов из III Отделения и служить им еще с большей ревностью — в противном случае участь его могла бы оказаться незавидной...

Не успело появиться объявление о предстоящем выходе «Москвитянина», как Булгарин уже начал действовать. В декабре 1840 года А. Ф. Бычков писал из Петербурга Погодину: «...Ваше объявление не прошло здесь в Петербурге целостно. *Северная Пчела* прожужжала решительное падение вашему журналу»⁷². Не приходится сомневаться в том, что Булгарин в данном случае выполнял заказ III Отделения. Выпады «Северной пчелы» не прекращались и позже. Но «жужжание» булгаринской газеты оказалось только аккомпанементом более серьезных действий. Судя по всему, Булгарину вскоре представилась возможность обратиться к жанру, в котором он достиг непревзойденного совершенства, — к доносу.

Несмотря на предельную осторожность и благонамеренность первых номеров «Москвитянина», несмотря на то, что содержание главнейших материалов было тщательно и детально согласовано с Уваровым, а основные статьи подверглись его редактуре (открывавшие первый номер статьи Погодина и Шевырева обычно рассматриваются как своего рода программные документы «официальной народности»),

⁷¹ Подробнее об этом см. мои примечания к доносу Булгарина в изд.: «Арзамас»: Сборник в двух книгах. Под общей ред. В. Э. Вацура и А. Л. Осповата. Кн. 1. М.: Художественная литература, 1994. С. 502–503.

⁷² Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 5. С. 502.

«Москвитянин» в первые же месяцы своего существования все-таки оступился.

В 3 номере за 1841 год, во второстепенном отделе «Смесь», было напечатано несколько нравоописательно-юмористических «Анекдотов». В них вполне невинно осмеивались мелкие чиновники, не вполне добросовестно исполняющие возложенные на них обязанности... Публикация «Анекдотов», неожиданно для издателей, вызвала в Петербурге страшную бурю. 13 марта Бенкендорф направил Уварову следующее официальное письмо: «В третьей части журнала *Москвитянин*, издаваемого М. Погодиным, в отделении Смесь напечатаны два анекдота о чиновниках. Прочитав их с величайшим удивлением, я нахожу, что в напечатании их виноват не столько цензор, сколько издатель журнала <...> ...Выставлять чиновников в таком невероятном и отвратительном виде, клеветать их поступками и действиями, в сословии чиновников в настоящее время не существующими (! — О. П.), и придавать им безобразные характеры (!! — О. П.), есть преступление против Правительства, коего чиновники суть органы <...>. Этих причин, по мнению моему, было бы весьма достаточно, чтобы воспретить г. Погодину издание *Москвитянина*»⁷³.

Вряд ли можно сомневаться в том, что обратил внимание III Отделения на «Анекдоты» именно Булгарин⁷⁴ (один из анекдотов, между прочим, начинался так: «Проситель приходит в канцелярию справиться о своем деле и подходит к одному столу, за которым сидит подьячий, углубившийся в Северную Пчелу, чуть ли не в нравоучительную статью господина Булгарина...» Далее следовал рассказ о плутнях подьячего).

Уварову удалось, хотя и не без усилий, отстоять «Москвитянин» и защитить Погодина от обвинений в «преступлении против Правительства»: в ответном письме Бенкендорфу Уваров сослался на не сходявшую со сцены «Ябеду» Капниста и на высочайше одобренного «Ревизора» Гоголя, в которых критика чиновничества куда более резка, чем в «Москвитянине»⁷⁵. Но порицание от Уварова Погодин все же получил. Вслед за ним

⁷³ Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 6. С. 45.

⁷⁴ К сожалению, булгаринские донесения и записки за 1840–1843 годы пока не разысканы. Однако о том, что тесные контакты между Булгаринным и III Отделением продолжались и в эти годы, свидетельствует, в частности, сохранившаяся записка Дубельта от 28 сентября 1841 года — ответ на какое-то ходатайство Булгарина (Видок Фиглярин. С. 458).

⁷⁵ Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 6. С. 45–46.

последовало неофициальное письмо от В. Ф. Одоевского, пересказывавшее «частным образом» призыв Уварова быть осторожнее: «Рассказывать подробностей нечего; скажу вам только, что были большие хлопоты — и что *Москвитянину* грозило *полное запрещение*». От себя Одоевский добавлял: «Вспомните, что вы не принадлежите к шайке тех господ в нашей литературе, которые хотят только одного — уничтожить все журналы, кроме своих, дабы иметь в своих руках монополию всей книжной торговли и наживаться. Эта шайка никогда не простит вам ни ваших талантов, ни учености, ни особенно добросовестности, ни внимания к вам публики, ни ваших отзывов о произведениях этих господ. Против врагов же они не разборчивы в средствах: клевета, умышленно превратное толкование самых невинных речей, разглашение в публике такого толкования — все им кажется дозволенным, особенно когда такие статьи, как в третьем нумере *Москвитянина* о чиновниках, дают им точку опоры»⁷⁶.

Об этом же писал Шевыреву Вяземский: «Читаю *Москвитянин* с большим удовольствием, и вообще он здесь хорошо принят. Продолжайте, и мы будем иметь журнал. Только, ради Бога, будьте осторожны, бдительны, зорки, догадливы. Помните припев Пушкина:

Не спи, казак: во тьме ночной
Чеченец бродит за рекой,

то есть, жандармы бродят за рекой, или: Булгарин бродит за рекой. Ваша благонамеренность и добросовестность не спасут вас. Все можно перетолковать, а толковники сыщутся <...> В Москве очень трудно в этом отношении издавать журнал. Вы там руководствуетесь благоразумием и совестью, и думаете, что довольно. Ничуть! Есть еще тысяча других необходимых условий»⁷⁷.

История с «Анекдотами» — далеко не единственная в своем роде⁷⁸ — дает некоторое представление об атмосфере времени

⁷⁶ Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 6. С. 47–48.

⁷⁷ Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 6. С. 52.

⁷⁸ Летом 1842 года угроза закрытия нависала над «*Москвитянином*» дважды — в связи со статьями, возбуждающими «участие к политическому порабощению некоторых словенских народов» (1), и со статьей А. Хомякова «О сельских условиях» (в 6 номере) — см.: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 6. С. 144–146, 274–275.

и о том положении, в котором сразу же оказался орган «официальной народности»⁷⁹.

«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ», БЕЛИНСКИЙ И III ОТДЕЛЕНИЕ

Выступления «Отечественных записок» против «Москвитянина», его эстетики и его идеологии, появляются как раз в ту пору, когда журнал Погодина и Шевырева вызывает постоянное неудовольствие высшей полиции и нередко оказывается на грани закрытия. Между тем радикальные «Отечественные записки» счастливо избегают каких бы то ни было неприятностей. Такое положение вещей на первый взгляд может показаться совершенно фантастическим.

Между тем ничего фантастического здесь нет. Кампания «Отечественных записок» против «Москвитянина» была очень выгодна III Отделению: она могла помочь дискредитировать представителей «русской партии». III Отделение продолжало вести свою игру. Если Булгарину в начале 1840-х годов довелось сыграть роль Булгарина 1830-го года, то роль Николая Полевого оказалась теперь отведена... Белинскому.

Уже к концу 1830-х годов руководство III Отделения не могло не понимать, что верная «Северная пчела» может поддерживать верноподданнические чувства благонамеренного обывателя, но не в состоянии воздействовать на сердца и умы молодежи — самой опасной и беспокойной («гангренозной», по образной формулировке покойного фон Фока) среды. Чтобы дирижировать этой средой, требовалось иметь в сфере своего влияния популярный орган с «либеральной» репутацией. Иначе говоря, нужен был новый «Московский телеграф». Им стали «Отечественные записки», перешедшие от П. Свиньина к А. Краевскому в 1838 году.

Роль III Отделения в «обновлении» «Отечественных записок» еще практически не изучена, хотя многое говорит за то,

⁷⁹ В книге Лемке, претендующей на то, чтобы служить сводом всех известных материалов, проливающих свет на отношения III Отделения и литературы, эпизоды притеснений «Москвитянина» обойдены вниманием. Это умолчание закономерно. В противном случае создался бы нежелательный для леворадикального сознания дисбаланс: обнаружилось бы, что «правая» печать преследовалась III Отделением едва ли не более ожесточенно, чем «левая».

что она была очень велика. Среди семи пайщиков журнала явно не случайно оказался В. А. Владиславлев — жандармский офицер, адъютант Л. В. Дубельта⁸⁰. Владиславлев сам был не чужд литературе и успешно распространял издаваемый им альманах «Утренняя заря» с помощью III Отделения. Вот что рассказывает об этом авторе осведомленный И. И. Панаев: «Воспользовавшись ловко местом своего служения, он распространял свое издание в довольно значительном количестве. Большинство приобретало этот альманах по предписанию жандармского начальства...». И далее: «С г. Краевским он сошелся очень близко и, говорят, при начале „Отечественных записок“ способствовал их распространению через III Отделение»⁸¹. Слухи были весьма обоснованными.

Более чем осведомленный Булгарин в письме Л. В. Дубельту от 28 мая 1846 года сообщал, что благонамеренные доносчики боятся представлять куда следует «противозаконные выписки» из «Отечественных записок», «воображая, якобы редактор „Отеч. записок“ и его журнал пользуются сильным покровительством III-го отд. Собственной Его Величества Канцелярии»⁸². В позднейшей записке «О цензуре и коммунизме в России» (1848) Булгарин, излагая (довольно близко к истине) историю «Отечественных записок», констатирует: «Все старались распространить журнал, и даже граф Бенкендорф содействовал к этому, потому что его просили от имени бедной жены и сирот покойного Свинына»⁸³.

В последнем случае Булгарин попал пальцем в небо (или, может быть, *хотел* попасть, и это был замаскированный упрек?). Суть дела в следующем: в 1841 году, после кончины первого владельца журнала П. П. Свинына, Краевский ходатайствовал о полной передаче ему всех прав на «Отечественные записки». Вдова Свинына обратилась в третейский суд, который и был учрежден в составе Л. В. Дубельта (I), В. И. Панаева и П. А. Плетнева. Краевский это дело выиграл. «У Краевского, — замечает исследователь начала его журналистской карьеры, — в составе третейского суда оказался сильный

⁸⁰ Орлов В. Н. Молодой Краевский // Орлов В. Н. Пути и судьбы: Литературные очерки. М.; Л.: Советский писатель, 1963. С. 360.

⁸¹ Панаев И. И. Литературные воспоминания. Под ред. И. Г. Ямпольского. [М.; Л.:] ГИХЛ., 1950. С. 66, 67.

⁸² Видок Фиглярин. С. 517.

⁸³ Видок Фиглярин. С. 545.

защитник — только не П. А. Плетнев (порвавший с Краевским приятельские связи на почве журнального соперничества), а жандармский генерал Л. В. Дубельт^м. Бесспорно, Дубельт в первую очередь содействовал и подписке на «Отечественные записки». Так что, жалуясь Дубельту на покойного Бенкендорфа, Булгарин пожаловался ему... на Дубельта!

Конечно, дело заключалось не в жандармском сострадании бедной вдове. Да и Булгарин это, судя по всему, прекрасно понимал, только не рисковал говорить о том прямо. По всему видно, что III Отделение поддерживало «Отечественные записки» планомерно и последовательно. Делало оно это по принципиальным соображениям. Более «космополитическая» и более секулярная программа «Отечественных записок» умело использовалась как противовес православно-националистическому «Москвитянину». «Либерализм» же был прекрасной приманкой для того читателя, которому, по определению, мил красный цвет. Дело будущего исследователя — тщательно изучить весь материал «Отечественных записок» (особенно за первые годы их существования) под соответствующим углом зрения, выявить соотношение в них «либеральных» и «благонамеренных» материалов — и на основании всестороннего анализа установить степень воздействия III Отделения на формирование курса журнала. Но то, что такое воздействие вообще имело место, понятно уже и сейчас.

Вполне вероятно, что само приглашение Белинского в «Отечественные записки» было если не организовано, то по крайней мере в той или иной мере санкционировано III Отделением. Еще в феврале 1839 года Белинский мучительно размышляет над тем, оставаться ли ему в Москве или перебраться в Петербург. Он колеблется и пока твердо не знает, какое из петербургских изданий предпочесть. 18 февраля в письме И. И. Панаеву он сообщает, что по причине крайней финансовой стесненности не исключает возможности своего участия в «Библиотеке для чтения» и даже в «Северной пчеле» (1). Около 20 февраля 1839 года Белинский неожиданно получает письмо (к величайшему сожалению, не сохранившееся; по всей вероятности, адресат его уничтожил) от уже известного нам Владиславева, члена акционерного комитета «Отечественных записок» и адъютанта Дубельта — с вложением издаваемого им альманаха «Утренняя заря».

^м Орлов В. Н. Молодой Краевский. С. 363.

Вряд ли письмо от жандармского майора Владиславлева было случайностью. Следует иметь в виду, что как раз в это время на первые роли в III Отделении выдвигается помощник Дубельта М. М. Попов⁸⁵, человек образованный, сам не чуждый литературе, бывший любимый учитель Белинского в Пензенской гимназии. Он и мог обратить внимание своего ведомства на способного литератора и указать на пользу, которую можно было извлечь из приглашения его в подконтрольный орган с хорошей репутацией. Любопытно, что в конце 1840-х годов именно Попов выступит в роли посредника между Белинским и Л. В. Дубельтом...

В письме Панаеву от 25 февраля Белинский сообщал о своем соглашении с издателями «Московского наблюдателя» и о решении остаться в Москве, а заодно просил поблагодарить Владиславлева (примечательно, что Белинский почему-то предпочитает письменно не обращаться лично к Владиславлеву!) и через него засвидетельствовать почтение М. Попову (не был ли последний упомянут во владиславлевском письме?)... А уже 26 февраля Панаев шлет письмо Белинскому с извещением, что Краевский готов предоставить ему работу в «Отечественных записках» на достаточно выгодных условиях...⁸⁶ Это и определило в конце концов решение критика. Заметим, кстати, что все последующие рецензии Белинского на альманахах Владиславлева были неизменно положительными.

Зачем Белинский был нужен III Отделению? Затем же, зачем был прежде нужен Николай Полевой. Требовалась фигура, авторитетная у того круга читателей, на который не имели влияния традиционные литературные союзники. На первых порах расчет определенно оправдывался. Своими программными статьями эпохи «примирения с действительностью» Белинский принес властям столько пользы, сколько не мог принести никто из журналистов. Он первый предложил беспокойной молодежи *философское обоснование* существующего государственного порядка, осветил (и как бы «освятил») нынешний режим светом модной гегельянской философии. И напрасно Греч в своих лекциях и «Северная пчела» в своих

⁸⁵ Сводку достаточно скудных сведений о нем см.: *Squire, P. S. The Third Department: The establishment and practices of the political police in the Russia of Nicholas I. P. 174–176.*

⁸⁶ См.: *Оксман Ю. Г. Летопись жизни и творчества В. Г. Белинского. С. 187–189.*

фельетонах состязались в злословии, нападая на темный язык «Бородинской годовщины» и «Менцеля, критика Гете», — высшая полицейская власть, надо думать, понимала, что высокопарная темнота этого языка действует на умы и сердца молодежи куда сильнее, чем по-житейски ясные и доходчивые объяснения тех же вещей в «Северной пчеле». Что мог предложить тот же Булгарин в качестве альтернативы? «Настоящую русскую философию, основанную на Евангелии и природе»⁸⁷? В III Отделении знали, что ни Евангелие, ни природа не убедят того читателя, которого надо в чем-то убеждать.

Просчиталось ли III Отделение в своем расчете полностью контролировать и при необходимости направлять либеральный журнал и его ведущего критика? Стратегически, бесспорно, просчиталось, не сумев предугадать стремительности эволюции Белинского и развития нового языка намеков и экивоков, на котором будут воспитываться «демократические» поколения. Но эти последствия обнаружатся только со временем. В начале 1840-х годов ничто, казалось, не могло воспрепятствовать III Отделению с помощью популярного журнала и популярного критика успешно проводить свою программу.

Даже и по выходе из «примирительного периода» Белинский должен был устраивать III Отделение больше, чем подозрительные москвичи: очень кстати были и его неизменная имперская великодержавность, и преклонение перед царями-деспотами (которых он искренне почитал реформаторами и светочами прогресса), и доходившая до исступления ненависть к наследникам «русской партии» (к «москвитянам» и — позднее — к славянофилам: выступления вроде памфлетов на Киреевского были для III Отделения сущим кладом), и непрерывные издевательства над поколением подозрительных дворянских литераторов... То, что все это писалось не продажным пером и выражалось искренне и страстно, должно было только повышать цену писаний «неистового Виссариона» в кабинетах III Отделения.

На весах жандармской целесообразности эта объективно полезная деятельность бесспорно перевешивала эстетические экстравагантности и либеральные увлечения критика. На эти увлечения (никогда, впрочем, не проявлявшиеся в печати

⁸⁷ Выражение из письма Булгарина А. Ф. Орлову от 13 марта 1848 г. (Видок Фиглярин. С. 552).

слишком открыто) можно было смотреть сквозь пальцы или — когда они перейдут известные рамки — поправить. Опыт работы с Николаем Полевым явно не прошел даром...⁸⁸ Показательно, однако, что к последнему средству III Отделение решило прибегнуть — да и то с исключительной деликатностью — только в 1848 году, когда Белинский был уже сотрудником «Современника»...

Была ли кампания «Отечественных записок» против «Москвитянина» (методичные выступления против его сотрудников, насмешки над его системой ценностей, надругательства над его литературным пантеоном) непосредственно санкционирована III Отделением? Может быть, и нет. Но хитрый Краевский, конечно, знал желания своих патронов и, во всяком случае, отлично понимал, какие действия могут представлять для него опасность, а какие — нет...

Из другого лагеря отношения «Отечественных записок» с III Отделением нетрудно было интерпретировать так же, как некогда истолковывались отношения Николая Полевого с теми же структурами, — как действия якобинцев, сумевших уверить полицию в том, что их либерализм «пустая только маска». Преемственность Белинского по отношению к Полевому в этом кругу ощущалась очень живо («Он, как и Полевой, разрушал все старые знаменитости...»⁸⁹). Эта преемственность, впрочем, была демонстративно подчеркнута самим Белинским: имя персонажа его антишевыревского памфлета «Педант» — Картофелин — было заимствовано из давней пародии Полевого на Шевырева. Пародия, кстати сказать, появилась в контролируемом III Отделением «Новом Живописце» как раз в период травли «Литературной газеты»...

Выступления Булгарина и Полевого расценивались некогда как проявление одного духа. Об этом выразительно писал

⁸⁸ О поддержке III Отделением «Отечественных записок» свидетельствует, между прочим, почти полное игнорирование им непрерывных «сигналов» Булгарина, встревоженного успехом издания Краевского. См., в частности, саркастический, почти издевательский комментарий чиновника III Отделения Гедеонова к широковещательной записке Булгарина «Социализм, Комунизм и Пантеизм в России в последнее 25-летие» (1846) (*Лемке Мих.* Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. С. 311–312). Даже Лемке вынужден был расценить гедеоновский комментарий как «защиту Краевского и поражение Булгарина из уст жандармствующего бюрократа» (с. 311).

⁸⁹ *Дмитриев М.* Главы из воспоминаний моей жизни. С. 224.

в своих мемуарах сам Михаил Дмитриев: «...В Петербурге Булгарин, а в Москве Полевой, особенно последний, внесли в журнальную литературу пристрастие, бессовестность и шарлатанство»⁹⁰. В свете уроков истории новейшие доносы и интриги Булгарина, с одной стороны, и выступления «Отечественных записок» — с другой, также нетрудно было осознать как манифестацию *одного* духа, составляющие *одной* кампании. И хотя Булгарин вовсе не был другом Краевского и Белинского, объективно (может быть, не всегда по своей воле) «Северная пчела» и «Отечественные записки» в кампании против «Москвитянина» оказывались союзниками.

Современные события напрашивались на то, чтобы быть истолкованными как повторение ситуации 1830-го года — времени, когда направляемые тайной полицией «демократические» издания разных оттенков обрушились на «литературных аристократов».

1842-й ГОД СКВОЗЬ ПРИЗМУ 1830-го

Вспомнить в 1842 году о 1830-м раньше других должен был именно Михаил Дмитриев. В отличие от Погодина и Шевырева, он в общем оставался чужд уваровской концепции надклассовой «народности». Дмитриев, считавший себя потомком Владимира Мономаха в 21 колене и Рюрика — в 28, кичился своим старинным дворянством и лелеял в душе аристократические амбиции⁹¹. Неудивительно, что в непосредственном диалоге с пушкинской «Моей родословной» (написанной, как известно, именно в ответ на кампанию против «литературной аристократии») создавались не рассчитанные на печать стихотворения Дмитриева 1840-х годов — «Мономахи» и «Ответ демократу». Как и Пушкин, Дмитриев отчетливо противопоставлял униженное, но сохранившее верность заветам чести старинное дворянство своекорыстной «новой знати» и набиравшей силу «демократии».

Дмитриев не только мог видеть в старой полемике столкновение «благородного» и «низкого», но и должен был воспринимать это столкновение в социально-политических параметрах, связывать «благородное» с дворянством, а «низкое» — с новоаристократическим плебейством или с «демократией»

⁹⁰ Дмитриев М. Главы из воспоминаний моей жизни. С. 335.

⁹¹ Дмитриев М. Главы из воспоминаний моей жизни. С. 30–31.

(он употреблял эти понятия как синонимы). В этом отношении он чувствовал себя куда ближе позиции «Литературной газеты», чем сами издатели «Москвитянина»⁹².

Как современник, активный участник, а потом и летописец литературной жизни 1820–1830-х годов, как коллекционер всякого рода литературных достопамятностей, Дмитриев, конечно, хорошо знал о ходе боев «Литературной газеты» с «демократическими писателями». Многие дополнительные детали он мог узнать от Погодина, с которым Пушкин довольно активно общался в 1830 году, во время своего пребывания в Москве. Тогда Пушкин не только коротко познакомил Погодина с обстоятельствами, связанными с началом полемики вокруг «литературной аристократии», но и предполагал передать в его «Московский Вестник» свой антибулгаринский памфлет «О записках Видока»⁹³.

Однако Дмитриев, по-видимому, располагал и важной дополнительной информацией, которая могла закрепить в его сознании возникающую аналогию между тогдашней и нынешней ситуацией. Дмитриев был завсегдаем дома Левашевых на Новой Басманной, в котором устраивались знаменитые литературные вечера (здесь он, между прочим, познакомился и сошелся с Чаадаевым). В этом же доме с 1832 года постоянно бывает поселившийся в Москве барон Андрей Иванович Дельвиг (двоюродный брат Антона Антоновича). Вскоре он делается там своим человеком — настолько своим, что в апреле 1838 году женится на дочери Левашевых. На литературных вечерах на Новой Басманной оба они встречались не раз: Дельвиг в своих воспоминаниях упоминает М. А. Дмитриева среди лиц, которых он «часто видал» у Левашевых; Дмитриев

⁹² Кроме того, «Литературная газета» откликнулась рецензией на первый сборник его «Стихотворений», то есть на ту самую книгу стихов, над которой мимоходом посмеялся Белинский (1831, № 22, 16 апреля). Правда, рецензия была довольно неопределенной по тону, но рядом с весьма определенным откликом «Московского телеграфа» могла сойти и за положительную... Теперь, когда «наследник Полевого» объявил Дмитриева *несуществующим* поэтом, бывлой сдержанный отклик можно было истолковать как благословение «поэта-аристократа» «аристократическим» изданием...

⁹³ Об этом свидетельствует запись в дневнике Погодина от 18 марта 1830 года: «К Пушкину. Рассказал о скверности Булгарина, Полевого. Хочет втоптать их в грязь. Давал статью о Видоке; но, догадавшись, что мне не хочется помещать ее, взял» (*Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина*. Кн. 3. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1890. С. 17).

в свою очередь упоминает молодого Дельвига в рассказе о левашевском семействе⁹⁴. А. И. Дельвиг был одним из немногих лиц, знавших историю «Литературной газеты» изнутри и интимно, «домашним образом»: его записки по сей день остаются одним из важнейших источников информации об этом издании. Именно Дельвиг в своих мемуарах подробно рассказал об истории заметок в защиту «литературной аристократии», указал на их авторство (Пушкин при участии Дельвига) и сообщил о реакции, которую вызвала их публикация. Многие из этого должно было прозвучать и в рассказах на левашевских вечерах: Левашев был близким приятелем Дельвига, и все, что было связано с судьбой покойного, естественно входило в круг самых живых интересов дома.

Как бы то ни было, Дмитриев определенно должен был обладать достаточно многосторонней информацией о полемике «литературных аристократов» с петербургскими журналистами. Основываясь на этой информации и соотнося ее со своими воззрениями, он с легкостью мог сопоставить известные ему факты литературной жизни 1830 года с новейшей ситуацией — и провести напрашивающуюся аналогию. И он демонстративно решает повторить жест «Литературной газеты» — выступить на страницах травимого издания с публицистически насыщенным текстом, указывающим властям на ошибочность занятой ими позиции и их культурной политики.

Как и пушкинская заметка, стихотворение Дмитриева адресовано в первую очередь «высшей власти», «правительству» — через голову III Отделения. Оба текста содержат критическое изложение поддерживаемой властями позиции, суть которой по преимуществу отрицательная, разрушительная — насмешки над освященными историей традициями и «преданием». Характерна даже близость ключевых слов-понятий: в «Литературной газете» — *смеяться, шутки, насмешки* и у Дмитриева — *шутить, насмехаться, бранить*. Беспристрастное разъяснение того, *над чем* смеются патронируемые властями журналисты, должно убедить правительство в том, что, поддерживая подобные идеи, оно поступает по меньшей мере неразумно.

⁹⁴ Дельвиг А. И. Полвека русской жизни: Воспоминания. Т. 1. С. 206; Дмитриев М. Главы из воспоминаний моей жизни. С. 349. Дмитриев имел возможность часто встречаться с А. И. Дельвигом с 1832 по 1840 год (в 1840 г. Дельвиг переехал из флигеля Левашевых в новый дом, а в конце того же года был отправлен в командировку на Кавказ, откуда вернулся только к концу 1842 года).

Вместе с тем в послании «К безыменному критику», как и в «Литературной газете», изложение враждебной программы соединено с политико-моралистическим комментарием. Одиозная дмитриевская фраза про «дух анархии» — прямой отголосок пушкинского замечания о насмешках демократических писателей, приутопивших крики «Аристократов к фонарю». Поддержка *таких* писателей — хотя бы одним только покровительственным снисхождением — это самоубийственная слепота.

Впрочем, послание Дмитриева содержало в себе одно принципиальное отличие от заметки «Литературной газеты»: оно было *подписано*. Подпись под беспрецедентно резкими стихами должна была служить дополнительным и ярким знаком «аристократизма»: вступая в бой с открытым забралом, автор демонстративно противопоставлял свой жест нравам демократической шайки, действующей в масках, выпускавшей для расправы со всем «родным и святым» «безыменных критиков».

Дмитриев аккумулировал в своем тексте идеи, высказанные в ряде пушкинских сочинений — по преимуществу политических и публицистических. Заметны даже фразеологические переключки (к примеру, формула «чести, славы и добра» явно восходит к пушкинским «Стансам»: «в надежде славы и добра»; в обоих случаях формулы связаны с историей России и ее будущим). Но важны, конечно, не эти аллюзии сами по себе, а их соотношение с общей концепцией. В центре стихотворения Дмитриева оказывается тема «предания», традиции. В понимании ее у Дмитриева, как и у Пушкина, тесно сплелись представления о неразрывности культурной и словесной элитарности.

Примечательно, что «избранники народной славы», насмешки над которыми составляют существо деятельности безыменного критика, — почти сплошь *писатели*. Это само по себе наделяет дмитриевский текст известного рода оппозиционным смыслом, во всяком случае, резко отличает его от официального подхода: николаевское правительство совершенно не склонно было придавать литературе статуса национального дела. В лучшем случае с ее существованием приходилось мириться как с неизбежным злом. Выпячивание значения литературы способно было скорей раздражить.

В то же время авторы, которых Дмитриев берет под защиту, — это по преимуществу писатели-дворяне (единственное

исключение — Ломоносов, традиционно рассматривавшийся как поэт, «ассимилированный» дворянской культурой). У Дмитриева сословный пафос, как это ни удивительно на первый взгляд, звучит глуше, чем у Пушкина. И тому есть объяснения: в 1842 сказать об этом отчетливо было нельзя: и сам государь, и его тайная полиция теперь тщательно следили за тем, чтобы литература не нарушала воплотившейся утопии всесословной гармонии... Однако социальная подоплека послания обнаружится совершенно отчетливо, если сопоставить его с несколько более поздним и не предназначенным для печати стихотворением Дмитриева «Ответ Демократу» (1849), во многом затрагивающим те же темы, что и «К безыменному критику». Здесь аристократы, действовавшие на разных поприщах (в частности, на литературном), уже открыто и резко противопоставлены корыстным и подлым плебеям. «Плебейский дух» в этом стихотворении совершенно недвусмысленно связывался и с «новой аристократией» (в число «плебеев»-воров попал, в частности, светлейший князь Меншиков; в пору создания «Ответа Демократу» прямой потомок этого «плебея» был членом Государственного совета и морским министром).

И потому в послании «К безыменному критику» идея *преemptивности* оказывается неразрывно связана с идеей *чести*. Характерна в этом отношении стилистически самая неудачная, но энергическая строфа:

О! когда народной славе
И избранникам его
Насмеяться каждый в праве,
Окрылит ли честь кого?....

Традиция и предание, уважение потомков к предшественникам — суть основания государственного благоустройства и процветающей культуры:

Это первая опора
Дел высоких, силы душ!
Предок ждет потомков взора;
Славой предков — силен муж!

Высказанные здесь положения отчетливым образом восходят к суждениям Пушкина, в частности к тем, что вошли в «Отрывки из писем, мыслей и замечаний», опубликованные

в «Северных Цветах на 1828 год». Эта публикация — одна из первых манифестаций позиции «литературной аристократии». Здесь присущий Пушкину (и Дмитриеву) культ Карамзина, культ непрерывности дворянской традиции и своего рода культ предков соединились в особую концепцию государственности и культуры: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие. „Государственное правило, — говорит Карамзин, — ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному“. <...> Может ли быть пороком в частном человеке то, что почитается добродетелью в целом народе? Предрассудок сей, утвержденный демократической завистью некоторых философов, служит только к распространению низкого эгоизма. Бескорыстная мысль, что внуки будут уважаемы за имя, нами им переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца?»⁹⁵. Последняя фраза прямо отозвалась в дмитриевских стихах... Впрочем, соответствующая мысль — в формулировке, близкой дмитриевской, — была высказана и в помещенной в «Литературной газете» пушкинской рецензии на «Историю русского народа» Полевого: «Уважение к именам, освященным славою, не есть подлость (как осмелился кто-то напечатать), но первый признак ума просвещенного»⁹⁶.

«Пушкинианская» установка Дмитриева была поддержана издателями «Москвитянина». Об этом свидетельствует тот факт, что стихи Дмитриева оказались помещены в чрезвычайно знаменательный контекст: неподалеку от стихов Дмитриева были напечатаны письма Пушкина к Погодину. Хотя пушкинские письма не избежали редактуры и цензурного вмешательства, в них все-таки сохранились презрительные высказывания о невежестве и торгашестве петербургских журналистов (то есть Булгарина и Греча) и о шарлатанстве Николая Полевого (напомним: все эти лица находились под покровительством III Отделения). Вместе с тем в пушкинских письмах содержалась целая концепция «идеальной журналистики» — в основном негативная, выстроенная на отталкивании от наличного состояния русских газет и журналов.

В ситуации 1842 года публикация пушкинских писем представляла отнюдь не историко-литературный, а самый что

⁹⁵ Пушкин. Полн. собр. соч. Т. XI. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1949. С. 55.

⁹⁶ Пушкин. Полн. собр. соч. Т. XI. С. 120.

ни на есть острый злободневный интерес. В этом отношении она отчетливо корреспондировала со стихами Дмитриева. И наоборот: рядом с пушкинскими письмами стихотворение Дмитриева приобретало дополнительный смысл. Оно как бы освящалось традицией «литературной аристократии».

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Что же произошло после выхода в свет 10-го номера «Москвитянина» со стихами Дмитриева?

Прежде всего, в 12-м номере «Отечественных записок» на стихи немедленно откликнулся Белинский — в заметке (по обыкновению, анонимной) «Небольшой разговор между литератором и нелитератором о деле, не совсем литературном». Он поспешил дезавуировать выдвинутые против него обвинения, а само стихотворение причислить к роду «юридических сочинений». «Читателям» из III Отделения он ловко продемонстрировал свою полнейшую благонамеренность, а читателям иного рода — столь же ловко указал на «неблагонамеренность» Дмитриева и «Москвитянина». При этом Белинский — блестящий знаток истории русской журналистики — судя по всему, прекрасно понял, какую именно ситуацию попытался повторить Дмитриев своим посланием. И он искусно разыграл предложенную Дмитриевым партию. Заметка Белинского скрыто отсылала к реплике Николая Полевого на выступление «Литературной газеты», иногда повторяя ее довольно отчетливо:

Н. Но какая же причина этого вымысла?

М. Самая простая: автор болен страстью к стихомании, а талантом, как видно из этих стихов, не богат: стало быть, он похвал себе не слыхал, а горькой правды от *именных* и *безыменных* критиков наслышался вдоволь. Поэтому естественно, что ему не нравится все, что мыслит и рассуждает. Видя, что правду можно говорить и о знаменитых писателях, не только что о дрянных писаках, он с горя и закричал: «слово и дело!»⁹⁷

Ср. в ответе Полевого:

Грамот на *литературное достоинство* герольдия нынешней Критики не только не утверждает современным *литературным*

⁹⁷ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. VI. М.: Изд. АН СССР, 1955. С. 507

аристократам, но оспаривает оные и у тех литературных аристократов, которые давно похоронены с названием бояр. Теперь не дают пропуска на Парнас тем, которые лет за десяток называли себя помещиками Парнасскими. Разумеется, что таким помещикам горько приходит, но — что делать! <...> Положим, например, что Князь Вяземский напишет дурные стихи, а я смело скажу ему об этом; он Князь! Что за нужда? <...> Княжество его при нем, а поэт он всетаки будет плохой»⁹⁸.

В ответе Белинского воспроизведен весь порядок аргументов Полевого: 1) выступая со своим доносительным текстом, автор лжет и клеветает; 2) делает он это потому, что новейшая критика поднялась до таких высот исторической объективности, что может развенчивать даже «знаменитых писателей» («литературных аристократов, что давно похоронены с названием бояр», по формуле Полевого); 3) увидев это, автор устрасился услышать горькую правду о себе; 4) устрасившись, он прибегнул к клеветническому измышлению нелитературного порядка... Отличалась статья Белинского от ответа Полевого тем же, чем отличались стихи Дмитриева от выступлений «Литературной газеты», — вынужденной редукцией социально-политического момента: тема «аристократизма» ослаблена и ушла в подтекст.

Но в концовке статьи оказался скрыт и еще более ядовитый выпад. Прочитовав несколько неуклюжий дмитриевский куплет о «народной славе» и «избранниках его» (и с помощью курсива и вопросительного знака заострив внимание на этой грамматической погрешности), Белинский (устаами простодушного «нелитератора» М.) задает вопрос: «А и в самом деле: кто захочет трудиться, видя, что и труды великих иногда ценятся вкривь и вкось?» — и отвечает на этот вопрос устаами своего alter ego, мудрого и благородного М.:

Кто? — Каждый, кто родится с призванием на великое. <...> Вспомните, что говорили и писали о Пушкине, какими браня-

⁹⁸ Московский телеграф, 1830, № 14 (июль). С. 242–243. В. В. Виноградов заметил: «Любопытно, что в своем ответе... Полевой более всего задевает князя Вяземского, по-видимому, подозревая в нем автора статьи» (*Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей*. С. 413). Последнее вполне вероятно, но не исключено, что Полевой *преднамеренно* намекал на авторство Вяземского — даже и не будучи в нем убежденным. Этим указанием он мог доставить былому покровителю и сотруднику дополнительные неприятности.

ми встречалось каждое его произведение! И однако ж это его не остановило: он отвечал на ругательства новыми произведениями. Это история каждого замечательного, не только великого человека. Нет, не то, совсем не то было на уме у нашего пииты: он хлопотал не о великих...»⁹⁹

Если читать реплику Белинского «имманентно», то нельзя не отметить, что Пушкин появляется здесь неожиданно и некстати. Если же предположить, что Белинский разгадал претензии Дмитриева — повторить стихами «К безыменному критику» «пушкинский» жест — то упоминание Пушкина приобретет особый и контекстуально вполне оправданный смысл. Тогда в этой реплике обнаружатся по меньшей мере два ядовитых упрека Дмитриеву. Первый: М. Дмитриев не Пушкин (не то что гений — сколько-нибудь значительный талант ему судьбой не отпущен). Второй: не Дмитриев ли был среди тех, «кто встречал бранями каждое новое сочинение» Пушкина?.. Ну, каждое — не каждое, но о том, что именно Дмитриев был автором придирчивого разбора «Евгения Онегина» в «Атенеи», Белинский наверняка знал. И потому язвительно указывал: рядиться в пушкинские одежды и пытаться разыгрывать роль Пушкина не Дмитриеву пристало...

Однако ответом Белинского история с посланием «К безыменному критику» не завершилась — как не завершилась история с заметкой «Литературной газеты» репликой Николая Полевого. Дело в том, что выступление «Литературной газеты» в свое время все-таки не прошло мимо внимания властей — но увы, не высших, а полицейских. Вскоре после журнальной отповеди Полевого, 22 августа 1830 года, Бенкендорф направил министру народного просвещения К. А. Ливену следующее официальное письмо: «Обращая внимание Вашей Светлости на статью прилагаемой при сем „Литературной Газеты“, которой неприличность конечно поразить должна и Вас, Милостивый Государь, в особенности при настоящих политических происшествиях (имеется в виду революция во Франции. — *О. П.*), я считаю долгом покорнейше Вас просить почтить меня уведомлением, каким образом сия статья могла быть пропущена цензурою, и кто именно сочинитель оной?»

⁹⁹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. VI. С. 507–508.

Началось целое дело, в которое оказались втянуты и министр просвещения, и попечитель Петербургского учебного округа, и издатель «Литературной газеты», и цензор. Цензор Н. Щеглов, объясняя, почему он пропустил заметку в «Литературной газете», указывал, что действовал он так, во-первых, потому, что не обнаружил в ней никакого несоответствия цензурному уставу, «и во-вторых, потому, что высказывающееся в некоторых статьях „Московского Телеграфа“ стремление выставить с дурной стороны Российское дворянство, чрез осмеивание оно почти в каждой книжке разными критическими пьесами, и насмешки над дворянским состоянием некоторых наших писателей» он, цензор, находит «противными духу нашего правительства...». Приуроченность же к «современным событиям» Щеглов отвел легко, указав, что статья цензуровалась в ту пору, когда о нынешних политических обстоятельствах еще не было «надлежащего сведения». Дельвиг отговорился тем, что статья (в совершенно благонамеренном характере которой он, впрочем, вполне уверен) была прислана на его городскую квартиру без подписи сочинителя¹⁰⁰.

Как будто этим дело и должно было завершиться. Но, по свидетельству А. И. Дельвига, оно этим отнюдь не закончилось: Дельвиг был вызван в III Отделение, где получил от Бенкендорфа строгое предупреждение. «Конечно, — замечает мемуарист, — Бенкендорф не читал заметок, за которые выговаривал Дельвигу, а вызвал последнего по доносу Булгарина...»¹⁰¹. Уточним: Бенкендорф, как следует из его официального письма, заметку о нападках на «литературную аристократию» все же прочел. Но тот факт, что именно Булгарин обратил на нее внимание III Отделения, вряд ли может быть подвергнут сомнению... Через несколько месяцев (по незначительному поводу, в связи с публикацией стихов Делавиня о жертвах Июльской революции) Дельвиг будет вновь вызван в III Отделение, выслушает оскорбления и угрозы Бенкендорфа, затем будет отстранен от редактирования «Литературной газеты» и скончается через несколько недель... Молва упорно связывала кончину Дельвига с последствиями аудиенции у Бенкендорфа...

¹⁰⁰ Об этом эпизоде см.: *Замков Н. К.* К цензурной истории произведений Пушкина. С. 53–62. Письма и объяснения по поводу заметки цитируются по этой публикации (с. 55–56, 57–58).

¹⁰¹ *Дельвиг А. И.* Полвека русской жизни: Воспоминания. Т. 1. С. 153.

Кое-какие обстоятельства, связанные с этой историей, Дмитриев мог бы узнать из рассказов А. И. Дельвига. Но то ли не узнал, то ли не придал им особого значения. А напрасно! Давняя история отозвалась и в 1842 году.

Автора послания «Безыменному критику» устанавливать не требовалось: имя Дмитриева было поставлено под стихами. Особых формальных оснований распекаать его, цензора и редактора вроде бы тоже не было: социальная тема, как уже отмечалось, звучала в стихотворении только подспудно, а революции в 1842 году, слава Богу, не предвиделось. Но ведь III Отделение не останавливалось перед «формальными основаниями»! Иное дело, что взыскивать с обер-прокурора московского департамента Сената было труднее, чем с неслужащего литератора, каким был Дельвиг. К тому же буквально накануне выступления против Белинского Дмитриев схлестнулся в Сенате ни много ни мало с самим Бенкендорфом, признав его вмешательство в судопроизводство незаконным¹⁰². В этой ситуации открытое порицание Дмитриева слишком походило бы на личную месть строптивому обер-прокурору, что могло бы вызвать ропот сенатских чиновников и, возможно, самих сенаторов. В планы III Отделения это определенно не входило.

И все же 10-й номер «Москвитянина», в котором появились дмитриевские стихи, стал объектом неблагосклонного внимания III Отделения и предметом официальной переписки. Формальным поводом для разноса послужили, однако, не стихи Дмитриева, а напечатанные по соседству пушкинские письма. 9 ноября 1842 года, как и 12 лет назад, Бенкендорф обратился с официальной бумагой к министру народного просвещения, на этот раз — к сменившему Ливена Уварову: «Вашему превосходительству более, нежели кому-нибудь известно, до какой степени противно воле Государя Императора помещение в журналах статей неприличных, и потому осмеливаюсь представить на ваше просвещенное суждение выписку из писем Пушкина к Погодину, напечатанных в 10-м номере журнала Москвитянин <...> Как в письмах Пушкина встречаются неприличные выходки против публики, литературы, цензуры и частного лица г. Полевого, то позвольте изложить вам мое мнение, что ежели издатели *Москвитянина*, печатая в журнале своем эти письма, имели намерение познакомить публику с настоящими качествами Пушкина, в таком случае

¹⁰² Дмитриев М. Главы из воспоминаний моей жизни. С. 410–414.

цель их — истинно похвальна, но не менее того г. цензор не имел права и не должен был пропускать к печатанию неприличной брани, столь нетерпимой Правительством»¹⁰³. Эта официальная реляция поразительно «рифмуется» с письмом Бенкендорфа 12-летней давности: здесь и указание на «неприличие» публикации, и недовольство издателями, и порицание цензору... Только пожалуй, некоторые старые формулировки стали еще жестче.

Следует отдать должное Александру Христофоровичу. Его письмо, помимо прочего, включает в себе необычайно изощренное издевательство над Уваровым. Пушкина Уваров, как мы знаем, ненавидел. Особенно жгуче — с того момента, когда в 4-й книжке «Московского наблюдателя» за 1835 год появилась сатира «На выздоровление Лукулла». Одним из издателей «Московского наблюдателя» был Шевырев, ближайшим сотрудником — Погодин. За официальными фразами письма Бенкендорфа просвечивают ядовитые намеки и на эту публикацию, и вообще на хорошо известные III Отделению отношения Пушкина и Уварова: может быть, издатели «Москвитянина» и теперь намеревались показать «подлинные качества» Пушкина, как показали их в 1835 году, будучи издателями «Московского наблюдателя» и печатая в нем антиуваровскую сатиру? В таком случае цель их, конечно, «истинно похвальна», но неужели Сергей Семенович не имел возможности удостовериться в этих качествах прежде? Разве не постарались о том покровительствуемые его превосходительством издатели уже восемь лет назад?... Можно представить себе, какую гамму чувств испытывал Сергей Семенович, читая эти по видимости официально-вежливые, но по существу — глубоко саркастические строки руководителя III Отделения... Есть все основания рассматривать это письмо как не лишенную казуистической ловкости попытку вбить клин в отношения между Уваровым и издателями «Москвитянина».

Стихи Дмитриева появлялись «на фоне» Пушкина; неудовольствие III Отделения против Пушкина рикошетом било в Дмитриева. Конечно, Бенкендорф говорил не о прошлом, а о настоящем. Защищая от критики с позиции «литературного аристократизма» «литературу» и «частных лиц», Бенкендорф тем самым брал под защиту нужных III Отделению журналистов и «демократические» журналы.

¹⁰³ Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 6. С. 276.

Глава IX

Письмо Бенкендорфа получило резонанс. В обществе вновь стали циркулировать слухи о запрете «Москвитянина». Н. А. Загряжский пишет в эту пору Погодину из Петербурга: «Мне сказывали, что твой журнал чуть было не запретили, и за что же! за письма Пушкина... Да после этого ничего уже и писать нельзя»¹⁰⁴. И хотя слухи о возможном закрытии на этот раз были, видимо, все же несколько преувеличенными, издатели пережили тяжелые дни — тяжелые настолько, что Погодин думал даже отказаться от издания «Москвитянина». Уваров, отойдя сердцем после ядовитого письма из III Отделения, через посредников отговорил его от этой акции¹⁰⁵. Потерять «Москвитянин» — значило потерять единственно верный ему (а не Бенкендорфу!) журнал и, следовательно, потерять один из важных каналов влияния на умы. Погодин согласился. Но в этой ситуации было уже не до попыток воздействовать на «правительство»...

Ситуация 1830 года повторилась полностью — полнее, чем того хотелось бы Дмитриеву и издателям «Москвитянина». Расчеты скорректировать правительственную литературную политику потерпели крах. Заставить власти отказаться от покровительства «демократическим» изданиям (и прекратить преследования изданий «аристократических») определенно не удалось. Левыми — как и предсказывал Шевырев — дмитриевский «донос правды» был ославлен как «донос в стихах», правительством же (то есть его полицейским органом, ведавшим литературными делами) — отвергнут как непрошенная и опасная инициатива. Такой эпилог приписала история к попыткам воскресить в начале 1840-х годов пушкинскую литературно-политическую утопию.

¹⁰⁴ Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 6. С. 276.

¹⁰⁵ Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 6. С. 277.

Указатель имен

- Азадовский М. К. 226, 253, 256
Аксаков С. Т. 149
Александр I 54, 98, 104, 112, 177
Александровский И. Т. 86
Альтшуллер М. Г. 57, 78, 79, 82, 83, 85, 86, 190, 227, 233
Анастасевич В. Г. 180
Анненков П. В. 312
Анциферов Н. П. 302
Арнольд И. 163
Аронсон М. 12
Ахматова А. А. 70, 71
Базанов В. Г. 210, 264
Байрон Д. 234
Балухатый С. Д. 98, 118, 119, 193
Баратынский Е. А. 56, 191, 192, 208, 242–244, 264, 266, 282–285.
Барков И. С. 88, 89, 244, 247
Барсуков Н. П. 304, 339–341, 349, 359, 360
Батге Ш. 59
Батюшков К. Н. 35, 47–80, 85, 89, 90, 92–95, 109–111, 114, 119, 126, 133, 144, 146, 158, 159, 171, 173–176, 179, 180, 183, 184, 186, 194, 219, 223, 224, 265
Бахтин М. М. 14, 15, 152, 153, 154, 172
Беккариа Ч. 54
Белинский В. Г. 303–307, 315, 342, 344–349, 354–356
Бенитцкий А. П. 131
Бенкендорф А. X. 318, 320, 326, 328, 330–332, 340, 343, 344, 356–360
Бердсли М. 11
Березина В. Г. 293
Бестужев А. А. 56, 222–225, 231, 303
Биржакова Е. Э. 43
Благой Д. Д. 49, 69, 73, 314
Блейк У. 81
Блудов Д. Н. 47, 79, 117, 144, 327
Блумауэр А. 173
Бобров С. С. 20, 38, 63, 81–115
Богомолов Н. А. 180, 182, 251
Боленко К. Г. 305
фон-дер-Борг К. Ф. 190, 238, 251, 252
Борн И. М. 51, 52, 54, 55, 57, 58, 65, 66, 68, 74
Бринкен Д. Ф. 71
Брусилов Н. П. 49, 60–68, 72, 73, 78, 165, 166
Буало Н. 49, 50, 68, 73, 181, 199, 240
Булгарин Ф. В. 15, 16, 271, 272, 286–288, 292, 295, 311, 312, 315, 320–332, 336, 338, 339–342, 344, 346–348, 353
Булгина А. П. 154–187
Буфлер С. 257
Бычков А. Ф. 339
Валицкий А. 335
Вацуро В. Э. 13, 82, 86, 97, 112, 114, 157, 190, 207, 228, 232, 239, 243, 272, 274, 282, 283, 285, 289, 311, 321, 335, 339
Вергилий (Виргилий) 156, 160, 161, 176
Вернадский Г. В. 106
Веселовский А. А. 119, 120, 225

- Ветшева Н. Ж. 153
 Виланд Х. М. 199
 Виницкий И. Ю. 26
 Виноградов В. В. 21, 23, 31, 32, 93, 313, 355
 Винокур Г. О. 19, 37, 39, 237
 Владиславлев В. А. 343–345
 Воейков А. Ф. 86, 113, 122, 217, 221, 227, 265
 Войнова Л. А. 43
 Волков А. А. 331
 Волков А. Г. 58, 60, 74
 Вольтер Ф.-М. (Аруэ) де 69–73, 134, 163, 276
 Востоков А. Х. 48, 49, 58, 60, 61, 65, 66, 68, 71, 73–79, 103
 Вульф А. Н. 254, 255
 Вяземский П. А. 15, 35, 57, 79, 84, 85, 87, 88, 90, 93, 100–103, 108–111, 114, 139, 144, 146, 169, 182, 185, 190, 192, 204, 228, 238, 239, 264, 265, 273, 278–281, 299–301, 322, 329, 341, 355
 Галахов А. Д. 36, 105, 304
 Гаспаров Б. М. 153
 Гаспаров М. Л. 147
 Гафиз (Гафис) 238
 Гедеонов С. А. 347
 Геллерт Х. Ф. 192
 Георгиевский И. С. 191
 Гераков Г. В. 89
 Гете И.-В. 234
 Гиллельсон М. И. 120, 130, 163, 329, 335
 Гинзбург Л. Я. 90
 Гиппиус В. В. 313
 Глассе А. 189, 223
 Глебов А. Н. 208
 Глейм И. В. Л. 58
 Глинка С. Н. 104, 131–142
 Глинка Ф. Н. 56, 213, 264, 304, 306
 Гнедич Н. И. 85–87, 119
 Говоров Я. И. 295
 Гоголь Н. В. 340
 Гозенгуд А. А. 147
 Голенищев-Кутузов П. И. 104–107, 111–114, 217, 218
 Голицын Б. В. 123
 Голицын Д. В. 307
 Гораций 74, 215
 Гордин Я. А. 313, 314, 335
 Городецкий Б. П. 311
 Горфункель А. Х. 65, 116
 Горшков А. И. 21
 Грамматин Н. Ф. 261
 Греч Н. И. 47, 61, 62, 177, 210, 220, 227, 271, 272, 286–288, 311, 312, 345, 353
 Грибоедов А. С. 226, 227, 234, 276, 303
 Грот Я. К. 158–160
 Губко Е. А. 274
 Гуковский Г. А. 88, 93, 256
 Давыдов Д. В. 264
 Давыдов И. И. 324
 Дашков Д. В. 20, 47, 48, 86, 116–119, 124–127, 134, 135, 138, 143, 145, 150, 183, 184, 187, 327
 Делавинь К. 328, 357
 Дельвиг А. А. 15, 190, 208, 215, 225, 228, 234, 262, 264, 266, 310, 312, 328, 334, 349, 350, 357, 358
 Дельвиг А. И. 312, 313, 349, 350, 357, 358
 Державин Г. Р. 59, 63, 108, 175, 217, 305, 308
 Диктиадис 209
 Дмитриев И. И. 59, 63, 102, 104, 112, 114, 116, 158, 182, 182, 192, 196, 205, 267, 268, 290, 293, 295, 298, 302
 Дмитриев М. А. 45, 302–310, 315, 334, 347–354, 358–360
 Долгоруков П. В. 318, 337
 Дора (Дорат) К. Ж. 238
 Дрейцер Э. 80
 Дубельт Л. В. 337, 340, 343–345
 Дюкре-Дюминиль Ф. Г. 26, 27
 Ежова Е. И. 142–144, 150, 151
 Екатерина II 105
 Екатерина Павловна 54

Указатель имен

- Елагин И. П. 40, 41
Ермакова-Битнер Г. В. 221, 287
Ермолов А. П. 319, 323
Ефимов А. И. 21
- Живов В. М. 134
Жихарев С. П. 117, 150
Жуковский В. А. 20, 35, 36, 83, 93, 94, 99, 107, 109, 110, 118, 122, 123, 125, 127, 145, 146, 152, 171, 174, 221, 223, 224, 265, 277, 290, 291, 305, 308, 326, 327, 332
- Заборов П. Р. 73
Загряжский Н. А. 360
Зайонц Л. О. 82, 85, 88
Закревская А. Ф. 300
Замков Н. К. 313, 357
Занд К. 204
Западов А. В. 98
Захаров И. С. 180
Зименко В. М. 207
Зорин А. Л. 58, 89, 110, 176, 178, 248, 334
Зыкова Г. В. 89, 90, 203
- Иезуитова Р. В. 197, 210, 216
Измайлов А. Е. 56, 59, 61, 62, 66–68, 75–78, 89, 111, 116–151, 171, 173–176, 179, 180, 183, 184, 189–200, 218–221, 225–228, 260–301
Измайлов В. В. 166, 179
Измайлов Н. В. 302, 311
Икосов П. П. 83
Илличевский А. Д. 190–192, 228, 264, 265
Ильин-Томич А. А. 176, 178, 226
Иосиф II 173
- Калайдович П. Ф. 137
Кальдерон де ла Барка П. 237–239
Каменев Г. П. 168
Канунова Ф. З. 36
Капнист В. В. 340
Каразин В. Н. 210, 227
Карамзин Н. М. 18, 22–25, 40–46, 59, 60, 62, 63, 93, 94, 96–99, 101, 104, 105, 111–116, 131, 132, 144, 145, 164–169, 176–179, 182, 185, 205, 206, 211, 217, 302, 305, 308, 316, 326, 353
- Катенин П. А. 223, 224, 226
Каченовский М. Т. 83, 109, 298
Кетчер Н. Х. 307
Кикин П. А. 143, 149
Кипренский О. А. 207
Киреевский И. В. 324, 331, 332
Киреевский П. В. 324
Киселева Л. Н. 131, 336
Клопшток Ф. Г. 58
Ковалевская Е. Г. 43
Кожин А. Н. 28
Козлов В. И. 206–208, 210, 262
Колюпанов Н. П. 114
Константин Павлович 98
Копорская Е. П. 43
Коровин В. И. 165, 243
Королева Н. В. 190, 233
Корф М. А. 216
Коцебу А. 204–207
Кочубей В. П. 319
Кошелев А. И. 114
Кошелев В. А. 64, 80, 114
Краевский А. А. 304, 307, 342–344, 347, 348
Краснокутский В. С. 153
Крылов А. А. 290
Крылов И. А. 196, 204, 290, 291
Кубасов И. А. 99
Кулакова Л. И. 94
Кулешов В. И. 303, 306
Кумпан К. А. 84
Куракин А. Б. 319
Кустарева М. А. 22–24
Кутина Л. Л. 43
Кутузов М. И. 183
Кюхельбекер В. К. 187–228, 231–240, 242, 245, 246, 251, 252, 258, 264, 266, 276
- Лабзин А. Ф. 156
Лагарп Ж.-Ф. 59, 118
Лажечников И. И. 167, 168

- Ларионова Е. О. 274
Лебрен Э.-П.-Д. 243
Левашев Н. В. 349, 350
Левин В. Д. 37, 38, 40, 93, 94
Левинтон Г. А. 250
Левкович Я. Л. 197, 210, 216, 226,
227, 263, 272, 275, 290, 294
Леклерк Н.-Г. 137
Лекманов О. 26
Лемке М. К. 317, 331, 332, 342, 347
Ленкевич Ф. И. 60, 66, 74
Ливен К. А. 318, 331, 356, 358
Ливен, семейство 318
Лобанов М. Е. 68
Ломоносов М. В. 28, 33, 60, 81, 83,
95, 97, 108, 175, 233, 288, 298, 305,
308, 352
Лонжпьер И.-Г. 163
Лотман Ю. М. 11, 13, 20, 38, 94, 96,
97, 100–102, 114, 136, 153, 194,
227, 232, 253, 283
Лукницкий А. В. 151
Лукницкая В. К. 71
Лукницкий П. Н. 70, 71
Львов П. Ю. 89, 180
Лямина Е. Э. 305
Мабли Г. 54, 214
Майков В. И. 162
Майков Л. Н. 48, 49, 68, 69, 77, 159
Макаров П. И. 24, 34, 35, 44, 45, 95,
100
Макогоненко Г. П. 53, 60
Максимова М. 89, 90
Мандельштам О. Э. 26, 244
Марин С. Н. 150, 162, 163
Марино (Марини) Д. 238
Маркевич Н. А. 197, 210, 216
Мартынов И. И. 86
Межаков П. А. 290
Мейлах Б. С. 152, 311, 321
Меньшиков А. С. 352
Мерзляков А. Ф. 86
Милонов М. В. 116, 158, 221, 264
Мильтон Д. 155, 176
Минаев Д. Д. 147
Мирский Д. П. 53, 60
Михайлова Н. И. 169
Модзалевский Б. Л. 255, 273
Мольер Ж.-Б. 221
Монтескье Ш.-Л. 54, 214, 316
Мордвинов Н. С. 319, 323, 324
Мордовченко Н. И. 21, 116, 198, 222
Морозов А. А. 117
Мур Т. 234
Муравьев М. Н. 64, 93, 94, 98, 99,
104, 327
Муравьева Е. Ф. 93
Мурьянов М. Ф. 274
Мушина И. Б. 197, 210, 216
Набоков В. В. 283
Наполеон Бонапарт 183, 212
Нарышкин А. Л. 225
Невзоров М. М. 82, 91, 92, 99,
106–108, 113
Немзер А. С. 176, 178
Нерон 85
Нешумова Т. Ф. 305
Николаева Н. И. 65, 116
Николай I 16, 231, 316–319, 328,
329, 331, 332, 337
Никольский П. А. 116, 118
Новиков Н. И. 82
Норов А. С. 290
Ободовский П. Г. 290
Обрезков А. Ф. 26–31, 33, 40–45
Одоевский В. Ф. 324, 327, 341
Оксеншерна А. 289
Оксман Ю. Г. 304, 307, 313, 314, 345
Окулов Г. А. 195, 196
Оленин А. Н. 163, 186
Олешев М. 58, 60
Олин В. Н. 306
Орлов А. Ф. 346
Орлов В. Н. 50–56, 201, 268, 272,
302, 312, 343, 344.
Орлов М. Ф. 280
Орлов П. А. 55
Осповат А. Л. 86, 122, 157, 336, 339

Указатель имен

- Остолопов Н. Ф. 59, 61–63, 68, 72, 170, 200–203, 211, 215, 217, 225, 265, 274–278, 280, 290
- Охотин Н. Г. 250
- Павел I 105, 106, 210
- Панаев В. И. 57, 191, 192, 284, 290, 343
- Панаев И. И. 304, 343–345
- Панов С. И. 124, 157
- Панфилов А. К. 24, 25, 28, 41
- Пермяков Е. В. 17, 336
- Перовский А. А. 326
- Песков А. М. 135, 148, 160
- Петр I 279, 305, 308
- Петухов Е. В. 48–51, 65, 68, 73
- Петрарка Ф. 154, 169, 170
- Пиксанов Н. К. 98, 118, 119, 193
- Писарев А. А. 59, 68
- Писарев А. И. 288
- Плетнев П. А. 232, 234, 264, 343
- Плещеева Н. И. 185
- Плиш И. П. 51, 52, 54–56, 60, 62, 68
- Погодин М. П. 104, 112, 113, 177, 280, 304, 306, 307, 324, 325, 336–341, 349, 353, 358–360
- Подшивалов В. С. 203
- Позднеев А. В. 246, 247
- Покровский И. 201
- Полевой Кс. А. 196, 197, 200, 201, 269, 270, 273, 280, 287, 299, 312, 314, 315
- Полевой Н. А. 102, 146, 147, 200, 201, 268, 270, 272, 276–281, 285–289, 291–298, 303, 311, 312, 324, 329–332, 342, 347–349, 353–355
- Полиевктов М. 330
- Пономарева С. Д. 119, 129, 225, 228
- Попов М. М. 345
- Попугаев В. В. 51, 52, 54, 55, 57, 60, 68
- Потапова Г. Е. 274
- Потемкин С. П. 143
- Поуп (Поуп) А. 173, 199
- Пресняков А. Е. 317
- Прокопович-Ангонский А. А. 83
- Проскурин О. А. 35, 61, 80, 104, 110, 133, 153, 174, 180, 183, 185, 195, 235, 241, 271, 275, 283
- Проскурина В. Ю. 212
- Псевдо-Лонгин 198, 199
- Пугачев В. В. 311
- Пушкин А. С. 15, 18, 47, 159, 189, 204–210, 229–259, 264, 265, 269, 270, 273, 274, 276, 279–285, 287, 290, 291, 300–303, 310–316, 324–326, 332–337, 341, 348–353, 355, 356, 358–360.
- Пушкин В. Л. 20, 57, 69, 102, 109, 110, 117, 118, 122, 123–127, 145–149, 169, 194, 195, 197, 209
- Пушкин Л. С. 207, 234
- Пушкин С. Л. 207
- Пушкина Н. Н. 280
- Радищев А. Н. 51, 53
- Радищев Н. А. 59, 64, 66–68, 75
- Раевский В. С. 158
- Разумовский А. К. 104, 111, 129
- Раич С. Е. 306
- Рак В. Д. 190, 233, 250
- Рейсер С. А. 12
- Рейтблат А. И. 289, 320
- Рикардо Д. 330
- Розанов И. Н. 81
- Ронен О. 244
- Ронинсон О. А. 153
- Рубан В. Г. 247
- Рудницкая Е. Л. 334
- Румянцев А. Р. 275
- Рылеев К. Ф. 303
- Рындовский Ф. М. 191
- Сайтов В. И. 48
- Саларев С. Г. 83, 84
- Самсонов Д. 201
- Сандомирская В. Б. 80
- Сапов Никита 89, 248
- Сафиулин Я. Г. 293
- Сафо 154, 155, 157–160
- Свиньин П. П. 220, 292, 293, 298, 343
- Свиясов Е. 158

Указатель имен

- Северин Д. П. 47, 57, 117, 146, 205
Сей Ж.-Б. 330
Сербинович К. С. 104
Скаррон П. 173
Скачкова О. Н. 235
Сквозников В. Д. 257
Смирдин А. Ф. 292
Смолина К. П. 43
Соболевский С. А. 324
Соколов А. Н. 236
Сомов О. М. 56, 262, 265
Сохацкий П. А. 203
Сперанский М. М. 104
Сталь Ж. де 316, 335
Станевич Е. И. 122, 180
Степанов В. П. 83, 127, 190, 287
Степанов Н. Л. 117
Стурдза А. С. 204–206, 208, 209
Тассо Т. 115
Тенирс (Теньер) Д. 195, 199, 200
Теряев П. А. 201, 226
Тило В. 262
Титов В. П. 324, 327
Тиханов П. Н. 68
Тихонравов Н. С. 47, 48
Тодд У. М. 13
Тойбин И. М. 336
Томашевский Б. В. 135, 213, 273, 316
Томсон Д. 29, 41
Топорков А. Л. 249
Топоров В. Н. 177
ТрEDIAKовский В. К. 88
Трилуный (Струйский) Д. Ю. 306
Трубецкой Н. Н. 106
Туманский В. И. 191, 234, 237, 264–266.
Тургенев А. И. 35, 109, 123, 125, 127, 139, 177
Тургенев И. П. 93
Тургенев Н. И. 109, 123, 339
Тургенев С. И. 123
Тынянов Ю. Н. 21, 41, 90, 170, 171, 174, 175, 232
Уваров С. С. 117, 128, 129, 152–187, 221, 331, 334–341, 358, 359
Успенский Б. А. 20, 38, 94–96, 100–102, 134
Федоров Б. М. 265, 266, 275
Федоров В. М. 62
Фенелон Ф. 134
Фет А. А. 147
фон Фок М. Я. 318, 319, 332, 337, 342
Фомин А. Г. 325
Фомичев С. А. 230, 272, 274
Фонвизин Д. И. 38
Фонтенель Б. 199
Фосс И. Г. 58
Фридман Н. В. 48, 49, 53, 54, 69
Хвостов А. С. 143, 149, 156
Хвостов Д. И. 47, 98, 110, 118, 119, 143, 149, 150, 156, 192, 193, 224
Хемницер И. И. 192, 196
Херасков М. М. 63
Хитрово Е. М. 316
Хомяков А. С. 341
Цертелев Н. А. 218, 265, 266, 275, 290
Цехновицер О. В. 98, 118, 119, 193
Цявловский М. А. 205, 209, 231
Чаадаев М. Я. 212
Чаадаев П. Я. 212
Чудакова М. О. 13
Чулков М. Д. 246, 247, 248
Шаликов П. И. 41, 167
Шапир М. И. 180, 182, 251
Шаховской А. А. 142–151
Шевырев С. П. 307, 309, 310, 324, 336, 338, 339, 341, 347, 359, 360
Шиллер Ф. 234, 238, 239
Ширинский-Шихматов С. А. 59, 111, 126, 143, 149, 232–240
Шишков А. С. 19–46, 109, 118–131, 133, 137, 143, 150, 157, 161, 170, 177–186

Указатель имен

- Шкляревский Г. И. 21
Шлецер А. Л. 58, 74
Шредер Н. И. 261–263
Штрайх С. Я. 312
- Щеглов Н. П. 357
Щепкин М. С. 307
- Эйхенбаум Б. М. 12, 232, 260
Эртель В. А. 208
- Юнг Э. 41, 81, 141, 234
- Языков Д. И. 52, 54–56, 58, 64–68
Языков Н. М. 252–258, 267, 290
Якобсон Р. О. 250
Яковлев П. Л. 57, 220, 225–227,
261, 263, 266, 268, 272, 274,
289–292, 294
Ямпольский И. Г. 304, 343
Янушкевич А. С. 36
Яусс Х.-Р. 12
- Abrams M. H. 198
Apollinaire G. 257
- Becker-Cantarino B. 173
Briggs A. D. P. 229, 244
Brody J. 181
Broich U. 161, 173
Brooks-Davies D. 174
Brown W. E. 21, 58
- Cadot M. 161
Clayton D. 229, 244
Cooke B. 182
Coulin J.-P. 180
- Dees B. 256
Delvau A. 244
Duneton C. 180, 242
Driver S. 315
- Erskine-Hill H. 174
Fitt T. H. 80
Flaker A. 13
Friedman S. S. 181
- Giraud P. 230
Goscilo H. 188
Greenblatt S. 13
- Hammarberg G. 164, 188
Hano M. 161
Hansen-Löve, A. A. 12
Holmgren B. 188
Huttl Worth G. 43
- Jack I. 172, 173
McGinn B. 184
Martin A. B. 131, 142, 209
Martin R. 161
Monas S. 317
Moser C. 57
- Page T. 96
Pil'shchikov I. 80
- Rancour-Laferriere D. 182
Riasanovsky N. 317, 338
Robinson D. M. 157
Rosslyn W. 157, 158, 185
Rydel C. A. 80
Rzadkiewicz C. 269
- Serman I. Z. 258
Squire P. S. 337, 345
- Terras V. 96
Thomas L. 23
- White H. 17
Whittaker C. 334
Williams A. 185
Wimsatt W. K. 11

Художник: *С. В. Митурич*
Изготовление оригинал-макета: *Т. А. Донскова*
Корректор: *Е. Г. Вагина*

Объединенное гуманитарное издательство,
103001, Москва, ул. Петровка 26, стр. 8.
Тел./факс: 200-7682; e-mail: perm@zhurnal.ru
для заказов: e-mail: tirazh@zhurnal.ru

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2, код 953000

ЛР № 065416 от 22.09.97.

Сдано в набор 27.09.99. Подписано в печать 3.08.2000
Формат 60×90/16. Гарнитура Petersburg. Объем 23 усл. печ. л.
Бумага офсетная. Печать офсетная.

Заказ № 486

Отпечатано с готовых диапозитивов в ППП «Типография «Наука».
121099, Москва, Шубинский пер., 6

